

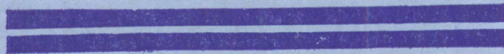
ISSN 0130-7673

НОВОБЫИ МИР

НОВОБЫИ МИР

1983

11



1983



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 1

Январь, 1983 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

Л. И. БРЕЖНЕВ — Главы из книги «Воспоминания» Стр.
3

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ — Константин Ваншенкин, Равиль Бухараев 68
А. ПРИСТАВКИН — Городок, роман 72
ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ — Сергей Островой, Корнелия Войткевич 215

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

МИХАИЛ КУЛЬЧИЦКИЙ — Неуспокоенность, стихи. Публикация
О. В. Кульчицкой 219

К 40-ЛЕТИЮ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

Г. В. ПОЛУЭКТОВ — Записки фронтового артиллериста. Публикация
П. С. Сиркеса 221

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ЙОЗЕФ РЫБАК — Об авторе бессмертного репортажа; ЮЛИУС ФУЧИК —
Когда спящий проснется. Публикация, перевод с чешского и предисло-
вие Т. Мироновой 233

(См на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

100 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого

СЕРГЕЙ ГЕРАСИМОВ — Вдохновляющие страницы	239
Л. ФИНК — Эпический масштаб	244
<hr/>	
Л. АННИНСКИЙ — Почва. Воздух. Судьба	248

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство 259

- Б. Рувин.** Магия откровенности.
Ал. Михайлов. «Опять война, опять блокада...».
А. Пикач. Взыскательное участие.
Вс. Сахаров. Предание и история.
Наталья Старосельская. «...в решающий момент».
Алла Марченко. Поэзия требует всего человека.

Политика и наука 275

- Г. Ермаш.** О пользе эстетики.
А. Бейлис. Утопический социализм и современность.
Юрий Мочалов. На пути к человековедению.

КОРОТКО О КНИГАХ:

- Евгений Сидоров.—Роллан Сейсенбаев. Всего одна ночь. Маленький роман. Повесть и рассказы ✦
Вик. Ерофеев.—Анатолий Макаров. Футбол в старые времена. Повести ✦
Ст. Золотцев.—Владимир Павлинов. Говорю начистоту. Стихи и поэма. ✦
А. Нуйкин.—Елена Джичоева. Преодоление. Очерк жизни и творчества Виталия Семина. ✦
Л. Злобина — Барбара Пим. Осенний квартет. Роман ✦
О Новохатко.—Н. Я. Эйдельман. Грань веков 282

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 288

Л. И. БРЕЖНЕВ

★

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ «ВОСПОМИНАНИЯ» *

МОЛДАВСКАЯ ВЕСНА

1

Проступая к новой главе, подумал о том, что работать над записками приходится в большом отдалении от происходивших событий. Это создает определенные трудности: какие-то детали и факты теряются, исчезают. Но дистанция времени все же дает и определенные преимущества: память как бы просеивает былое, сберегая самое характерное, самое важное.

Значительной полосой в моей жизни предстает начало 50-х годов, когда мне довелось работать в советской Молдавии. Пришлось опять оставить налаженное дело и ехать в иной край, где очень многое предстояло начинать заново.

Прежние места работы, скажу откровенно, покидал всегда с большим сожалением. С другой стороны, чего тоже скрыть не хочу, знал, что в жизни партийного работника перемещения, переезды — неизбежны. Доверие партии и народа радовало, более сложная, и, как правило, более ответственная, работа заставляла внутренне сосредоточиться, рождала обостренный интерес к новому поручению ЦК.

Хорошо помню жаркое лето, когда, собравшись по-военному быстро, выехал, можно сказать, на первую рекогносцировку в Молдавию. Этому предшествовал разговор в ЦК ВКП(б), и меня предупредили, что положение в этой молодой советской республике непростое. Два года подряд этот край сжигала засуха, и хотя, как водится, помощь уже направили из других районов страны, республике предстояло решать сложные задачи.

В чем заключалась в ту пору особенность положения Молдавии? Это была одна из самых молодых союзных республик. Правобережная ее часть не прошла вместе со всей страной грандиозной школы советского строительства. В считанные годы она должна была пройти путь пятилеток или даже десятилетий. В Молдавии бурно развивались все те процессы, которые уже прошли в других республиках за более долгий срок. Иным глухим районам, лежавшим за Днестром, предстояло вырваться к социализму наикратчайшим путем.

Молдавия была исконно крестьянским краем. Мгновенно психологию крестьянина не перестроишь. Понимал, как нелегко ему будет расстаться с собственностью — со своим плугом, своим клочком земли. Надо было убедить, именно убедить единоличников в преимуще-

* В течение ряда лет Леонид Ильич Брежнев работал над своей книгой «Воспоминания». Первоначальная публикация всех глав этой книги по желанию автора осуществлялась в нашем журнале. «Новый мир» предлагает читателю три главы «Воспоминаний», над которыми автор работал в последние годы.

ствах коллективного ведения хозяйства, показать не на словах, а на деле, что новая для многих молдавских крестьян форма обобществления труда более всего соответствует их же жизненным интересам.

Время будто повернулось для меня вспять: задачи, давно уже решенные, оставшиеся позади в русских деревнях, в селах Белоруссии и Украины, где довелось трудиться, вновь вставали на повестку дня. Значит, придется, как в годы комсомольской юности, агитировать за колхозы, набирать темпы индустриализации, укреплять роль рабочего класса, заботиться о становлении и росте национальных кадров.

Обо всем этом и шел запомнившийся мне разговор в ЦК ВКП(б), куда я был приглашен в конце июня 1950 года. Центральный Комитет, было сказано мне, считает, что сейчас в Молдавской партийной организации необходим человек, который был бы в состоянии по-новому взглянуть на сложившуюся там трудную обстановку.

Вскоре об этом говорилось и на Пленуме ЦК КП(б) Молдавии, где меня рекомендовали на пост руководителя республиканской партийной организации. Стенограмма того Пленума сохранилась, недавно работники партархива переслали ее мне. Прочитал с интересом. Документ по-своему поучителен. «Товарищ Брежнев,— говорилось в представлении ЦК, которое зачитывалось на Пленуме,— в партии свыше двух десятков лет, молодой сравнительно товарищ, сейчас в полной силе, он землеустроитель и металлург, хорошо знает промышленность и сельское хозяйство, что доказал на протяжении ряда лет своей работой в качестве первого секретаря обкома. Человек опытный, энергичный, моторный, прошел всю войну, у него есть звание генерала. и руку он имеет твердую...»

Скажу, что насчет твердой руки у меня были свои соображения, и существенных изменений они с той поры не претерпели. Командовать в партийной, да и в любой другой работе не стремился и не стремлюсь. Отмечаю это потому, что, к сожалению, и в моей практике приходилось сталкиваться с руководителями, которые, не вникнув в суть, видя только внешнюю сторону фактов и явлений, скользя, как говорят, по поверхности, по их внешней оболочке, спешили поскорее приказать, указать, сделать оргвыводы. Признак ли это силы? Нет, не думаю.

Именно чувствуя в глубине души свою слабость, такие люди, как показывает опыт, склонны подменять вдумчивый анализ скоропелыми решениями, действовать в порыве эмоций, а то и того хуже — из личной амбиции. И начинаются севы под диктовку, досрочные жатвы, авральные сдачи недостроенных объектов, дутые обязательства...

Методы командования в партии у нас давно и бесповоротно осуждены. Я их всегда отвергал и по сей день вижу необходимость настойчиво и целеустремленно приучать кадры к глубокой партийности пользования властью — на любых постах, без единого исключения.

Опыт армейской работы, прежде всего фронтовой, научил меня **превыше** всего ценить в людях обязательность, дисциплину, ответственность за порученное дело. Без этого, на мой взгляд, не мыслима никакая организация. И чем сложнее обстановка, а в Молдавии она была действительно сложной тем нужнее эти черты. Мы, коммунисты исходим из единственно верного ленинского положения: прежде чем принять решение, его нужно и должно обсудить и взвесить. Но после того, как решение коллективно принято, оно должно неукоснительно выполняться. Для этого необходим действенный контроль. Нужен спрос с того, кому партия поручила выполнять решение. И это я бы назвал порядком, дисциплиной, а не твердой рукой, как это некоторые любят называть.

2

Приехав в Молдавию, не стал засиживаться в столице и ждать Пленума, а сразу же отправился по районам — хотелось увидеть, что же это за край, о котором я знал лишь из прочитанного, хотелось поговорить с людьми, узнать, чем озабочены, чего ждут от нас, партийных руководителей. За долгие годы партийной работы у меня выработалась привычка начинать знакомство с трудовых коллективов, партийных организаций. Если глаз наметан, то все увидишь, почувствуешь что к чему.

Так было и на этот раз. Приехали мы в Чимишлийский райком партии. Захожу к секретарю. Знакомимся.

— Афтенюк Герман Трофимович.

— Брежнев Леонид Ильич. Представитель ЦК.

Смотрю, встречает без энтузиазма.

— Что, неприятности какие?

— Да как сказать... Тут уже пятеро из Кишинева. Нагрянули как снег на голову, по пятам ходят. Уборка, хлеб большой, а они — нашли время — готовят нас к отчету на бюро ЦК. Давай им сводки, туда вези, сюда... Вы тоже по этому делу?

Недовольство человека неурочными посетителями было такое простодушное, что мы оба улыбнулись.

— Да нет, — говорю ему, — я из Москвы. Знакомлюсь с республикой.

— Ну, тогда ничего... Может, чем и поможете.

— А что вас беспокоит?

— Что еще может сейчас беспокоить — комбайны, конечно. Вместе с комбайнерами. Да где их взять? Учить и то некому. Молодежь больше.

— Ну, поехали в поле...

В колхозе имени Карла Маркса подъехали к большому массиву пшеницы. Место неровное, на взгорье. Хлеб действительно как по заказу. Вдали тарахтит комбайн. На обочине — брошенный соломокопнитель. Подошли поближе. Вижу, работает молодой парнишка. Оказалось, это первая его уборка.

— Ты что же это соломокопнитель отцепил? Или сломался?

— Да не сломался, вообще не годится! Он тяжелее самого комбайна, морока одна с ним. А тут холмы — не тянет, и все. Даже вода закипела. В два счета машину запорешь.

Смотрю я на этого парнишку — прав абсолютно! За машину болеет, видно, очень старается: стерня за ним — не придерешься.

Присел, помню, с парнишкой рядом. На листке из блокнота набросал чертеж: две продольные планки, трос, чтобы комбайнер мог регулировать сверху... Спрашиваю: понимаешь? И вижу: не только понимает, обрадовался...

— Вот чертовщина, как же мы сами не додумались! Ведь это сделать просто.

— Скажи спасибо, — говорю, — украинским товарищам. У них я видел такое приспособление. А этот соломокопнитель, что отцепил, ругать понапрасну не надо. На ровном поле он ходит нормально.

Уже через некоторое время я узнал, что изобретение украинских комбайнеров сослужило добрую службу не только в этом колхозе, но и в других районах Молдавии с гористым рельефом.

А в тот день мой бессменный еще с фронта шофер Миша, Михаил Георгиевич Фомин, повез нас с секретарем райкома дальше, и где-то под Михайловкой мы увидели еще один комбайн, стоящий посреди поля. Подошли. Движок работает. Из-под хедера выглянуло лицо комбайнера. Смотрю и глазам не верю: дивчина... И в этот момент чуть было не стряслась беда — волосы у нее, когда она повернулась, попали в передаточный механизм комбайна. Она вскрикнула,

и я, не помню как, пулей влетел в кабину, выключил двигатель. Все обошлось. Девушка поднялась бледная, но пытается улыбнуться.

— Ну, как самочувствие?

— Все в порядке.

Подождали, пока комбайн пошел по пшенице, помахали ей на прощание.

— Хорошие,— говорю,— у вас, Герман Трофимович, кадры механизаторские. Опыта наберутся — станут классными комбайнерами.

— Да, неплохие ребята, вот только отрываем их от дела. Каждого надо утверждать в райкоме, на это время требуется, а мы тут на поле минуты считаем.

— С этим давайте так договоримся: утверждение отменять не будем, но сделаем так — не они к вам будут ездить в райком, а пусть работники райкома приезжают к ним на поле.

Вернувшись из этой первой ознакомительной поездки в Кишинев, я сразу позвонил тогдашнему первому секретарю ЦК КП(б) Молдавии Н. Г. Ковалю: правильно ли, что в разгар уборки отрываете людей от дела проверками, отчетами? Время в такую пору надо экономить.

Во время той поездки по районам пришлось столкнуться и с другими фактами. Тяжелое положение было в селах на правом берегу Днестра.

Сама земля там такая же благодатная, как и на левом берегу Днестра, где советская власть была установлена сразу же после Октябрьской революции, такие же холмы с садами, лесами и перелесками, называемыми здесь кодрами, такие же долины и степи. Но хозяйственные постройки в правобережной части были совсем неказисты, крестьянские хаты убоги, под камышовыми и соломенными крышами, а люди босы и плохо одеты, заплатка на заплате. А главное, как я уже упомянул, земля изрезана межами, куда ни глянь — чересполосица.

Молдавия, как я убедился впоследствии, располагала самыми благоприятными условиями для того, чтобы превратиться в одну из житниц страны. Плодороднейшие почвы (здесь говорят: воткни кол — зацветет), обилие тепла, трудолюбивые крестьяне. Но издавна подлинным бичом этих мест были засухи, хроническая нехватка влаги. Людей, которые наконец-то дождались своей земли, основательно подкосили два подряд неурожайных года. В условиях частного хозяйства, которое существовало в правобережных районах, противопоставить засухе вовсе было нечего — воду здесь добывали и сохраняли самыми примитивными способами. Не думал даже, что увижу такое.

Старожилы мне рассказали, что, несмотря на разруху и голод первых послевоенных лет, трудились крестьяне в Бессарабии самоотверженно. Бывали случаи, когда некоторые, обессилев, падали прямо в борозде с плугом или косой в руках. Тяжкие испытания не сломили народ. Появились за Днестром первые колхозы. Подоспела и помощь, щедро оказанная страной, днем и ночью шли эшелоны с машинами, тракторами, комбайнами, стройматериалами, зерном и мясом, но отдача пока была минимальная. Надо было в короткий срок добиться эффекта от вложенных в экономику республики огромных средств — так ставилась задача.

И вот в июле 1950 года собрался Пленум ЦК Компартии Молдавии, на котором предстояло обсудить постановление Центрального Комитета ВКП(б) о недостатках в работе Молдавской партийной организации. Это был для меня первый Пленум в Молдавии.

Должен отметить, все выступавшие на нем говорили без обиняков, по-партийному остро. Запомнилось мне выступление секретаря Каменского райкома партии Н. Е. Гапонова. Он привел, в частности, такой пример: за последние полгода в райком поступило 159 всякого рода решений ЦК Компартии Молдавии, а ни один его работник не

был в районе вот уже три года. Помню, во время перерыва я подошел к нему и говорю:

— Глубоко пашешь, товарищ Гапонов, молодцом!

А он отвечает:

— Сказал, что у всех наболело... Только вот некоторые подходят, советуют: ты, дескать, стенограмму почисть. Так-то оно так, да как бы не припомнили тебе.

Пришлось его подбодрить: стой, мол, на своем, коли чувствуешь свою правоту, а я людей в обиду не даю. И подумалось: вот еще одна иллюстрация к вопросу о неблагополучии с критикой — кадры-то, видно, на горьком опыте учены.

Впрочем, следует отдать должное моему предшественнику Н. Г. Ковалю: он в своем выступлении был достаточно самокритичен, строго оценил и собственные ошибки и промахи бюро. И вообще, хочу сказать, человек он был честный, трудился много, и приходилось ему в первые годы действительно нелегко. Что ж, такая она, наша партийная работа: на каких-то этапах человек тянет и хорошо делает свое дело, но потом, случается, утратит ощущение перспективы, остроту партийного зрения, с чем-то смирит-ся как с неизбежным, и тогда уже, хочешь не хочешь, надо его сменять. Обижаться тут нечего, если думаешь об интересах дела, заботишься о благе народа, о нуждах страны. Что же касается Николая Григорьевича Коваля, то он до конца дней своих неплохо работал председателем Госплана Молдавии и многое сделал для развития экономики республики.

3

Жизнь с первого дня стучалась в двери — посетители, просьбы, сводки. Нужно было постоянно заниматься решением проблем, от которых зависело во многом будущее этой земли, ее роль и место в семье братских республик, благосостояние ее тружеников.

Самым боевым участком работы было тогда сельское хозяйство. Судя по цифрам, коллективизация шла успешно. Но даже в тот день, когда мне доложили, что в колхозы объединилось уже свыше 80 процентов крестьянских дворов республики, я с выводами не спешил. Достижение, конечно, немалое, но еще оставались районы, где даже половина крестьян не вступила в артели, да и созданные колхозы никак нельзя было считать полнокровными, крепкими хозяйствами.

В ту пору мне часто приходилось бывать на собраниях, где в трудных спорах принимались решения о создании коллективных хозяйств, читать отчеты о них. В большинстве своем молдавские крестьяне не подвергали сомнению полезность этой новой для них формы организации труда. Но я знал, что их убедят не слова. Люди хотели своими глазами увидеть, что это такое — колхоз. Просто сказать им: давайте-ка побыстрее объединяйте свои наделы, скотину, дворы, — было бы неправильно. Задачу я видел в том, чтобы создать хорошо организованные колхозы и на их примере убедить крестьянина в пользе артельной работы. Такие колхозы — своего рода опорные пункты — представлялись мне важными и как школа воспитания партийного и хозяйственного актива.

Помню, как вместе с секретарем ЦК КП(б) Молдавии Д. Г. Ткачом мы организовали нашу первую выставку достижений сельского хозяйства. На ней побывали сотни ходоков, десятки делегаций. Во многих случаях делегации эти становились затем ядром будущих крепких артелей.

И все же нельзя было не отдавать себе отчет в том, что молдавский крестьянин, вчера лишь подавший заявление в колхоз, не мог тотчас преодолеть в себе веками укоренившуюся частнособственни-

ческую психологию. Мешала нам и слабость кадров в деревне, и враждебная деятельность антисоциалистических элементов.

Враги у колхозного строя были. Вредили они чаще всего исподволь: наговорами, провокациями, пробирались подчас к руководству хозяйствами, проталкивали туда своих людей и всячески старались подорвать веру крестьян в колхозы. Они брались и за обрезы, и хотя массового характера такие выступления не носили, все же и тут в ходе коллективизации были жертвы. Погибли заместитель председателя Чучуленского сельсовета Страшенского района Н. П. Пагу, агроуполномоченный села Згурицы Згурицкого района И. К. Присакарь, комсомольский активист из села Мындрешты Кишкаренского района И. А. Богонос, председатель женсовета села Жабка Флорештского района М. А. Пискаря и не только они.

Надо сказать, что в борьбе с врагами социализма партийная организация проявляла подлинно революционную бдительность и большевистскую непримиримость.

Уровень партийного руководства колхозами был в то время поистине решающим фактором. В одну из поездок в Дрокиевский район мне довелось увидеть буквально два мира на одной сельской улице. Два колхоза были созданы в селе в один день — 27 августа 1947 года. Один из них идет в гору, второй — хиреет. В первом за эти годы приобрели больше двадцати сложных машин, увеличили поголовье общественного скота, в шесть раз выросли денежные доходы колхозников, год от года повышается урожай хлеба. В другом совсем иная картина: урожаи на 5—6 центнеров ниже, скот падает, доходы колхозников никудашные. Сменилось несколько председателей, но все остается по-прежнему.

Стали знакомиться с работой партийных организаций. И что же увидели? В передовом колхозе — боевая, растущая организация, коммунисты возглавляют решающие участки производства, председатель чуть что — к ним за советом. В отстающем хозяйстве коммунистов вообще не слышно, даже собрания перестали проводить. Председатель бьется один, без помощи и поддержки. Поправили дело в партийной организации — и хозяйство пошло на лад.

На одном из совещаний партийно-хозяйственного актива я привел запомнившиеся мне слова из повести Валентина Овечкина «С фронтовым приветом». В этой повести фронтовик-колхозник так говорит о плохих артелях: «Мало радости жить людям в таких отстающих колхозах... Почему в армии у нас нет этого термина — отстающий полк, отстающий батальон? Вот интересно бы получилось, если бы какой-нибудь полк не выполнил боевого приказа, а комдив стал бы оправдывать его перед командующим армией: „Да что с него возьмешь, товарищ командарм, это у нас отстающий полк с самого начала войны!“».

Верно подметил наш известный писатель. И сейчас еще кое-где можно найти за средними показателями захудалый колхоз или совхоз, проваливающий все кампании. Да почему-то привыкают к такому хозяйству, считают, видно, что среди сильных неизбежны и отстающие.

Разговор об этом не геряет актуальности. Нас должны беспокоить не только экономические последствия, но и моральный урон, наносимый обществу подобными небоеспособными коллективами и в сельском хозяйстве, и в промышленности, и на стройках. Неодавая нужную стране продукцию, они создают затруднения в планировании, перебои в поставках. И кто же как не партийные организации должны спросить с каждого такого коллектива и его руководителей: совесть-то у вас есть, товарищи? Необходимо дойти до каждого такого предприятия, колхоза, совхоза, стройки, учреждения, отрасли хозяйства, глубоко разобраться в причинах отставания и найти средства для их устранения: где-то строго спросить, где-то поднять моральную и материальную ответственность каждого работника за результаты своего

труда, а где-то и сменить «комсостав», если он не способен как следует организовать работу.

Вспоминаю, в Молдавии приехал я как-то в Ниспоренский район. Поговорили с секретарем Валерием Ивановичем Крыжановским, а потом он предложил:

— Поедьте, Леонид Ильич, я вам кое-что покажу. Не пожалеете!

Едем. За поворотом дороги вижу большое село Милешты, дворов около восьмисот. Но даже и крыши еле заметны — кругом сады.

— Вон там, под горой, смотрите...

Внизу темнеют какие-то предметы — издали не разобрать, то ли тракторы, то ли еще что. Подъехали ближе: разбитые фашистские танки. Пятнадцать танков! Постояли. Вспомнили войну. Валерий Иванович тоже ее прошел, был ранен. Нам, фронтовикам, не нужно было напрягать воображение, чтобы представить себе, что происходило в этой низине, чего стоило нашим солдатам выбить фашистов отсюда! Но они их выбили. И оттого показался нам этот сад теперь вдвойне цветущим. Ровные ряды цветущих деревьев, ходим не налюбujemyся, и вдруг вижу — распаханнные полосы попадают между рядами.

— Что за пахота? — спрашиваю.

— Межи. Только не единоличные, а колхозные. Тут, в Милештах, два колхоза и совхоз на месте усадьбы сбежавшего помещика. Сад тоже помещичий, его посадили и вырастили милештские батраки, вот и поделили после освобождения по-братски, по справедливости.

— А с продукцией как? Куда ее реализуют?

— Раздают на трудовни, совхоз перерабатывает, но много пропадает. До ближайшей железнодорожной станции шестнадцать километров проселка. Дожди пойдут — с перевозкой трудно.

Вечером встретились с колхозниками и рабочими совхоза. Когда обсудили намеченные дела, я подвел разговор к саду: давайте, мол, вместе думать, как таким богатством распорядиться. Какой смысл делить его на клочки — и обрабатывать неудобно, и урожай расходуется без особого проку. Со мною согласились. Позже, когда взяли «укрупнять» сад, нашелся мудрый человек и говорит: «А что, если нам и все остальное в единый котел? Одно село, одна земля. Давайте попробуем!» Так колхозы в селе Милешты слились в один.

Мы это начинание поддержали, дали объединенному колхозу технику (поначалу на общем дворе у него оказалось 150 волов — вот и вся тягловая сила), помогли и еще чем могли. Что же касается сада, с которого все началось, то он стал едва ли не главной статьей дохода. Колхозники добавили к нему изрядный участок сливовых деревьев и тысячами тонн повезли фрукты на построенный вскоре консервный завод. С той поры садоводческие районы республики и пошли по пути создания больших садов.

Двадцать лет спустя, в 1971 году, направляясь на съезд Коммунистической партии Болгарии, я остановился в Молдавии. Показали мне один из самых крупных садов в Унгенском районе. Был он, конечно, не чета прежним — площадь около четырех тысяч гектаров, самый современный метод пальметной формировки деревьев. Подлинный сад будущего. Так я и сказал хозяевам на прощание:

— Тысячу лет цвести вашему саду!

А колхоз имени Ленина в Милештах стал тогда одной из первых укрупненных артелей в республике. И этот первый опыт подсказал нам самый верный в тех условиях путь дальнейшего укрепления колхозного строя в Молдавии. После детального изучения вопроса и обсуждения его на бюро ЦК такой курс был взят по всей республике, хотя это и грозило определенными издержками на первых порах. Но мы не убоались трудностей, предпочли дальние цели ближним и, как показала практика, не ошиблись. Сейчас в Милештах мощный совхоз-завод.

Чтобы читатель полнее мог представить себе специфику работы в молодой республике, неповторимую атмосферу тех лет, расскажу о так называемых антикомбайновых настроениях. Представьте себе, они затронули не только селян, но и некоторых председателей колхозов, активистов и даже кое-кого из райкомовцев.

Однажды ездили по районам вместе с Председателем Совета Министров республики Герасимом Яковлевичем Рудем. Помнится, где-то под Вулканештами ночью в свете фар увидели стоящий в поле комбайн. Подъехали. Машина заглохла. Возится комбайнер, видно, уже не первый час, а не может найти причину: не заводится, и все тут. Вот вам и опора пересудам и слухам, что-де пользы от этих машин не будет. А вол, известно, безотказен, кнутом его подхлестни— вот и устранена «неисправность». Пришлось нам на том поле надолго застрять.

Водители знают, как это бывает: подойдешь посмотреть, что там копаются коллега в моторе, скажешь «то-то проверь», а он и не знает, где эта штука находится. Лезешь сам и не заметишь, как втянешься, а потом уходишь весь в масле. Так было и тут. Попробовали свечи, распределитель, проверили все что следует — нет, не заводится. Пришлось засучить рукава — отступать было некуда. Провозились до света, но все-таки запустили.

С комбайнером мы распрощались друзьями.

Но это, что называется, дорожный эпизод. А суть проблемы была вот в чем. Некоторые руководители хозяйств, не дав себе труда толком познакомиться с машинами, олицетворявшими тогда революционные преобразования на селе, изучить их поистине неограниченные возможности, поддались настроениям отсталой части колхозников. Дело в том, что крестьяне эти, едва начав работать сообща, не познав еще преимуществ коллективного ведения хозяйства, опасались, что использование техники, связанное с натуроплатой, пагубно скажется на колхозном бюджете. Эти веяния умело раздували всякого рода враждебные элементы, а хозяйственные руководители, вместо того чтобы терпеливо разъяснять им, что только с применением техники возможен крутой подъем хозяйства и рост его доходов, сами подчас оказывались в плену отсталых представлений.

Сейчас все эти «антикомбайновые настроения» могут вызвать лишь чувство недоумения. Но не будем забывать, о каком времени в биографии республики идет речь. И тогда настроения эти доставляли нам немало хлопот. В самом деле: к концу 1951 года, когда Молдавия получила дополнительно свыше 5 тысяч тракторов, 1370 комбайнов и до 23 тысяч других сельхозмашин, едва ли не половина МТС не выполнила плана. Вот и приходилось эти вопросы со всей остротой ставить на совещаниях, прибегать порой и к крутым мерам. Но прежде всего следовало, конечно, научить товарищей, знавших до этого только волов, обращению с техникой.

Это было непросто, шла коренная ломка психологии крестьянина, который до советской власти часто и вола не имел, а все же был частником. Достаточно глубоко прочувствовав, поняв это из бесчисленных встреч и бесед с людьми — на бригадных станах, на кукурузных полях, просто у бровки дорог. — я считал своим долгом четко сориентировать партийных руководителей среднего и низового звена, что мы не можем пока подходить к молдавскому колхознику с той же меркой, с какой ведем работу с людьми в других республиках, в уже окрепших, имеющих большой коллективный опыт хозяйствах.

Наша партия никогда не рассматривала и не рассматривает построение материально-технической базы социализма, а затем и коммунизма как некую самоцель. Для нас принцип: «Все — для блага человека, все — во имя человека!» — определяет и определяет существо политики КПСС на всех этапах становления и развития

нашей социалистической державы. Последовательно проводили в жизнь этот принцип и мы в Молдавии того периода, когда она как бы повторяла, хотя и в новых условиях, путь, пройденный в свое время всей страной. Кооперируя сельское хозяйство, создавая заново промышленность республики, поднимая ее культуру, науку, мы всегда имели в виду главную цель — воспитание нового человека. В этом деле тогда, в 50-е годы, в Молдавии огромную роль сыграли созданные по постановлению ЦК ВКП(б) политотделы МТС. Их было около ста. Работники райкомов партии, аппарат ЦК подбирал на должности начальников политотделов, их заместителей, женорганизаторов и редакторов политотдельских газет опытных коммунистов, знающих и любящих село. Им предстояла нелегкая работа по переустройству молдавской деревни.

4

Работая в Молдавии, я многое читал о прошлом этого края. Молдавский летописец Григорий Уреке с горечью назвал свою родину «страной на пути всех бед». Веками народ, населявший землю между Прутом и Днестром, вынужден был вести жестокую борьбу за право распоряжаться собственной судьбой, а порой и за само право на существование. Его стремление к достойному человеку укладу жизни, к свободе и независимости всегда находило понимание и живой отклик в умах и сердцах передовых людей России.

Напомню, что советскую власть молдавский народ под руководством своей большевистской организации установил на всей территории республики сразу же после Великого Октября — в 1918 году. Но вскоре международный империализм оторвал Бессарабию от советской Родины.

В то время как по левому берегу Днестра провозглашенная в 1924 году Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика успешно строила жизнь по законам социализма, правобережная часть Молдавии жила по иным законам.

Мне запомнились красочные рассказы Емилиана Букова. Он теперь известный писатель, Герой Социалистического Труда, его произведения изданы во многих странах. Это о его книге «Андриеш» писали за рубежом: «Книга Букова по своим тиражам на иностранных языках превысила численность населения его республики». В ту пору в Кишиневе мы с ним встречались не раз.

— Знаете, — сказал он мне однажды, — впервые я свободно пел «Интернационал» только в сороковом году.

Многое кроется за этим фактом биографии. В довоенной Бессарабии Буков был комсомольцем-подпольщиком. Первый гонорар за поэму «Баллада о Ленине», которую читал на тайных собраниях, получил... розгами в полиции. «Отсыпали» ровно по количеству строк. Случались и другие аресты, однако человек не смирился с тем, что было, продолжал борьбу за то, что любил. И я видел, что в строительстве новой жизни он включился со всем жаром поэтического сердца и убежденностью коммуниста.

Да, была для всех нас в молдавском народе внутренняя опора, сложившаяся веками, — стремление людей к устройству жизни на началах социальной справедливости, свободолюбие, революционный дух. Ведь именно здесь, на молдавской земле, действовала типография подпольной ленинской «Искры», именно молдаване дали революции сынов, ставших гордостью всего советского народа, — Михаила Фрунзе, Григория Котовского, Сергея Лазо.

В 1940 году Молдавская Советская Социалистическая Республика вошла полноправной сестрой в братский союз народов нашей

страны. А вскоре молдаване плечом к плечу со всеми народами-братьями защищали вновь обретенную Родину. Одними из первых вступили в бой с фашистами воины 95-й Молдавской дивизии. Она участвовала в Сталинградской битве и получила звание гвардейской. Свыше 250 тысяч молдаван сражались в рядах Советской Армии, я встречал их на фронте, это были смелые бойцы.

Как и всюду, война принесла Молдавии неисчислимые беды. В Кишинев я приехал через пять лет после нашей победы, но застал еще разрушенные улицы и кварталы, которые предстояло восстановить. В руинах лежали Тирасполь, Бельцы, Бендеры, Оргеев и многие районные центры. Я видел немало разоренных деревень, выжженных садов и виноградников.

Сколько же жизненных соков забрала война, сколько людских судеб поковеркала. Трудно, глядя на сегодняшнюю Молдавию, представить себе, какие бои здесь гремели в военную годину. Она не только не отстала в своем развитии, но преобразалась буквально на глазах. Все это и на моей памяти.

Скажем, если в довоенной Бессарабии рабочие составляли всего 0,31 процента населения, то теперь в промышленности занят каждый второй трудоспособный житель. Вчерашние пахари и виноградари изготавливают литейное оборудование, современные электродвигатели и эхолоты, первоклассные тракторы, точнейшие приборы. Или взять культуру, науку. В крае, где только один из десяти жителей умел расписаться, трудится трехсоттысячный отряд национальной интеллигенции.

И все это стало возможным благодаря огромной помощи, которая была оказана Молдавии братскими союзными республиками в культурном строительстве, в подъеме образования, подготовке кадров. В высших учебных заведениях Москвы, Ленинграда, Киева, других крупнейших центров страны обучались большие отряды посланцев молодой республики. В самой Молдавии были открыты вузы, техникумы. Социалистическая культурная революция волею партии быстро пробивала дорогу в каждый молдавский город, каждое село. По числу студентов на 10 тысяч жителей Молдавия превзошла в пору моей работы там такие страны, как Дания, Италия, Швеция, Франция.

Мне памятны споры молдавских ученых по поводу содержания первого в республике советского букваря, а в наши дни они участвуют в освоении космоса: созданная в Молдавии экспериментальная установка «Оазис-2» — прообраз оазиса жизни на орбите — успешно действовала на борту космического корабля «Союз-13».

Да, история нашей страны измеряется не только годами. Мы по праву судим о нашем прошлом и настоящем по масштабу сделанного, свершенного. Это справедливо для каждой нашей республики, для всего исторического пути, пройденного советским народом.

Если вычесть войну и первые послевоенные годы, ушедшие на восстановление разрушений, то на развитие, например, Молдавии в семье советских народов приходится немногим более тридцати лет. Но какой огромный путь она прошла за это короткое время! Республика стала одной из житниц страны, одним из крупнейших центров садоводства и виноделия. А объем продукции ее промышленности вырос в 52 раза по сравнению с 1940 годом.

Что тут скрывать, радостно на душе, когда подводятся такие итоги. И вдвойне радостно, когда ты сам к этому был причастен.

5

Если вспомнить сегодня, какое слово чаще всего повторялось в Молдавии на наших собраниях, конференциях, на бюро ЦК, то это слово — «кадры». Тогда, в начале 50-х годов, в первую очередь

следовало думать о кадрах, смелее выдвигать и воспитывать национальные кадры — это я считал решающим условием успеха.

Было ясно, что никакие тракторы и комбайны сами по себе не двинут безлошадную деревню в социализм, если во главе колхозов, совхозов, МТС, районных и первичных партийных организаций не будут стоять преданные делу, знающие организаторы. Никакие капиталовложения не превратят полукустарные мастерские (какими только и располагала воссоединенная часть Молдавии) в современные социалистические предприятия, если эти средства не попадут в надежные руки умных хозяйственных руководителей. Таких организаторов и руководителей надо было искать без промедления, провешивать в практических делах, растить, что называется, на ходу.

Мне были даны широкие полномочия, в том числе и в плане перестановки кадров. Однако весь прошлый опыт подсказывал: только кропотливая работа с людьми может дать нужный эффект. Вот почему мы тогда твердо договорились в ЦК не перетасовывать без надобности работников руководящего звена, давать возможность каждому человеку доказать свое умение. Случалось, при обсуждении проступка какого-либо работника горячность начинала брать верх. Тогда я прерывал разговор: «Вот что, товарищи, давайте отложим решение, поостынем, подумаем». И, смотришь, удавалось сохранить для дела нужного человека, который впоследствии делом же подтверждал, что срыв его был случаен.

Встречались, правда, и того сорта деятели, с которыми вести долгие разговоры не имело смысла. Вот, например, какое письмо поступило в ЦК от колхозников Вулканештского района. В руководстве сельским хозяйством там подвизался некий Малевич, и, сколько ни заваливал заданий, все его перебрасывали, пока он не оказался в должности председателя колхоза, где тоже пьянствовал, занимался хищениями. «Все это, — писали колхозники, — заставило нас побеспокоить вас и просить выслать комиссию. Помогите нам убрать чуждый элемент колхозному строю и при помощи честных руководителей сделать наш колхоз большевистским, а нас — зажиточными».

Факты при проверке подтвердились, и мы немедленно изгнали этого человека с поста председателя и исключили из партии.

С такого рода деятелями мы вели самую решительную борьбу. Но веры в людей такие столкновения у меня не подорвали. Напротив, на их фоне еще виднее становились дельные работники, которые просто не успели проявить себя. Порой ведь обстоятельства складываются так, что и толковому человеку трудно раскрыть свои способности в полной мере. И всегда потом было приятно убеждаться, что такое отношение к людям — с некоторым даже завышением их возможностей, с верой в их будущие большие дела — подтверждалось.

Мне везло на встречи с хорошими людьми. Наверное, по той простой причине, что их вообще больше, чем плохих. Уже через полгода пребывания в республике я знал всех секретарей райкомов, не говоря уж о работниках аппарата ЦК, знаком был с большинством председателей колхозов, директоров совхозов и МТС, промышленных предприятий, знал их сильные и слабые стороны. В подавляющем большинстве это были настоящие коммунисты, истинные труженики, не шадившие себя в работе.

Жили тогда еще трудно: домов строили мало, не хватало товаров. Как-то пригласил я к себе в кабинет одного нашего инструктора расспросить как и что — он из района вернулся. Входит. Смотрю, брюки на нем заносены до блеска, а у колен вовсе протерлись до дыр. Смутился. Прячет ноги за стол.

— Да, — говорю, — что ж так поизносились?

— По правде сказать, Леонид Ильич, не разживусь никак на новые. Времена, сами знаете...

— Знаю, знаю.

Знал я и другое. Это был хороший работник, начинал воевать еще под Халхин-Голом, имел ранения и награды. Позвонил тут же управляющему делами. А ему говорю:

— Идите прямо сейчас к управляющему — он выпишет единовременное пособие на костюм. Сразу и купите, а после ко мне. Заодно посмотрим, как сидит.

Многим в ту пору жилось трудно. Я это видел. Частенько навещивался на базар, заходил в магазины, в столовые. Иногда звал с собой кого-нибудь из ЦК или Совмина — давайте поглядим, чем людей кормим, во что одеваем. Ходили, смотрели, беседовали с колхозниками, покупателями. Характерно, люди не жаловались: ничего, мол, в войну и не такое пережили. Но видно было: с продуктами и с товарами тяжело, не хватает самого необходимого. Эти беседы и встречи были очень полезными, они подталкивали: надо спешить, надо работать, работать.

Много времени проводил в поездках по районам. Есть приходилось сплошь и рядом где-нибудь у обочины или в лесополосе, и ели, как говорится, что бог послал. Иногда трактористы угостят фасолевым супом, кулешом, мамалыгой. Иногда на ходу пожуешь слив или яблоч. Гостиниц тогда еще нигде не было — ночевали в домах секретарей райкомов, председателей колхозов, а то и просто в машине, если дела торопили. Работали, что называется, до упаду: редко, когда раньше двенадцати ночи гасли огни в ЦК и Совмине. Да и дома, бывало, полночи ворочаешься с боку на бок — не дают покоя мысли о том, о другом.

Кто-то, возможно, скажет, глядя на все это с высоты нынешней науки управления: неорганизованность. На это так можно ответить: в те времена становления республики каждый, кто считал себя коммунистом, брал на себя больше «положенного». Бывало, удивлялся, глядя на своих товарищей: словно двужилые, из какого-то особого материала скроены. Впрочем, в этом смысле я и себе пощады не давал.

Самоотверженных людей вокруг было много. Среди них выделялись трудолюбием, особой жадностью к работе бывшие фронтовики. К ним меня особенно тянуло. Не надо было искать подхода. Спросишь, где воевал, вспомнишь вместе с человеком знакомые места, горе и радости тех дней — и уже понимаем друг друга без слов. Многих до сих пор хорошо помню.

В Тираспольском райкоме партии работала в то время секретарем М. М. Лесовая. Война застала ее семнадцатилетней девчонкой, работала медсестрой в сельской больнице. Сразу попросилась на фронт. Под Севастополем вынесла из-под огня двадцать одного раненого, погрузила в машину — и в тыл. А по дороге нарвались на фашистов. Шофер был смертельно ранен. Девушка залегла на обочине с автоматом и отбилась. А потом, будучи тоже ранена, сама довела машину до медсанбата. За это была награждена орденом Красного Знамени. За бои под Сталинградом (она уже была командиром санитарного взвода) получила орден Красной Звезды, потом — Отечественной войны. И дошла до Берлина! Оставила на рейхстаге подпись: «9 мая. М. Лесовая». Такой же фронтовичкой оставалась она и на райкомовской работе.

Вспоминаю также в старинном молдавском селе Токмазея династию механизаторов Кирияковых. Легендарная семья — семеро братьев и две сестры — еще в 20-е годы вступила в колхоз. Старший, Артем, стал бригадиром трактористов (было это еще в 1933 году). В бригаде Артема работал другой брат, Иван, третий тоже был трактористом в соседнем селе. Началась война, и все семеро братьев пошли на фронт. Под Витебском сложил голову Данило, недалеко от родного села за Днестром — Максим. Лев умер от ран. Остальные вернулись с войны — и опять за свои трактора. А сейчас и сыновья их — тоже механизаторы, трудятся в колхозе «Родина».

Вспоминаю знаменитую тогда на всю республику Анастасию Мажарову. Райкомовские документы она подписывала так: «Секретарь райкома, гвардии майор Мажарова». Тоже судьба героическая. Родилась в смоленской деревне, отец был шахтером, сама с малых лет батрачила, прошла фронт, была разведчицей, начальником политотдела. При мне она работала первым секретарем Таракийского райкома, затем была направлена учиться в Высшую партийную школу в Москву. Но на этом наше сотрудничество не закончилось. Когда я работал уже секретарем ЦК КП Казахстана и начался подъем целины, у меня в кабинете однажды раздался звонок:

— Леонид Ильич, это Мажарова, помните такую? Вот окончила школу, у вас там, слышно, большие дела начинаются, а как же я, «гвардии майор Мажарова», — без наступления... Может, примете в полк?

Как же было не принять! Вскоре она приехала в Казахстан, «с полной выкладкой» прошла все целинное наступление.

Много фронтовиков работало и в аппарате ЦК Компартии Молдавии. Смотришь утром на открывающихся двери нашего партийного дома на Киевской, и сердце сжимается — кто прихрамывает, кто на костыль опирается, а кто и с пустым рукавом идет. И у всех боевые ордена, медали — знаки их ратных подвигов. Не могу не вспомнить скромного, застенчивого человека Кирилла Федоровича Ильяшенко. У него от осколка глубокий шрам на лице. До войны работал учителем, а после демобилизации возглавил нелегкий участок в молдавском ЦК — заведовал отделом науки, школ и культуры. Он обладал особым умением привлекать к себе людей, казалось бы, самых разных по характеру, по роду занятий — артистов, писателей, художников, музыкантов, работников науки, они шли к нему в ЦК за советом, за помощью. Последние годы Кирилл Федорович работал Председателем Президиума Верховного Совета республики...

Сравнительно короткий, но насыщенный период работы в Молдавии стал и для меня самого качественно новым этапом становления как партийного руководителя. Здесь я со всей глубиной и, как говорил один наш секретарь райкома, «всеми органами чувств» осознал суть понятия руководящая роль партии. Ее направляющая воля, неистребимая энергия, коллективная мудрость, возрастающий опыт, наконец, беспредельный заряд веры в правоту нашего дела — все то, что заложено в той или иной мере в каждом из нас, ее бойцов, — буквально пронизывали все поры молодого, вступающего в жизнь, формировавшегося организма республики. Коммунистическая партия Молдавии, один из отрядов великой ленинской партии, мужала и обрела прозорливую мудрость вместе со становлением Молдавской Советской Социалистической Республики. И какая же ответственность ложится на каждого из нас перед партией, когда она поручает нам такое великое дело.

Владимир Ильич Ленин превыше всего ценил в человеке прямоту, идейную убежденность, единство слова и дела, цельность личности. Известно, как он умел выслушивать людей, советоваться с ними, опираться на их опыт, учитывать их суждения.

Мы часто возвращались в ту пору к облику партийного руководителя, со всею строгостью сверяя себя с ленинскими моральными нормами партии. Позволю себе привести выдержку из стенограммы моего выступления на Пленуме ЦК КП(б) Молдавии в апреле 1951 года:

«Необходимо более принципиально относиться к общему делу, не разводиться плесени, гнили, болота... Понятно, что может не все идти гладко, этого не исключишь, но мы должны стремиться к тому, чтобы не допускать просчетов. Для этого надо трудиться с предельным напряжением сил и способностей, какими обладает каждый из

нас... Исходя из требований съезда, надо поднять ответственность руководителей всех рангов, и в первую очередь партийных и советских. Это не значит, что мы должны «избивать» работников. Мы и впредь будем проводить политику сохранения кадров, воспитания кадров, бережного отношения к кадрам...»

За многие годы в партийных комитетах выработался плодотворный стиль работы, в основе которого — не горячность, не наскок, не скоропалительность выводов, а обстоятельный, глубокий анализ возникающих проблем. Научный подход к партийной работе — это подход сугубо деловой. Он обязывает действовать, не теряя времени, сверяя свой шаг с ходом общественного развития, с содержанием и духом коллективных решений. Весь мой опыт свидетельствует также, что актив партии умеет видеть все многообразие возможностей социалистического общества, всегда стремится найти оптимальный вариант решения той или иной проблемы.

Работая в Молдавии, мы нацеливали все партийные организации на выработку научно обоснованных решений, на аргументированную доказательность их политической целесообразности и экономической необходимости.

Таков магистральный путь всей нашей партийной работы и сегодня.

6

Энергичные меры ЦК Компартии Молдавии, упорная, последовательная, целеустремленная работа, наконец, само время делали свое. Все чаще доводилось сталкиваться с фактами, которые свидетельствовали о существенных сдвигах в мировоззрении людей. Помню, на одном из совещаний я поинтересовался, как реагируют крестьяне на исключение из колхоза. Ответ был такой: «Большинство исключенных просит оставить их в колхозе». Это о многом говорило.

Как это ни покажется странным, в Молдавии мне пришлось убедиться, что даже такая исконная для края культура, как кукуруза, возделывается отсталыми методами и дает очень низкие урожаи. Культуру эту у нас одно время усиленно продвигали, пытались выращивать под Архангельском, на Вологодчине, чуть ли не в Заполярье — ничего хорошего из этого, как известно, не получилось. Но кукуруза в этом не виновата. Цену ей я узнал еще на Украине, а уж в Молдавии, был убежден, она могла давать урожаи еще более высокие.

По сей день молдавские товарищи вспоминают, что кукуруза была одним из моих коньков. Кое-кто тогда даже посмеивался: вот, мол, первый секретарь в багажнике автомобиля возит по районам кукурузосажалку собственной конструкции. И я действительно одно время возил с собой это нехитрое приспособление. Только не собственной, конечно, конструкции — тут я должен авторское право передать другому лицу.

А дело так обстояло. В то время никаких механизмов для этих целей, тем более заводского производства, еще не было, во всяком случае в республике. Такая техника стала изготавливаться в централизованном порядке гораздо позже. А тогда надо было искать подручные средства. И вот однажды в Сорокском районе одна старая крестьянка, прослышав о наших заботах, подарила мне эту кукурузосажалку «Возьмите, — говорит, — когда я выходила замуж, отец мне ее в приданое подарил. может, и теперь еще сойдется...»

Я немедленно опробовал, проверил в деле это умное крестьянское приспособление в одном из хозяйств и дал указание изготовить опытные образцы. А пока там поворачивались с чертежами и ин-

струкциями, пропагандировал сам остроумную самоделку, облегчающую труд кукурузоводов. Слух о ней прошел уже по районам — товарищи с мест требовали «техническую документацию», чтобы изготовить кукурузосажалки у себя. Вот тогда я и продемонстрировал подарок старой крестьянки участникам очередного совещания в нашем ЦК. После этого и пошла кукурузосажалка по районам. И что вы думаете: она помогла нам уже весной 1951 года не только успешно справиться с севом, но и получить заметную прибавку урожая.

Многое в Молдавии опробовалось тогда впервые. Все, что приживалось, было выгодным, мы широко внедряли в хозяйство. Известно, однако, что новое очень часто пробивает себе дорогу через препятствия, рожденные привычками, а иногда и косностью. Для внедрения каждого новшества нужны были первопроходцы, которые верят в него и готовы пойти на риск. Таких энтузиастов я всегда присматривал, всегда на них опирался. Это были простые крестьяне, смекалистые, талантливые, ставшие умелыми руководителями колхозов. Помню их всех хорошо, надеюсь, и они меня не забыли.

Д. С. Василати, Т. М. Ермураки, З. И. Кройтор, Д. И. Мищенко, А. И. Папуров, Д. Е. Рашкулов, С. Г. Швец — вот они, мои товарищи во многих полезных начинаниях. Я любил бывать в их хозяйствах. И хотя навещать чаще приходилось отстающих, иногда даже кряк по дороге делал, чтобы заглянуть в хозяйства этих людей — узнать что-то новое, посоветоваться, проверить их взглядом свои наблюдения.

Бывало и так, что ехал не один, привозил из других районов секретарей райкомов. Садился в машину, брал с собой нескольких человек и вез в передовой колхоз. Здесь же на месте разбирали, что сделано хорошего, а где мы недорабатываем. Вот так мы все коллективно и учились.

Одним из лучших опорных пунктов, куда ездил частенько, был колхоз «Вяца ноуэ» — «Новая жизнь». Это сравнительно недалеко от Кишинева, в Оргеевском районе. Его путь к новой жизни — это вместе с тем и история всей молдавской деревни за годы советской власти.

После войны в селе Чокылтены двести крестьян обобществили 7 пар лошадей, 12 пар волов, несколько плугов и борон. С этим и пошли в новую жизнь. Первой общественной стройкой был обыкновенный сарай. Но строили его сообща, для колхоза. Со всего района свозили тогда народ на митинги — вот, мол, что мы можем вместе.

Через два года колхоз заключил союз с учеными Молдавского филиала Академии наук СССР, основой нынешней Академии наук республики. По совету ученых началось освоение новых для Молдавии ценных кормовых злаков — колхоз стал одновременно и опытной станцией. Чокылтенцы первыми опробовали новые методы оплаты труда, были среди зачинателей межколхозной кооперации в республике. И люди тут вырастали на глазах. Бывший батрак Штефан Штирбу стал Героем Социалистического Труда. Словом, было в этом хозяйстве на что посмотреть и что перенять.

С чокылтенцами, признаюсь, меня связывала и давняя страсть к охоте. А тут, в пойме Реута, были тогда необозримые камышовые плавни, полные дичи. Появились у меня и друзья по охоте — колхозники Петру Лунгу и Петру Гэлеску. В доме Петру Гэлеску я чаще всего и останавливался. Дом этот стоял чуть ли не в самых плавнях. Постель для гостя стелили на лавке в каса маре — почетной гостевой комнате. А утром чуть свет мы с ружьями уже в лодке.

Плавни — для охотников это, конечно, рай. Но ведь это и тысячи гектаров плодороднейших земель! Стал я советовать их освоить: «Не будет же вечно камыш шуметь, тут и хлеб может расти и все что угодно». Бил в одну точку, и прислушались к советам колхозники.

Начали рыть вручную первый осушительный канал. Местами было не пройти — такие заросли. Тогда погнали вперед стадо скота, а за ним уже люди. Вскоре начали заготовки камышового силоса. Еще через пару лет уже государство при участии колхозов занялось поймой Реута. А кончилось дело тем, что ежегодно пойма дает продукции на полмиллиона рублей — больше 15 процентов всего, что производит колхоз.

Все, чего достигло это хозяйство, ставшее в республике лабораторией передового опыта, — дело здешних колхозников, трудолюбивых, смекалистых, отзывчивых на все новое. Велики заслуги и председателя правления Бориса Владимировича Глушко, который умело, я бы сказал, талантливо руководил коллективным хозяйством в течение многих лет — со дня его основания и до ухода на пенсию. Родился он здесь же, в Чокылтенах, в семье учителя. Предприимчивый, умный, смелый — таков был этот председатель.

Сегодня всем уже ясно, что завтрашний день социалистического хозяйства — в органическом синтезе земледелия и животноводства с промышленностью, в создании интегрированной экономики в целом. И кто знает, может быть, осушенные поймы Реута или знаменитый «объединенный сад» в Ниспоренском районе надо считать первыми шагами на нынешнем пути межколхозной кооперации. Процесс этот стал теперь повсеместным. Лишь на этой основе можно достигнуть в сельском хозяйстве высшей производительности труда, при которой небольшая, но высококвалифицированная, технически и агрономически грамотная часть населения страны, вооруженная первоклассной техникой, будет полностью удовлетворять потребности народа, осуществлять на практике продовольственную программу партии. И не случайно, конечно, нынешняя Молдавия стала в этом процессе своеобразным испытательным полигоном для всей страны.

Еще в годы моей работы в республике в Чадыр-Лунгском районе было создано первое в стране межколхозное объединение механизации, электрификации и мелиорации сельского хозяйства. Ныне в Молдавии насчитывается семь научно-производственных объединений, двадцать четыре аграрно-промышленных объединения, сто семьдесят совхозов-заводов. Это мощный индустриально-сельскохозяйственный потенциал и, я бы сказал, наглядный пример продуманного хозяйствования.

7

Масштабы строительства у нас таковы, новые комплексные программы столь грандиозны, что от замысла до воплощения проходят многие годы. В сущности, только теперь можно по-настоящему дать оценку решениям, которые мы принимали в Молдавии в начале 50-х годов. А ведь от них зависело все будущее республики. Тут возникает проблема, на мой взгляд, принципиальная.

У советских людей должна быть уверенность, что сделанные ими добрые, полезные партии и народу дела не будут преданы забвению ни через десять, ни через сто лет. Речь идет о нравственном облике поколения.

На примере сегодняшней Молдавии вижу, что в целом мы в выборе генерального направления ее развития не ошиблись. Разумеется, экономика республики, как и всей страны, развивалась на основе народнохозяйственного плана, который был законом для нас. Но всего в плане не учесть, жизнь выдвигала свои требования, и надо было с ними считаться. Быстро растущее сельскохозяйственное производство заставило подтягиваться все другие отрасли хозяйства. Развитие их нам тоже планировали. Казалось, все тогда было пре-

дусмотрено. Кроме подлинных возможностей республики, созданных коренными социально-хозяйственными преобразованиями на рубеже 50-х годов.

Расскажу для примера, как мы с Кириллом Ивановичем Цурканом, тогдашним министром пищевой промышленности, спасали урожай винограда. В тот год виноград уродился на славу. Приходит ко мне Цуркан:

— Что делать, Леонид Ильич? Аврал! Тары, наличных емкостей по всей Молдавии вдвое меньше, чем нужно под такой урожай, — сусло некуда сливать.

По правде говоря, ночь не спал, все прикидывал, что предпринять. Не нашли другого выхода как отправить нашего министра в Москву — просить цистерны. Штук двести нам тогда выделили. Но их еще надо было привезти, а время не ждет. Прошел день или два, и снова звонит мне беспокойный Цуркан:

— Леонид Ильич, есть одна шалая идея: что, если старую водонапорную башню в городе приспособить?

Что вы думаете, разыскали ключи, полезли по шаткой винтовой лестнице на самый верх. Да, тут много бы можно залить. Но, увы, все поржавело, пришлось отказаться от идеи. Как же все-таки быть? Я попросил Цуркана собрать специалистов, стариков, опытных виноделов. Пусть они поделятся опытом, все обмозгуют, изыщут местные возможности.

Партийный руководитель не обязан быть одновременно экономистом, агрономом, инженером, строителем, виноделом и т. д. Но он должен владеть законами общественного развития, разбираться в людях, хорошо их понимать, опираться на конкретные знания мастеров того или иного дела.

Вспоминается эпизод из жизни В. И. Ленина. В очень трудный для страны год он вел заседание Совнаркома, на котором решался спорный вопрос, в ту пору существенный. Представитель Главторфа, который должен был наладить торфяные разработки, привел расчет, по которому на строительство барачков для рабочих следовало выделить по 4 тысячи рублей. Возразил представитель Наркомфина, который считал, что 4 тысячи — много, что дать надо не больше двух. Разгорелся спор, Ленин слушал, никого не перебивал, но послал каждому по записке: «Вы когда-нибудь строили барачки?» Торфяник ответил — да, финансист — нет. Тогда Владимир Ильич поставил вопрос на голосование. «Есть два предложения, — сказал он. — Автор первого, имеющий опыт в строительстве барачков, считает необходимым выделить на постройку одного барака четыре тысячи рублей, автор второго, не имеющий такого опыта, предлагает выделить две тысячи рублей...»

Тут, говорят, раздался смех, и вопрос был решен на Совнаркоме в пользу специалиста, знатока дела. История, на мой взгляд, поучительная, не стоит о ней забывать... А виноделов мы тогда в Кишиневе собрали, тоже не обошлось без споров, но в конце концов комиссия предложила такой план действий. В засушливых районах Молдавии крестьяне имеют во дворе цементированный колодец для сбора дождевой воды. Подумали: если эти колодцы нужным образом обработать — сгодятся. На будущее надо, конечно, закладывать большие новые емкости, а пока и эти могут выручить. Уполномоченные нашего пищевого треста тотчас разъехались по районам — искать колодцы, заключать с колхозниками договоры на хранение государственного виноматериала. На учет взята была, что называется, каждая емкость, и ценный продукт удалось полностью разместить и сохранить.

Сама жизнь диктовала необходимость сделать основной упор в индустриализации Молдавии прежде всего на пищевую и перерабатывающую отрасли промышленности. Мы понимали, что это позволит

решить двуединую задачу: создать собственную базу для переработки все возрастающего количества продукции и вместе с тем решить проблему занятости населения, укрепить ряды рабочего класса республики. К тому времени завершение коллективизации и широкое применение машин высвободили на селе множество рабочих рук. И вполне ясно было, что всестороннее и гармоничное развитие новой, социалистической молдавской нации, ее экономики, ее культуры немислимо без мощного рабочего класса.

Успешное выполнение плана четвертой пятилетки позволило нам войти в ЦК ВКП(б) и союзное правительство с рядом дополнительных предложений, в том числе по развитию промышленности. К февралю 1952 года наши специалисты подготовили развернутую комплексную программу ускоренного развития пищевой индустрии в Молдавии, а в дальнейшем и пищевого машиностроения. Дело было ответственным, слишком многое зависело от него, и этот документ в Москву я повез сам. В итоге — наши предложения получили поддержку в Совете Министров СССР.

Одновременно с пищевой закладывались основы и других отраслей промышленности республики. Здесь курс мы взяли на налаживание трудоемких и вместе с тем перспективных производств, таких, как машиностроение, электротехника, приборостроение, — производств, которые могли бы поглотить излишки сельской рабочей силы. Большинство предприятий создавалось на базе бывших мастерских.

Часто мне приходилось бывать на Тираспольском заводе имени Кирова, который стал у нас первенцем молдавской индустрии. С директором, Иваном Семеновичем Шкорупеевым, сложились самые добрые, деловые отношения. И когда понадобился опытный, сильный человек на пост министра местной промышленности республики, я предложил его кандидатуру. По всему он подходил: на заводе (тогда еще в мастерских) — с 1931 года, вырос до главного инженера, потом стал директором, дело знает, с обязанностями справляется хорошо. Но Шкорупеев уперся: нет, и все! К месту привык, неохота срывать.

Как-то позвал его к себе.

— Только что, — говорю, — из района, устал, давай чайку попьем.

А сам думаю: с какой стороны к нему подобраться? Стал про свою судьбу рассказывать — куда только меня не бросало. О новом назначении директора не стал заводить разговор — думаю, поймет намек. Когда прощались, сказал:

— Приеду к вам на завод, посмотрю, к чему вы там попривыкали. А насчет работы посоветуемся с членами бюро.

Молчит, но, вижу по глазам, смекает — придется согласиться с назначением.

На заводе, конечно, подготовились к приезду гостя, хотели «по маршруту» вести, территорию, мол, посмотрим, перспективы на расширение.

— Давайте лучше, — сказал им, — начнем с цехов. А что земли для расширения нет, оно и так видно.

В целом завод, как и в прошлые приезды, понравился. Продукция нужная и неплохого качества: движки, насосы для орошения, наждачные станки, ковочные молоты. Но все это виделось лишь как основа — здесь можно и нужно было развертывать современное производство. Это свое мнение высказал руководству района и завода:

— С реконструкцией и расширением надо хорошенько подумать. Нынешняя территория не годится: через пару лет снова начнете задыхаться, к тому же и железнодорожную ветку сюда не протянешь. Уж если браться, то с перспективой. Продукция ваша и сейчас крайне нужна селу, но пора преодолевать психологию кустар-

ных мастерских. Перестраивать завод надо по-современному и кадры растить всерьез. Важно, чтобы работали металлисты не привозные, а свои, местные.

Со временем так оно и стало. Выбрали площадку и построили практически новый завод. Когда я первый раз приезжал, работало 450 человек, теперь на заводе 4500 квалифицированных рабочих и специалистов. А Шкорупеева мы все-таки уговорили. Стал он министром.

За каких-нибудь два-три года на глазах были преобразованы в современные предприятия Кишиневский завод имени Котовского, Бельцкий мотороремонтный, металлообрабатывающий завод в Единцах, механический в Чадыр-Лунге, насосный в Рыбнице и многие другие.

Все это помогло в считанные годы поднять экономику республики, подтянуть ее индустрию до уровня других промышленно развитых республик. Сравнительно молодому рабочему классу Молдавии стали теперь по плечу самые современные виды изделий.

8

Начало 50-х годов было для Молдавии не только периодом хозяйственно-экономического выравнивания с остальными республиками страны, но и временем бурного становления социалистической молдавской нации, ее нового самосознания, основанного на принципах советского патриотизма и пролетарского интернационализма. Все это проходило негладко, порой в острой идеологической дискуссии — давали себя знать остатки буржуазно-националистического мировоззрения. Члены разбитых националистических организаций, пытавшиеся торговать интересами молдавского народа, вели порой открытую борьбу против социалистической идеологии, за отчуждение молдавской культуры от культуры всех других братских народов нашей страны.

Идеологическая работа партийной организации республики имела огромное значение для становления новой Молдавии. Здесь надо было проявить умение убеждать людей, находить правильные организационные формы, а главное, самому быть убежденным борцом, чутким к товарищам и требовательным к себе работником. В этой связи мне хотелось бы отметить, что всеми этими партийными качествами обладал заведующий отделом агитации и пропаганды ЦК КП(б) Молдавии Константин Устинович Черненко. Молодой, энергичный коммунист, еще до работы в республике приобретший большой партийный опыт, он все силы отдавал порученному делу.

Впоследствии К. У. Черненко занимал ряд крупных партийных и советских постов, и всюду проявлялся этот его талант и опыт. Сегодня К. У. Черненко член Политбюро ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС.

Идеологическая работа была и остается наиболее сложной частью социалистического строительства. Тут дело имеешь непосредственно с человеческой личностью, в том числе с личностью творческой, порой ранимой и противоречивой. Важно, с одной стороны, помочь талантливым людям определиться в служении своему народу, не дать им израсходовать то, что именуют божьим даром, на бесплодную суету, проявить понимание, чуткость, терпение, а с другой стороны, ничем не поступиться в партийных принципах. В те годы мне пришлось пройти школу не просто идеологической работы, но и идеологического противоборства.

Огромные усилия мы прилагали для развития народного просвещения, национальной культуры, воспитания гражданина социалистического мира. Начинать надо было буквально с ликбеза —

учить молдаван молдавской грамоте. (Главным образом это касалось населения правобережной Молдавии.) За пять послевоенных лет свою неграмотность ликвидировало около миллиона взрослого населения республики. За короткий срок удалось восстановить и построить 1472 школы. Необходимо было улучшить культурно-просветительскую работу, наладить издание учебников на молдавском языке, готовить кадры преподавателей. Когда узнал, что молдаване составляют уже больше половины всех учителей, то воспринял это как большой успех национальной политики партии.

Передо мной лежит сейчас протокол одного из заседаний бюро ЦК КП(б) Молдавии. Вот некоторые вопросы, которые обсуждались тогда, в самом конце 1950 года: «Об издании произведений классиков марксизма на молдавском языке; об улучшении книжной торговли в республике; об издании детской литературы; о недостатках в работе республиканского отдела «Союзпечати»; о мерах по улучшению кинообслуживания сельского населения; о состоянии радификации республики; о выполнении Закона о всеобуче; об издании школьных учебников в 1951 году; об улучшении учебно-воспитательной работы в Кишиневском государственном университете...»

Приведу несколько цифр из документов того времени, которые также были присланы мне из архива. Мы радовались, когда особым приказом школам Молдавии выделили 35 тысяч учебников, когда получили сообщение, что на работу в наши вузы из Москвы выезжают 7 профессоров и доцентов. Тогда же, в конце 1950 года, в республику были направлены 25 тысяч детекторных приемников, 30 тысяч метров пленки с радиозаписями, 45 киноаппаратов и 15 печатных машин. Сегодня это кажется каплей в море, но тогда было очень важно, и все это говорит о задачах, которые мы в ту пору решали. Ведь сейчас Молдавия — один из важных центров науки, культуры. Здесь выросла талантливая интеллигенция, выдающиеся ученые, литераторы, артисты.

Сегодня мы с гордостью сознаем, что в нашей многонациональной стране сложилась и расцвела единая по духу и содержанию советская социалистическая культура. Эта культура включает в себя наиболее ценные черты и традиции культуры и быта каждого из народов нашей Родины. В то же время любая из советских национальных культур питается не только из собственных родников, но и черпает из духовного богатства других братских народов и, со своей стороны, оказывает на них благотворное влияние, обогащает их. Все заметнее становятся общие интернационалистские черты. Национальное все больше оплодотворяется достижениями других братских народов. Этот процесс отвечает духу социализма, интересам всех народов нашей страны. Именно так закладываются основы новой, коммунистической культуры, которая не знает национальных барьеров и в равной мере служит всем людям труда. Именно такую цель ставила перед собой партийная организация Молдавии и шла к ней уверенно, не жалея сил.

9

А теперь расскажу немного о Кишиневе — городе, в котором жил и который очень люблю. Поздно вечером 4 марта 1977 года мне позвонили домой:

— Леонид Ильич, в Молдавии землетрясение... По шкале Рихтера около...

— Что в Кишиневе? — прервал я.

— По предварительным данным, разрушения незначительные, пострадали старые постройки, жертв нет.

У меня отлегло от сердца, и я мог уже спокойно выяснить обстановку.

Москвичи, как и жители других городов, видимо, помнят тот тревожный вечер, когда отголоски грозного явления природы докатились и до их жилищ. За несколько минут до звонка, помню, я и мои домашние почувствовали: с домом происходит что-то неладное — качалась люстра, звенела в шкафу посуда.

Как позже выяснилось, это было одно из сильнейших землетрясений нашего века. Главные беды оно принесло Румынии и Болгарии, где были и значительные разрушения и человеческие жертвы. Уже на следующий день мы от имени ЦК КПСС и Совета Министров СССР направили в адрес Центральных Комитетов братских партий и правительств этих стран телеграммы с выражением соболезнования по случаю постигшего их стихийного бедствия и оказали необходимую в таких случаях помощь.

Не скрою, когда я услышал о землетрясении в столице и других городах и селах Молдавии, в первый момент у меня похолодело в груди. В памяти пронесли картины залитых солнцем проспектов, застроенных по-южному легкими и светлыми многоэтажными зданиями. У всех нас еще в памяти трагедия Ташкента. Теперь — недобрая весть из Кишинева, ставшего родным, как каждый город, в котором ты хоть и не родился, но с которым связан не менее прочными узами трудовой деятельности.

Была у меня и еще одна, сугубо личная причина внутренне содрогнуться при мысли о том, какие бедствия могло обрушить на город и его жителей землетрясение. Дело в том, что многоэтажное строительство в столице республики, которое теперь всеми воспринимается как естественное и единственно возможное для такого крупного современного города, началось в свое время по моей инициативе, и, должен сказать, на первых порах оно было встречено многими отнюдь не с энтузиазмом.

Кишинев в год, когда я переехал туда, еще не оправился от войны — люди ютились в подобиях человеческого жилья, новых домов почти не строили. Весь транспорт — две трамвайные линии, переживавшие город. Особенно плохо обстояло дело со снабжением электроэнергией и водой. А городские и республиканские власти не шибко поворачивались в заботах об этих первоочередных нуждах. Пришлось пойти на «волевые» меры. В одном из протоколов бюро я предложил записать: с такого-то числа прекратить подачу воды и электричества в квартиры нижеследующих товарищей. Далее шел немалый список руководителей города и республики. Была в этом списке и моя квартира на Садовой улице. Подействовало! В считанные дни было налажено бесперебойное снабжение города и водой и электроэнергией — кишиневцы вздохнули с облегчением.

Однако я понимал, что это лишь временный выход из трудного положения. Столица Молдавии нуждалась в обоснованном генеральном плане развития. Такой план, разумеется, существовал. И разработан он был не кем иным, как самим академиком А. В. Щусевым, уроженцем Кишинева. Выдающийся архитектор все прекрасно обдумал, все предусмотрел в свое время, но время-то менялось, при этом очень быстро менялось.

Позвал я к себе тогдашнего заместителя Председателя Совета Министров Тимофея Ивановича Трояна — стали снова изучать этот генплан. Оказалось, в городе предусмотрено лишь двух-трехэтажное строительство. Обосновывалось это повышенной сейсмичностью зоны. И резонно: последнее сильное землетрясение было в Молдавии не далее как в 1940 году. Кишинев очень сильно пострадал тогда. И! все же спрашиваю:

— А вы, Тимофей Иванович, согласны с такой постановкой вопроса?

— Нет, не согласен! Ведь город мы планируем теперь на пять-

сот тысяч населения. Сколько же места потребуется, если строить не выше трех этажей?

— Вот и я так думаю: нерентабельно и несовременно. Вдобавок и строительная техника, надо полагать, не стояла все эти годы на месте.

Собрали мы специалистов — ученых, инженеров, архитекторов, сейсмологов. Долго судили и рядили, взвешивали все сомнения, выслушивали любые возражения. Как говорится, семь раз отмерили, прежде чем отрезать. И поставили точку: будем строить многоэтажный город. Речь в то время шла лишь о пятиэтажных зданиях, а не о тех небоскребах, которые украшают нынешний Кишинев. Однако и пять этажей были тогда большим событием. Помню, первый проект такого дома мы тщательно изучали в ЦК. Снова и снова допытывались у сейсмологов: все ли предусмотрено? Так на улице Ленина вырос первый за всю историю молдавской столицы пятиэтажный дом. На него горожане ходили смотреть как на диковинку. Примерно в то же время мы открыли домик-музей академика Щусева, который сказал в свое время: «Жилище — это 30 процентов человеческого счастья».

С первого многоэтажного дома фактически началось массовое строительство в городе. Но нужно было решить еще одну проблему — из чего строить? Стройиндустрия была в Молдавии еще слаба. Однако при внимательном взгляде выяснилось: мы не умели рационально использовать даже то, чем располагали, — свои возможности, местные материалы, энергию и таланты людей. Замечу, кстати, что эта застарелая болезнь мешает нам и сейчас, и чем больше масштабы экономики, тем болезненнее сказывается она.

Как-то поехали мы с Трояном посмотреть, как добывается для строек камень. В сущности, это и был тогда весь наш строительный потенциал — старинные Криковские каменоломни, откуда брали так называемый рваный камень и ракушечник. Производительность гряда была в этих пещерах низкая, а труд тяжел: ручные пилы, керо-синовые лампы, примитивные рычаги. Но выход нашелся.

Оказалось, что существует изобретение здешнего инженера-железнодорожника К. П. Галанина — камнерезная машина, которой в республике почему-то не дали хода. Пришлось взять ее под опеку, встретался много раз с Константином Петровичем, ездили вместе испытывать его машину в те же пещеры. И вскоре наладили производство машин. (Теперь, замечу, машина Галанина распространилась по всему Союзу, спрос на нее велик, в Армении ее выпуском занят целый завод.) А нам машина эта — спасибо даровитому человеку! — помогла тогда поднять Кишинев в буквальном смысле слова на новую строительную высоту.

Трудностей не стало меньше, остро не хватало специалистов, строительной техники, кранов, машин. Но изменился стиль отношений и очень многое пошло по-иному. Появились другие интересные предложения, проекты, идеи, нашлись другие смелые, находчивые люди, умевшие смотреть вперед, и, разумеется, следовало их поддерживать, нужна была организационно-политическая работа, требовалось вести борьбу с равнодушием, косностью...

Сегодня у нас, скажу без преувеличения, гигантская армия квалифицированных строителей, архитекторов, проектировщиков. Создана и строительная индустрия, которой может позавидовать мир. Есть все предпосылки к тому, чтобы города наши поднимались один краше другого. Да и есть у нас чем гордиться и в городах и в сельской местности, построены отличные микрорайоны в столицах республик, выросло много замечательных зданий в Ленинграде и Москве. И все же подчас вызывает досаду распространенная еще безликость — стандартные районы во многих городах страны.

Думается, что теперь, когда утолен первый жилищный голод, когда десятки миллионов семей уже справили у нас новоселье, нель-

зя строителям гнаться только за количеством квадратных метров жилплощади, забывая о качестве квартир и внешнем виде наших улиц и площадей. Иногда задают вопрос: можно ли добиться выразительности и красоты при массовой застройке? А ответ давно известен: не только можно, но и нужно! Имеются и у нас в стране примеры хорошей современной застройки в Вильнюсе, Алма-Ате, Ереване, в новом Ташкенте, в подмосковном Зеленограде, в том же Кишиневе — словом, всюду, где зодчие строили то, что задумали, а не то, что выйдет само собой. Возвращаясь к Кишиневу, скажу: опыт его застройки во многом поучителен. Город и красив и, как показало землетрясение, прочен.

У нас прекрасные традиции русской архитектуры, национально-го зодчества других народов нашей страны. Используются они, надо сказать, пока еще слабо. Забывают строители и доброе правило отечественных мастеров — строить на века! Меня эта проблема волнует, и, думаю, пришла пора решать ее сообща и самым основательным образом.

* * *

Вспоминая теперь годы своей работы в Молдавии, как и в Днепропетровской области, в Запорожье, на Урале, я испытываю чувство удовлетворения. Да, хочется повторить: мы делали дело, шли все годы по неизведанному пути, прокладывали путь по целине в прямом и переносном смысле слова. Так было и в Молдавии. Мне пришлось работать там не очень долго. Осенью 1952 года состоялся XIX съезд партии, и я вместе с делегацией Компартии Молдавии поехал в Москву. Съезд избрал меня членом ЦК Коммунистической партии Советского Союза и секретарем ЦК. В Кишинев я вернулся для того, чтобы попрощаться с товарищами. Обходил все комнаты нашего партийного дома на Киевской, звонил молдавским друзьям в колхозах и совхозах. Их было у меня немало. Многие пришли сказать мне напутственное слово на вокзале.

Вышло так, что приехал я в Молдавию весной, а уезжал осенью. И мне всегда тепло на душе при мысли о том, что все посеянное в те годы дало всходы, расцвело и мы собираем теперь урожай. Усилия коммунистов, всего населения республики принесли прекрасные плоды. Советская Молдавия полнокровно и счастливо живет в союзе братских республик нашей многонациональной Родины. Она достигла огромных экономических и культурных успехов, которыми по праву гордится сегодня молдавский народ, гордятся все братские народы Советского Союза.

Все это — результат ленинской национальной политики партии, социалистической системы хозяйствования, братского сотрудничества и взаимопомощи всех республик нашей страны.

Обращаясь к дням минувшим — и передо мной встает время героического труда, глубочайших преобразований и выдающихся свершений во всем социалистическом отечестве наших народов. И одно из самых ярких, определяющих свершений — интернациональное братство советских людей. Это поистине историческая победа социализма. Интернационализм стал глубоким убеждением и нормой поведения миллионов и миллионов советских людей. Это подлинно революционный переворот в общественном сознании, значение которого трудно переоценить.

Сплотить все нации и народности смогла Коммунистическая партия, последовательно выражающая интересы рабочего класса, трудящихся всех национальностей. Такой создал нашу партию коммунистов великий В. И. Ленин. Такой она является сегодня. Такой она будет и впредь.

КОСМИЧЕСКИЙ ОКТЯБРЬ

1

Новое, послевоенное поколение советских людей вступило в жизнь в космическую эпоху. Молодежи подчас трудно даже представить себе, что еще четверть века назад не было ни спутников, ни космонавтов, ни полетов к Луне, Марсу, Венере. А были только мечты об этих полетах, мечты, которые человечество пронесло через столетия. Верно сказал поэт: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...» Именно наш народ начал отсчет космической эры.

Миллиарды людей на планете впервые прикоснулись к тайнам космоса в тот день и час, когда узнали о запуске первого искусственного спутника Земли. Для абсолютного их большинства, для жителей всех континентов и стран это было ошеломляющей неожиданностью. А наши ученые, конструкторы, рабочие, монтажники, строители своими руками готовили смелый бросок в неведомое.

4 октября 1957 года, когда взлетел над Землей первый спутник, началась новая эра в истории земной цивилизации. Произошло это всего через четыре десятилетия после победы Великого Октября. Исторически срок небольшой. Но в жизни нашего народа этот срок вместил величайшие политические, экономические, технические, культурные преобразования. Потому-то Советский Союз и стал пионером освоения космоса.

Говорю об этом не для того, чтобы лишний раз утвердить наш приоритет, хотя и это важно. Но еще важнее сказать о другом: космический Октябрь вновь показал всему миру созидательную мощь победившего социализма, силу подлинно свободного труда миллионов, творческий гений великого народа, руководимого Коммунистической партией.

Вот о чем хотелось бы в этой главе рассказать.

Вспоминается сцена из романа А. М. Горького «Жизнь Клима Самгина». У него описан горячий спор о будущем, происходивший еще до революции, в канун Октября. И вот один из героев романа — рабочий, большевик-ленинец — бросает в споре пророческие слова: «Космические вопросы эти мы будем решать после того, как разрешим социальные. И будут решать их не единицы, уstraшенные сознанием одиночества своего, беззащитности своей, а миллионы умов, освобожденных от забот о добыче куска хлеба,— вот как!»

Именно так стало в действительности. Народ, который первым в истории разорвал цепи социального гнета, первым сбросил и путы земного тяготения. Это факт, это навеки записано в наш актив, этим и далекие наши потомки будут по праву гордиться.

В век космонавтики мы вступили не как наблюдатели, а как первооткрыватели. На Западе не нашли тогда иного объяснения как то, что-де успех СССР — чистая случайность. В самом деле, страна, которая всего за сорок лет до этого была отсталой, которой пришлось преодолевать разруху, голод, экономическую блокаду, тяжелейшие войны,— страна эта не только сама смогла подняться на вершину научно-технического прогресса, но и другим народам указала путь. Первой начала прокладывать трассу к звездам.

Нет, никак не назовешь это случайностью. В 1979 году исполнилось 50 лет с начала первой пятилетки. Это славная дата. Весь наш народ, вся партия отметили ее широко. Позади у нас лежат не просто годы, но годы, спрессованные в пятилетия, заполненные ге-

роическим, самоотверженным трудом. И если вспомнить все и поглубже обдумать, то прорыв в космос был логическим продолжением подвига пятилеток, индустриализации страны, достижений нашей экономики, успехов нашей науки, роста образованности, сознательности, культуры рабочего класса, всех трудящихся Советского Союза.

Народ наш любит и умеет мечтать, но мы не просто мечтатели. На земле калужской, на земле русской жил замечательный ученый Константин Эдуардович Циолковский, который с изумительной прозорливостью предсказал эру освоения космического пространства, предусмотрел даже очертания многоступенчатых ракет и рассчитал космические скорости. Развитие космонавтики идет по плану, разработанному им еще в начале нашего столетия.

Конечно, даже в самых дерзких своих фантазиях он не мог угадать, что новая эпоха в жизни человечества наступит так скоро. Но после победы Великой Октябрьской социалистической революции К. Э. Циолковский сказал: «Теперь, товарищи, я точно уверен в том, что и моя другая мечта — межпланетные путешествия, — мною теоретически обоснованная, превратится в действительность».

Первым среди его учеников и последователей мы с полным основанием называем имя великого ученого и конструктора XX века академика Сергея Павловича Королева. Он как-то рассказывал мне, что всегда мечтал о космосе и в молодости даже ездил в Калугу, беседовал с основоположником теории освоения космоса. В зрелые годы Сергей Павлович соединил эту теорию с практикой, направил в просторы Вселенной первые спутники, автоматические межпланетные станции, космические корабли.

Мне посчастливилось близко знать этого человека, часто встречаться с ним. Космические дела вошли в мою жизнь задолго до того дня, когда все узнали о них. Дело в том, что Центральный Комитет поручил мне как секретарю ЦК КПСС координацию всех работ по развитию ракетно-космической техники. Пришлось вплотную заниматься конкретными вопросами, связанными с осуществлением нашей космической программы.

Но тут, наверное, лучше будет начать с самого начала.

2

Сейчас Байконур известен всему миру. Но ранее это был затерянный в полупустыне крохотный поселок. Теперь ни у кого не вызывает сомнений, что именно отсюда должны были прокладываться первые дороги в космос, что в этой точке земного шара и следовало строить космический центр, что только так надо было действовать и решение это единственно верное. По прошествии времени всегда нам кажется, что иных вариантов и быть не могло.

На деле же, замечу, судьба у Байконура была не из легких. Еще в пору работы на целине перед нами была поставлена задача — помочь ученым в выборе подходящего места для строительства космодрома. Вопрос считался секретным, к нему причастен был только узкий круг специалистов. В 1955 году такое место было найдено — в южной части Казахстана, недалеко от Аральского моря. Мог ли я думать тогда, что в скором будущем мне предстоит заниматься всем комплексом дел, которые воплощены для нас сегодня в понятии Байконур?

Однако жизнь позволяет себе самые удивительные совпадения. Целина в те годы взяла сразу два великих исторических старта — могучий хлебный и легендарный космический. Поистине символично, что они сошлись не только во времени, но и в пространстве.

И все же решилось это не легко и не просто. Едва приняв космическо-ракетные дела под свой контроль, я должен был выступить арбитром в острой дискуссии. Суть в том, что места для будущего космодрома подбирались и в других районах страны. Самым тщательным образом они исследовались, оценивались, и в начале 50-х годов было немало споров, где разместить космодром — в казахстанском Приаралье или на Черных землях Северного Кавказа? У каждого варианта были, как говорится, свои за и против.

Специалисты хорошо понимали: быстрее, проще, дешевле было бы обосноваться на Черных землях. Здесь и железная дорога, и шоссе, и вода, и электроэнергия, весь район обжитой, да и климат не такой суровый, как в Казахстане. Так что у кавказского варианта было немало сторонников.

Много пришлось мне в то время изучить документов, проектов, справок, обсудить все это с учеными, хозяйственниками, инженерами, специалистами, которым в будущем предстояло запускать ракетную технику в космос. Постепенно обоснованное решение складывалось и у меня самого.

Центральный Комитет партии выступил за первый вариант — казахстанский. Мы исходили из того, что на Северном Кавказе прекрасные пахотные земли, отличные пастбища. И лучше пойти на дополнительные затраты, но использовать практически мертвые земли в Приаралье. Создавая одно, надо было заботиться, чтобы оно не приносило ущерб другому. Жизнь подтвердила целесообразность и правильность такого решения: земли Северного Кавказа сохранены для сельского хозяйства, а Байконур преобразил еще один район страны.

Ракетный полигон требовалось ввести в строй быстро, сроки были жесткие, а масштабы работ — огромные. После одной из очередных командировок в Байконур ко мне пришел Главком Ракетных войск Митрофан Иванович Неделин.

— Как со строительной техникой? — спрашиваю Неделина. (Начальник строительства месяц назад жаловался, что ее недостаточно, и я просил товарищей из Совета Министров помочь.)

— Сейчас дело выправляется, — ответил Митрофан Иванович, — машины идут одна за другой. Пыль стоит над степью такая, что днем солнца не видно.

Остановлюсь на одной проблеме, которая нас очень тогда волновала: в Байконуре надо было выполнить большой объем земляных работ. В первую очередь, конечно, предстояло построить стартовые комплексы. В степи вырос поселок из вагончиков и палаток. В нем пока жили первостроители Байконура.

Как-то так получается, что теперь на страницах печати больше рассказывается о конструкторах и ученых, которые трудились на космодроме в те годы. Меньше говорится о строителях. Но о них тоже стоит сказать немало добрых слов. Ведь это они продолжили подвиг строителей Магнитки, Днепрогэса, Комсомольска-на-Амуре и Турксиба. Нужно было проявить изобретательность, мастерство и волю, чтобы в короткий срок возвести невиданные сооружения. Немало волнений и забот доставило это строительство. Ведь здесь все было новым, еще доселе никогда не возводившимся. Шел огромный строительный эксперимент.

К примеру, для одного из стартовых комплексов требовалось вынуть и вывезти более миллиона кубометров земли. Работа не прекращалась ни днем, ни ночью. И вот когда до проектной отметки осталось всего около десяти метров, произошло непредвиденное: из геологической скважины, которая бурилась рядом, ударил фонтан воды. Оказалось, что котлован находится рядом с подземной рекой и в любую минуту он может быть затоплен.

Об этом доложили мне. Решение надо было принимать немедленно. Возникло несколько предложений. Земляные работы можно было продолжить с помощью водопонижающих установок. Однако этот вариант задерживал строительство комплекса на год — только к этому времени промышленность могла изготовить иглофильтры. Было предложено перенести старт на другое место. Но на это тоже нельзя было идти, так как ракета и сооружения должны быть готовы одновременно. А может быть, главный конструктор стартового комплекса разрешит уменьшить глубину сооружения? Он ответил строителям:

— Впереди у вас будет еще много таких заданий, поэтому строительные проблемы не старайтесь перекидывать на конструкторов техники, у них своих забот по горло. Я не могу согласиться на ваше предложение, так как мне нужно сто процентов гарантии успеха. Глубина сооружения не может быть меньше длины свободного пробега газовой струи работающей ракеты. Это на сегодня закон. У нас все готово, мы ждем ваш стартовый комплекс.

Я поддержал этого человека. Главный конструктор, будущий академик, был, безусловно, прав. Следовало искать иной выход. Работы на стройке временно прекратились.

Начальником строительства Байконура был генерал Г. М. Шубников. Его имя хорошо известно в нашей армии. Он создавал мощные оборонительные сооружения на различных фронтах Великой Отечественной войны, под огнем врага возводил переправы через Днепр и Вислу, после победы строил мемориальный комплекс в Берлине — Трептов-парк.

К Георгию Максимовичу Шубникову с фантастической идеей пришел один из прорабов. Для возведения котлована он предложил использовать мощный взрыв.

Шубников загорелся идеей, познакомил с нею и меня.

— Почему же не использовать этот последний шанс, — сказал он, — я за. Если взрыв отожмет воду так, что она возвратится лишь через несколько недель, то мы успеем забетонировать фундаментную плиту, построим насосные станции, заложим дренаж, а потом нам любые подземные реки не страшны.

Я сказал:

— Действуйте, работайте спокойно, но рассчитайте все еще раз.

Шубников долго не давал знать, что происходит на котловане. Хотя молчание создавало проблему: ходом строительства интересовались на всех уровнях. Признаюсь, я волновался за исход этого смелого строительного проекта, но старался волнения не выдавать. Даже не звонил на Байконур. Ждал и не торопил Шубникова и его людей. Знал, что в этом опасном деле надо все тщательно обдумать и предусмотреть.

И вот через некоторое время на строительстве раздался мощный взрыв, такой, что в домиках поселка, находившегося в нескольких километрах, повыветели стекла. «Наконец-то Шубников заговорил!» — шутили тогда многие. Дело было сделано. Ну а как же подземная река, которая тогда причинила нам немало хлопот? Она до сих пор течет у стартовой площадки, но теперь она уже не страшна. Дело сделано. Расчет оправдался.

С именем Шубникова, многих других товарищей, прошедших огненными дорогами войны и гордых своей профессией строителя, связано возведение стартового комплекса Байконура, с которого начался путь во Вселенную. В короткие сроки был построен старт для первой советской межконтинентальной ракеты — уникальное инженерное сооружение, поражающее воображение и сегодня. На многих предприятиях страны — в Москве и Ленинграде, Свердловске и Киеве, Горьком и Красноярске (да разве возможно перечислить все замечательные заводы, где рождались конструкции стартового комп-

лекса Байконура) — тысячи рабочих, техников, инженеров воплощали в металл, как принято иногда говорить, идеи ученых. К 1 мая 1957 года строители доложили о готовности сооружений. Одновременно были изготовлены первые экземпляры наших ракет.

Задание партии, Родины выполнено! Но теперь, как часто любил повторять Сергей Павлович Королев, надо было «научить ракету летать». Всем приходилось трудно. Мне тоже приходилось часто выезжать на заводы в конструкторские бюро, встречаться с десятками людей. Итог этой работы, естественно, принес всем нам огромное удовлетворение. Первый же испытательный пуск ракеты показал: вера в талант ученых и конструкторов, в мастерство рабочих и инженеров, четкая и глубоко продуманная организация труда, координирование усилий многих ведомств, организаций, заводов оправдали себя.

И теперь тот самый первый ракетный комплекс провожает в космическое пространство спутники и корабли. С него стартовали «Востоки» и «Восходы», начинают по-прежнему свой путь корабли «Союз».

Улицы Байконура носят имена пионеров космонавтики, в том числе и выдающегося строителя Георгия Максимовича Шубникова. И еще добавлю: улицы Байконура — это своеобразная история возводивших его людей.

Но если на стартовых комплексах работали главным образом мужчины, то основная тяжесть трудов по благоустройству города легла на плечи женщин. Хотелось бы сказать о них особо.

В Байконуре жены офицеров объявили беспощадную войну пескам и пыльным бурям. Город строили в полупустыне. И хотя вокруг практически ничего не росло, среди вагончиков и временных домиков начали вдруг появляться цветочные клумбы и первые деревца. Разве что за детьми ухаживали так же заботливо, как за этими первыми саженцами. И на мертвой земле через несколько лет появились парки и зеленые насаждения, удивляющие теперь гостей Байконура.

В разные времена года мне приходилось бывать на космодроме. Весна и осень — лучшая здесь пора. В октябре созревают знаменитые дыни с бахчи, что находится неподалеку от стартовых позиций, они наливаются, как здесь шутят, «космическим соком» — вкусны необыкновенно. Так что жители Байконура могут ими гордиться.

Есть в Байконуре музей. К сожалению, не всегда успеваем мы думать о том, какие именно экспонаты надо оставлять потомкам в память о нашем времени. Бывает, что уже не найти сегодня многих самолетов, составлявших гордость страны в предвоенные годы, первых наших автомобилей, тракторов и т. д. Спустя десятилетия иногда по крохам приходится собирать документы и материалы, рассказывающие о том или ином событии в истории народа. Вот по этой причине труд работников музея в Байконуре и их добровольных помощников заслуживает самой высокой оценки. Уже сегодня то, что собрано и сохранено ими, дает довольно полное представление о создании космодрома и города, о том, как рождалась космическая история страны.

3

Новое дело всегда растит новых людей. Космическая программа выявила много даровитых, ярких работников во всех областях науки и техники, в проектировании и производстве. Над ее осуществлением самоотверженно трудились и трудятся в наши дни многие тысячи советских людей — ученые, конструкторы, инженеры, техники, рабочие самых различных профессий. Есть среди них необычайно интересные люди.

Не так давно я познакомился с воспоминаниями ведущего конструктора первого корабля «Восток». 22 июня 1941 года ранним воскресным утром он принял бой на пограничной заставе и до последнего дня войны был в действующей армии. После победы стал инженером, а в начале 50-х годов пришел работать в конструкторское бюро С. П. Королева. И вот что написано у него о том времени, когда мы начинали осваивать новое и сложное дело:

«Наши характеры выковывал фронт. В промышленность, и в нашу область, пришли фронтовики. Они не считались ни со временем, ни с любыми трудностями... Уверенность в своих силах помогала и объединяла людей. Нравственный климат в коллективе был особый... Это сплавило людей... Космос стал символом могущества страны, ее взлетом, гордостью, счастьем».

Очень верно сказал конструктор. Эти люди прекрасно понимали ответственность перед Родиной и ее будущим. Всем им надо было вникнуть во множество проблем, связанных с развитием новой области знаний, а новым было все, от производства ракет до оснащения космонавтов и их подготовки к полетам.

Естественно, и мне в кратчайшие сроки надо было вникнуть в детали этого сложнейшего дела. Познакомился близко с учеными, конструкторами, технологами, со многими, кто непосредственно связан был с производством ракет и будущих космических кораблей.

Особо признателен Дмитрию Федоровичу Устинову, который помог освоиться со многими специфическими вопросами этих новейших отраслей. Д. Ф. Устинов еще в годы войны был наркомом и успешно занимался оснащением нашей армии военной техникой. Сразу после победы он принял самое активное и непосредственное участие в создании ракет. Дмитрий Федорович хороший инженер, практик, с глубокими знаниями, большими организаторскими способностями. В те годы о выходных днях, как и все мы, он понятия не имел. Воскресенье заставало его обычно в самолете: он летел на испытательный полигон или на строительство ракетного комплекса, чтобы не только самому убедиться, как обстоят дела, но и выяснить, чем надо помогать в первую очередь. Работать с Дмитрием Федоровичем всегда было приятно и интересно.

Для создания спутников и ракет потребовалось решить много сложнейших задач в области конструирования, технологии и организации производства новых материалов, а также самых совершенных и точных приборов, разнообразного наземного оборудования. Многие технологические процессы существовали лишь на бумаге, в лучшем случае были опробованы только в лабораторных условиях. И приходилось одновременно со строительством новых цехов и заводов параллельно создавать необычайно сложные технологические процессы и конструкции. Но, как уже не раз бывало в нашей стране, находились ученые, конструкторы, инженеры, рабочие, способные преодолеть все, что стояло у них на пути к цели.

Помню, в 1956 году я приехал в конструкторское бюро Сергея Павловича Королева. Хотел поближе познакомиться с конструкцией машин, которые должны были вскоре вывиться на свет. Пока же будущая легендарная «Семерка» (ракетоноситель С. П. Королева) существовала лишь в проектах. В так называемом голубом зале на стенах были развешаны схемы, плакаты. Сергей Павлович подробно рассказал о ходе работ над носителем и тяжелым спутником, о сложностях, которые предстоит преодолеть,— речь шла и о двигателях, и о системе управления, и обо всем стартовом комплексе.

— По нашим расчетам,— сказал Королев,— летные испытания носителя мы сможем начать в июле — августе пятьдесят седьмого года.

Характерная черта этого человека: он никогда не сглаживал острых углов, не таил трудностей. Но его целеустремленность, воля, убежденность не могли не восхищать. Среди специалистов тогда вы-

сказывались опасения, что «Семерка» может и не взлететь, очень уж непривычны были и сама конструкция и весь стартовый комплекс. Сергей Павлович подтвердил, что некоторые технические проблемы, «загвоздки», как он любил говорить, решены еще не до конца.

— Но ими занимаются очень светлые головы,— неожиданно улыбнулся Королев и назвал имена многих своих соратников, которых позже и мне довелось хорошо узнать.— Я уверен, что они найдут верные решения.

Разговор у нас вышел откровенный, прямой. Сергей Павлович не скрыл, что нередко еще приходится ему преодолевать скептицизм некоторых ученых, выражающих сомнение в правильности избранного им, Королевым, пути.

— Однако споры бывают полезны,— возразил я.

— Да,— кивнул он,— когда споры деловые.

Человек был очень непростой. (Замечу к слову, что в некоторых описаниях представлен он, как и другие покорители космоса, весьма торжественно, характеры их упрощены, а трудности, которые пришлось им преодолевать, сглажены.) Сергей Павлович Королев отличался твердым характером, бывал, когда нужно, требовательным, даже жестким, был порою упрям, но одновременно и достаточно гибок. Он умел не только убеждать в своей правоте, но и внимательно прислушиваться к оппонентам.

Работы по изготовлению «Семерки» шли полным ходом. И в ЦК партии и в Совете Министров внимательно следили за ее созданием. Однажды Дмитрий Федорович Устинов сообщил, что все приготовлено для стендовых испытаний двигателей носителя, и пригласил посмотреть на них.

Космическая программа потребовала гигантской работы на земле — многочисленных проверок каждого узла и деталей ракетносителя. Для этого были разработаны уникальные сооружения, такие, как испытательный стенд для двигателей. Его размеры огромны. Многоэтажная металлическая конструкция нависала над оврагом. На ней и был укреплен блок ракеты с двигательной установкой.

Вместе с Дмитрием Федоровичем Устиновым и Сергеем Павловичем Королевым мы прошли в бункер управления. Здесь было человек десять — двенадцать испытателей. Королев отдал распоряжение о начале работ.

Послышались команды:

— Готовность!.. Протяжка!.. Ключ на дренаж!

Волнение охватило всех. Были среди нас люди более спокойные и менее спокойные, но равнодушных, уверен, не было. Вдруг слышу шепот:

— Подвиньтесь, пожалуйста, дайте и мне посмотреть.

На испытателя сразу же зашикали. Я обернулся: один из механиков пытался пробиться поближе к смотровому окну. Понял его: долгие месяцы человек ждал этого дня, готовил его, ночей, может быть, не спал, а пришел момент — и даже не увидит толком.

— Пробирайтесь сюда,— пригласил я его,— будем смотреть вместе.

Новая команда:

— Зажигание!

Раздался мощный грохот, словно десяток орудий выстрелил одновременно. Стенд и ракетный блок окутались подсвеченным изнутри дымом. И тотчас мы увидели громадную струю пламени, походящую на рокочущий огненный водопад... Удивительное зрелище — работа ракетных двигателей! Четыре боковых блока затихли, но центральный ствол по-прежнему извергал пламя. Сто с лишним секунд продолжался огненный гром. И потом сразу вдруг наступила поразительная тишина. Как отрезало. В бункере все улыбались: испытание прошло успешно. Конструкторы, инженеры, механики об-

нимали друг друга и тут же начали обсуждать результаты первой проверки.

— Теперь она обязательно полетит,— сказал Королев.

Все горячо поздравили Главного конструктора, который, конечно же, больше всех был взволнован в эти минуты, хотя внешне держался очень спокойно.

— Будем ждать этого полета,— сказал я, поздравляя С. П. Королева.

Создатели ракетной техники оправдали надежды, которые возлагала на них партия. Благодаря их самоотверженности, мужеству и героическому труду в августе 1957 года состоялся пуск первой советской межконтинентальной баллистической ракеты. Стартовав с Байконура, ракета точно легла на курс, и ее головная часть достигла расчетного района. Это была выдающаяся победа отечественной науки и техники. Мы стояли на пороге удивительных свершений. Открывалась в жизни человечества новая эпоха — космическая. А началась она довольно необычно. Однажды, приехав ко мне, Сергей Павлович сказал:

— Предлагаю на следующем экземпляре ракеты установить ПС — простейший спутник. Зачем нам возить балласт? Пусть над земным шаром летает хотя бы модель космического корабля, с помощью которой можно будет получить первые научные данные об ионосфере Земли и проверить наземную систему наблюдения.

Мне было известно, что в конструкторском бюро Королева уже создавался такой спутник. После обсуждения было признано, что установка на ракете даже небольшого ПС принесет новые, ценнейшие сведения, которые будут полезны в дальнейших работах. И спутник было решено установить на ракете во время ближайшего пуска «Семерки».

Здесь уместно сказать еще об одной черте академика Королева. О нем уже немало написано, по достоинству оценен его вклад в науку и технику. Сергей Павлович был замечательным ученым и инженером — эти стороны его деятельности широко известны. Однако был он, на мой взгляд, и незаурядным политиком. Одним из первых этот человек предугадал и по достоинству оценил то огромное влияние, которое окажут космические исследования на обстановку в мире. Он понимал, что на примере достижений космонавтики можно убедительно показать, как далеко по пути прогресса шагнула первая страна социализма.

Еще в далекие 30-е годы С. П. Королев, глубоко сознавая взаимосвязь науки и политики, правильно определил воздействие научно-технической революции на социальные преобразования общества. Его научный труд, вышедший в 1934 году, «Ракетный полет в стратосфере» заканчивается такими словами: «Мы уверены, что в самом недалеком будущем ракетное летание широко разовьется и займет подобающее место в системе социалистической техники. Ярким примером тому может служить авиация, достигшая в СССР такого широкого размаха и успехов. Ракетное летание, несомненно, может претендовать в своей области применения вряд ли на меньшее, что со временем должно стать привычным и заслуженным».

Соединение идейности, преданности социалистической отчизне с глубокими специальными знаниями и талантом сделало коммуниста С. П. Королева выдающимся ученым, который чутко понимал нужды и возможности страны и, реально оценивая обстановку, искал и находил наиболее эффективные решения. Таким его воспитала партия.

4

4 октября 1957 года мир был взбудоражен и потрясен. Слово «спутник» сразу стало интернациональным. Академик А. А. Благо-

нравов, один из пионеров отечественного ракетостроения, находившийся в те дни в США, рассказывал мне как-то при встрече:

— Меня ученые буквально засыпали вопросами: как это СССР опередил США? Значит, межконтинентальная баллистическая ракета у вас не блеф? Не вкралась ли опечатка в цифру веса вашего спутника — восемьдесят три килограмма, ведь наш-то первенец будет весть лишь несколько фунтов?

Но первый спутник был только началом. Успешно произведенный запуск 4 октября, естественно, стимулировал наши работы в этом направлении. Я пригласил Сергея Павловича Королева в ЦК. Тепло поздравив его с успехом, спросил:

— Возможно ли в ближайшее время запустить новый спутник?

— Мы думали об этом,— ответил он.— Месяца за полтора-два можно подготовить очередной запуск.

— Что ж, Сергей Павлович, это был бы для всего народа хороший подарок. Но учтите: повторение пройденного нам не нужно. Очень важно, чтобы новый спутник качественно отличался от первого.

— Разумеется,— сказал он.— У нас намечен эксперимент с животным. Это будет большой шаг вперед.

С Королевым всегда было легко говорить и работать, хорошо понимать друг друга. Конечно, такой запуск позволил бы впервые оценить, как ведет себя живой организм в космическом пространстве, какое воздействие окажет на него состояние невесомости. Это очень важно, сказал Сергей Павлович, для полета первого человека в космос.

А вечером следующего дня он позвонил мне и сказал, что все его сотрудники вернулись из отпуска до срока.

— Уже приступили к работе,— по обыкновению лаконично добавил Сергей Павлович.

В первых числах ноября на орбиту был выведен спутник с собакой по кличке Лайка. Летал он успешно. На Землю поступали бесценные сведения о том, как ведет себя в космосе это первое живое существо. Это был хороший подарок конструкторов, ученых, рабочих к 40-й годовщине Октября.

Потом были новые старты. И в каждом полете наш Главный конструктор решал какую-нибудь принципиально новую космическую задачу. Скоро советские научные станции достигли Луны, сделали и передали на Землю фотографии ее обратной стороны. Дело день ото дня разрасталось. Речь шла уже о создании специализированных предприятий, на которых ученые и конструкторы начнут заниматься и межпланетными автоматами, и пилотируемыми орбитальными станциями, и спутниками. Но сердцем огромного дела по-прежнему оставалось конструкторское бюро С. П. Королева. Научные и технические идеи этого человека всегда были интересны, хорошо обоснованы, тщательно продуманы и, можно сказать, выстраданы. Они привлекали сочетанием самой безудержной смелости с самой строгой реальностью.

Жизнь Сергея Павловича Королева — ярчайший пример того, насколько Великий Октябрь преобразил не только судьбы мира, но и судьбу каждого человека. Будучи еще молодым рабочим, он мечтал об авиации и добился своего — начал создавать планеры, сам испытывал их. Став конструктором, он познакомился с трудами К. Э. Циолковского, увлекся ракетной техникой... Казалось бы, фантастикой занимались такие инженеры, как Королев. Ведь только начинались 30-е годы. Но партия и правительство поддерживают энтузиастов, и организуется знаменитый ГИРД (Группа изучения реактивного движения) — прародитель будущих мощных конструкторских бюро и заводов, создающих ракетную и космическую технику.

Попутно замечу: немало у нас и теперь изобретателей. Многие

миллионы рублей экономии дают они ежегодно стране, успешно решают сложнейшие проблемы научно-технического прогресса. Однако, чего греха таить, есть люди, которые скептически относятся к этой работе: сейчас, мол, не время для фантазий. Как ошибаются они! Ведь и тогда говорили, что от затеи гирдовцев вряд ли будет хоть какой-то эффект в ближайшее время, но в помощи изобретателям не отказывали. И когда пришли грозные годы войны, именно они дали нашей армии легендарные «катюши». А вскоре после войны помогли становлению реактивной авиации, создали ракетную технику. Разве смогли бы мы выйти в космос, если бы еще в 30-е годы такие «фантазеры» и «мечтатели», как Королев, не начали упорно работать?

Одни считали его ученым, другие — конструктором, третьи — организатором науки, вольно или невольно противопоставляя эти понятия. Думается, наука и техника XX века настолько тесно слились воедино, что не всегда можно провести грань: вот здесь кончаются фундаментальные исследования, а здесь начинаются прикладные. Масштаб личности Королева тем и велик, что он соединил в себе выдающегося ученого, прекрасного конструктора и талантливого организатора. Именно такой человек необходим был новому огромному делу — человек, всю свою жизнь без остатка посвятивший единой цели. Наверное, иначе и нельзя в век, когда наука становится непосредственной производительной силой, когда роль ее в жизни общества необычайно возросла.

Наш Главный конструктор любил помечтать о будущем. Бывало, выпадет свободная минута, и он начинает говорить о кораблях, которые уйдут в полет «пятилетки через две-три», о больших орбитальных станциях, о необычных профессиях космонавтов — скажем, астроном, сварщик. А ведь запущены были только первые спутники и сравнительно простые космические автоматы... Время показало, что и тут «фантазии» Королева опирались не только на интуицию ученого, но и на точный инженерный расчет. Не случайно до сих пор приходится слышать: идея Сергея Павловича осуществилась! Его соратники часто подчеркивают, что и в современных космических аппаратах очень много королевского...

Написал я это слово — и подумал о том, что сколь бы ни была совершенна новая техника, а рано или поздно и ей суждено устареть. Остается другое — принципы, методы работы, влияние человека на его современников. Сергей Павлович стал Учителем с большой буквы для тысяч ученых и конструкторов, он воспитал многих учеников, которые в свою очередь передадут свой опыт и знания новым поколениям. И никогда не забудется, что родоначальником этой цепочки был академик Королев.

Работать, как он, — значит мужественно, целеустремленно идти вперед, дерзать, мечтать и бороться за свою мечту. Каждую минуту, каждый час, каждый день — и так всю жизнь!

Однако не следует думать, что Сергей Павлович приходил ко мне в ЦК всегда только с новыми планами, деловым, озабоченным. Это был очень жизнелюбивый человек, с большим чувством юмора. Случалось иногда так: зайдя по делу, он вдруг откладывал в сторону бумаги и рассказывал какой-нибудь случай, происшедший в конструкторском бюро или на космодроме. Рассказывал увлеченно, с юмором. Иногда пересказывал шутивную историю, выдуманную его сотрудниками о нем самом. Королев был строг, требователен и к себе и к своим товарищам, но держался всегда просто. Это очень помогало в работе. Бывает ведь и по-другому. Зайдет человек, чувствуешь: скован, немедля со всем соглашается. Королев же в любой обстановке умел отстоять свою точку зрения. Мог, однако, и мягко отшутиться, проявить находчивость в разговоре.

Вспоминаю один проведенный с ним предновогодний вечер. Мы

засиделись допоздна — надо было обсудить немало сложных вопросов. Уже прощаясь, Сергей Павлович рассказал мне о сотне бутылок французского шампанского, которые неожиданно получило их конструкторское бюро. Оказалось, какой-то винодел в Париже поспорил со своими приятелями, что люди никогда не смогут увидеть «затылок» Луны. Прошло всего несколько месяцев, и наша станция успешно завершила облет Луны, сфотографировала этот самый «затылок». Вскоре вышел и первый «Атлас обратной стороны Луны». Француз сдержал свое слово и прислал в адрес Академии наук СССР сто бутылок шампанского.

5

Космическая эра вызвала к жизни множество не существовавших прежде представлений и понятий, породила новые области знания, новые профессии. И одна из них — героическая и увлекательная профессия космонавта. Она требует от человека широкой культуры, высокой технической грамотности, постоянной готовности к подвигу.

Подготовка к выходу первого землянина в космическое пространство велась весьма тщательно. Было заранее и твердо решено: полет человека в космос состоится только после двух успешных запусков кораблей-спутников, на борту которых должны находиться в одном случае животные, в другом — манекен.

Однажды Сергей Павлович сообщил мне, что познакомился с будущими космонавтами.

— Каково впечатление? — поинтересовался я.

— Прекрасные ребята, — ответил Королев. — Ну а один особенно понравился. Гагарин — фамилия парня...

Королев и Гагарин! Два этих человека стали символами космической эпохи, символами героизма советского народа, его исторических достижений. Первый из них был выпускником строительной школы 20-х годов, второй — ремесленником тяжелой послевоенной поры. Страна, где люди, начинавшие свою трудовую жизнь с подручного кровельщика и ученика литейщика, прокладывают человечеству путь к звездам, — замечательная страна!

В судьбах Королева и Гагарина весь мир и мы сами особенно наглядно увидели, какой простор, какие возможности открывает социализм перед человеком труда, перед нашей молодежью. Два этих человека стали широко известными на земле. Для многих они являются олицетворением нашего народа. Так оно и есть.

В начале 1961 года историческое вторжение человека в космос еще только готовилось.

Королев, подошедший к звездному часу своей жизни, торопился. Любые его просьбы выполнялись незамедлительно, но Главный конструктор буквально сутками не выходил из своего КБ. На одном из совещаний — оно затянулось — я заметил, что Сергей Павлович побледнел, лицо осунулось. Попросил его задержаться после совещания. Однако он извинился:

— Не могу, уже начались комплексные испытания корабля, меня ждут на предприятии. Нельзя ли разговор отложить на завтра?

— А когда испытания закончатся?

— Вечером. Часов в десять—одиннадцать, если все пройдет гладко.

В этот день я тоже задержался на работе. Вышел из здания ЦК уже поздним вечером.

— Поедем к Королеву, — сказал шоферу.

Сергея Павловича нашел в сборочном цехе. Он сидел в стороне на обычном табурете и пристально смотрел вверх, где мостовой кран бережно нес деталь носителя. Говорят, он часто вот так садился и

молча смотрел, как идет сборка. Здесь, в цехе, ему лучше думалось — кабинетов он не любил, говорил: «Там много звонят телефоны».

В свете прожекторов и ламп сборочный цех выглядел необычно. Космический корабль и ракета поражали своими размерами, какими-то фантастическими силуэтами.

Королев оживился, увидев нас.

— Красиво? — спросил он.

— Очень.

— А у меня такое ощущение, будто не наших рук это дело. Прихожу сюда и всегда удивляюсь... Чаю не хотите? Там и потолкуем.

В этот вечер Королев доложил, что завершены испытания двух кораблей-спутников.

— И уже приступили к сборке первого «Востока», — добавил он.

Помолчали. Каждый из нас понимал, что это такое — первый «Восток».

Хотелось еще раз спросить, все ли предусмотрено для безопасности человека, есть ли полная уверенность, что он благополучно вернется из космоса на Землю, но я удержал себя от этого. Знал, что и без того Главный конструктор сотни раз проверял и перепроверял себя. Да и много уже было об этом говорено. И мы только посмотрели друг другу глаза в глаза.

— Жалуются на вас, Сергей Павлович: совсем не отдыхаете, — сказал я.

— Преувеличивают, — улыбнулся Королев. — В выходные сплю целый день.

Поразительный был человек! Многие в наших космических начинаниях зависело от него.

...Наконец настало утро, которого все мы с нетерпением ждали: подготовка к пуску и сам старт ракеты с человеком в корабле. С большим волнением слушали слова Юрия Гагарина перед стартом.

— Через несколько минут, — говорил он, — могучий космический корабль унесет меня в просторы Вселенной... Вряд ли стоит говорить о тех чувствах, которые я испытал, когда мне предложили совершить этот первый в истории полет. Радость? Нет, это была не только радость. Гордость? Нет, это была не только гордость. Я испытал большое счастье. Быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой — можно ли мечтать о большем?

Проникновенные слова! Перечитываешь их сегодня, и перед глазами встает образ обаятельного, сильного и смелого человека, каким можно было гордиться и матери, его взрастившей, и всей стране, ибо это был один из лучших ее сынов. Он был первым землянином в космосе. Вспомните, какое зазорное, неуставное, никакими командами не предусмотренное, чисто русское слово нашел Гагарин в самый напряженный и, чего таить, опасный момент, когда дрогнула под напором огня гигантская ракета, — «поехали!».

Был он улыбчивый, ладный, держался удивительно спокойно, причем ощущалось, что для этого ему не надо делать никаких усилий. Он и в жизни был мужественный и простой — в этом суть его характера. Когда мы встретились, побеседовали, меня привлекли в нем природный ум, наблюдательность, чувство юмора и неизменная скромность, которую сохранил он и после того, как обрушилась на него поистине всесветная слава. Сознаюсь, я питал к Гагарину теплое отцовское чувство.

После первых путешествий в другие страны, где этот совсем еще молодой человек с огромным достоинством представлял весь наш народ, он рассказывал, какую «догадливость» проявили некоторые зарубежные журналисты. «Гагарин? — допытывались они. — Ясно, почему именно вам был поручен первый полет. Фамилия в России знатная. Вы, наверное, потомок княжеского рода...» Он весело смеялся в ответ — внук смоленских крестьян, сын колхозника, изгнанный фа-

шстами из родной избы, ставший после победы рабочим, затем летчиком и наконец космонавтом. Вновь пришлось убедиться западному миру, что не родовитость, не богатство, а отвага и труд славят в стране социализма человеческие имена.

12 апреля 1961 года многое мы вспомнили и пережили, вглядываясь в лицо героя, вчера еще для большинства незнакомое. Прошлое страны вспомнилось, напряжение пятилеток, смертельная схватка с врагом, разруха после войны, годы возрождения. И вот теперь этот полет — воплощение нашей мечты, нашего несокрушимого духа, нашей веры, веры коммунистов в избранный путь. И все сошлось в тот день в одном человеке, в одном имени. Верно выразил общие чувства Константин Симонов:

Рассвет. Еще не знаем ничего,
Обычные «Последние известия»...
А он уже летит через созвездия.
Земля проснется с именем его.

Будучи Председателем Президиума Верховного Совета СССР, я вручал Юрию Алексеевичу Гагарину орден Ленина и Золотую Звезду Героя. Это были волнующие, незабываемые минуты. Радовался вдвойне: ведь и я многие годы жизни отдал большому и трудному делу, которым теперь гордился весь советский народ.

Родина высоко оценила подвиг героя-космонавта Гагарина. За успехи в развитии нашей ракетной техники, советской космонавтики были, кроме того, награждены второй золотой медалью «Серп и Молот» семь видных ученых и конструкторов, было присвоено звание Героя Социалистического Труда многим ведущим конструкторам, руководящим работникам, ученым и рабочим. Высокой награды Родины — звания Героя Социалистического Труда — был удостоен и я за мой скромный вклад в общее дело.

Вслед за историческим апрельским стартом с космодрома Байконур стали приходиться новые победные вести. Отправился в первый суточный полет Герман Титов — сын сельского интеллигента, внук сибирских коммунаров... В космосе побывала первая женщина Валентина Терешкова — ярославская текстильщица, нашедшая время и для работы, и для учебы, и для парашютного спорта. И как жаль, что не дожил до этого дня ее отец, павший смертью храбрых на войне... Новые герои уходили в полет, и всякий раз выяснялось, что их биографии типичны для нашего общества. Это были дети рабочих, колхозников, учителей, врачей, солдат Великой Отечественной. И это были люди, своим трудом и талантом добившиеся тех высот, на которые в буквальном и переносном смысле подняла их великая страна.

Советские космонавты вели все более глубокую разведку околоземного пространства, по-хозяйски обживали космос. Летописью этих побед наша страна, наш народ всегда будут гордиться. Первый спутник, прорыв человека в космос, первое длительное пребывание в нем, групповые полеты, выход человека за борт корабля — все это впервые было проделано советскими людьми. Наши ученые, конструкторы, инженеры, рабочие успешно решали принципиальные задачи в космонавтике, без чего ее развитие было бы невозможным. В каждом полете проводились ответственные эксперименты, проверялось и успешно выдерживало испытания большое количество важных научных и технических решений.

Ко всему человек привыкает. Сейчас уже мало кого удивит очередной космический старт. Почти обычными стали пилотируемые корабли, работают в космосе орбитальные станции, сложнейшие по конструкции аппараты достигают планет Солнечной системы. Кос-

монавтика и внеземные исследования стали одной из примет нашего времени.

Прекрасно, что достижения науки так быстро вошли у нас в обычай, это свидетельствует о прочности завоеваний, но, добавлю, не следует забывать, что по-прежнему они добываются огромными усилиями коллективов людей, их неустанным трудом и беззаветным героизмом.

Недавно после одного из космических полетов зашел у меня в кабинете такой разговор.

— А следует ли награждать космонавтов второй Звездой Героя, если им уже ранее было присвоено звание Героя Советского Союза за достижения в космосе? — сказал один из работников. — Может быть, иметь специальный орден и вручать его за последующие полеты? Есть люди, которые считают, что мы слишком часто награждаем космонавтов.

Не мог я полностью согласиться с этим мнением. Подвиг всегда остается подвигом, и если человек проявляет героизм вновь, то нельзя этого не замечать и не отмечать. Конечно, придет время — оно не за горами, — когда профессия космонавта станет такой же привычной, как профессия моряка, шофера, летчика. Возможно, придется учредить и особый орден за освоение космоса для тех, кто побывал там не раз и не два. Но сегодня, по моему убеждению, наши разведчики космоса получают свои награды заслуженно. Не было ведь еще двух одинаковых полетов, каждый из них — новый шаг в неведомое, и героизм людей, которые сознательно идут на это, не может не восхищать.

Сто восемь минут продолжался полет Юрия Гагарина, и это был подвиг, который потряс мир. Но разве не поражают сто семьдесят пять суток, которые провели в космосе Владимир Ляхов и Валерий Рюмин? На заре космической эры трудно было и мечтать о таком стремительном развитии космонавтики.

Жить долго в космосе, в столь необычных условиях, — это подвиг. Идти в полет, сознавая, что каждое мгновение корабль может встретиться с любыми случайностями, — подвиг. Ведь это Вселенная, о которой мы еще не так много знаем. Работать в космосе, причем с такой отдачей, с какой работают нынешние космонавты, — подвиг второй. Чем только не приходится им заниматься! «Фантазии» академика Королева сбывлись: и металлургами были они, и астрономами, и кинооператорами, и геофизиками, и геологами — показали себя отличными специалистами во многих областях науки, техники, народного хозяйства.

Такая уж профессия у космонавтов — их труд служит прогрессу человечества в самых различных сферах.

Размышляя о жизни Юрия Гагарина и его друзей, невольно думаешь о том, сколько всего дорогого для нас сошлось в облике этих молодых людей, сколько всего важного вобрали их дерзкие по замыслу и блистательные по исполнению полеты. Не случайно они стали вдохновляющим примером для миллионов юношей и девушек. Можно сказать, что космонавты олицетворяют лучшие черты советской молодежи второй половины XX столетия.

6

Хотелось бы в связи с этим обратиться с коротким словом к нашей молодежи, которую мы любим, которой полностью доверяем, на которую возлагаем самые светлые свои надежды, в которой видим будущее страны.

Мне уже приходилось говорить о воспитании подрастающего поколения — на съездах Ленинского комсомола, на учительском съезде, на многих встречах с молодежью. Тема эта, однако, всегда ос-

тается актуальной, она жизненно важна для нас, и потому нелишне будет здесь кое-что повторить.

Время диктует людям свои законы. Младшие наследуют старшим. Так бывает в семье, так происходит и в обществе. Смена поколений — это не одномоментный, а продолжительный и сложный процесс, включающий многое. Сперва это забота о юных, мудрые советы, наставничество, помощь в учебе и труде. Затем — совместная работа людей разного возраста, работа рука об руку, плечом к плечу. И наконец, для каждого поколения приходит время, когда оно выдвигается на ключевые позиции, принимает на свои плечи основную тяжесть, берет на себя ответственность и за благополучие старших, и за счастье детей, в которых опять же видит будущее страны.

Прекрасный, гармоничный, вечный процесс... Молодым трудно представить себя зрелыми людьми — обратное вполне возможно. Каждый, у кого за спиной большая жизнь, по себе знает, что юности присущи повышенная впечатлительность, готовность к подвигу, романтическая тяга к новому. Свойственны и молодое самолюбие, некоторая ершистость, желание проявить себя в жизни, добиться поскорей самостоятельности. Это все естественные стремления, и следует их тактично поддерживать и направлять на большие, добрые, полезные обществу дела.

Каждое новое поколение решает свои исторические задачи, ищет и находит для этого свои пути, свои методы, свой стиль работы и жизни. К этому тоже следует подходить с пониманием. Вспоминая свою комсомольскую юность, я понимаю теперь, что моим отцу и матери тоже могло не все нравиться в наших шумных собраниях, в самом быте комсомолии. Да и песни мы пели новые, для пожилых людей иногда и непривычные. Но с истинно народной мудростью они умели, минуя частности, видеть суть. А заключалась она в том, что я, как и все мои тогдашние друзья, считал родной для себя рабочую среду, любил свой завод, с глубоким сыновним почтением относился всегда к матери и отцу. Отношение молодежи к предшествующим поколениям, к тому, что завоевано ими, к их революционным традициям — это и есть главное.

Деды сражались на баррикадах с самодержавием, воевали на полях гражданской войны, создавали и укрепляли власть Советов. Сыновья закладывали фундамент социалистической индустрии, проводили коллективизацию в деревне, защищали страну от гитлеровских захватчиков. Внукам выпало штурмовать космос и поднимать целину, овладевать энергией атома, добывать нефть в Западной Сибири, прокладывать трассу Байкало-Амурской магистрали... На долю каждого поколения выпадали свои испытания, свои подвиги, свои замечательные победы. И молодежь не копировала предшественников, что, в сущности говоря, и невозможно, а перенимала их революционную страстность и коммунистическую убежденность, их любовь к Родине и глубокую, беспредельную преданность делу нашей партии. В этом залог всех наших успехов.

Встречаясь с молодыми рабочими, сельскими механизаторами, студентами, строителями, воинами Вооруженных Сил, вглядываясь в их пытливые, веселые, полные задора лица, много раз задумывался над тем, что людям старшего поколения легче сравнивать прошлое и настоящее. Они могут на своем собственном опыте оценить контраст между тем, что было, и тем, что стало. Юноши и девушки такой возможности лишены. О дореволюционной нищете, бесправии народа, об ужасающей эксплуатации рабочих и крестьян наша молодежь знает лишь по учебникам, по книгам. В зрелый возраст уже вступили люди, которые Великую Отечественную войну видели только в кино. Из комсомольского возраста выходят и те, кто был очевидцем наших первых космических свершений.

Время летит быстро, его не остановишь, и это налагает на нас

особую ответственность за воспитание подрастающего поколения. Отчасти по этой причине взялся и я за перо, чтобы рассказать о событиях, в сущности, не таких уж далеких. Но для юношества они действительно становятся легендарными.

По данным прошлой переписи, людей, родившихся после Октября, у нас в стране было уже более двухсот миллионов. Подавляющее большинство населения! Сейчас их, конечно, еще больше. Люди они от рождения советские, другого образа жизни вовсе не знали, у них характер советского человека. И это замечательно, но диалектика такова, что это же, если вдуматься, создает и определенные трудности в воспитании нового поколения.

Мы рады тому, что нашим детям и внукам не пришлось испытывать тягот, какие выпали на нашу долю, что для них созданы иные жилищные и материальные условия, что богаче сейчас возможности образования, культурного развития, занятий физкультурой и спортом. Это сказывается даже на внешнем виде молодежи: красивые, здоровые, рослые у нас девушки и парни. И это, повторю, не может не радовать. Но плохо, когда молодому человеку, едва вступающему в жизнь, на всех перекрестках твердят, что все ему дано и все ему доступно. Плохо, когда это приводит к иждивенчеству, когда в итоге рождается облегченное восприятие жизни.

К сожалению, некоторые родители, что называется, из самых лучших побуждений стараются оградить своих детей от любых испытаний, от всякого труда. Рассуждают при этом так: мы, мол, потрудились — пусть им будет хорошо. Однако тому, кто умеет только брать, не научившись отдавать, хорошо по-настоящему не бывает. Себялюбцы, накопители, лодыри, пьяницы — они ведь самим себе первые враги. Доходит порой до нелепости: совершит прогул какой-нибудь усатый «детка», напьется в рабочее время или даже похулиганит, уворует, а объясняться в отдел кадров, в милицию спешит его мамаша. Смешного тут, как ни судите, мало. Жизнь показывает, что добром за такую «заботу» очень мало кто платит и своим родителям и своему народу.

Конечно, подобные явления для советской действительности не характерны. Но пусть мало таких случаев, пусть их даже ничтожное меньшинство, наша задача — вести борьбу за каждого человека. Родительская любовь не должна быть слепа, но точно так же не может быть слепой и любовь общества к своему подрастающему поколению. Именно заботясь о наших юношах и девушках, думая всерьез об их будущем, желая им настоящего счастья, мы обязаны воспитывать в молодежи и любовь к труду, и мужество, и чувство долга. Воспитывать не вообще, не только в массе людей, но и в каждом из них в отдельности. Эта работа не знает и не может знать исключений.

Все сказанное отнюдь не умаляет наших успехов. Партия взяла курс на повышение благосостояния советского народа и намерена твердо следовать этому курсу. И чем лучше будут работать наши люди, тем быстрее будет расти уровень жизни. Но чтобы жизнь у нас была еще более чистой, еще более светлой, нужно помнить, что благосостояние — это не одна сытость. Это еще и обязательно рост культуры, духовных запросов людей, их идейной убежденности. Светлое будущее, которое мы строим, — это не царство бездельников, где молочные реки и кисельные берега, а самое трудолюбивое, самое организованное общество в истории человечества. И жить в нем будут трудолюбивые, организованные, добросовестные и высокосознательные люди.

Социализм предоставляет юношеству широчайшие возможности для образования, для всестороннего развития, для творческого роста. В новой Конституции СССР мы записали уже не только гарантиро-

ванное право на труд, чего не знают страны капитала, но и право на выбор профессии, рода занятий, работы в соответствии с призванием, способностями, профессиональной подготовкой и с учетом общественных потребностей. Дело за молодежью: общественные привилегии, данные ей, она должна использовать на благо общества — настойчиво, целеустремленно.

И потому мы, коммунисты, говорим комсомольцам, нашей молодежи, всей нашей смене: дерзайте, пробуйте свои силы, ищите свое настоящее место в жизни, докажите свое право на большие дела. Мы стремились передать в ваши руки могучую промышленность, цветущие нивы, прекрасные города — будьте истинными мастерами своего дела, чтобы стократ приумножить народное богатство. Мы предпринимали все возможное, чтобы сохранить мир на советской земле, нам удалось уберечь от войны ваше детство и юность — будьте сильны и отважны, чтобы и впредь отстаивать нашу Родину от любых посягательств. Мы продвинулись, насколько это было в наших силах, в просторы космоса, в глубины вещества — будьте готовы к тому, чтобы идти еще дальше вперед. Знайте: сколь ни величественны наши достижения, они — фундамент, база для вашего дальнейшего взлета.

Вы, молодые, принадлежите уже к тому поколению, которому суждено перешагнуть в третье тысячелетие нашей эры. Заранее ясно, какие масштабные народнохозяйственные задачи вы сможете ставить перед собой и успешно решать. Не меньшее значение имеют и те программы, которые связаны с прогрессом науки и культуры, с формированием человека и общественных отношений. Облик грядущего складывается во многом сегодня, потому что именно сегодня мы воспитываем людей третьего тысячелетия.

Стране нужны люди творческого склада — все более образованные, восприимчивые к новым научным открытиям, смелые в своих исканиях. И главное, если говорить о подготовке нашей смены, — это научить людей самостоятельно мыслить. Только так можно добиться, чтобы великие идеи коммунизма молодежь восприняла не как заученный урок, а как систему собственных воззрений. Только при этом воззрения останутся незыблемыми, каким бы они ни подвергались нападкам со стороны наших идейных противников.

Все, о чем сказано выше, составляет постоянную заботу нашей партии, и заслуги ее в воспитании молодого поколения очень велики. Это должно стать заботой комсомола, школы, семьи, трудовых коллективов, всего взрослого населения. Это должно стать заботой писателей, деятелей искусства. Сделано многое, но задачи все время растут.

Хочу подчеркнуть: нет у меня ни малейших сомнений, а, наоборот, есть полная уверенность в том, что наша смена будет достойна пройденного народом великого пути, что молодежь подхватит эстафету из рук отцов и пронесет ее к таким высотам прогресса — научного, экономического, социального, нравственного, — которые сегодня нам трудно, быть может, даже и вообразить себе.

«Мы всегда будем партией молодежи передового класса! — подчеркивал Владимир Ильич Ленин и пояснял: — Мы партия будущего, а будущее принадлежит молодежи. Мы партия новаторов, а за новаторами всегда охотнее идет молодежь».

Новаторским делом был выход во Вселенную. И этот отважный рывок в будущее, вобравший в себя труд и дерзания нескольких поколений советских людей, останется незыблемой вехой в истории страны, всегда будет вдохновлять нашу молодежь, весь наш народ на новые подвиги и свершения.

7

Освоение космического пространства стало возможно в результате прочного сплава науки и труда, мастерства, опыта, знаний и, конечно, таланта многих людей. Об одном из них хотелось бы здесь особо сказать. В 1961 году в газетах наряду со словами «Главный конструктор» часто упоминался и «теоретик космонавтики». Им был действительно теоретик космонавтики, крупнейший наш ученый, трижды Герой Социалистического Труда, академик Мстислав Всеволодович Келдыш.

Сама история творилась на наших глазах, и он был в гуще событий. Когда еще в 30-х годах авиаторы столкнулись с загадочной вибрацией, названной флаттером и погубившей многих летчиков в разных странах, казалось, что наступил предел скоростям в авиации. Но Мстислав Всеволодович снял эту преграду, он сумел найти причины возникавших вибраций и подсказал конструкторам, как избавиться от них. «Для Келдыша не существует в математике проблем, которые он не мог бы решить» — так о нем говорили ученые. Дарование Келдыша особенно ярко проявилось в пору становления ракетной и космической техники.

Его огромный талант математика оказал неоценимые услуги в расчетах, без которых немислим любой космический старт. Его труд сделал возможным точное выведение наших ракет на орбиты. Под руководством Мстислава Всеволодовича рассчитаны дальние дороги спутников и автоматических межпланетных станций, решены сложнейшие проблемы аэродинамики полетов, конструкции кораблей и ракет. Вклад его в космическую теорию и практику нельзя переоценить. Он чрезвычайно велик, и имя академика Келдыша заслуженно стоит рядом с именем академика Королева.

Жизнь этого замечательного человека, потомственного русского интеллигента, с ранних лет была отдана науке. А уже в 1961 году М. В. Келдыш возглавил Академию наук СССР, и отечественная наука сделала при нем огромный шаг в своем развитии, утвердила свой высокий авторитет в мировой науке. Я знал Мстислава Всеволодовича очень хорошо. Много раз и подолгу беседовал с ним. Большое впечатление производили обширность его познаний, точность аргументации, мудрость советов, которые он всегда высказывал с исключительным тактом и благожелательностью.

Об этом человеке я сказал бы так: он прокладывал дороги в космос, рассчитывал их с огромной математической точностью, точно так же как, будучи организатором советской науки, прокладывал многие неизведанные пути в мировой науке, в самых различных ее областях. Он был истинным патриотом своей страны, работал всегда на свой народ, не ждал похвал из-за рубежа, и именно поэтому его имя было окружено уважением во всем мире. Его светлый ум, огромные организаторские способности, глубокая партийная принципиальность — это подлинные черты великого советского ученого-коммуниста.

Не могу не вспомнить еще об одном выдающемся ученом и конструкторе, которому принадлежит огромная роль в развитии ракетно-космической техники и в обеспечении надежной обороноспособности нашей страны. Речь идет об академике Михаиле Кузьмиче Янгеле. Думаю, что судьба его тоже достойна подражания, поучительна для нашей молодежи.

Путь в Главные конструкторы начался для Михаила Кузьмича в крохотной сибирской деревушке Зырянова. После окончания ФЗУ он стал рабочим, ткачом на фабрике. Оттуда, приметив способного парня, комсомол направил его на учебу в Московский авиационный институт. Более десяти лет, в том числе и суровые годы войны, он трудился на различных авиационных предприятиях, а когда начала

рождаться ракетная техника, пришел работать к Сергею Павловичу Королеву. В 1954 году, учитывая его изрядный опыт и огромный талант, М. К. Янгелю было поручено возглавить одно из конструкторских бюро нашей страны. И всего за пять лет под его руководством было создано новое направление в ракетостроении.

От рабочего до Главного конструктора — таков жизненный путь Михаила Кузьмича Янгеля. И можно было бы лишний раз оттенить характерность этой биографии, снова сказать о том, какие возможности открыл Великий Октябрь перед людьми из народа, перед людьми труда. Но мне сейчас другое хочется подчеркнуть: мало дать человеку права — надо еще, чтобы он их использовал. Нынешним Ломоносовым уже необязательно шагать пешком из дальних деревень, государство поможет им найти себя, обеспечит всем необходимым для учебы, но учиться-то им придется самим. Вот что важно помнить молодежи: за каждым шагом людей, подобных Янгелю, людей, добившихся признания в нашей стране, стоит упорный труд.

Янгеля называли чаще всего не по имени-отчеству, а Кузьмичом. И эта деталь говорит о многом: он был прост и доступен каждому человеку. Был для рабочих и Главным конструктором и товарищем по труду. Разумеется, когда создавались первые образцы его новых ракет, он тоже, подобно Королеву, не выходил ночами из КБ и цехов. Люди такого масштаба не умеют себя беречь, но именно поэтому успевают за свою жизнь сделать в сотни раз больше, чем расчетливые себялюбцы. Кузьмич был настоящим руководителем — он умел брать ответственность на себя и не боялся рисковать. И не было случая, чтобы он пообещал и не выполнил.

М. К. Янгелем создан был оборонный ракетный комплекс. Создание этого комплекса требовало не только труда, но и таланта конструктора. Янгель был одаренным от природы человеком.

Скажут, что хорошо бы на что-нибудь другое тратить силы и талант таких людей. Согласен с этим. Но живем мы в такую эпоху, когда не можем позволить себе оказаться беззащитными перед лицом империализма, который продолжает взвинчивать гонку вооружений, пытается подорвать разрядку напряженности.

Создавая системы оружия, в том числе ракетно-ядерного, мы никому не собирались и не собираемся угрожать. Наша страна не претендует ни на один дюйм чужой земли. Но мы помним ленинские слова о том, что всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит; если она умеет защищаться. Именно для защиты мирного труда наших людей, для осуществления великих планов, которые начертаны в решениях съездов нашей партии, мы должны иметь прочную и надежную оборону, чтобы не допустить возможности внезапного нападения на нашу страну.

Тридцать с лишним лет народы мира живут, не зная войны, и в этом (я думаю, что наше государство никто не может обвинить в нескромности) большая заслуга принадлежит Советскому Союзу, его миролюбивой внешней политике, надежным защитникам его рубежей — армии и флоту. Политика СССР была и остается политикой мира. Наша партия выдвинула программу разоружения и продолжает добиваться ее претворения в жизнь. Это такая программа, осуществление которой не давало бы односторонних преимуществ ни одной из сторон. Стать на другой путь, ослабить свою оборону в то время, когда империализм наращивает свои вооружения, — это значило бы разоружиться перед лицом империалистических сил. На это мы пойти не можем и не собираемся. Мы хотим подлинного разоружения, которое не нарушало бы сложившегося примерного равновесия сил в мире, чтобы процессы разоружения не нарушали принципа равной безопасности сторон. Этим проникнуты наши предложения, и в этом духе мы ведем переговоры с нашими западными партнерами.

Советский Союз стал автором целого ряда важнейших инициатив, направленных на обеспечение стабильности, мира на земле. В документах партии, в выступлениях руководителей КПСС и Советского правительства постоянно углубляются, развиваются наши мирные предложения. С трибуны ООН мы заявили о том, что берем на себя обязательство не применять ядерного оружия первыми. Это свидетельство не только нашей миролюбивой сути, но и яркий пример исторического оптимизма. Мы верим в мирное будущее и не жалеем сил, чтобы идти по этому пути всегда!

8

Как секретарь ЦК КПСС, занимавшийся вопросами дальнейшего укрепления оборонной мощи страны, развития гражданской авиации, я часто встречался и беседовал с известными нашими авиационными конструкторами — А. Н. Туполевым, С. В. Ильюшиным, А. И. Микояном, П. О. Сухим, А. С. Яковлевым, О. К. Антоновым, Г. В. Новожиловым, Н. Д. Кузнецовым, А. М. Люлькой и другими.

Люди они разные, интересно мыслящие. Как-то во время одного из совещаний, глядя в зал, я подумал, что вот и исполнилась мечта Владимира Ильича Ленина — мы создали свою интеллигенцию, плоть от плоти народа. Пожалуй, один Андрей Николаевич Туполев, старейшина самолетостроителей, сформировался еще до революции. Все остальные прославленные творцы самолетов, двигателей, электроники, средств связи, современного вооружения были воспитаны при советской власти, окончили наши вузы, были пионерами, комсомольцами, стали коммунистами, это представители подлинно народной интеллигенции, беззаветно преданные советскому строю, идеалам нашей партии. Такова суть их мировоззрения, которая диктует замыслы и поступки этих людей, определяла и определяет всю их жизненную линию.

В связи с этим хотелось бы сказать, что наша интеллигенция — это давно уже не тот узкий «образованный слой», который в царской России резко выделялся в темной, забитой, безграмотной массе народа. Все труднее становится провести тут грань, потому что знания, которыми владели немногие избранные, стали доступны большей части населения страны. У нас введено всеобщее обязательное среднее образование, и мы повсюду видим сегодня широко образованных, мыслящих, общественно активных, по-настоящему культурных промышленных рабочих и сельских тружеников. Огромный количественный рост интеллигенции сопровождается, кроме того, и качественными изменениями в ее составе. Достаточно привести две цифры: в царской России специалистов с высшим образованием было 136 тысяч — у нас их теперь свыше 12 миллионов. В восемьдесят раз больше! Легко понять, что подавляющее большинство сегодняшних интеллигентов — это дети рабочих и крестьян.

Если обратиться к статистике, то состав населения СССР выглядит так: более 60 процентов трудящихся составляют рабочие. По-прежнему рабочий класс является цементирующей силой общества, он играет и будет играть ведущую роль в строительстве коммунизма. С полным основанием мы можем говорить, что наше общество базируется на союзе рабочего класса с колхозным крестьянством и трудовой интеллигенцией.

В процессе развивающейся идейно-политической и социальной консолидации общества все отряды нашей подлинно народной, трудовой интеллигенции работают самоотверженно, сознают необходимость своего труда и окружены у нас всеобщим уважением и поче-

том. Это относится к учителям, инженерам, врачам, агрономам, правоведам, работникам культуры, деятелям литературы и искусства. Относится в полной мере и к ученым, исследователям, конструкторам, военным специалистам, о которых мы ведем здесь разговор. Надо сказать, что их вклад в защиту завоеваний Октября, в нашу победу в Великой Отечественной войне, в становление науки и техники общества развитого социализма очень велик.

Возьмите нашу гражданскую авиацию. Сегодня, если разобраться, миллионы советских людей чаще летают, чем ездят в поездах или плавают на морских и речных судах. Это никого уже не удивляет, как и то, что самолеты и вертолеты осуществляют гигантский объем сельскохозяйственных, транспортных, строительных, монтажных и других работ. Первыми в мире мы выпустили на регулярные трассы реактивные лайнеры, открыли эру сверхзвуковых пассажирских перевозок, осуществляем сложнейшие трансконтинентальные перелеты. И тут следует отметить не только заслуги авиаконструкторов, но и опасную работу летчиков-испытателей, и упорный труд пилотов, штурманов, механиков, мотористов Министерства гражданской авиации СССР, которое давно возглавляет главный маршал авиации Б. П. Бугаев. Он сам опытный летчик, в прошлом командир одного из авиационных соединений, испытатель первых советских реактивных самолетов «Ту-104».

Между прочим, именно он доставил Юрия Гагарина из Байконура в Москву, пригласил его по пути в кабину, дал посидеть за штурвалом, и, по его рассказу, первый космонавт Земли не скрыл своей радости, что ему доверили управление большим пассажирским лайнером. Мне тоже не раз приходилось видеть Б. П. Бугаева за штурвалом современных крылатых машин, а однажды испытать на себе его находчивость, редкое самообладание и опыт пилота. Было это много лет назад. Летели мы с официальным визитом в Гвинею и Гану. Я тогда был Председателем Президиума Верховного Совета СССР. Полет шел по плану, небо было чистое, и вдруг наш воздушный корабль подвергся нападению военных самолетов-истребителей колонизаторов, которым явно был не по душе визит советской делегации в молодые страны Африки.

Мне хорошо было видно, как истребители заходили на цель, как сваливались сверху, готовились к атаке, начали обстрел... Странно чувствуешь себя в такой ситуации: похоже на войну, но все по-другому. Потому что ничего от тебя не зависит и единственное, что ты в состоянии сделать, — это сидеть спокойно в кресле, смотреть в иллюминатор и не мешать пилотам выполнять свой долг. Все тогда решали секунды. И именно в эти секунды опытный экипаж, который возглавлял летчик Борис Бугаев, сумел вывести гражданский самолет из зоны обстрела. Эпизод этот привожу здесь в качестве своего рода иллюстрации того, что и в мирное время мы не ограждены от всевозможных провокаций...

Не боясь повторений, ради полной ясности подчеркну еще раз: именно обстановка в мире вынуждает нас оснащать всем необходимым наши Вооруженные Силы. Мы делаем это не для того, чтобы кому-либо угрожать, — агрессия чужда социалистическому строю. Я глубоко убежден, что наши ученые, конструкторы, рабочие — все, кто трудится над созданием новых образцов ракетного, тактического, стратегического оружия, — понимали и понимают свою задачу так: это оружие оборонительное. Оно не будет пущено в ход с целью завоевания чьих-либо территорий, мы никогда не развяжем ракетно-ядерную войну. Наоборот, это — оружие сдерживания тех безумцев, которые могут появиться и попытаются навязать народам такую войну, войну бесчеловечную, разрушительную, уничтожающую.

В этих записках отмечены лишь некоторые события из космической летописи нашей Родины. Естественно, мне удалось назвать только немногих из тех, кого знал, с кем вместе работал. Дать полное описание невозможно одному человеку — в истории исследования космического пространства много славных имен и дел. Да и не обо всем еще пришло время рассказать.

Но вот что сказать необходимо: штурм космоса вели не одиночки, не талантливые единицы, а миллионы умов. И все наши победы в этой области стали возможны благодаря той главной победе, с которой ведем мы свое новое летосчисление, — благодаря победе Великой Октябрьской социалистической революции. Штурм неба начался у нас в 1917 году.

Печать капиталистических стран, советологи всех мастей гадали после запуска первого спутника Земли, после полета Юрия Гагарина о «секрете», который позволил коммунистам вырваться вперед. А секрет этот прост и, как говорится, не требует разведывательных проверок. Секрет заключается в том, что социальный, экономический, культурный уровень развития нашего общества позволил ставить и успешно решать задачи такого масштаба. Вполне очевидно, что не было бы у нас ни спутников, ни космических кораблей, если бы страна не накопила огромный научно-технический потенциал.

Понятие это весьма широкое. В него входит прежде всего сама наука — фундаментальная и прикладная. Наука — это как бы родник, исток, из которого берет начало полноводная река научно-технического прогресса. Если нет истока, если иссякнет родник, то и река обмелеет, а затем пересохнет.

Социализм — это такое общество, которое не может не опираться на науку. В этом причина расцвета науки в СССР, в этом и одна из причин победы социализма. Только советский строй сделал возможным использование науки в интересах народа, позволил раскрыть творческие потенции и таланты, которые в изобилии имеются в каждой стране. И только опираясь на новейшие достижения науки о природе и обществе, можно успешно строить социализм и коммунизм.

Окидывая мысленно взглядом космическую эпопею, мы можем с полным основанием сказать, что и в этом отношении советские ученые, конструкторы, испытатели новой техники были на высоте, оправдали доверие и надежду Коммунистической партии, Советского государства, всего нашего народа.

Но и это не все. Научно-технический потенциал в огромной степени зависит от облика самого производства, от развития всей промышленности, от ее восприимчивости к новой технике, способности быстро осваивать достижения науки. Это условие обязательное. И, наконец, в решающей мере научно-технический потенциал определяется кадрами. Не только ученых и конструкторов, но и механиков, техников, наладчиков, монтажников, токарей, слесарей — всех, кто непосредственно создает новейшую технику и работает с ней. Другими словами, речь идет уже о профессиональной подготовке миллионов рабочих, о культуре народа в широком смысле этого слова, обо всей системе образования в стране.

Все это в совокупности и проверялось, испытывалось на прочность, когда мы приступали к осуществлению своей космической программы. И мир лишний раз убедился в том, что надежно работали все звенья этой цепи. Выше уже сказано, что мне пришлось в ту пору очень многому учиться, многое увидеть, обдумать, понять. О некоторых уроках, видимо, полезно будет здесь рассказать.

В один из приездов на Байконур я залюбовался ладной работой бригады монтажников, которые возводили стартовую позицию. В глу-

бину земли уходило переплетение труб, ввысь поднимались металлоконструкции, устанавливались ажурные стойки, которым предстояло поддерживать гигантскую ракету и отпускать ее в последний момент. Позже все увидели эту картину в кино, на экранах телевизоров, а тогда поражала сложность замысла и воплощения. Но рабочие свободно читали чертежи, трудились четко, и хотя было холодно, дули свирепые степные ветры, впечатление складывалось такое, будто новое дело дается им легко.

Когда монтажники сделали перерыв, я подошел к ним, познакомился с людьми, сказал об этом своем впечатлении. Они заулыбались, а один из рабочих, мужчина кряжистый, основательный, сказал запомнившуюся мне фразу:

— Будет просто, когда сделаешь раз по сто!

Но где они могли сделать это «раз по сто», если все тут строилось впервые? Разговорились, и выяснилось, что позади у монтажников сложнейшие задания. Это были знатоки, умельцы в своем деле. Та же бригада монтировала, например, реактор на первой в мире атомной электростанции в Обнинске. Эти рабочие не только с академиком С. П. Королевым были знакомы, но и с академиком И. В. Курчатовым.

Таких мастеров высочайшего класса приходилось встречать повсюду — на строительных площадках, у прокатных станков и сталеплавильных печей, в угольных шахтах и на нефтепромыслах, в цехах многих заводов. Их отличали гордость своей профессией, глубокие знания, высокое чувство ответственности, преданность избранному делу. Всякое задание, за которое брались эти люди, они выполняли качественно, вовремя, на совесть.

Могу сказать, что с огромным уважением отношусь к мастерству рабочего человека. И, не скрою, без всякого уважения — к тем, кто неряшлив в работе, кто надеется на авось, выпускает брак. Работают они хуже чем плохо. Зря переводят сырье, заставляют исправлять сделанное ими, вкладывать дополнительные силы и средства, а главное, могут подвести в любой момент. Надо ли говорить, что небрежная работа при запуске космических кораблей была бы равносильна преступлению? Говоря о наших достижениях в этой области, мы не должны забывать, что за ними — труд, дисциплина, ответственность десятков тысяч советских людей.

Выступая как-то перед туляками — хранителями традиций древнего русского мастерства, я вспомнил их земляка, знаменитого лесковского Левшу, который блоху подковал. Нынешние потомки Левши научились, пожалуй, выполнять задачи и похитрее — «ловить» сотые доли микрона, осуществлять космические стыковки и расстыковки, управлять с Земли шагами лунохода, доставлять к нам образцы лунного грунта и т. д. Но отношение мастеров к труду в основе своей остается прежним.

— Наверное, вы согласитесь со мной, — говорил я в Туле, — что и в наше время, время стремительного научно-технического прогресса, огромных изменений в характере труда, проблема качества во многом остается проблемой и мастерства, и профессиональной квалификации, и совести каждого работника.

Есть старое правило которое мы не должны забывать: прочность любой цепи проверяется по ее самому слабому звену. Иначе говоря, безукоризненного исполнения заданий следовало добиться не только на таких ответственных участках как конструкторские бюро С. П. Королева или М. К. Янгеля, но во всех без единого исключения звеньях этой грандиозной программы. Мы отчетливо сознавали, что любой срыв, даже на самом, казалось бы, второстепенном участке, мог помешать осуществлению наших планов, а в условиях работы в космосе привел бы к непоправимым последствиям.

Суть организационных вопросов состоит в том, чтобы каждый, имея для этого необходимые права и неся в их пределах всю полноту ответственности, занимался своим делом. Это элементарное житейское правило является в то же время основой основ науки и практики управления.

Космическая эпопея, которая и в смысле организованности была образцовой, заслуживает не только благодарной памяти, но и самого пристального изучения. Изучать ее надо для того, чтобы перенести все добытое в другие, чисто земные и сугубо гражданские отрасли производства. Перенести в том числе и высокую требовательность, и повседневную проверку выполнения плановых заданий, и строжайший контроль.

Почему организаторы нашей строительной индустрии до сих пор позволяют срывать планы ввода в строй нужных стране объектов? Почему — я часто задаю себе этот вопрос — некоторые руководители допускают срыв плановых заданий их предприятиями или даже отраслями промышленности? Видимо, мы ослабили спрос с руководителей в гражданских областях. План — это закон, и спрашивать за его невыполнение надо по всей строгости закона. Здесь не может быть оправданий ни для директора, ни для рабочего.

К сожалению, встречаются и такие директора, которые не могут снабдить население своих городов качественными товарами первой необходимости, производят плохую обувь. И пусть они не прячутся за чужими успехами. Пусть наладят порядок на своем участке работы, пусть добьются дисциплины, ответственности, качества труда.

В этой связи хотелось бы подчеркнуть одну примечательную особенность в развитии космической программы. На первый взгляд она полностью оторвана от земных проблем, а на деле уже сегодня оказывает огромное влияние на нашу промышленность, и это влияние с каждым годом становится все ощутимее. К примеру, такие области, как вычислительная техника и электроника, напрямую связаны с космонавтикой, с ее развитием. Космонавтика потребовала создания новых отраслей промышленности, более точной аппаратуры, более компактной, более эффективной. Но, появившись для нужд космонавтики, они начали сразу использоваться и в обычной технике. Машины и приборы, предназначенные для спутников, ракет и космических кораблей, заставили измениться и сами предприятия, где они выпускаются. Повышенные требования к космической аппаратуре и материалам способствовали созданию принципиально новых технологий, автоматических линий, станков. Таким образом, космонавтика как бы повела за собой ведущие отрасли, и это сказалось на качестве работы, на уровне всего производства.

В общем, своеобразная ситуация создается в промышленности, когда возникает новая область техники. Чтобы создать ракету, искусственный спутник Земли, космический корабль, необходим определенный и очень высокий уровень развития производства в различных областях индустрии. И в то же время появление космических аппаратов, в свою очередь, как бы тянет индустрию за собой. Взаимное обогащение космонавтики и промышленности помогает им стремительно развиваться. Можно так сказать: наша промышленность породила космонавтику, космонавтика была ее детищем и в то же время сама стала прародительницей новых направлений в промышленности.

Нередко задают вопрос: велико ли значение полетов в космос для науки и не слишком ли дорогую цену мы заплатили за эти исследования? Отвечу сразу: да, освоение космоса потребовало много сил, труда тысяч ученых, техников, создателей кораблей, героизма

наших летчиков-космонавтов. Разумеется, пришлось еще два десятилетия назад серьезно думать об этом, соразмерять наши планы и возможности, выяснять заранее, что даст реально эта программа народу, стране.

Вспоминаю любопытную встречу, которая произошла, кажется, в 1956 году, еще до запуска первого спутника. Пригласил я в ЦК Александра Николаевича Несмеянова — в те годы он возглавлял Академию наук. Мы попросили его рассказать о том, как ученые представляют в недалеком будущем использование космических аппаратов, какие практические результаты можно получить для нужд народного хозяйства от запуска спутников.

— Мы создали специальную группу ученых, представляющих различные области науки и техники, — сказал президент, — выслушали их мнение о перспективах исследования космоса. Мнение единодушное: запуски спутников нужно проводить обязательно, а вот о прикладном их значении существует множество мнений. К примеру, можно осуществлять фото- и киносъемку из космоса, работа эта аналогична аэрофотосъемке. Очень важны исследования для физиков, астрономов и других специалистов, занимающихся фундаментальными проблемами. Очевидно, через космос можно организовать и новые виды связи с отдаленными районами страны. Так что областей применения спутников будет много.

Таково было мнение авторитетного ученого. Встречалось и немало скептиков, которые говорили: не рано ли заигрывать с Луной, когда и на Земле дел немало? Но мы тогда уже были уверены: космос — это и сугубо земные дела.

А сегодня уже трудно представить нашу жизнь без космических аппаратов, они занимаются вполне будничной работой. Включаешь телевизор, разговариваешь по телефону с Владивостоком и не задумываешься, что космос работает на тебя. Действуют радиотелевизионные станции системы «Орбита», а телефонные разговоры транслируются через спутники «Молния».

Проникая в пространство Вселенной, мы не только расширяем наши представления о мироздании, главное — мы получаем более глубокие сведения о нашей планете. Любые достижения науки советский человек ставит на службу Земле. Под этим лозунгом развиваются у нас космические исследования. Постановления партии направляли наших специалистов на решение именно таких проблем. Успехи в этой области очевидны. Академики и рабочие, инженеры и техники, тысячи людей в разных уголках нашей страны, людей самых разнообразных специальностей, работают сегодня в космической индустрии. И если двадцать лет назад, когда началось проникновение в космос, мы могли говорить только о нашем стремлении к познанию неведомых миров и пространств, мечтать о том великом вкладе, который космонавтика сделает в развитие науки, то теперь уже ясно, что космические исследования и космонавтика превратились в отрасль народного хозяйства, от которой мы получаем вполне реальные выгоды. Более того, сегодня можно взвесить на экономических весах ту реальную пользу, которую приносит космонавтика людям.

Советская программа исследования космоса предусматривает планомерное, последовательное решение важнейших теоретических и практических задач современной науки.

Проникновение в космос человека и автоматических аппаратов — это естественный, закономерный процесс. Он будет с каждым годом все ускоряться.

Со времени запуска первого искусственного спутника Земли и стартов наших первых космонавтов мы сделали все, чтобы космос

стал ареной международного сотрудничества. Открылись новые возможности для широкого, плодотворного развития научных связей между странами и народами в интересах мира и прогресса всего человечества.

В связи с полетом Ю. А. Гагарина в космос в Обращении ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР подчеркивалось: «Победы в освоении космоса мы считаем не только достижением нашего народа, но и всего человечества. Мы с радостью ставим их на службу всем народам, во имя прогресса, счастья и блага всех людей на Земле».

На этой принципиальной позиции мы остаемся и сегодня.

Разработаны и успешно осуществляются крупные международные программы. В них принимают участие многие страны мира, плодотворно развивается сотрудничество советских ученых со специалистами Франции, Индии, США. Но особое значение, конечно, в этой работе мы отводим совместным усилиям братских стран социалистического содружества.

С большим волнением мы следили за полетами интернациональных экипажей, в состав которых входили представители братских стран. Они работали на орбитах вместе с советскими космонавтами. Поистине наша дружба достигла космических высот!

Мы — за полеты в космос представителей различных народов, за общие усилия в борьбе за знания, за изучение ближних и дальних миров. Увлекательные перспективы открываются перед людьми — Луна, Марс, Венера превратились в лаборатории ученых. Разве не об этом мечтали многие поколения?! И мы, живущие во второй половине XX века, сумели сделать их мечту реальностью. Но познание безбрежно, как и сама Вселенная, и чтобы стремительней идти по этому нелегкому пути в космос, нужно объединять усилия всех людей.

Мы, советские люди, не рассматриваем свои космические исследования как самоцель, как какую-то гонку. Нам глубоко чужд дух азартных игроков в большом и серьезном деле исследования и освоения космического пространства.

Вновь подчеркну: дело это столь грандиозно и важно для судеб человечества, что требует объединения усилий всех людей Земли. В июле 1975 года был сделан существенный шаг по этому пути — космические корабли СССР и США «Союз» и «Аполлон» осуществили стыковку на околоземной орбите. Экипажи работали слаженно, люди отлично понимали друг друга, они проверили на практике совместимые средства кораблей, разработанные учеными и конструкторами двух стран в целях повышения безопасности полетов человека в космос. Будучи важной вехой сотрудничества между СССР и США в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, проведенный совместный полет закладывает фундамент для возможных последующих советско-американских работ в этой области.

Писатели-фантасты часто помещают своих героев на борт огромной международной орбитальной станции, которая летит к звездам. В экипаж входят представители народов разных континентов, они объединили свои усилия в познании и Вселенной и родной Земли. Это прекрасный образ, и хотя к звездам лететь еще и рановато — дел хватает и в околоземном космическом пространстве, — но уже сделаны первые шаги, чтобы и эту мечту воплотить в жизнь.

СЛОВО О КОММУНИСТАХ

1

Для меня партия, служение ее делу — сердцевина всей жизни. Порой мне кажется, что не смог бы и дня прожить, не сознавая себя частью этого великого целого, не ощущая кровной связи с сообществом бесстрашных, стойких, справедливых борцов. Да так оно и есть в действительности: не смог бы. Как и миллионы людей, составляющих ее ряды, не представляю себя без нашей партии — величайшего создания ленинского гения, олицетворяющей революцию, новый общественный строй, надежды и чаяния своего народа и всего прогрессивного человечества. Хорошо сознаю, что с того дня, как я стал коммунистом, вся моя жизнь получила высокое нравственное оправдание, наполнилась новым, особым смыслом.

Было это еще на Урале. 9 октября 1929 года бюро Бисертского райкома ВКП(б) приняло меня кандидатом в члены партии. Недавно товарищи из Свердловского обкома прислали мне протокол этого бюро за номером 44. И подумалось — в потоке дней не вспоминаешь об этом: сколько лет прошло с того памятного дня. Больше полувека в партии! И с глубокой сердечной благодарностью подумал о славной ленинской гвардии, передовом отряде рабочего класса, всего нашего общества, о миллионах товарищей по партии, которая дала нам счастливую возможность целиком посвятить себя борьбе за правое дело, закалить себя в труднейших испытаниях и ощутить радость побед.

Удивительный это был день! Внешне, казалось, ничто не изменилось: осень, дождь, серое небо над головой, такими же оставались непроезжие проселки уральской деревни. И так же, как обычно, торопили очередные дела, и надо было добираться до дальних околиц, помогать крестьянам сколачивать артели, поднимать людей на работу. А по сути изменилось все: навстречу трудностям и свершениям, хлопотному дню шел уже не просто землеустроитель Брежнев, а полномочный представитель великой партии, воля и разум которой преобразовывали для новой жизни эти исконно русские места. Отныне я, как говорится, всем существом ощутил свою причастность к заботам, думам, свершениям всего народа.

Если бы спросили, чего я не терплю, чего не люблю и не люблю больше всего, ответил бы: одиночества. И потому счастлив, что с молодых лет по сей день был и остаюсь в окружении верных друзей, испытанных товарищей, соратников и единомышленников-коммунистов.

Чеканное слово «партия» впитывалось в плоть и кровь с юности — через приобщение к политическим знаниям, неустанному труду, великим делам страны. Оно звучало тогда — и звучит всегда — пламенным призывом к борьбе за народное счастье, к утверждению передовых идей и истинных ценностей человечества, к целеустремленному действию, стойкости, самоотверженности. В нем — надежда и воля трудящихся, могучая сила, обновляющая мир.

В 1931 году меня приняли в члены Коммунистической партии. Об этом знаменательном событии уже рассказано в предыдущих главах; произошло оно в Днепропетровске. Получая на родном заводе партбилет за номером 1713187, я хорошо сознавал, что эта столь дорогая каждому коммунисту красная книжица дает не какие-то льготы и блага ее владельцу, а большие по сравнению с другими людьми обязанности, требует повышенной ответственности за порученные дела.

Пребывание в рядах партии не делает жизнь человека спокойной и легкой. Напротив, приняв партийный Устав, он добровольно берет на себя дела потяжелее, определяет свое место на самых трудных участках, навсегда лишает себя возможности укрыться в тишине.

Партийные билеты моему поколению вручались в годы первых пятилеток, коллективизации, подлинной культурной революции в СССР. Они опалены огнем тяжелой войны, на них следы мускулистых рук, которые поднимали разбитые заводы, возрождали из руин села и города, зажигали костры в целинной степи, перекрывали плотинами могучие реки, посылали в космос удивительные корабли.

Учетная партийная карточка коммунистов этого поколения недолго хранилась в одном райкоме — на ней отметки всех параллелей и меридианов шестой части земного шара. Именно партия определяла наше рабочее место в общем строю. И каждое ее новое задание было вдохновляющим приказом самого времени.

Ленинская партия — духовная мать каждого коммуниста. Она растит нас на своих идеях, учит преданно служить народу. Партия не укрывает нас от жизненных бурь, а ведет всегда в гущу событий. Слово «партия» произносишь в минуты величайшего душевного подъема и напряжения; оно способно вдохновить человека на подвиг во имя Родины, во имя торжества дела коммунизма, мира и прогресса.

Для меня партия стала политической школой, в ее рядах проходила закалка характера, обреталась партийная принципиальность, требовательность к себе и к людям, с которыми работаешь. Для меня, как и для всех коммунистов, партийная работа — самое благородное поприще служения интересам трудящихся, идеалам справедливости и гуманизма.

Мысли о партии, о ее делах всегда волнуют меня, будоражат душу.

В своих воспоминаниях старался просто рассказать о прожитом и пережитом, о делах и событиях, в которых участвовал, а больше всего — о прекрасных советских людях, которых довелось встретить, увидеть, узнать и полюбить.

Вижу теперь, что одновременно это было и рассказом о партии. Наверное, иначе написать я не мог.

2

Воскрешая в памяти былое, думал я не о себе. Моя жизнь — это частица жизни народа. И если есть в ней поучительное, то, полагаю, заключено оно не в том, что отличает мой путь, а именно в том, что объединяет его с жизненными дорогами большинства наших людей.

Работая над воспоминаниями, я, разумеется, имел в виду прежде всего своих соотечественников, советских людей. Когда говоришь «советский человек», перед мысленным взором встают тысячи знакомых с их неповторимыми судьбами, чертами. Но вместе с тем видишь и сходство их нравственных качеств, присущую им общую определяющую черту — высокую гражданственность.

Становление нового человека наблюдал я, можно считать, с самого начала, с истоков, мальчишкой еще — с незабываемых дней Октября. А потом — огневые годы гражданской войны, преодоление голода и разрухи, все это навсегда врезалось в память. Довелось увидеть мир в момент перелома, когда дни равнялись годам, а годы — десятилетиям.

Рос я, как уже знает читатель, в заводском поселке, сам с пятнадцати лет пришел на завод и был живым свидетелем того, как мужал и закалялся рабочий класс, который взял на себя ответственность за судьбы народа, ощутил себя хозяином страны. Говорят, впе-

чатления детства и отрочества самые сильные, они остаются с человеком на всю жизнь. Мне повезло, что в бурные годы, на стыке эпох, я находился в рабочей среде, что первую профессию дали мне в руки рабочие, что меня воспитывали заводские большевики.

А дальше путь мой складывался так, что ни одно крупное событие в жизни народа не миновало меня. Возможно, тут сказались характер, сыграло роль воспитание, но еще важнее то, что меня, как и миллионы людей моего поколения, вела вперед и воспитывала партия. В годы комсомольской юности попал я в деревню, стал землеустроителем, депутатом райсовета, партийным уполномоченным по коллективизации. Когда же коллективизация заканчивалась, вернулся на завод, чтобы участвовать в социалистической индустриализации. В напряженном труде, в поездках по стране крепло чувство, присущее каждому советскому человеку, чувство Родины, о котором я рассказал во второй главе этой книги.

Потом обрушилась на нас война, и это были в жизни всего нашего народа поистине «минуты роковые». Вместе с миллионами советских солдат и офицеров я прошел войну от начала до конца, от первого дня до парада Победы. Военные годы мне, как и каждому ветерану, особенно памяты, но может ли один человек поведать обо всем, что происходило в огне боев, и обо всем увиденном и пережитом?

«Малая земля» — это только фрагмент необъятной панорамы Великой Отечественной войны советского народа, рассказ о событиях на участке всего в несколько километров. Подобные бои разного масштаба, но повсюду смертельной, непримиримой ожесточенности разыгрывались на всем советско-германском фронте. А ведь его протяженность в худшее для страны время превышала 6200 километров — расстояние большее, чем от Атлантики до Урала. Хотелось, чтобы читатели, в том числе молодые, не знающие войны (а таких у нас, по счастью, уже большинство), вдумались в масштабы происходивших событий и лучше представили себе, как и почему выстоял советский солдат, в чем истоки его героизма и самоотверженности.

Будучи непосредственным участником военных действий, я видел все события глазами фронтового политработника. Но уверен: каждый фронтовик, в каком бы ранге или роде войск он ни воевал, подтвердит тот непреложный факт, что коммунисты и здесь, в смертельной схватке с врагом, доказали, что они — люди особого склада. Определяющая их черта — единство слова и дела. Они всегда вместе с народом, там, где вершатся большие дела, там, где всего труднее. И наш боевой клич «Коммунисты, вперед!» звучал и звучит на всех этапах борьбы советского народа за свое светлое будущее, поднимая массы на подвиг, вселяя ужас в ряды врагов. Вспомним хотя бы партийные мобилизации первых лет Советского государства, борьбу с врагами молодой республики в годы гражданской войны и интервенции, когда на кронштадтский лед уходил в полном составе партийный съезд. Вспомним стройки первых пятилеток и коллективизацию деревни, когда тысячи и тысячи верных бойцов вставали по зову партии и шли туда, где она назначала им очередной рубеж.

Так было и в Великую Отечественную войну. Советские люди старшего поколения помнят толпы добровольцев у военкоматов в первые часы после объявления всеобщей мобилизации — большинство их составляли коммунисты. На фронт ушли миллионы членов партии, среди них — почти треть членов Центрального Комитета КПСС. Не было такого подразделения в Советской Армии, не было такой атаки, боя, сражения на всем гигантском поле битвы, где бы коммунисты не поднимали бойцов личным примером мужества и самоотверженности, беззаветной любви к Родине. Мы помним и никогда не забудем, сколько отважных, лучших своих сынов и дочерей потеряла наша ленинская партия на полях сражений Великой

Отечественной. Какая еще партия, политическая организация в истории человечества принесла более святые жертвы на алтарь его свободы! Ленинская партия стала тем величайшим полководцем, который в ходе второй мировой войны обеспечил решающую победу советского народа над гитлеровской Германией, избавив мир от нашествия коричневой чумы.

Кто из ветеранов Великой Отечественной войны не помнит Дня Победы, возвращения домой после нескончаемых боевых дней! Но радость победы, встречи с родными и близкими была омрачена для нас, фронтовиков, для всех советских людей видом родной земли, разоренной фашистами.

В «Возрождении» я попытался рассказать о том, что мы, фронтовики, застали на опустошенной земле. Почти все надо было начинать с нуля: дать кров десяткам миллионов людей, вернуть жизнь полям, поднять из руин больницы и школы, заводы, шахты, электростанции. В целом была уничтожена одна треть нашего национального богатства. В главе «Возрождение» я больше говорил об Украине, поскольку именно там работал в послевоенный восстановительный период. Недавно побывал в Киеве в связи с открытием мемориального комплекса. Долго беседовал со многими товарищами. Встречался с партийным активом республики. Огромное впечатление оставили дела труженников советской Украины. За эти годы они достигли весомых успехов, по существу, во всех областях. И немалая заслуга в этом ЦК Компартии Украины, во главе которого многие годы стоит талантливый организатор Владимир Васильевич Щербицкий.

В те послевоенные годы многим за рубежами нашей страны казалось, что война с ее тяготами и потерями чуть ли не до дна вычерпала силы народа и ему уже не поднять своей страны даже на довоенный уровень. Были в мире и такие силы, которые злорадствовали по этому поводу и всячески пытались осложнить внутреннее и внешнее положение Советского Союза. Это они навязали нашей стране пресловутую «холодную войну». Но народ наш, ведомый своим испытанным авангардом — ленинской партией, обрел второе дыхание, одержал трудную победу и на этот раз: экономическое восстановление, возрождение было осуществлено в кратчайшие исторические сроки. Вновь убедился мир в неисчерпаемой мощи свободного народа, неоспоримых преимуществах социалистической системы. Для нашей партии этот сложный период стал еще одним экзаменом политической мудрости, способности руководить экономическим строительством. И она выдержала его с честью.

Я счел необходимым рассказать подробнее о партийной работе — многообразной, творческой, чуждой субъективизма, всегда живой и в то же время проникнутой научным подходом ко всем общественным процессам. Ленинский стиль партийной работы предполагает высокую требовательность к себе и к другим, исключает самодовольство, отвергает верхоглядство и политическую трескотню, противостоит любым проявлениям бюрократизма и формализма. Обо всем этом пришлось размышлять и все это претворять в жизнь, когда после войны меня выдвинули руководить крупными областными партийными организациями, а затем избрали первым секретарем ЦК Компартии Молдавии.

На этой древней земле, также пострадавшей от войны, правобережная часть которой несла вдобавок тяжелый груз наследия прошлого, мне пришлось впервые ощутить ответственность за все, происходящее в целой республике. За развитие сельского хозяйства, промышленности, за рост культуры народа и его благосостояния. Такова тема главы «Молдавская весна», и, должен сказать, в том, что советская Молдавия действительно стала по-весеннему цветущей, решающую роль сыграли борьба молдавских коммунистов, как и помощь всех республик СССР, и сама энергия масс, окрепшее в

них чувство хозяина своей судьбы, своей экономики, своего государства.

Собственно говоря, сродни этой теме и эпопея освоения целинных и залежных земель в Казахстане, которой посвящена глава «Целина». Сотни тысяч людей, главным образом молодежь, откликнувшись на призыв Коммунистической партии, поехали из благоустроенных районов в безлюдные степи, обжили их, превратили в одну из главных житниц страны. Изменился весь облик этих мест: построены новые города и поселки, сельскохозяйственные предприятия, заводы и фабрики, научные центры. Не сомневаюсь, что в летописи свершений нашего народа подъем и освоение целины останутся одной из ярчайших страниц, прекрасным примером негасимости революционного порыва, рожденного Великим Октябрем.

Все эти главы посвящены весьма сложным периодам в жизни нашего народа, событиями отнюдь не обыденного порядка. Трудности, о которых в них рассказано, обусловлены, конечно, не социальной системой нашего государства, а особыми условиями, в которые была поставлена страна, и не в последнюю очередь условиями внешними.

Социализм не требует жертвенности. Он основан на власти всего народа, в интересах общего блага и свободного развития каждой личности. И если советским людям приходится порой идти на жертвы, то это диктуется необходимостью, высоким велением долга.

Конечно, и в нашей жизни бывают иногда столкновения между косностью и дерзким поиском нового, не обходится без упущений и ошибок. Кое-что на этот счет говорится и в моих записках, но хотелось, чтобы читатель увидел главное: наш народ верит в свой путь, он убежден, что именно с социализмом и коммунизмом связаны его мирное завтра, благополучие, счастье, самые большие успехи. И когда советский человек соразмеряет свою жизнь с этими высшими целями, его общественное сознание повелевает ему подчинять личные интересы общими. Это определяющая черта нового типа личности, сформированной социализмом.

«Космический Октябрь» — рассказ об одном из самых ярких исторических достижений советского народа, поразивших мир. Выбрано оно из многих прежде всего потому, что чрезвычайно велико его значение в истории человечества. Кроме того, по заданию партии мне пришлось непосредственно координировать работы, связанные с выходом в космос. А я в этой книге старался нигде не нарушить правило, которое сам определил для себя, — писать только о том, что видел своими глазами, в чем принимал участие.

Довелось и в этом случае узнать истинных патриотов, преданных делу коммунизма, — выдающихся ученых, конструкторов, исследователей, космонавтов, встречаться с новаторскими коллективами рабочих, строителей, монтажников, и захотелось поделиться своими заветными мыслями о судьбах научно-технического прогресса, о роли интеллигенции в обществе развитого социализма, о замечательной советской молодежи, в которой мы видим будущее страны.

И снова, перелистывая страницы воспоминаний, я прихожу к выводу: какие бы события ни происходили в нашей истории — в огне битв и в созидательной деятельности, в ходе огромных по своим масштабам политических, экономических, социальных преобразований видна направляющая воля Коммунистической партии.

Партия определяет общую стратегию нашего движения вперед, разрабатывает конкретные планы развития, организует усилия советских людей по выполнению этих планов, формирует гармонически развитую личность гражданина социалистического общества. Всех советских людей, в том числе, конечно, и автора этих строк. Давно я понял, что всем решительно обязан партии и народу, который ве-

рит своему передовому отряду, который идет за своим испытанным авангардом.

Воля партии, воля советского народа, интересы социалистического отечества всегда были для меня высшим законом, которому я подчинял и подчиняю свою жизнь. Превыше всего для меня было и остается доверие партии, доверие народа.

Так я всегда смотрел на свою работу, на каком бы посту ни находился. Но это особенно стало важно для меня, когда партия в 1964 году доверила мне пост руководителя ЦК КПСС и я стал выполнять обязанности сначала Первого секретаря, а затем Генерального секретаря Центрального Комитета. Мне была оказана самая высокая честь, которая может быть оказана коммунисту. И, конечно, иными стали не только масштабы и сложность работы, но и ответственность перед партией, перед народом.

3

Еще до революции В. И. Ленин подчеркивал, что партия рабочего класса «должна действовать на *научных* основаниях». В этом смысле вся наша история — это история непрерывного обогащения содержания и методов партийной работы достижениями самых разных наук — философии, экономики, психологии, педагогики, социологии и т. д. Научный подход охватывает сегодня не только сферу обоснования политики партии, определения ее генеральной линии, но и всю повседневную работу по руководству жизнью страны. На мой взгляд, этот подход воплощает известное ленинское требование к каждому члену партии — превращать марксизм в действие.

Нам всегда и во всех делах помогали и помогают революционная воля и размах, умение партии мобилизовать миллионные массы, направить трудовой энтузиазм рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции на решение созидательных задач. Партия стремится еще теснее соединять эту великую энергию масс с систематической, кропотливой организаторской работой, с последовательно научным подходом к ведению хозяйства, строгой дисциплиной и деловитостью.

Все мы радуемся тому, какие глубокие корни пустили ленинские идеи социалистического соревнования. Мы гордимся тем, что в авангарде соревнования идут коммунисты. Соревнование оказывает глубокое воздействие на хозяйственную практику, на общественно-политическую жизнь страны, на нравственную атмосферу.

Повышение ответственности, развитие инициативы, деловитости, я бы сказал, социалистической предприимчивости, воспитание сознательной дисциплины и нетерпимости к недостаткам — эти черты партийного стиля работы приобретают все более решающее значение.

Весь мой жизненный, партийный опыт подтверждает непреложную истину — успех дела решают умелые, ответственные работники, правильно понимающие свои задачи, их деловая и политическая подготовка, партийное отношение к обязанностям. Современный руководитель должен органически соединять в себе партийность с глубокой компетентностью, дисциплинированностью — с инициативой и творческим подходом к делу. Я всегда высоко ценю такие черты руководителя, как чувство нового, умение видеть перспективу развития, заглядывать в будущее, находить наиболее верные пути к решению возникающих задач.

Бережное, заботливое отношение к кадрам прочно утвердилось в нашей партии. Перемещение кадров производится тогда, когда это вызывается интересами дела, необходимостью укрепить те или иные участки работы. Однако это не означает, что под предлогом закрепления кадров можно оставлять на своих постах тех, кто не справляется со своими обязанностями. Тем более вряд ли целесообразно

оставлять на руководящей работе таких людей, которые из года в год проявляют безответственность, нарушают хозяйственный ритм жизни коллектива предприятия, объединения или даже министерства. Должность сама по себе не обеспечивает ни авторитета, ни уважения.

Ленинские указания о всемерном укреплении дисциплины труда полностью сохраняют свою актуальность и в современных условиях. В организации четкой, слаженной работы, в обеспечении трудовой дисциплины сделано далеко не все, что возможно и необходимо. Нельзя мириться с тем, что на некоторых предприятиях, в колхозах, совхозах, учреждениях дисциплина порою хромает, что не перевелись еще люди, которые халатно относятся к своим прямым трудовым обязанностям. С этими явлениями необходимо вести самую решительную борьбу. Трудовую честь надо беречь, а с тех, кто забывает о ней, нужен самый строгий спрос.

За многие годы в партийных комитетах выработался плодотворный стиль работы, в основе которого — не горячность, не наскок, не скоропалительность выводов, а обстоятельный, глубокий анализ возникающих проблем. Научный подход к партийной работе — это подход сугубо деловой. Он обязывает действовать, не теряя времени, сверяя свой шаг с ходом общественного развития, с содержанием и духом коллективных решений.

Ныне Центральный Комитет партии призывает партийные организации вырабатывать научно обоснованные решения, аргументированно доказывать их политическую целесообразность и экономическую обоснованность. Таков магистральный путь всей нашей партийной работы.

Актив партии умеет видеть все многообразие возможностей развитого социалистического общества, всегда стремится найти оптимальный вариант решения той или иной проблемы.

Эта живая творческая работа не знает перерывов в своем поступательном развитии. Потому что нет и не может быть решений, верных на все времена. Сила теории научного коммунизма в том, что в ее основе — революционная, материалистическая диалектика, всякий раз требующая конкретного анализа конкретной ситуации. В своей повседневной работе мы широко используем те испытанные методы партийного руководства, которые оправдали себя на практике. И вместе с тем мы призваны быть новаторами в поисках новых методов, которые в наибольшей мере отвечают современной обстановке, позволяют с максимальной эффективностью решать задачи дальнейшего продвижения к коммунизму.

Размышляя об этом, я вспомнил один из тезисов резолюции X съезда РКП(б), который гласит: «Партия революционного марксизма в корне отрицает поиски абсолютно правильной, годной для всех ступеней революционного процесса формы партийной организации, а равно и методов ее работы. Наоборот, форма организации и методы работы всецело определяются особенностями данной конкретной исторической обстановки и теми задачами, которые из этой обстановки непосредственно вытекают». Мы верны этому ленинскому принципу, всегда будем верны.

Характер работы всех партийных органов, в том числе Центрального Комитета, Политбюро, Секретариата и отделов ЦК, определяется прежде всего той ролью, которую партия играет в нашей стране.

Круг вопросов, которыми доверено мне заниматься как Генеральному секретарю ЦК КПСС и Председателю Президиума Верховного Совета СССР, широк и ответствен. Приходится ежедневно держать в поле зрения практически все области жизни народа, все, что происходит на просторах страны. Разумеется, немалых усилий требуют и международные дела.

Советские люди хорошо знают, что высшая цель деятельности

партии — благо и счастье народа. Они воспринимают политику партии как свою собственную и доверяют ей руководящую роль в обществе. Этим мы, коммунисты, гордимся, и все наши помыслы направлены на то, чтобы быть достойными доверия великого советского народа.

Это доверие не пришло само по себе, а было завоевано в огне сражений и в созидательном труде. И чем напряженнее были периоды в жизни страны, тем больше усиливался приток трудящихся в ряды партии. В самый опасный момент гражданской войны, когда враг был на подступах к Туле и Москве, коммунистами стали десятки тысяч отважных бойцов. В 1924 году, во время ленинского призыва, в партию вступило свыше 240 тысяч рабочих. В годы Великой Отечественной войны в партию пришло более 5 миллионов человек.

Это все исторические факты, они известны и за рубежом, но недруги Советской страны, порой не понимая сути нашей политической системы, а чаще сознательно извращая ее, пытаются противопоставить партию народу. Тщетные усилия! Они, например, утверждают, будто партия у нас подменяет все другие государственные и общественные организации.

Что на это ответить? Общеизвестно, что Верховный Совет СССР, Совет Министров СССР, республиканские органы власти, местные Советы имеют четко очерченную компетенцию, определенную Конституцией. Они вырабатывают законы, следят за их выполнением, обеспечивают четкую работу всего хозяйственного организма, развитие науки, культуры, народного образования, здравоохранения, охраны природы. У общественных организаций свое поле деятельности: профсоюзы заботятся прежде всего о защите интересов трудящихся, комсомол занят воспитанием молодежи, важные задачи решают добровольные общества, объединения, творческие союзы, и партия добивается их всемерной активизации, стимулирует их инициативу.

Да, скажем прямо, мы заинтересованы в полнокровной жизни всей этой политической системы, ядром которой, вдохновителем, руководящей силой была и остается Коммунистическая партия. Она неустанно воспитывает всех трудящихся в духе высокой идейности и преданности социалистической Родине, делу коммунизма, способствует выработке коммунистического отношения к труду и общественной собственности, всестороннему развитию личности, созданию подлинного богатства духовной культуры.

Партия объединяет передовую, наиболее сознательную и активную часть рабочего класса, крестьянства и интеллигенции. Она сплачивает людей всех социальных групп, всех национальностей и поколений, вооружает их готовностью и умением бороться за идеалы самого справедливого устройства жизни на земле — коммунизма. И вместе с ростом задач, которые решаются народом на этом великом пути, возрастают роль и значение Коммунистической партии. Это — закономерное явление, вытекающее из потребностей общества. Это — закон нашей жизни.

4

Всюду, где приходится бывать, — а в этом смысле на карте страны осталось не так уж много «белых пятен» — я наблюдаю, как не в теории, а на практике все нити народной жизни тянутся к партии, вижу, как от нее исходит самое активное влияние на все клеточки общественного организма.

Приезжаешь, скажем, в крупный промышленный и культурный центр. Миллионное население, сотни заводов, строек, институтов. Нескончаемое движение на улице, напряженные планы, тысячи разнообразных дел. И стремления у людей на первый взгляд разные — интерес к работе, заботы о доме, о семье, тяга к обычным челове-

ским радостям. Бывают споры, случаются нелады, но в конечном счете планы выполняются, жизнь становится лучше, и все течет слаженно, четко... Кто соразмеряет всеобщий шаг? Кто придает делам единую направленность, общий высокий смысл?

Ответ один: партия. Со своими советами, жалобами, предложениями, со своими тревогами и надеждами люди идут в партийные организации. Идут потому, что знают: здесь разберутся, поймут, помогут. Они верят в это, потому что многократно убеждались в действенности партийного влияния, в способности нашей партии объединить бесчисленные ручейки реальной практики, направить их в общее русло, превратить в могучий поток, дать ускоряющие импульсы всему общественному развитию.

Доверием народа сильны коммунисты, в нем видят самый большой свой политический капитал и стремятся не только сберечь его, но и приумножить. Мы всегда помним замечательный завет основателя и вождя нашей партии:

«Жить в гуще.

Знать *настроения*.

Знать *в с е*.

Понимать массу.

Уметь подойти.

Завоевать ее **абсолютное доверие**».

В этом ленинском указании в сжатой, почти конспективной форме раскрыты стратегия и тактика работы партии в массах, заключена программа углубления органической связи партии с народом.

Владимир Ильич Ленин не раз подчеркивал, что один передовой отряд не может построить новое общество. Авангард, говорил он, «лишь тогда выполняет задачи авангарда, когда он умеет не отрываться от руководимой им массы, а действительно вести вперед всю массу». Никакие преграды не страшны передовому отряду, когда за ним идет вся армия. И нет ничего безнадежнее положения авангарда, даже отважного, если он оторвется от основных сил.

Вполне очевидно, что без монолитного единства, крепнущей связи коммунистов с широкими массами не было бы ни наших исторических побед в минувшие годы, ни всего того, чего мы достигли сегодня — на этапе развитого социализма. Когда народ и партия едины, когда неразрывны их устремления и порывы, нам по плечу самые сложные задачи!

Вот почему партия считает своим долгом постоянно прислушиваться к мнению масс, информировать народ о своей политике, о планах на будущее, о событиях внутри страны и за ее пределами. Для этого мы добиваемся, как известно, улучшения работы печати, телевидения, радио, всех средств пропаганды, повышаем уровень идеологической работы.

По поручению Центрального Комитета приходится выступать и мне — на съездах профсоюзов, комсомола, на съездах учителей, на крупных предприятиях, в воинских частях, на партийно-хозяйственных активах, собраниях общественности во многих городах и селах. Всегда воспринимаю эти поездки как выполнение первой обязанности руководителя-коммуниста. Всегда стремлюсь разъяснить трудящимся стратегию и тактику нашей партии, подробно и точно доложить о результатах нашей общей работы, откровенно сказать о трудностях и нерешенных задачах.

Как правило, такие выступления регламентированы, слово берут и другие ораторы, на все отведено определенное время. Но в перерывах, во время обхода заводских цехов, колхозных или совхозных угодий я стараюсь познакомиться с людьми, порасспросить об их жизни, внимательно выслушать все, что они хотят мне сказать, да и просто посмотреть им в глаза. Должен признаться, в общении с людьми всегда черпаю новые силы для работы. Эти встречи помога-

ют мне глубже вникать в жизнь тружеников, лучше узнавать мысли, потребности, чаяния народа.

Возвращаясь в свой рабочий кабинет, я постоянно знакомлюсь не только с деловыми бумагами, которые поступают в ЦК, но и с письмами трудящихся, идущими со всех концов страны. Обычно мы получаем их в Центральном Комитете 1500—2000 в день. В пору больших исторических событий — значительно больше.

В этих письмах — добрые слова коммунистов и беспартийных, их забота о судьбах нашей Родины, активная поддержка политики партии, живая заинтересованность во всех ее делах. Эти письма нельзя читать без волнения. В самом деле, садятся люди после рабочего дня и пишут о том, что заботит их, или ночью идут на телеграф, чтобы срочно сообщить о том, что, по их мнению, не терпит отлагательства. Ставят проблемы не только личные, но и общественные, общаются не только об успехах, но и об отрицательных явлениях, и что отрадно — как правило, мыслят по-государственному, вносят предложения, которые считают важными и полезными для всех.

Если учесть, что такие письма приходят и в местные партийные и советские органы, что они изо дня в день публикуются на страницах нашей печати, то, по существу, речь идет об уникальном явлении, присущем только советскому образу жизни. Разумеется, то или иное суждение может оказаться наивным, да и не всякая инициатива заслуживает немедленного внедрения. Но в целом мы имеем дело с историческим творчеством, опытом народа, а народ мудр, обо всем судит здраво смотрит на жизнь пристально и видит далеко.

Почти ежедневно я интересуюсь: о чем нам пишут, какая корреспонденция пришла сегодня? Прошу товарищей: вы мне давайте письма и положительные и отрицательные, содержащие критику. И хотя, конечно, не имею физической возможности даже перелистать всю приходящую почту, о сути ее мне докладывают систематически. А самые интересные письма кладут на стол, их надо прочесть иногда не раз.

Информацию обо всем, заслуживающем внимания в письмах трудящихся, получают и другие члены Центрального Комитета. Мы как бы черпаем из кладезя народной мудрости все новые и новые идеи для нашей конкретной работы. Наиболее важные сигналы и предложения рассматриваются на Политбюро и в Секретариате ЦК, учитываются при разработке постановлений и законов.

Связь партии с массами не прекращается ни на один день. Почта, доставляемая в Кремль или на Старую площадь Москвы, где размещаются здания ЦК КПСС, — лишь одно из проявлений таких постоянных контактов. Но и оно красноречиво свидетельствует, что народ и партию объединяет чувство общей ответственности за судьбы коммунизма.

Партии жизненно необходим постоянный обмен мнениями с широкими массами трудящихся. Сама дееспособность партийных организаций прямо зависит от глубины, прочности, многообразия связей с народом. И надо внимательно и кропотливо исследовать их состояние, следить за тем, чтобы не появилось в отдельных звеньях аппарата ржавчины бюрократизма, проверять, не устарели ли те или иные формы этой работы.

Как-то меня пригласили выступить на одном совещании, которое проводил Центральный Комитет. Происходило это в мае 1976 года, день заранее был расписан, заполнен делами, как говорится, забит до отказа, но тут был особый случай. В Москву съехались заведующие общими отделами обкомов, крайкомов, ЦК компартий союзных республик. И отказаться от встречи с этими товарищами я не мог, тем более что на совещания они собираются нечасто.

Помнится, пришел к ним без подробных записей, наметил только тезисы выступления. Подчеркнул, что им доверено многое. Гово-

рил о незыблемости ленинских норм партийной жизни, об улучшении стиля работы нашего аппарата, о дальнейшем развитии внутрипартийной демократии. И конечно, не мог в связи с этим не сказать о том, что постоянно заботит меня,— о необходимости укрепления связей партии с народом. Напомнил, что за письмами трудящихся, за их заявлениями, советами, предложениями, проектами, которые приходят ежедневно в партийные органы, стоят тысячи, десятки тысяч советских людей. Они сами, без указаний свыше, по собственному почину высказывают ценные мысли и предложения и, естественно, ждут справедливой и оперативной оценки своего труда. Работа здесь не аппаратно-техническая, а организационно-творческая.

Вот обо всем этом я счел полезным и нужным сказать, тема меня увлекла, но на часы все-таки поглядывал. Говорю председателю:

— Буду, пожалуй, закругляться.

— Нет,— отвечает,— продолжайте, пожалуйста.

Через какое-то время:

— Может, мне достаточно выступить?

— А мы,— улыбается он,— не торопимся. У нас есть время.

И в зале, как пишут в стенограммах, оживление.

Нет, думаю, так опоздаешь к другим делам. Закончил, распрыскался с товарищами, а вечером стал досадовать — о том не сказал, то упустил, того не разъяснил до конца... Однако и теперь, взяв перо в руки, вижу, что высказать все до конца не удастся.

Совместными усилиями мы создаем целостную науку о руководящей роли партии и закономерностях ее развития на этапе зрелого социализма. Указания КПСС о дальнейшей разработке проблем партийного строительства отражены во многих важных документах последних лет. Здесь же мне хотелось поделиться лишь некоторыми соображениями, которые возникли в конкретных ситуациях — во время поездок по стране, встреч с кадровыми работниками, активистами партии, трудящимися.

5

Мысли о славной ленинской партии всегда многоплановы. Здесь сказывается сама природа и сущность партийной деятельности — комплексной по содержанию, всепроникающей по влиянию на наше общество. В моих постоянных раздумьях о партии давно присутствует одна главенствующая тема, которую можно сформулировать так: партия и коммунистическое строительство.

Коммунизм для нас не сентиментальное мечтание, не великолепные грезы, а вполне реальная, осязаемая цель, вдохновенная практическая работа. Мы не просто хотим сделать всех людей счастливыми, создать условия для свободного развития каждой личности, для полной материальной обеспеченности всех членов общества, для жизни по законам справедливости, равенства, братства. Мы знаем, как это сделать. Конечно, пока не во всех деталях и подробностях, не на всю глубину времени до победы коммунизма. Многие предстоит определить в самом процессе хозяйственно-политического и культурного строительства. Но чем дальше, тем более уверенно, более умело мы будем действовать.

Наш путь, как путь всех первооткрывателей, труден и сложен. Чтобы не сбиться с него, нужно иметь хороший компас. Для нас таким компасом было и будет марксистско-ленинское учение, руководствуясь которым партия разрабатывает планы коммунистического строительства. Из наследия основоположников научного коммунизма Маркса, Энгельса, Ленина мы не только черпали и черпаем знания о законах общественного развития. Они передали нам и ту неизбежную, вечно молодую силу, перед которой не могут устоять

никакие бастионы угнетения и эксплуатации. Эта сила — методология познания мира, революционного переустройства социальной действительности.

Наша сила умножается партией от поколения к поколению. Она — в духовном порыве миллионов людей, в их творческих делах, высокой идейности, организованности, непоколебимой вере в торжество нашего дела.

Мы зовемся коммунистами, потому что идеалы коммунизма — во всех наших стремлениях и поступках.

Наша партия, ее ленинский Центральный Комитет неустанно ведут гигантскую коллективную работу по глубокому анализу современных социально-экономических и политических процессов, по изучению тенденций общественного развития, по разработке внутреннего и внешнеполитического курса страны. В эту плодотворную деятельность партии огромный творческий вклад вносит Политбюро ЦК КПСС. Работа Политбюро ЦК КПСС насыщена глубоким теоретическим и идейным содержанием, вооружающим коммунистов и всех трудящихся ясным пониманием перспектив и задач нашей борьбы за коммунистическое завтра.

Все наши партийные руководители работают с большой энергией, отдавая свои силы, опыт и знания во имя высших интересов партии и народа, экономического и социального прогресса нашей Родины, дела коммунизма и мира.

У членов и кандидатов в члены Политбюро, секретарей ЦК КПСС яркая трудовая жизнь, большой опыт партийной и государственной деятельности. О некоторых товарищах я уже рассказывал. Здесь несколько слов мне хочется сказать о человеке, с которым нас связывают многие годы партийной работы, — о Юрии Владимировиче Андропове. Я высоко ценю его партийную скромность, человечность, выдающиеся деловые качества. Он прошел большой и славный путь комсомольской и партийной работы. Очень ценю таких людей.

Нашей партии суждено идти непроторенной дорогой истории. Каждый наш шаг вперед — новая ступень нового общества. Она не бывает находкой легкой удачи, подарком слепого случая. Все достается в борьбе с трудностями, требует творческой энергии и целеустремленности.

Отмести в социально-экономических отношениях все отжившее, старое, взлелеять и вырастить всходы нового — дело совсем не простое. Оно требует не только знаний, опыта, научного предвидения, но и мужества, смелости, готовности отдать всего себя людям. Это и борьба, это и работа. В ней кто-то должен братья за самое трудное, тяжелое, может быть, непосильное для других. За это берутся коммунисты. У них есть только одна привилегия — больше, чем другие, отдавать общему делу, лучше, чем другие, бороться и трудиться ради его торжества. У них есть только одно особое право — быть там, где труднее.

Мы зовемся коммунистами, потому что строим коммунизм.

Да, мы строители в наиболее емком смысле слова. Из тысяч и тысяч кирпичей вырастает здание. Из тысяч и тысяч человеческих судеб складывается судьба народная. Строить эту судьбу народ доверил своему передовому отряду, лучшим своим сыновьям и дочерям. Первым оказал нам это высокое доверие рабочий класс — сегодня его идеалы, его коренные цели и интересы стали идеалами, целями, интересами всех трудящихся страны. Коммунисты уже давно взяли на себя великую ответственность за будущее народа. Мы накопили огромный политический и организаторский опыт борьбы за победу и упрочение социализма. Партия как руководящая и направляющая сила советского общества указала генеральную линию дальнейшего

движения вперед и успешно мобилизует массы на претворение ее в жизнь.

Мы зовемся коммунистами, потому что ведем народ к коммунизму.

Наша партия есть партия не только единомыслящих, но и единых действующих. Когда первой из коммунистических партий мира она стала правящей, Владимир Ильич Ленин выдвинул перед ней главную, рассчитанную на целую эпоху задачу — руководить строительством нового общества. Наш вождь призывал коммунистов быть достойными этой, как он указывал, труднейшей и благороднейшей задачи — организовать по-новому самые глубокие основы жизни миллионов. Построенное в Советской стране развитое социалистическое общество, каждая наша новая пятилетка, каждый новый трудовой день — доказательство того, что Коммунистическая партия с честью решает поставленную Лениным задачу.

Мы зовемся коммунистами, потому что силой своего примера прокладываем всем народам земли путь к коммунизму.

Наша партия всегда была верна своему интернациональному долгу. Родина у каждого человека одна и у всего народа тоже одна. Советские люди бесконечно преданы своей отчизне и прежде всего желают ей добра. Мы добились расцвета всех республик СССР. По велению великого чувства — пролетарского интернационализма мы на общей основе развиваем и крепим социалистическое содружество — одно из крупнейших завоеваний нашей эпохи. На мир социализма равняется, по нему сверяет часы истории все прогрессивное человечество.

Нам близки надежды миллионов трудящихся Европы, Азии, Африки, Австралии, Америки, мы не можем быть равнодушными к судьбам и тяготам народов, которые сбросили оковы колониализма и идут своим путем к новой жизни. У каждой страны свой путь развития, определить который должен ее народ. Но силы империализма не просто сдают свои позиции, расстаются со своими колониями. Часто предоставляя им «независимость», они в то же время стремятся, используя экономические и иные трудности, опутать их новыми, более изощренными путями, путями неоколониализма. Есть еще политические деятели, которые живут, заботясь лишь о своем благополучии, извлекая прибыль из войны, голода, несчастий народов. Такая «политическая деятельность» для нас неприемлема. Потому что мы — коммунисты.

Коммунистическое и рабочее движение давно уже стало не только международным, но и поистине всемирным. Сейчас не найдется на нашей планете страны, где в той или иной форме не развивалась бы организованная борьба трудящихся за воплощение в жизнь великого учения Маркса — Ленина. Возглавляют ее коммунисты, которым сплошь и рядом приходится действовать, как когда-то и нашей партии, в условиях глубокого подполья, жесточайших преследований и репрессий. Вместе с тем знаменательно, что ныне во многих странах капиталистического мира коммунистические и рабочие партии стали внушительной общенациональной силой.

И стоит ли удивляться, что это неодолимое движение современности, подкрепленное неоспоримыми достижениями реального социализма, вызывает бешеную злобу, ожесточенное сопротивление всех регрессивных сил обреченного мира капитала. Ведь наша коммунистическая идеология и есть тот самый архимедов рычаг, с помощью которого осуществляется коренной поворот в истории человечества к светлому будущему.

Хотел бы в связи с этим коснуться одного из самых распространенных мифов в арсенале западных пропагандистов, да и некоторых политиков Запада. Как только где-то в очередной точке планеты народы, трудящиеся сделают попытку, а тем более успешную, вернуть себе то, что принадлежит им по праву, там поднимается волна измыш-

лений о «направляющей руке», под которой явно или замаскированно подразумевается, конечно, наша страна.

Да, мы солидарны с теми, кто борется за социальное и национальное освобождение, считаем эту борьбу справедливой. Мы радуемся успехам свободолюбивых народов, которые крушат прогнившие режимы и утверждают независимость своих стран. Прискорбно, что иные западные деятели не могут взять в толк, что процесс бурных национальных и социальных преобразований в мире развивается по своим объективным законам. Революционные перемены созревают только на национальной основе. Приписывать их «козням Москвы» — значит вводить в заблуждение общественность своих стран.

Разрабатывая и проводя в жизнь принципы разрядки, всю Программу мира, Советский Союз не искал и не ищет для себя каких-либо выгод или преимуществ. Мир в равной мере нужен всем людям и всем странам на земле. Именно всем! Всякие разговоры о «советской военной угрозе», любые попытки приписать нам воинственные намерения — это вымыслы, играющие на руку тем, кто хотел бы посеять вражду между народами.

Уважение к другим народам, к их праву самостоятельно решать собственную судьбу — это ленинское требование, и оно остается для нас, членов ленинской партии, всегда в силе. Это одно из уставных положений КПСС. Не экспорт революции, а вдохновляющий пример реального социализма со всеми его достижениями для блага человека, во имя человека будоражит умы, зовет к борьбе народы, все еще угнетенные властью денежного мешка. Вот в чем ясная логика развития человечества, которой пронизано марксистско-ленинское учение.

Разве каждый здравомыслящий человек в современном мире не видит, сколь разителен на фоне раздираемых внутренними и внешними противоречиями взаимоотношений капиталистических государств пример стран социалистического содружества — этого главного завоевания реального социализма в международном масштабе. Не так давно семья братских народов социалистических стран торжественно отметила 30-летие Совета Экономической Взаимопомощи — организации, олицетворяющей качественно новый, социалистический тип сотрудничества государств, международного разделения труда. Наши взаимоотношения, и не только в экономической, но и во всех других сферах общественно-политической жизни, основаны на незыблемых принципах равноправия, добровольности, суверенитета, невмешательства во внутренние дела, взаимной выгоды и взаимопонимания. И это не лозунги, а живая практика деятельности Совета, как и всей жизни братской семьи социалистических государств.

Объединяя ныне десять социалистических государств Европы, Азии и Америки, в которых проживают 435 миллионов человек, СЭВ производит более трети мировой промышленной продукции! Это надежная основа дальнейших успехов содружества братских государств, неуклонного роста благосостояния каждого его труженика, созданная усилиями народов под водительством коммунистических и рабочих партий!

КПСС, братские коммунистические и рабочие партии стран социализма — душа и сердце великого содружества народов, какого не знала история человечества. Они неуклонно двигают вперед свое величайшее завоевание — международный социализм. Это партии особого склада: они не только выковали в суровой борьбе самих себя, плоть от плоти своих народов, но и обеспечили победу их исторического дела, стали правящими партиями в своих странах, и народы вверили им свои судьбы. За прошедшие десятилетия братские партии с честью доказали, что трудящиеся социалистических стран не ошиблись в своем выборе, когда пошли за своим авангардом в новую жизнь.

Мне довелось неоднократно бывать в большинстве братских социалистических стран. Могу утверждать, что знаю их жизнь, их

проблемы и достижения. Знаю по незабываемым встречам с рабочими Красного Чепеля и Варшавского металлургического комбината, с виноградарями Болгарии, с жителями Праги, Бухареста и Берлина, Гаваны и Улан-Батора. Да, мы, социалистические народы, избрали сложную и почетную судьбу первопроходцев будущего, прокладывающих светлую дорогу всему человечеству. Дорога наша — не ухоженный городской проспект. Это путь, который мы укладываем, подобно магистралам в тайге, шаг за шагом, километр за километром. Мы, коммунисты, привыкли мыслить критически и критически оценивать сделанное: отдаем себе ясный отчет в том, чего еще не успели сделать, знаем собственные трудности и недостатки — их еще, как говорится, на наш век хватит, но на то мы и коммунисты, чтобы одолеть все во имя счастья и процветания наших народов.

Когда я пытаюсь мысленно создать для себя обобщенный образ коммуниста, перед моими глазами встают испытанные товарищи по борьбе — руководители братских коммунистических и рабочих партий, с которыми связан крепкой и принципиальной партийной и личной дружбой. Мы встречаемся не только по праздникам, в дни больших торжеств, таких, как съезды братских партий, или во время официальных визитов. Можно без преувеличения сказать, что мы сверяем часы и в будни. Руководители братских партий социалистических стран находятся в постоянном, каждодневном контакте друг с другом. Выработывая общую точку зрения, стратегию и тактику общего действия, наши страны всегда и во всем исходят из коренных интересов каждого из народов и всего социалистического содружества в целом. На этом основаны взаимоотношения братских коммунистических и рабочих партий и их руководителей, принявших на свои плечи всю меру исторической ответственности за грядущие судьбы человечества, которые уже сегодня смоделированы в достижениях реального социализма.

На нашей земле воплотилась в конкретные дела мечта великих мыслителей многих веков — мечта о социализме. Построен реальный социализм. И мы сильны тем, что служим гуманным целям, что вся наша работа посвящена служению народу, его благу и счастью. Сильны тем, что боремся за претворение в жизнь самых светлых идеалов всего человечества — за построение коммунизма.

Деятельность Коммунистической партии всегда устремлена в грядущее, но вместе с тем партия должна жить заботами сегодняшнего дня. Одно с другим связано неразрывно. Лучшим примером этому может служить Программа мира, которую выдвинули мы — советские коммунисты — и вместе с нашими друзьями и союзниками проводим неуклонно. Не хочу приуменьшать и своего труда в этом: сохранение мира на земле — одна из коренных сегодняшних задач, она не только близка моим мыслям, но я исполнен желания и сил сделать все возможное, чтобы не допустить возникновения новой войны. От решения этой задачи зависит будущее человечества.

Конечно, проблема эта весьма сложна и порой — не по нашей вине — запутанна. Здесь хотелось бы сказать о ней по-человечески просто. Что дают — не только советскому народу, но и всем народам мира — начатые по нашей инициативе переговоры о сдерживании гонки вооружений? Почему мы так настойчиво готовили их на протяжении десяти лет?

В летописи человечества, как утверждают историки, записано уже почти 15 тысяч войн, полыхавших на земле. В землю полегло около 4 миллиардов человек — армии, поколения, цивилизации. Если посчитать, получается, что за пять с лишним тысячелетий человеческой истории набирается всего четыре столетия мирных лет!

Цифры страшные, но и они не обо всем еще говорят. Войны со временем ужесточались, ширились. Войны стали уничтожать не только солдат, но и мирное население — женщин, детей, стариков

живших за сотни километров от линии фронта. Войны набирали все большую разрушительную силу, ныне созданы ядерные арсеналы, и угроза нависла не только над отдельными странами, но и над всей планетой в целом.

И если страны социализма вот уже тридцать седьмую весну встречают спокойно, если советские люди вот уже более трети века не знают войны, если идея мира пустила глубокие корни в сознании народов всех стран, всех континентов, то это, несомненно, и заслуга Коммунистической партии Советского Союза.

На протяжении многих лет нашу советскую дипломатию возглавляет Андрей Андреевич Громыко. Много сил и таланта отдает он этой исключительно важной для нашего народа деятельности.

Родина Октября в первые же часы своей истории возвестила народам свою главную цель — бороться за мир во всем мире. Ленинские идеи мирного сосуществования всегда были определяющими в нашей внешней политике. И сегодня они ведут нас вперед, подсказывают нам мудрую сдержанность, уважение к интересам других государств, честное стремление найти с ними общий язык, торговать, обмениваться достижениями науки и культуры. А если возникают споры, то решать их надо мирными средствами и не бряцать оружием, как это кое-кому свойственно и в наш век.

В моих записках немало было сказано о научном обосновании политики партии. Однако есть еще и простой здравый смысл — он тоже неплохой советчик. Ведя переговоры, мы, разумеется, изучаем многие факторы, прибегаем к прогнозам ученых. Но и без электронно-вычислительных машин каждому здравомыслящему человеку ясно — народам не нужна война, народам нужен мир. Знаю, что так же думают и миллионы моих соотечественников. Убежден — опять же без специальных опросов общественного мнения, — что и абсолютное большинство населения земли против того, чтобы взорвать ее смертоубийственной войной. Иначе и не могут думать те, в ком сохранилась хотя бы крупица здравого смысла.

* * *

Итак, есть две вещи, которые всегда были и будут наиболее близки моему сердцу, всегда были и будут предметом моих главных забот. Это — хлеб для народа и безопасность страны.

Читатель знает: мне довелось быть в жизни свидетелем таких времен, когда страна наша была в состоянии всеобщей разрухи, когда наши люди переносили невероятные страдания от голода и холода. Пришлось мне также пройти через огонь тяжелейших сражений, своими глазами видеть смерть и ад, пожары и разрушения, которые агрессор принес на мирную социалистическую землю.

Пройдя через все это, я дал себе клятву — сделать все, что в моих силах, чтобы такое никогда больше не повторилось.

И вот стараюсь как могу выполнить эту свою клятву на тех высоких постах, которые доверили мне партия и народ.

И сегодня я не знаю более высокой цели.

И впредь буду делать все от меня зависящее, чтобы советские люди жили с каждым годом все лучше, чтобы счастливы были наши дети и внуки, чтобы одержала полную победу ленинская политика нашей партии — политика неуклонного повышения уровня жизни народа, обеспечения мира и безопасности страны, строительства светлого коммунистического будущего.

Ради этого стоит жить на белом свете. Ради этого можно не жалеть ни времени, ни сил. Ради такой благородной цели надо работать и работать.

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ



КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН

Из книги «Жизнь человека»

* *
*

Блики на плитах
Оставил закат.
Сколько убитых
В могилах лежат!

Племя святое,
Что в пламени том
Умерло стоя.
Упало — потом.

* *
*

Он давно простился с теми,
С кем когда-то был одно.
Милый дом, родные стены,
Он оставил вас давно.

Но порой прикроет очи,
Тут же — мать, отец, сестра.
Путь короче, если к ночи,
И опять длинней с утра.

Он со зноем и с метелью
Свыкся полностью уже.
Ни сомненью, ни смятенью
Места нет в его душе.

Дом. Бетонная отмостка.
Три лица почти сквозь дым,
И от сердца или от мозга —
Нить, протянутая к ним.

* *
*

Ветер порывами. В небе темно.
Сосны за дачей.
Ночью проснулся. Открыто окно.
Холод собачий

Днем было столько событий и дел —
Жизнь-то большая.
Днем этот мир полнокровный гудел,
Все заглушая.

Днем укололась душа или грудь
Тоненьким жалом.
Памятью близкой боясь шевельнуть,
Ночью лежал он.

И сквозь остатки разодранных дрем
Явственно где-то
Слышался поезд, неслышимый днем,
Знающий это

Женские лица

Набирает силу лист.
Я маршрут себе намечу.
Сколько ранних женских лиц
Попадается навстречу.

На троллейбус, на метро
Накатила дымка эта.

Вон их сколько намело,
Словно вишенного цвета.

Сколько свежих женских лиц
Чистым утром на припеке.
И какой-то старый лис,
Промелькнувший в их потоке.

Измена

Вот вошла к нему со света,
С лета — в комнатку его,
Не спросившая совета
На земле ни у кого.

И в каком-то странном раже,
Отвернув слегка лицо,
Все сняла с себя — и даже
Обручальное кольцо.

* *
*

Что в моих карманах? Как всегда:
Перочинный ножик,
Папиросы «Красная звезда» —
После козьих ножек.

От холодной комнатенки ключ,
От стипендии остаток.
Взгляд еще подчеркнуто колюч,
А на шее след от скаток.

Что в карманах? Нежные слова
В тех твоих записках.
Жизнь гудит, входя в свои права,
Нас почти затискав.

Что ты, жизнь, еще в дальнейшем дашь
В громе пятилеток?
Книжку записную, карандаш,
Трубочку таблеток?

1951.

Приезд деда

Хоть из пушки вверх пали!
Дверь — и в солнечной пыли
Дед, явившийся внезапно.
А ведь ждали только завтра.

Так он смотрит всякий раз,
Задержав глаза на внуке,

Словно видит всех сейчас
После длительной разлуки.

Внук, ликуя и дрожа,
Позабыл и про гостинец,
Крепко дедушку держа
За его большой мизинец.

* *
*

Путь мой единственный, где ж он?
Молодость наша, прости.
Был я со всеми процежен
Сквозь этой жизни пласты.

Пробы — на смелость, на ересь —
Сквозь этой жизни слои.
Но сохранил я, надеюсь,
Качества только свои...

Слезы волнения вытри
Или сквозь слезы взгляни.
Счастье, что в некоем фильтре
Не потерялись они,

Календарь

Прошедший день благодаря,
 Сорвал листок календаря,
 Свернул задумчиво сигарку,
 Неторопливо задымил
 И озарил свою хибарку
 Сгоревшим днем, что сердцу мил.

* *
 *

Показалось, что окликнули.
 Оглянулась — ни души.
 Лишь березки шеи выгнули
 В вечерющей глуши.

И ни капельки не боязно,
 Хоть и смеркнется вот-вот.
 Но отчетливо и горестно
 Кто-то сызнова зовет.

РАВИЛЬ БУХАРАЕВ**Между-речье**

Живая память обретает плоть,
 когда — в Казани и в ладони — летом
 сирени детства розовая гроздь
 возникнет влажной тяжестью и светом.
 Есть тысяча названий у цветка —
 двенадцати языков заслуга.
 Но осознала детская рука
 его на ощупь как пожатье друга.

Очнусь: я жив и небо в облаках...
 Благодарить ли облако и небо,
 что на земле на разных языках
 сумею попросить воды и хлеба?
 Отметясь по движенью облаков,
 не убоюсь ни славы, ни увечья,
 вхожу сквозь сопряжение языков
 в пространство духа — область м е ж д у - р е ч ь я.

В друзьях знакомы многие края.
 Лишусь ли плоти, голоса и слуха,
 уже полжизни возмещаю я
 родство по крови —
 со смятением духа
 в пространстве между-речья.

Не судья
 себе и людям, в горе и нирване,
 над замкнутым простором бытия
 на сфере вижу выпуклые грани...

...Грань — Грузия: сомненья отстраня,
 гляжу, осознавая — виноват ли,
 что живы от рожденья для меня
 шемящий свет и гордый воздух Картли?
 В горах, на море — все навек и так.
 Пускай гляжу на побережье строже,
 но жив самшита совершенный знак,
 смоковница жива в слоновой коже...
 ...Молдавия: свободе был не рад
 я, в Кишинев попавший ненароком
 в те дни, когда прозрачный виноград
 захлебывался теплым терпким соком.
 Тогда на свет цыганского костра
 я твердо шел, надеясь не вернуться,

но насмеялась, съехав со двора,
груженная колхозная каруца...
...Башкирия: расплавленная медь,
тягучий мед уральского заката.
Здесь шмель космат, как маленький медведь,
в степи на первоцветах Салавата,
здесь давние скрещения дорог
кровавыми копытами избиты,
здесь карстовые пропасти, где бог,
считая время, лепит сталактиты...
...Грань — Украина: горько и давно
не прилетает аист к изголовью,
но мне ли так напрасно суждено
с тобой делиться жизнью и любовью?
На слышных языках ответа нет,
а в между-речье — суховой и травы.
Сошлись над крымской степью тьма и свет:
Софии блеск и мертвый сумрак лавры...
...Чувашия — о жимолость и хмель,
жилище пчел библейских в росной влаге!
Языческая черная свирель
звонка навечно в чаще и овраге.
Не здесь ли соловьи примнились мне
вблизи залива, где крушины волглы,
и нашептал о вечности и сне
таежный мох левобережья Волги?
...Калмыкия: сон — бархатная ночь,
ночь — тишина, которой в будни бредим.
Не Будде ль одному возможно мочь
руно твоих небес прожечь созвездьем?
Как свеж твой воздух! Мне на вираже,
закрученном безвыходной отвагой,
мерещились в пустынном мираже
тюльпан и чайки крик над редкой влагой...
...Грань — Казахстан: неутолимый вздох,
горизонталь и вертикаль. О странник,
лишь вспыхнул на горах горючий мак —
осенний покраснел уже кустарник.
Какой простор — вместилище любви!
Пока мазаров голосам я внемлю,
пред юртой, как пред храмом Яссави,
смирю гордыню, поцелую землю...

Грань: между-речья символы ясны,
но я не замышляя эксперимента,
пройдя в напрасных поисках весны
по солнцу от Чукотки до Чимкента.
Равно тревожит сердце кровь-струя —
на воле или раздувая вены.
Будь прокляты границы бытия,
но грани без границ — благословенны!

Благословенна будь, судьба моя,
дурная, окаянно-человечья:
ты — родина, ты — чуждые края,
ты — немощь слов, ты — правда между-речья.
Что шито на века — не распороть!
Какая б мне ни выпала проруха,
живая память заменяет плоть,
пока душа жива в пространстве духа.

А. ПРИСТАВКИН

★

ГОРОДОК

Роман

Часть первая

Поздней осенью в середине дня с рейсового «Икаруса», ходящего от железнодорожной станции до Нового города, сошел молодой мужчина. Был он одет в спортивные ботинки и джинсы, голубую нейлоновую куртку и пыжиковую шапку. В руках небольшой, тоже голубенький, чемоданчик на «молнии».

Дул сильный ветер, бич здешних мест, порывистый, с брызгами дождя. Люди на автостанции с узлами, с сетками, с чемоданами, все приезжая рабочая публика, жалась к единственному стоящему посреди асфальтированной площадки павильончику, ждали городского автобуса.

Мужчина, не обращая внимания на ветер и на дождь, не прячась и как бы вовсе не замечая их, поставил чемодан между ног и так остался стоять там, где сошел. Когда подъехал городской автобус, мужчина забрался одним из последних, не толкаясь и не суетясь, протянул кондукторше через головы пятак и сказал: «В кадры». И кондукторша не удивилась, распознав в приезжем человека бывалого, коротко отвечала, отдавая билетик, что кадры там же, где управление строительства, три остановки отсюда.

Но в кадры человек сразу не пошел. Потолкался в коридорчике среди приезжей публики, большинство моложе его, прочитал внимательно многочисленные приказы и объявления на стене: «Наши первые маяки», набор в секции, туристские поездки за границу, «Тревога» (не подвезли раствор по вине какого-то Грищенко) и так далее,— зашел в ближайшую столовку. Здесь над порцией макарон с котлетой (странная котлета — рыбно-мясная) он опять вслушивался в разноречивые толки о работе, об устройстве жилья, осторожненько раз, другой спросил о заработках, о подрядных организациях, о том, где и как дают жилье.

Выяснилось, что строители, как он и предполагал, нужны везде: людей не хватает. И в Жилстрое нужны, и в Спецмонтаже, и в Гидроспецстрое, и так далее. В отделе кадров документы смотрит комиссия, проверяют серьезно и особенно придираются к тем, кто уволился конфликтно, или по пьянству, или вернулся из мест заключения. Последним, считай, сразу от ворот поворот, потому что город будущего должен быть чист от всякого хулиганья. Там же, в кадрах, в случае благоприятного отношения дают листок для переговоров: можно походить по организациям, посмотреть, выбрать то, что любо, но не больше двух дней. На эти два дня поселяют в общежитии, а потом, выбрал или не выбрал, катись на все четыре стороны и уступи жилье другим.

Все выведав, Григорий Шохов зашел в туалет и привел себя в порядок. Причесался, куртку расстегнул так, чтобы видны были сорочка и галстук, а ботинки почистил носовым платком, смочив в воде. После такой подготовки, раз и другой взглянув на расстоянии в зеркало и потрогав подбородок, решительно направился к двери в кадры, где толпился народ.

Через пять минут Шохов энергичным шагом входил в просторную комнату, служившую, по-видимому, в другое время залом; за длинным столом, прямо как на экзаменах, сидели люди и смотрели на него. В самом центре — женщина, похожая, как ему показалось, на учительницу. С женщинами, особенно молодыми, Шохов умел находить общий язык. Он решительно направился прямо к ней, но его перехватил мужчина, чернявый, невысокий, с кавказским акцентом. Он предложил сесть напротив и показать документы. Очень быстро их просмотрел, повторяя вслух:

— КамАЗ... А до этого что? Усть-Илим, Усолье, Пермь.— И вдруг спросил, поднимая голову: — А почему с КамАЗа-то уволились, Григорий... Афанасьич? Пили много?

— Не пью вообще,— ответил Шохов, несколько не обижаясь на такой тон, и встречно невинно посмотрел в глаза чернявого.

— А сюда надолго? Или дальше побежите?

Вопрос был чисто риторический, оба — и спрашивающий и отвечающий — понимали это. Шохов знал, что говорят обычно в таких случаях и какого ответа от него ждут. Но показалось более уважительным для себя промолчать. Ведь все равно никаким заверениям не поверят. А молчание даже могут счесть за серьезность характера.

Чернявый вторично, с прикидкой, покрутил-помусолил трудовую книжку и со словами: «Ездите, ездите и чего ищете — сами небось не знаете!» — швырнул документы вдоль стола в сторону женщины, показывая этим, что разговор закончен. В дверях уже маячил следующий кандидат. А документы — паспорт и трудовая книжка — с непонятной точностью по гладкой крашеной поверхности стола скользнули именно туда, куда и предназначались, и были приняты прямо в руки.

Против женщины никакого стула не оказалось, и Шохов остался стоять, глядя, как она медленно (ну ведь точно же учительница, и привычка читать — как ошибки вычитывать по слогам) просмотрела трудовую книжку, даже заглянула в самый конец, где были записаны у Шохова пять благодарностей, ткнула пальцем, показывая что-то сидящему рядом пожилому мужчине. А тот кивнул и уперся глазами в Шохова, стоящего перед ними и вправду, как на экзаменах, прямо, но с вежливой предупредительностью. Он понимал, что его оценивают, решают его судьбу.

— На каких объектах работали в Челнах? Что строили? — спросил мужчина. Впрочем, спросил без особого любопытства и устало.

Шохов отвечал предельно коротко, не стараясь перекричать шум в комнате, он и голосом своим и коротким ответом старался представить себя с лучшей стороны — этакий милый парняга, умеющий выслушать и не произносить лишних слов. Болтливых на стройке не любят. Он знал по опыту, что принимают не только и не столько по документам: личное впечатление бывает поважней иной бумажки. В бумажке, к примеру, напишут, что такой ты и сякой, и золотой, а поглядят на тебя вблизи — под глазами мешки набрякли, да лицо водянистое, как у алкоголика, да сорочка не стирана, а на ботинках грязь, вот и видно, что ты за птица такая и чего стоишь. И чего стоят твои бумажки... Конечно, бывает и внешность обманчивой, и все-таки, видеть, не зря встречают по одежде, она выражает человека.

Шохов сразу понял, что произвел нужное впечатление. Седой человек, переговорив с женщиной, произнес, опять-таки без выражения, что Шохову дадут листок для переговоров и он сам волен выби-

рать что заблагорассудится. Но он, этот человек, предлагает Гидроспецстрой, организация известная, престижная, и, судя по всему, Шохов придется там ко двору.

— Если ничего лучше не придумаете,— закончил человек, протягивая документы,— то до завтра. Наша контора в вагончике за столовой. Всего хорошего.

В общем-то, вся процедура до тонкостей была известна Шохову. Надо сказать, что он ни секунды не переживал по поводу трудоустройства. Была бы, как говорят, шея, хомут найдется. Но хомут хомуту рознь, это тоже помнить надо. Еще не покинув кадры, Шохов знал твердо, что Гидроспецстрой ему подходит. Платят прилично, и работа интересная (вот для того и толкался, для того и уши наставлял, чтобы не оказаться в дураках, если сразу что-то предложат), и с жильем, по-видимому, неплохо. Это вот, последнее, больше всего и занимало Шохова, когда он выходил на улицу.

Дождь перестал, но серые клубковатые тучи стелились над самой землей. Место было здесь равнинное, просторное, в непогоду мрачное, тучи забили все небо до горизонта. Дома стояли еще реденько, хотя опытным глазом можно было определить, что строительство ведется на высшем уровне, планировка просторная, улицы широкие, с бульварами. А пока это были еще не улицы, а ямы, да перекопы, да красные от глины тропинки с деревянными кое-где тротуарчиками. По единственной заасфальтированной улице проносились в брызгах грязи самосвалы.

Шохова ничего не смущало, ни грязь, ни непогода, ни вид города, мало ли он повидал таких городов. Более того, ему все это нравилось, потому что было почти своим, родным. Сколько раз приезжал он так же на новостройки и еще в день приезда угадывал, что не задержится надолго. Бывало и так, это на КамАЗе, в Набережных Челнах, что подумывал остаться, пустить, как говорят, корни. Но только сейчас, здесь он наверняка знал, хоть и не стал отвечать чернявому, видать дошлomu кадровику, что куда больше не уедет. Это его место. И он будет здесь жить. Как — это уже другой вопрос. Этого никто не мог сказать. Не знал и все знающий про себя Шохов.

На другой день в просторном вагончике с красной на боку надписью «Гидроспецстрой» он оформился. С местным кадровиком, молодым и бойким парнем, произошел такой разговор.

— А как насчет жилья?

— Одиноким дается общежитие. Я же вам бумажку, кажется, написал?

— Ну а если не одинок?

— Что, расписаны? — спросил парень без интереса.

— Ну, предположим, расписан.

Парень посмотрел на него и засмеялся, хотя ничего смешного в их беседе пока не было. Так решил Шохов. Наверное, легкий характер у человека.

— То же самое,— произнес он.— Будете работать, встанете на очередь.

— Большая очередь-то?

— А вы где-нибудь видели маленькую? — спросил веселый парень.— Так туда и езжайте. Да и другим скажите, это сейчас всех интересует.

Шохов промолчал, он не хотел с первой минуты наживать себе врагов.

Но веселый кадровик и сам понял, что хватил лишку.

— Сюда многие из-за жилья едут,— после паузы сказал он и вздохнул.

И Шохов так понял, что и сам парень приехал из-за жилья. Может, он и не кадровик вовсе, разве это профессия для крепкого и молодого человека, а мастер или механик, так часто бывает.

— Тоже в общежитии? — спросил Шохов кадровика уже как своего.

— Снимаю. У меня семья, — отвечал тот откровенно. — Да я согласен ждать хоть три года! Там, где я жил, и за десять не получишь.

— Десять? — присвистнул Шохов. — А жить когда?

— То-то и оно. А снимать тоже дорого.

— А домик? Домик построить?

— Здесь-то? — отмахнулся парень. — Здесь домиков не разрешают. И песню такую поют, не слышали разве: «Город без времянок, город без палаток...»

— Как это? Везде строят, а тут нельзя?

— А тут нельзя.

— Так не бывает, — категорически сказал Шохов. — Не бывает без домиков, я это точно знаю. А крупная стройка тем более не бывает.

Из вагончика Шохов направился прямо к коменданту общежития, для этого надо было лишь перейти улицу. И снова, как в час приезда, посмотрел вдоль проспекта (будущего проспекта) на дома, по-хозяйски прикидывая, как оно построится, заблестит сероватым асфальтом, покроется зеленью и цветами: мировой город будет. Город без времянок, город без палаток... Это он уже слышал, не раз слышал, но не видел никогда, чтобы город чистенько рос сам по себе. Дом один построить — и то рядом нагородишь черт-те чего, всяких там подсобных помещений, складиков и прорабок. А чтобы целый город с заводом да гидротехническим сооружением без времянок и без палаток? Дудки! И вспомнилось их строительское — ничего нет постоянных временных сооружений! Вот это правда! А песня врет. Она, наверное, из тех песен, что бодренькие и вылизанные мальчишки орут в микрофон. Им ведь все равно, что орать.

А вот они пели другое... Он стал вспоминать и вспомнил: «Ах ты речка Ангара, ты зачем течешь туда, где Ледовый океян и студеный ураган? Поверни на юг, под Сочи, мы довольны будем очень, ГЭС в палатках мы построим, обойдемся без жилстроев...»

У входа в общежитие висело объявление. Шохов остановился и прочел его: «Товарищи, становитесь в ряды участников соревнования за город высокой культуры и быта!» Внизу было дописано: «Внимание! На вахте есть уют, чтобы его получить, нужно сдать вахтеру паспорт».

Комендант был у себя, коротенький моложавый мальчик, но уже с животиком. Нервы, наверное, были у него стальные. При Шохове он минут десять отбивался от какого-то человека, который требовал для своих приезжих работников места в общежитии.

— А где я возьму? — громко, отработанным голосом кричал животастый комендант. — Где? У меня что, резиновое общежитие, да?

— Так велели же, — настаивал человек с грустной упорностью. Он держал под мышкой портфель и был похож на какого-то киношного неудачника домоуправа.

— Будет — тогда дам. А сейчас нет, поэтому не дам.

— А куда я людей дену? Они же с дороги, с вещами. И ведь начальство же прямо сказало, что...

— Пусть оно и дает!

— Тьфу! — произнес в сердцах грустный человек и ушел.

А Шохов опять подивился, какие прочные нервы у коменданта. И нахальства ему не занимать. Такого бумажкой не пробьешь, такого перенахалить только можно.

— Ну? — спросил комендант Шохова, глядя куда-то мимо него. — Чево?

Шохов без слов протянул листок из кадров.

— Чево это? — спросил комендант, не принимая бумажки.

— Бумага.

— А чево в ней написано?

— Не знаю,— в тон ему очень спокойно отвечал Шохов.— Может, там написано, что мне нужно выделить дворец Тадж-Махал с личной охраной и прислугой?

— Чево? Чево? — Впервые в коменданте обнаружилось что-то почти живое.— Дворец? Кому дворец? Тебе дворец?

Он вдруг икнул и рассмеялся. Он ржал громко, на всю комнату, и при этом смотрел на Шохова: дворец, ха-ха! с охраной ему дворец! это ж надо, хохмачи какие!

Оборвав смех, он шмыгнул носом и добродушно осмотрел просителя. Интеллигентный, видать, проситель, модная куртка, шапка, одна шапка сотню стоит. Небось и анекдотцы знает, такие люди всегда приятны для компании. Надо бы помочь человеку.

Но скорей по привычке, такой уж сволочной характер, комендант сперва спросил:

— Где же я тебе хм... дворец возьму? А?

— Необязательно же сразу,— произнес Шохов, он почувствовал, что дело выгорает и надо дожимать противника.— Особнячок какой заваливающий, чтобы коечку поставить.

— Коечку...— покачал головой комендант.— Коечку! До завтра перекантуешься? Ну вот, а завтра приходи, поинчем что-нибудь. Бывай! Дворец!

И уже вдогонку закричал:

— Шапку свою, шапку, говорю, побереги! Ее в общаге-то сопрут, а то и на улице с головой снимут! И охрана тебе не поможет! — И снова захохотал, эхо пронеслось по этажам общежития.

Выходя на улицу, погода была все та же, серенькая, но заметно похолодало, Шохов не имел определенного плана действий. Но он хорошо знал, чего хочет. И, постояв в раздумье, спросил прохожего, где находится исполком.

Оказалось, не очень далеко. В новорожденном городе, где существует пока несколько улиц, всегда все недалеко. Это лишь одно из достоинств. Есть и другие, как понимал Шохов. Он знал, например, что на первых порах, пока жизнь в процессе становления, в тот же исполком, в другие государственные учреждения попадают молодые инициативные ребята. Пока такие ребята сидят, демократия процветает на полную катушку. К ним можно приходиться в кабинет, вести душевные беседы и находить в живом общении сочувствие и помощь. На это и рассчитывал Шохов.

Сейчас он вспомнил пройдошного коменданта и ухмыльнулся. Коечку-то тот сделает, раз обещал. Но больно ему приглянулась шоховская шапка. Она и до него многим приглядывалась, на многих производила впечатление. Шохов на ходу размышлял, так ли просто упоминал комендант про шапку или намекал на подарок. Так ли, сяк ли, но принять к сведению надо. В борьбе за жизненное пространство все могло сгодиться, даже шапка.

Но Шохов не собирался ограничиваться коечкой в общежитии, не для того он ехал за семь тысяч верст киселя хлебать. А слова насчет дворца, особняка не были голым пустословием. Был у Шохова некий планчик, тщательно продуманный и взвешенный многими днями и ночами.

Шохов не считал себя стариком, но знал, что тридцать лет — возраст для молодежной стройки зрелый. В таком возрасте называют тебя лишь по имени-отчеству, числят в старших, почти в отцах, и соответственно относятся. В эти годы уже неудобно засиживаться в мастерях, а неимение семьи расценивается как факт отрицательный: видать, бросил жену, затаскался по бабам, а то и спился, и тебя бросили. Да и сами переезды можно понять как неживчивый харак-

тер, неудачливость неумехи, которого рады отпустить на все четыре стороны.

То, что позволительно в двадцать, даже в двадцать пять лет и почитается за мобильность, в тридцать никак не годилось.

Потому и выбрал Шохов и почти полюбил заочно этот город, что можно здесь было начать с нуля, не привлекая внимания, и укрепиться и начать жить. Для этого всего требовалось прощупать почву в исполкоме.

И снова, как в кадрах, прежде приемной проследовал Шохов в туалет — здесь он был чистенький, вылизанный — и всего себя придирчиво с ног до головы осмотрел, почистил ботинки, поправил шапку. Разглядывая в зеркале собственное лицо то пристально-испытующе, то снисходительно-иронично, Шохов принял выражение несколько задумчивое, добродушно-деловое и пошел в приемную исполкома.

Девушка-секретарша, как он и предполагал, была не настолько опытной, чтобы по виду угадать, что он за человек и какого ранга. К тому же пыжиковая шапка, которую он намеренно не снял, не могла не произвести должного эффекта.

— Срочно,— произнес он, проходя прямо к двери, ведущей в кабинет. Что означает слово «срочно», почему он выбрал это слово, он и сам не мог ответить. Но знал, что именно эта туманная и необъяснимая формула почему-то действует на администрацию. Так говорят своим на ходу, когда действительно что-то срочно надо и тебя ждут.

Секретарша так и поняла и виновато стала объяснять, что Федора Ивановича, к сожалению, еще нет, он поехал принимать с комиссией новый дом.

— Новый дом! — воскликнул Шохов.— Как же я забыл, что Федор Иванович сегодня принимает новый дом на улице... Как ее, на этой улице, где магазин...

— На Советской,— подсказала девушка.

— Ну да, ну да. А ведь домик-то ничего. Недоделочки там кое-какие.

Шохов сотни домов сдавал сам, и не было среди них ни одного без недоделок.

И девушка подтвердила, что действительно есть недоделки.

— С какой оценочкой собираетесь принять? — поинтересовался Шохов.

Это обращение к секретарше как представителю власти и смущало и нравилось секретарше. И девушка, чуть покраснев, ответила:

— Федор Иванович говорит, что оценка будет хорошей.

Шохов кивком одобрил такую оценку и слова девушки. Спросил, как ее зовут. Оказалось, что девушку зовут Ритой.

— Риточка,— тотчас же сказал Шохов проникновенно,— у меня мало времени. И в то же время мне чрезвычайно важно выяснить ваш государственный взгляд на такие проблемы, как индивидуальная застройка в нашем городе, и все аспекты (вот выкопал словцо, сам удивился!), касающиеся решения этого вопроса.

Произнеся подобную белиберду, Шохов и сам усомнился, не переборщил ли, наводя тень на плетень, вместо того чтобы спросить прямо, где тут застраиваются люди и каким путем получают на это разрешение.

Но девушка оказалась вполне сообразительной и поняла его как надо. Она сказала, что застройки по индивидуальным проектам нет, потому что пришло письмо из министерства, и она его сейчас покажет.

Риточка вышла и тут же принесла и положила на стол несколько листочков бумаги. Шохов небрежно взял их, не торопясь начал листать, хоть зудило скорей, скорей прочесть, и запомнить, и схватить главное, ведь это касалось его будущей жизни здесь.

— Может быть, вам копию снять? — спросила Рита. Ей, видно, очень понравилось играть роль гостеприимной хозяйки.

— Это мы решим потом, — ответил Шохов деловито и принялся читать бумаги.

Первое письмо было совсем коротким и сообщало, что в исполком от Минэнерго направляется копия письма Госстроя РСФСР. Шохов перелистнул и начал читать само письмо:

«Госстрой РСФСР совместно с Минжилкомхозом РСФСР рассмотрели просьбу Минэнерго СССР об отводе земельных участков на левом берегу для строительства временных жилых строений общей площадью 55—60 тыс. кв. м. и 2-х тыс. индивидуальных жилых домов. Постановлением... «О генеральном плане Нового города» (пункт 2) отвод земельных участков для индивидуального и временного жилищного строительства в городе запрещен. Согласно постановлению Совета Министров СССР... в текущем году в Новом городе должно быть введено 150 тыс. кв. м. общей площади в капитальных домах панельной конструкции... Учитывая, что существующий порядок строительства индивидуальных жилых домов по генеральному плану города подлежит ликвидации, Госстрой РСФСР не считает возможным разрешить застройку 2-х тыс. индивидуальных жилых домов...»

Шохов прочел все, даже подписи, а некоторые места дважды, решив про себя, что копии он просить не будет, чтобы совсем не подводить девочку Риточку. Она ему еще пригодится.

Возвращая бумаги, он так и сказал, что копии пока не нужны, но он хотел бы знать, как соблюдается постановление, с надеждой, что оно никак не соблюдается.

— Многие интересуются, — сказала Риточка. — К Федору Ивановичу идут и идут. Мы даже на всякий случай отпечатали договор на предоставление земельного участка. Но никому не показываем. А один человек и без договора взял да построил и живет.

Вот каких слов ждал Григорий Шохов! Ждал и дождался. Даже его крепкое сердце дрогнуло. Значит, есть оно, началось! И как ему не начать! Не кто этот первый смельчак? Где его найти?

А ведь если бы власти учитывали опыт всех предшествующих строек, они не пытались бы ставить стену поперек воды без всякого пропуска. Везде прорывается она, то есть везде, где бы ни был Шохов, стихийно начиналась такая застройка.

Запрещают-то вроде с целями самыми лучшими, чтобы не создавать людям плохих условий, неудобств и антисанитарии, всегда сопровождающих временные жилища. Такие запреты рассчитаны на исполнение государственных планов жилищного строительства. А планы, как водится, отстают, горят, и частью именно по той причине, что рабочих негде поселить. Вот и выходит порочный круг, и разорвать его можно, лишь допустив приезжих к индивидуальным застройкам. Тогда и фонд жилой увеличится за счет личного времени, за счет средств самих рабочих, и вопрос кадров отпадает. А в целом совсем неплохо решается проблема заселения этих северных мест. Или земли здесь для домиков не хватает!

Ну а перекрыв письмом этот канал, местных руководителей ставя в чрезвычайно сложную ситуацию. Или придется гореть с планом, или, что сподручнее, закрывать глаза на самострой. Как оно везде и выходило! Вот и договор на случай припасли, и запрос в министерство сделали. И ведь никуда не уйдут от проблемы, решать-то придется, и скоро притом. Так раздумывал Шохов.

Теперь он обратился к тексту договора, это тоже касалось его лично. Его планов, его жизни. Ах, если бы девушка понимала, что в нем происходит сейчас! Какие дерзкие мечты он в себе растит, какие фантазии возбуждает! Может быть, она поразилась бы, даже испугалась. Но ничем Шохов себя не выдал, ни на мгновение не приоткрылся.

Стараясь успокоиться и чувствуя на себе короткие, но любопытные Ритины взгляды, Шохов не торопясь просмотрел весь договор от начала до конца. Тот состоял из шестнадцати пунктов, и ни в одном пункте не было никаких обязательств со стороны исполкома. Зато запретов всяческих, ограничений, даже угроз было хоть отбавляй, будто сочинял этот (в общем-то, типовой) договор человек, который ненавидел застройщиков и всеми силами не желал, чтобы они поселились. Тут и ограничение сроков («Застройщик обязан закончить строительство к сроку под страхом последствий и штрафов»), и архитектурно-строительный контроль, и запреты других всяких хозяйственных построек (а если гараж, а если коровник нужен?), и полный капитальный ремонт за свой счет (вот тебе: захотел строиться — сам и ремонтируйся!), и обязательства устройства тротуара, и содержание проезда возле дома, и тому подобное. При этом разъяснялось, что при приемке дома проверяется наличие закупочных документов на строительные материалы, из которых строился дом, и при отсутствии таковых строение подлежит слому, а участок — передаче новому застройщику... Уф-фф!

Шохов даже крикнул и пот, выступивший на лбу, вытер платком. Где это видано, чтобы стройматериалы покупали законным путем, да и где они тут продаются?

Он отодвинул договор, вдруг разозлясь. Был у него один вопрос к Риточке, он так и вертелся на кончике языка. Но сразу спрашивать поостерегся, чтобы не насторожить девушку. Вопрос должен прозвучать походя, почти случайно.

Шохов поднялся, чтобы идти, и шапку надел, но тут будто вспомнил:

— Да, Ритуля (ну разве не обращение, когда свыклось, сроднилось, сидючи в приемной-то!), а кто это у вас домик построил? Неужто еще находятся такие?

Риточка клянула сразу на обращение и на искренность интонации.

— Чудак один, — сказала она, засмеявшись. — Ненормальный, говорят. Живет прямо в поле и не хочет в город идти, хотя ему предлагали.

— А почему не хочет-то? — гнул свое Шохов. — Разве в городе хуже?

— Вот и Федор Иванович так говорит! — воскликнула простодушно Риточка. — Он вызывал к себе. А потом сказал: чокнутый какой-то.

— И впрямь чокнутый. Но, может, там место особое?

— Да какое особое! За Вальчиком, ну там холмик такой, в чистом поле живет.

Ах ты милая-милая, глупая-глупая, наивная девочка! Где же тебе в двадцать-то лет понять чудаков, которые ищут своего места на этой земле?! И селятся на реке, среди тайги, в поле... И никак не признают города. А может, истина-то, выходит, обратная, и все шиворот-навыворот в мире, и чокнутые да ненормальные в городе живут? Кто это доказал, что мы чокнутые, а вы нет?

Но ничего такого, конечно, Шохов не произнес, даже улыбкой случайной не выразил. Он понимал, что наивная Риточка может ему сильно, ох как сильно пригодиться. Теперь в его дальних планах она тоже занимала свою полочку, пусть и не самую высокую.

Поблагодарив ее за нужную (действительно нужную!) и хорошо поставленную информацию, Шохов поцеловал на прощание руку, чем смутил девушку еще раз, и быстро вышел вон.

Настроение у Шохова было наилучшее. И это несмотря на очевидный отрицательный ответ в исполкоме. Так уж устроен человек, слышит одно, а понимает совсем другое.

Расхлябанной походкой, похожей на пьяную, шел он по улице, ловя взгляды прохожих, и улыбался.

Ему сейчас особенно все нравилось: и эти улицы, которых, по существу, и не было, но они же будут, и дома, принятые на Советской улице, которых он пока не видел, ямы и котлованчики, верный признак для наметанного глаза строителя, что здесь заваривается крупное дело, и многочисленные самосвалы с бульдозерами, и серое беспросветное небо, грозившее вот-вот начать сеять белую крупу, так вдруг выстудилось под вечер в воздухе, и широкий равнинный простор за ближайшими кварталами.

Туда и направился Шохов, купив на ходу какие-то пирожки (с утра не ел) и сжевав их без обычной брезгливости.

Уже на окраине, в самом последнем доме, который издалека показался нежилым, на первом этаже обнаружился промтоварный магазин. Вот ведь парадоксы молодого города: почему он здесь, у поля?

Шохов зашел и сразу от входа увидел то, что он хотел: резиновые сапоги. Как же без них на стройке! Сапоги были на любой размер, черные, блестящие, а стоимость, цифирью влитая в подошву, была одинаковая: девять с полтиной.

Шохов долго выбирал сапоги, вроде и выбрал уже, но попались какие-то другие. Он на ощупь, только взяв их в руки, понял, что другие: мягче, нежней, а может быть, и легче. Примерил и понял, что их-то он и возьмет, было в них тепло и уютно ноге. Тогда он не поленился, слазил рукой и обнаружил внутри войлочную стелечку. Мелочь, а приятно.

— Девушка,— спросил он продавщицу.— Это чьи сапоги?

Магазин был пуст, продавщица сидела на выходе около кассы. Она не повернула и головы, произнесла будто не ему, а этой кассе:

— Не знаю.

— Наверное, чешские?

Продавщица не ответила, ей было скучно.

Мысли Шохова переключились на продавщицу. Стандартная девчонка, и мордочка стандартная, и прическа. Лет восемнадцать, а она уже ненавидит свою работу. Отчего же так? Заставляли ее, что ли, идти сюда?

Шохов подумал, что напрасно считается, будто людям, ну вот хоть таким, как эта девушка, не удастся жизнь. Вот, мол, судьба заставила пойти в продавщицы. Да ничего подобного, это прежде от нужды шли, а эти идут от лени. Предложи ей на выбор что-нибудь — она сама выберет дело, где не надо работать. Как там поется в песенке: «Включать и выключать, сто целковых получать и ни за что не отвечать!»

— Жениха ждешь? — спросил Шохов девушку. Ему хотелось хоть немного, чуть-чуть расшевелить ее. Не совсем же она деревянная.

— Чего пристал? — произнесла та ровно.— Ничего мне не надо. А тебя, пожилого, и подавно.

Шохов с жалостью посмотрел на продавщицу и, снова ощупывая сапоги, подумал, что сапоги эти, со стелечкой, изготовил не ленивый человек. Он свой труд уважал, свою работу.

— А сапоги такие еще есть?

Шохов, конечно, не собирался покупать две пары. Он для того спросил, чтобы убедиться, что других таких больше нет, а значит, это везение, знак судьбы. Вот так: пошел в поле и нашел чешские сапоги со стелечкой. Что-то там еще в поле валяется да ждет его?

Девушка ответила, как он хотел:

— Больше нет, последние.

— Тогда заверните, пожалуйста,— попросил Шохов. Ответ он предвидел заранее. Но попросил, ему нужно было точно убедиться, что он не ошибся в своей оценке продавщицы,

— Во что я вам заверну? — сказала она привычно.

Шохов засмеялся. Он стоял против девушки и, глядя на нее, откровенно смеялся, он мог бы наперед рассказать ей про всю ее жизнь, хоть ясное дело, что она сейчас не поверит. А будет так: в один прекрасный день она проспит, проворонит товары, вылетит с выговором, пойдет в другой магазин, в третий, потом без права работать в торговле станет официанткой, но и оттуда ее за грубость попрут, и устроится она уборщицей в общежитии. Будет по тумбочкам шарить, допивать из бутылок винные остатки и где-то к пятидесяти по собутыльничеству займет место коменданта нашего. Научится хамить, жульничать, пьянствовать, вымогать, каждому встречному-поперечному жаловаться на мужа, детей, подруг и на свою судьбу. Обрюзгнет, потолстеет, станет говорить прокурренным, хриплым голосом. И однажды в параличе ее отвезут в больницу...

— Получите, — сказал Шохов, протягивая деньги.

Она отсчитала сдачу небрежно, передав лишние пять копеек. Шохов их вернул. Она и не удивилась.

Тут же около магазина Шохов снял спортивные ботинки, завернул в обрывок газеты и положил в чемоданчик. А сапоги натянул с видимым удовольствием, уверившись, что покупку совершил удачную, а значит, ждет его вторая удача, потому что они парами ходят. Вот как эти два сапога.

Когда вышел из магазина, были уже сумерки. За спиной горели окна домов, но он в предчувствии удачи не стал менять задуманный маршрут, а направился дальше в поле, уже темнеющее, трудноразличимое.

Кому-нибудь Шохов в эти минуты мог бы показаться беспечным, но это неправда. Он действительно не слишком суетился, как бывает на новом месте с приезжим, но сделал все, что ему было надо. А по талону кадров у него оставалась ночь и день для ночевы в общежитии. Значит, он мог себе позволить вот такие экскурсии за город, чтобы посмотреть и чтобы подумать.

По твердой тропе, грязи здесь было меньше, вдали от города, он вышел к реке. За крутым откосом открылась она, очень просторная, отливающая серебром, посреди темнеющих берегов.

Сколько видел Шохов рек, сколько жил на них, но никогда не мог привыкнуть так, как привыкают к своему лесу, полю, вообще к земле. Река всегда необычность, хоть нельзя сказать, что здесь, на русской равнине, она уж такая редкость. Да любая деревушка, село, городок имеют свой водоемчик, пруд, озеро, а то и море. Но вот что странно. Шохов был равнодушен к озерам, даже к морю, он боготворил речки, любые, но особенно силу которых ощущаешь на глаз. Все-таки озеро ли, море — это водоем, наполненный водой. А река — это движение, безостановочное, никем не направленное, потому что возникло по воле природы в давние времена, и уже по одному этому загадка и тайна. И вода эта — из прошлого, из каких-то времен — движется через земли, соединяя их, и везде она, как жизнь, нужна, и везде разная, и можно лишь догадываться, глядя на переливчатое течение, кому светила она, кому играла волной и кому станет радостью или гибелью.

А для Шохова река была еще частью его дела. Другой разговор, считает ли он, что его дело не нарушает гармонии реки и того, что ее окружает. Вот и сейчас, насладившись легким свободным ощущением большой воды, особенно прекрасной в сумерках, ртутно мерцающей, Шохов подумал о своей работе. Где-то здесь, в пределах видимости, предстоит ему строить водозабор, сооружение, которое напоит водой будущий город.

Вглядевшись попристальной, он мог бы точно угадать место, где все это станет. Но не тот был настрой, не те мысли. Не хотелось ничего высчитывать, прикидывать, соображать. Хотелось ощущать себя

бездумным, стихийно вольным и ужасно удачливым. Потому и поле выбрал и к реке пришел, хоть никто не показывал, где она, а сам догадался. Уже заранее любя, он не мог отказать себе в счастливом, почти пьяном порыве к тому, к чему стремился.

Возвращаясь в город, Шохов взял правей и забрался на долгий холм, одной своей стороной спускавшийся к реке, а другой теряющийся в сумерках. Под холмом, невидимый, но угадываемый по мелким зарослям ивняка, протекал ручей, а за ручьем, в серой и стертой дали звездочкой пятой категории, как говорят астрономы, то есть едва-едва различимой, светился огонек.

Шохов пристально, до рези в глазах всматривался в этот загадочный свет и, поняв, что это то, что ему сейчас необходимо, торопливо и нерасчетливо пошел, почти побежал вниз, в сырой овраг, проваливаясь в кочкарник и обламывая по пути кусты. Он шел, оскальзываясь, спотыкаясь, тяжело дыша, и только про себя держал одно: не сбиться, не потерять крохотный свет, то пропадающий за ветками, то возникающий вновь.

Через полчаса, не меньше, встал он у необычной избушки, единственной здесь, на склоне оврага. Смотрел не шевелясь на маленькое окошечко в глухой теперь темноте, которое светилось вовсе неярко, но глаз нельзя было отвести от этого завораживающего света.

Темными зимними вечерами потом, когда все сошлось у них, сблизилось, и души и мысли нараспашку, вспоминали Шохов и Петруха эту первую встречу в избушке.

Шохов тогда через двери из тесных сенцев услышал, как кричал в избе во всю силу магнитофон какую-то залихватскую песню:

Приглашен был к тетушке я на день рождения,
Собрались мы с женошкой в это воскресенье.
Тетушка, как правило, каждый год рождается,
Вся родня у тетушки выпить собирается...

И протяжно, чуть крикливо:

Улица, улица, улица широкая,
До чего ты, улица, стала кривобокою!

Шохов постучал раз и другой, но магнитофон надрывался и никто не мог расслышать его стука. Тогда он потянул дверь, и она открылась. Перед ним предстала изба с печкой, с койкой в левом углу и небольшим столиком между крохотных двух окошек. Над ним висела на длинном проводе автомобильная лампочка. За столиком сидел мужчина в ватнике, в толстых деревенских валенках, у которых срезали по щиколотку голенища, он смотрел прямо на Шохова, но ничего не произносил и, более того, вовсе не умерял крика магнитофона. Ему нравилось, наверное, нравилось, как тот, надрываясь, орет.

— Можно зайти? — крикнул тогда Шохов, пытаясь попасть в пазу между куплетами. — Мо-о-жно... зай-ти-и?

Человек, не удивившись и опять же не убавив звука, кивнул и показал рукой на единственный в доме табурет. Он развлекался и это развлечение никак не хотел прекращать из-за незваного гостя. Пришел — так сиди и слушай. Потом будем говорить. Но Шохов еще и так понял хозяина: если пришел, значит, я тебе нужен, а раз нужен, можешь подождать.

Шохов со своего места, от печки, осмотрел небогатое жилище: изба была старая, видно купленная на вывоз. Бревна были плохо ошкурены и почернели от времени. Вместо пакли в стене торчал мох. Кровать была железная, общежитская, под койкой чемодан. На окошках красные ситцевые занавески на капроновом шнуре. Вдоль стены лавка, тоже, видать, старая, широкая и удобная, с брошенным на нее овчинным тулупом. На полу какие-то детали, коробки, инструменты.

На столе по правую руку от хозяина лежал паяльник, еще не остывший, от него тянулся к потолку синий завиток дыма.

В красном углу, там, где вешалась прежде икона (от нее еще осталась полочка), была приколотая картинка с двумя пестрыми клоунами.

Магнитофон продолжал играть, а песне, действительно какой-то шальной и широкой, но в чем-то уже и приятной, особенно в своем припеве про улицу, казалось, не будет конца.

Хозяин хихикнул над заключительным куплетом и щелкнул выключателем. Прокрутил кассету в ту и другую сторону, внимательно следя за ней, ткнул отверткой, снова прокрутил и теперь повернулся к Шохову, поразив его сразу огромными серыми глазами с таким детским незащищенным выражением, что стало понятно: он и песню слушал по-детски и не мог потому ее прервать, что был увлечен.

— Зашел посмотреть,— сказал Шохов, теряясь под этим взглядом и не зная уже, как объяснить свой вечерний визит сюда, в избушку.

— Чего смотреть-то? — спросил хозяин неожиданно низким голосом, и Шохов сообразил теперь, что и голос на магнитофоне был его собственный, значит, он и развлекался тем, что записывал себя, а по том слушал. Занятно!

— Как живете? — спросил Шохов.— Как устроились и... вообще?

— Вы что, из ЖЭКа, что ли? — с любопытством, но вовсе без какого-либо заискивания произнес хозяин.

— Нет, нет! Я сам по себе, вчера прибыл.

— Откуда?

— Отовсюду. Надо тормознуться, то есть, говоря флотским языком, закинуть якоря до пенсии. Хочу свои двести получать. А когда едешь, все теряешь.

— А зачем же едешь?

Ишь ты, как тот кадровик. Зачем да зачем. Но Шохов не обиделся.

— Молод был. Пора остепениться. Пользы от поездок никакой не вышло.— Шохов посмотрел на хозяина, слушает ли, понимает, о чем идет речь. Тот слушал и, видно, понимал.— Одни потери,— повторил он.— Вещи, жилье... Семья, дети... Все потери, как ни крути.

Впервые, наверное, так определенно Шохов выразился. Не только для кого-то, но и для самого себя. Сидя в полутемной избушке, которая вдруг ему понравилась, все как на духу и выложил. Наверное, понимал, что перед ним человек, который ничем ему не повредит.

— А чего ты хочешь? — спросил хозяин прямо.

И Шохов услышал сочувствие к нему, желание его понять.

— Дом хочу иметь,— сказал он.

— Квартиру, что ли? — поинтересовался хозяин. Был в его вопросе скрытый подвох, Шохов это почувствовал.

— Нет. Дом,— отвечал серьезно.— Хозяйство то есть.— И повторил свою выверенную формулу: — Человек без жилья пуст.

— Он, бывает, и с жильем не слишком-то полон,— возразил как бы шутя хозяин.

Шохов кивнул. Все верно. Жилье вовсе не спасение от одиночества, от пустоты, как и от бед. Но ведь не он же придумал это: «Мой дом — моя крепость». И не создаем ли мы сами себя, не творим ли, когда творим вокруг себя эту тонкую скорлупку, и не выхолащиваемся ли, не скудеем ли, когда теряем ее?..

Может, и не совсем так выразался Шохов, но мысль-то была эта. Шохов рассчитывал на понимание, иначе жил бы человек в общестии, а не на отшибе, в плохонькой, но своей избе.

Но хозяин покачал головой, вроде бы не соглашаясь. Конечно, без дома совсем нельзя. Это правда. Но ведь и дом — это призрачная защита в нашем таком непостоянном мире.

— А есть что-нибудь другое? — напрямик спросил Шохов.

Разговор затягивался и оттого, что в чем-то подвергал сомнению шоховские планы, был неприятен. Хозяин это понял, произнес миролюбиво:

— Да стройся, разве я тебе мешаю?

И широкоскулое губастое лицо его и особенно глаза засветились таким дружеским светом, что сразу растаяла шоховская враждебность, возникшая невесть откуда.

Он тоже улыбнулся. Расслабляясь, спросил:

— Как зовут-то?

— Петрухой зови,— сказал хозяин.

— Ну, меня Григорием тогда. Григорий Афанасьевич Шохов.

— Вот что, Шохов,— произнес Петруха просто.— Ты оставайся, если хочешь. Ты где остановился? В общежитии небось?

Шохов сказал, что в общежитии его устроят, наверное, завтра, потому что он разговаривал с комендантом, и тот вроде бы обещал.

Петруха отмахнулся, услышав слова про коменданта.

— Агафонов, канцелярская крыса! — сказал без улыбки.— Я тут на него наорал однажды. Ты здесь, говорю, простынями заведешь, а строишь из себя такую шишку! Тебя бы на производство вытащить и посмотреть, каков ты будешь, это тебе не простынями руководить!

— Похоже.

— Оставайся,— повторил Петруха.— Вон на лавке ложись и спи. Кстати, у тебя, кажется, есть тетка, башню из железа в Москве построил. Похожая фамилия. Самую высокую в стране по тем временам, и первое радио и первое телевидение с этой башни... Не слыхал?

Шохов хоть и вправду не слышал, но отвечал так, что трудно было понять об этом.

— Мы из других, мы из вятских,— сказал он и стал примериваться к лавке; оказалось, удобно на ней лежать. Он, зевая, добавил, что башен высоких строить не собирается, а вот дом точно построит. Дом будет что надо.

В Новый город пришла настоящая зима. В одну ночь выбелились улицы и дворы, прикрыв надоевшую грязь, сравнялись цветом канавы, раскопы, стало свежо и чисто. А за домами, в поле, и вовсе просветлело, открылся необыкновенный простор, и от этого простора город вдвойне похорошел. И небо развиднелось. Молочная пелена облаков была высока и холодна, как и редкое солнце.

Незамерзшая река будто сильнее потемнела среди высветленных берегов, и было видно, как легкий, наискосок снег касается маслянисто-черной поверхности, и движется белым пятном, и тает, тает.

И ручей внизу, между избушкой и Вальчиком, замело. Едва-едва пробивался он, будто коряжка из-под снега выступал, вкривь и вкось обозначая свой норовистый характер, между пригнутых сугробами кустов.

На третий, что ли, день после напоминаний, после просьб, посулов и даже угроз Шохов наконец вселился в общежитие. Койку он получил в комнате на третьем этаже, где жили трое молоденьких ребят, выпускников ПТУ, а четвертый, тот, чью койку теперь занял Шохов, умотал без всяких оформлений домой. Все это Шохов узнал после, а в день вселения в темноте, когда ставил чемоданчик, услышал, как было сказано про него: «Пожилого нам сунули, кирять будет». Он усмехнулся, но себя никак не проявил: обживется — увидится. Может, еще и от «пожилого» какая-нибудь польза случится.

Коменданту же, хоть воротило от него, от его сытой нахальной морды, он, как было обещано, поставил «прописку», то есть бутылку коньяка, но пить с ним не стал, не мог себя пересилить.

И все-таки, хоть устроился неплохо и общежитие в целом было незаплеванным, тянуло Шохова снова в поле, туда, за Вальчик, где на

склоне оврага стояла избушечка и где было тесновато, дымновато и темновато... Кажись, чего уж хуже: никаких санитарных удобств и быт, вроде бы доведенный до примитива. А как на праздник стремился сюда Шохов, недаром же говорят: на чужой лавке мягче спится. Так впрямую и понимай: мягче ему тут и спокойнее спалось.

Сперва он с разрешения Петрухи оставался ночевать раз, и другой, и третий. А потом спрашивать перестал, благо не гонят и дверь не запирают, такое уж чудачество у хозяина. Шохову это чудачество на руку выходило. Он прибегал сюда после работы и начинал заниматься хозяйством, тем более что Петруха мог и задержаться. У них в ателье навалом шли испорченные телевизоры: в магазин поступила бракованная партия. Петруха задерживался, и это снова Шохову было на руку, одному в избе на первых порах было удобнее и ловчее, некого было стесняться.

Утром, вставая пораньше, это для строителя как норма, колол дровишки, распиливал одноручной пилой мелочь, растапливал печь, бегал к ручью за водой с двумя ведрами, потом кашеварил, колдовал у плиты. И все это с необыкновенным удовольствием, с наслаждением: стосковался, сам чувствовал, по своему хозяйству.

В общежитии известно, какие могут быть дела: поднялся, зубы почистил, руками для зарядки помахал и в столовку скорей и на работу скорей, а после работы опять в столовку и в общежитие. Казенная, с какой стороны ни посмотри, жизнь. Вся на виду, будто под стеклом в аквариуме. Душа, не только руки, без дела. Так недолго и в робота превратиться.

А тут, пока хозяйствовал, работали только руки, а голова была легка и свободна, мысли выстраивались насчет будущего дома, и глаза наслаждались, глядя на огонь в печке, на синий свет в окне, когда разведется, на чистейший искристый снег, не тронутый ни одним следом. А грудь дышала на всю глубину, до самых корешков легких, аж покалывало, и сердце дробило радостно, будто и не болело никогда, ровно, как у спортсмена, и душа, вот что главное, душа счастливо отдыхала и наполнялась неслышимой музыкой. Кто не испытал казенной койки да всяческих потерь от нее, тот не поймет, а может, и не поверит, скажет: блажь какая!

Не блажь, нет. Человек без крыши пуст, сер. Он может стать равнодушным, может и обозлиться на весь мир. Дом смягчает его, дом его благодушным делает, к ближнему настраивает, если, конечно, он не рожден от природы зверем. Зверь-то и в берлоге зверем будет! Разговор о живой, хоть больной, но живой обязательно душе идет.

Однажды Шохов едва не купил избенку по примеру Петрухи. Подумалось так: чего мелочиться — избенка денег крупных не стоит, зато своя. И все в ней будет свое. По весне можно снова продать и хормину возводить уже такую, какую захочется.

Но опомнился Шохов, удивляясь сам себе, и отменил решение.

И правда, зачем же на время ставить, если через полгода настоящую избу в пору начинать? Обленившись, попривыкнешь: мол, мне и тут не дует, ни к чему новую заводить.

Нет, нет! Хоть и говорится, что купи хормину житую, а шубу шитую, но дом ставить надо новый, сразу новый, с первого колышка основательный, просторный, именно такой, чтобы все в нем нравилось, чтобы долго и удобно жилось. А для такого крупного дела и подготовительный период — строители знают, что это такое, — должен быть достаточным. Времечко, словом, нужно, чтобы денжат поднакопить, все выведать, разведать, связи насчет стройматериалов завести, да и начать полегоньку ими запасаться, как и инструментом. Вмиг всего не обрешь, если и захочешь. В новом месте и подавно, тут любая хозяйственная вещица нарасхват!

Да ведь еще прежде самому крепко продумать сто раз, где лучше свой дом ставить

Во всех долгих мыслях о доме отправной точкой для Шохова была опять же эта маленькая избушечка. Из нее, а не из общежития лучше гляделось шоховское прекрасное будущее: видел ли он печку, запечек, прилавок, сенцы, окошки, чердак, крыльцо — все наводило на мысль о деталях будущего жилища, рассматривалось критически и переоценивалось для себя.

Так, покрутившись вокруг избы, заходя то выше, то ниже, в целом решил Шохов проблему своего места. Он понял, что дом ставить он будет не здесь, а чуть выше, на горочке, пусть даже ветерок задувает. От ветерка можно отвернуться, спиной построиться, не фасадом. Зато на горке суше, и двор есть где огородить, и сарай при случае поставить, и огород посадить. К ручью подальше, но можно ведь и колодец выкопать или скважину пробурить, если понадобится много воды.

Сразу задумал Шохов и деревья посадить. Без садика, без рябинки нет и не будет такого прелестного вида на дом. Фруктовые деревья — это особ статья, не о них речь. Хоть против вишен да антоновок никто не возражает.

Однажды, от нетерпения в раж войдя, Шохов по мелкому еще тогда снегу все вымерил и разметил, прутьики вместо кольшков навтыкал. Навтыкал и оставил, пусть как замет будет, вроде бы за столбил на случай, если кто позарится на его золотое местечко. Он уже к нему как бы привыкать начал. Но никто в эту пору на Вальчик еще не забредал, а прутьики ветром размело и снегом засыпало, и к лучшему, возможно. Не стоит, как решил Шохов, себя раньше времени проявлять, свои планы выставлять наружу, народ-то дошлый пошел, кто взглянет, тотчас догадается! А там уж бумажки пойдут, под контроль, под общественный глаз — и прощай мечта!

Хоть была для Шохова опять же избушка Петрухина контрольным местом, индикатором вроде, что не бьют пока тревогу, не ведают в городе, что за спиной творится, но еще прочней, когда и сам остережешься лишний раз. Береженого бог бережет.

А что дергали Петруху, в исполком вызывали, так Шохов это правильно оценил: они не о застройке, они о его странностях пеклись. Застройку они всерьез и — зря, зря! — не принимали. Шохов бы на месте городских деятелей сразу оценил, чем это грозит. Но он, говоря емким армейским языком, по другую сторону фронта находился и слабость противника оборачивалась его силой.

И все же... Все же, ночуя в избушке, Шохов как бы и за своим родным местечком приглядывал, тут-то рядом оно, на глазах!

Однажды для пущей надежности, для закрепления, а может, и для очистки совести перед молчаливым Петрухой придумал ему деньги предложить как плату за постой. Ничего особенного, если подумать, в таком предложении не было. Однако Петруха не то чтобы обиделся, но почти огорчился.

— Жить живи, ты мне не мешаешь, — произнес кратко. — А тугрики свои не суй никогда. Я для себя достаточно зарабатываю. Ровно столько, сколько мне нужно. А захочу, так больше заработаю.

Шохов постарался замять неприятный разговор. Но он-то знал по всему своему жизненному опыту, что платить надо за все, и за постой на чужом дворе тоже надо платить.

Случалось, правда, во времена его переездов, что хозяева с него платы не брали: тоже чудили, а может, просто стеснялись, кто их знает. Шохов все равно, уходя, пятерочку под клеенку совал, а то и пару банок сгущенки оставлял на столе. А для хозяина, когда он был, пачку дефицитных «долгоиграющих» лезвий для бритвы. Не хотел быть должником, если даже уверен, что никогда уже не воротится в эти места. Ему было не все равно, что о нем станут думать...

И теперь решил: до срока не суетиться. Рассчитается, когда на-

ступит время. Еще неизвестно, кто кому под конец должен останется. А тут с Петрухой новый случай вышел поучительней прежнего.

Как-то пришел в избу человек, хозяин магнитофона того самого, на котором для проверки Петруха упражнялся в день их знакомства. Петруха выложил агрегат, прокрутил часть кассеты, демонстрируя исправность, а в конце стал объяснять, что поломка была пустяковая, сгорело сопротивление, а теперь все нормально. Человек, как в недавнее время Шохов, стал совать деньги, а Петруха наотрез отказался. А чтобы пресечь разговор, пригрозил:

— Деньги не уберете — чинить никому не стану!

С тем и выводил человека.

Снова Шохова оторопь взяла. Чужацость, но кто же чужит во вред себе? Это уже чужацость ненормальная. (Шохов придумал — чужацость, потому что слово больше подходило.) Может, дурацостью лучше назвать? Но вывод до поры отложил, надо покопаться в этом деле.

На водозаборе, как это обычно и бывает, дело разворачивалось медленно; пилили просеку для дороги, начали строить прорабку, но людей, с первых дней выявилось, не хватало. Никто не хотел работать в отдалении от города. Шохову удалось, правда, перетащить молодого кадровика, который оказался, как Шохов предполагал, хорошим бригадиром. Потолкавшись в кадрах, сагитировал нескольких рабочих, но половина, съездив на его участок, тут же сбежала в Жилстрой. Шохов и не держал, сам знал, что у него пока не сахар. И холодно и неуютно. Прорабка на голом месте, больше ничего и нет. А тащиться сюда, хоть и по зимнику, по твердой заледеневшей дороге, чуть не час — кому это понравится? Вот месяца через два-три пускай посмотрят, тогда, Шохов знал, и разговор будет другой. Но для этого поработать надо будет.

А пока Шохов проводил время больше в городе, чем на стройке. В орс заглянул (пригодится), на склад стройматериалов (тоже пригодится, и даже очень скоро), а больше в столовке при кадрах, где недавно сам толкался, посиживал и как бы случайно заговаривал с новоприехавшими рабочими. Мастера от летуна и алкаша он мог отличить с ходу. В разговоре, как себе поставил правилом, ничего не обещал, но выводил разговор на душевные темы, о доме, о делах, о профессиональных тонкостях. И люди шли.

Шохов к своему хозяину необычному приглядывался. Если и задавал вопросы, то с одной-единственной целью — наперед не ошибиться в своих проектах и планах. Он и про электричество спросил однажды, потому что решил, что ему это может пригодиться. Откуда Петруха берет энергию, неужто из самого города линию тайно протянул!

Петруха усмехнулся, пообещал показать свою линию. И показал. В одно из сумеречных утр, когда вдвоем собрались они в Новый город на работу, а вдвоем много легче торить по снегу тропу, Петруха прежде направился в сторону ручья, чуть ниже по течению, там еще Шохов не бывал, и, подведя вплотную к кустам, указал на крошечную плотину, выстроенную из кольев, поперечных свай да земли. В узкий проран водопадиком падала с мягким шелестом темная вода, и там, в горловине, под ее течением крутились какие-то странные шпули, нанизанные, как бусы, на стальной тросик, это и была, как понял Шохов, Петрухина гидростанция. Она привела Шохова в восторг.

Петруха стал объяснять, что идею гирляндной, так он назвал, гидростанции придумал вовсе не он, в науке она давно известна, а над конструкцией пришлось поломать мозги, потому что никакой схемы не было, все придумывалось на ходу из вспомогательных, как

он выразился, средств. А проще, из того, что смог найти в магазине. Изолированные же провода брошены прямо на землю, они под снегом, потому и не видны. А днем, когда дома никого нет, или ночью ток со станции переключается на аккумуляторы, что стояли у них в сенцах, и они заряжаются.

Шохов никак не хотел уходить от Петрухиной станции, все выспрашивал, выяснял, вплоть до того, во что это обошлось, и не переставал искренне восхищаться. Он любил мастерство и все повторял:

— Значит, ты еще и это можешь? А что ты еще можешь? А ко мне в дом, когда построюсь, сможешь провести электричество?

— Смогу.

— А, к примеру, насосы поставить и воду качать?

Петруха задумался.

— Здесь расчет нужен, какой подъем воды получится. Но в принципе это несложно.

— Значит, и водопровод можешь?

Петруха посмотрел на приятеля своим странным детским взглядом, в котором было скорее недоумение, чем интерес и любопытство: зачем, мол, все это? конечно, я все могу, но зачем? неужто это так важно для жизни?

Может, Петруха и не так вовсе подумал, но уж точно Шохов чувствовал, что временами Петруха не понимает его.

Они шагали по свежему вязкому снегу друг за дружкой, так легче было торить дорогу, и Шохов снова завел разговор. Очень назойлив он был, наверное, и понимал, что назойлив, но не мог ничего с собой поделать, потому что разволновал его Петруха своей станцией. Умелец и работяга, Шохов знал цену таким рукам. Поэтому он спросил:

— А если, к примеру, не выйдет у тебя?

— Что не выйдет? — обернулся Петруха. Уши у зимней его шапки болтались и мешали смотреть назад.

— Насос, к примеру. Или еще что-нибудь.

— Как же не выйдет? — сказал Петруха и задумался. — Постараться — так все выйдет. Да научиться можно.

Он не хвалился, это было ясно как божий день. Он и впрямь считал, что все в жизни возможно, если захотеть.

— Я тоже все умею, — будто с некоторой обидой произнес Шохов. — У меня двенадцать профессий, если судить по корочкам, а без них так еще больше... Значит, и руки у меня не хуже, но это уже другой вопрос, потому что я другой.

Петруха покачал головой, это был его привычный жест. После выраженного таким образом несогласия он мог бы промолчать до самого города. На этот раз он решил ответить. Он дождался Шохова и пошел с ним рядом, хотя идти так, без тропы, было вдвойне трудно. Видать, и его тема разговора захватила.

— Ты вот прорабом устроился, правильно? — сказал он. — У тебя там участок, люди, техника, и ты без них как без рук. Да и уйти задумаешь, никто тебя не отпустит сразу. Помучают, еще и выговор дадут. А я здесь кто? Обыкновенный механик, проводки паяю. Моя стоимость на миллионы, как у тебя, не тянет. Моя стоимость, — он повторил, — это цена отремонтированного аппарата.

— Низко себя ставишь! — воскликнул, не выдержав, Шохов.

— Я себя низко не ставлю. Я себя знаешь как ставлю, как, скажем, птичку все равно. Все мы можем без птиц прожить, они нам хлеб не сеют. Но с птицами-то лучше, правда? Вон песенки поют. С них и довольно.

— Но ты же дело делаешь?

— Это моя песенка и есть, — сказал уверенно Петруха. — Плана я стройке не даю. И орденов при пуске не хватаю. Так что моя

ценность невелика. Но она, как бы тебе сказать, она истинна. Вот это правда. Я всем, как та птичка, нужен. Сгорит предохранитель — и то ко мне бегут. Век такой, люди к технике бросились, все дома заставили этой техникой, а что с ней делать, когда она испортится, не знают. Проводок прогнетса, шнур испортится... Бабы еще так-сяк, лезут, их жизнь заставляет вникать, а мужики нынче не те пошли. Они ко мне прибегают. И так везде, и на Северном полюсе одно и то же...

Шохов мысленно не согласился с Петрухой. У него было другое понимание ценностей: мастер — он во всем и везде мастер. Тут у них разницы никакой видимой нет. Но он по-другому вопрос поставил. В шутку как бы, но очень серьезно:

— А ты не думал вот о чем? С руками, твоими и моими, такую халтуру закатить можно, а? Не думал? Деньги грести лопатой! Особенно тебе?

— А зачем мне деньги? — удивился Петруха. Он не ерничал, он вправду спросил, потому что не знал, зачем ему деньги. И то же было в его чистых бесхитростных глазах.

Но Шохов-то знал, куда гнет.

— Деньги всем нужны, ты это брось, — сказал он.

— А зачем?

— Дом настоящий построишь.

— Так разве у меня нет дома?

— Халупа...

— Так все одно крыша над головой.

— И мебель захочешь купить — тоже деньги!

— Мебель у меня есть.

— Эх, что за мебель, я про настоящую толкую. Ты гарнитур заграничный видел хоть раз? Его не то что сидеть и лежать, его для украшения поставишь — и то воздух в комнате другой делается.

Петруха и гарнитура не воспринял и снова повторил, что по избе и гарнитура у него, с ним неплохо живется. А тот, который заграничный, его от пыли, от солнца, от гостей, от детей сохранять надо. Сразу столько проблем, и все пустых, никчемных. Вещи, когда они появляются, требуют других вещей и доставляют массу хлопот и потери времени.

— А как ты на автомобиль смотришь? — спросил, раздражаясь, Шохов.

Петруха только недоуменно переспросил: «Автомобиль?» — и задумался. В таких переспросах очень у него придурковатый вид получался.

— Чего автомобиль, я его могу вот этими руками собрать, если захочу.

— Тем более.

— Не захочу, — отрезал Петруха. С норовом все-таки он был человек. И все-то знал про себя, чего он хочет, а чего нет. Вот и автомобиль, нынешняя всемирная игрушка, несколько его не волновал.

— Почему?

— Да был у меня, — сказал как отмахнулся Петруха. — Я его на лошадь сменял.

— На лошадь? Настоящую лошадь? — изумился Шохов.

Очень занятый выходил разговор. В первый раз, сколько вместе живут, Петруха приоткрылся и тем задал еще больше загадок.

Порядком запыхавшись, они уже взобрались на Вальчик и встали, чтобы отдышаться, на виду у города, еще блиставшего утренними огнями на фоне неяркой зари. День только начинался и обещал быть погожим.

По откосу, чистому от снега, сбитому ветром, они ходко спустились в город.

Петруха немного оживился и стал рассказывать, что единствен-

но на что он тратит свои деньги, это на книги. Так ведь книгу хорошую трудно сейчас найти. Но и тут судьба к нему благоволила. Случилось, что он потерял библиотечную книгу. Чтобы избежать конфликта, взамен принес целых две еще лучше. Библиотекари так обрадовались, что повели его в дальнюю комнату и разрешили выбирать из запасников все что пожелает. У него голова кругом пошла от такого неожиданного богатства: «Если бы меня сюда пускали, я бы всю свою библиотеку отдал!» Так и договорились. Теперь он отдает купленные книги, но получает лучшие из тех, что есть в фондах.

— Роскошно живешь, — только и смог произнести Шохов. Непонятно, что за этими словами было — одобрение или скрытая ирония.

Но Петруха не интересовался этим. На центральной улице он попрощался и свернул к своему ателье. Шохов же направился к конторе, где его ждал дежурный автобус, возивший рабочих на водозабор.

Однажды вечером они сидели вдвоем и ужинали. На столе среди всяческого железного хлама, нужного и ненужного, стояла сковорода с горячей картошкой и отдельно кислая капуста в железной чашке. Петруха ел, по обыкновению держа книгу перед собой, близко поднося ее к глазам.

Был на исходе декабрь, за окном надрывался ветер, хлестала пурга по окнам, а в избе была жара. Печка гудела даже с закрытой заглушкой, такая была тяга, и разливала ласковое стойкое тепло.

Шохов по сложившейся у него привычке сосредоточился на делах будущего дома. Сперва почему-то пришла на ум банька, этакая по-черному банька, с полками да липким венчиком из березы. Баньку построить в огороде несложно. На том пока и порешил. С баньки переключился на вещи более важные, первоочередные, что ли, такие, как бытовые приборы, посуда, ложки там, вилки, ножи. Мысль, как всегда, оттолкнулась от тех самых алюминиевых вилок, которыми они ели картошку.

Шохов уже раз, другой заходил в посудный магазинчик и даже присмотрел там набор столовых приборов из мельхиора в дорогом зеленом подарочном футляре. Набор, ясное дело, появился в конце года для плана, и цепкий Шохов тут же выписал его. Но, отойдя от прилавка, замедлил шаг, остановился, подумал и не стал брать. Ну куда, спрашивается, он понесет, где будет хранить этот набор? В общежитии своем? Нет, в общежитии он не сохранится. А нести в избу выходило и вовсе неудобно. Что же, они будут есть с Петрухой гнутыми вилками, а мельхиор держать про запас? В заглашнике?

Но вот к какому вопросу пришел Шохов в своих мыслях: отчего это Петруха домом своим не интересуется и хозяйством тоже? Зачем его тогда иметь, если не интересоваться? Тогда лучше в городе жить, ведь не зря же Петруху дергали в исполком, значит, имели в виду комнатенку, пусть и с подселением.

Прервав молчание, Шохов так и спросил Петруху и про дом и про хозяйство.

— А чего интересоваться, — отреагировал Петруха, как обычно. — Дом как дом. Мне тут хорошо.

— Может, тебе хорошо, потому что города не любишь, а? — любопытствовал Шохов.

— Город я люблю, — сказал Петруха. — Но здесь мне лучше, я же сказал.

— Чем тебе лучше-то? Ты вон и готовить не хочешь, а в городе столовка есть.

— Да, столовка — это хорошо... Я люблю.

— К людям ты как относишься?

Ишь как хитро повернул Шохов, сам небось удивился.

— Хорошо отношусь. А как еще? — Петруха отложил книжку и

задумался. Его глаза уперлись в Шохова, в них было детское изумление. Скулы разъехались, и губы поползли, а глаза еще больше стали, все в них можно прочесть сейчас — и безлуканность, и даже то, что Петруха догадался о причине вопроса.

— Я так думаю: главное — это не мешать никому жить. Пусть люди живут как хотят, это и есть хорошее к ним отношение. И я от них того же хочу. Мы должны приходиться друг к другу, когда мы нуждаемся в этом. Только и всего.

Петруха вроде бы все сказал, но Шохову этого было мало.

— А если они пекутся о твоём счастье? Тогда что ты скажешь?

— Я скажу, что главное — это каждый из нас должен на совесть работать. Здесь мы и приносим людям счастье, так я считаю. Мы делаем для них все что в наших силах. И они тоже для нас делают. А если ко мне приходят и начинают объяснять, как я должен жить, это уже не добро, это зло.

— Почему же?

— Да потому что даже мы с тобой хоть не первый день видимся, а счастье по-разному понимаем. По-разному, точно знаю! А десять человек имеют десять пониманий его, а тысяча — ровно столько же! Так вот, знаешь, я счастлив уже тогда, когда мне его никто не навязывает, даже самый ближний человек! — Петруха взял книгу и лег на кровать.

Имел ли в виду он, говоря о навязчивости, самого Шохова, да пожалуй что нет. Хотя косвенно тирада Петрухина могла к нему относиться. Впрочем, как сам Шохов понимал, у них с Петрухой было не так уж много разногласий по жизненным вопросам. Но одну слабинку он у Петрухи приметил (не одну даже, но одну такую, какую не грех и высказать) и вцепился, как клещ в кожу — не оторвешь.

— Ты говоришь, что мы делаем все что в силах? Ой ли? С твоей-то головой да твоими руками сидеть в ателье и проводки паять? Да? Загнул, браток, загнул.

Впрочем, все это высказал смешком, походя. Мог бы и не отвечать Петруха. Но он не промолчал.

— И проводки паять на совесть тоже дело. А то мы детишкам нашим внушили, будто летать в космос — это дело, а вот тарелку супа подать будто и не дело. Или вот обычный конденсатор припаять...

Вопрос он явно увел в сторону, ибо если у человека способностей всего столько, чтобы паять конденсаторы, то никто его за это не обвинит. А если у него в голове кибернетика, а он по своей воле дворником работает, то с него и спрос другой. Государственный спрос. Но Шохов не стал спорить.

Он тоже считал, что каждый человек должен вкалывать на полную катушку, иначе жрать будет нечего, не то что излишки какие. Никакого другого богатства у государства нет, это он давно понял, кроме их работы общей, но и каждого в отдельности. То, что сделаешь, то и съешь — вот какой закон получается в экономике. И его никаким боком не обойдешь, не объедешь.

Но есть у Шохова еще одна крошечная поправка к Петрухе: человек не просто должен оберегаться от вмешательства в его личную жизнь, а уметь создавать этакий барьер, чтобы оно не происходило. То есть выходило так: хочешь счастья, так не жди, а строй для себя. Кто может помешать тебе творить собственное счастье у себя дома? Никто не может, если ты честен перед собой и перед людьми. Сам Шохов тоже признает правило, при котором хочешь сам жить — дай жить другому. Кому, скажем, вред, что он о себе думает, о доме печется, счастья себе хочет? Вот как надо понимать жизнь, с шоховской поправочкой. Но чем больше Петруха выходил

в глазах Шохова чудачком, чудилой, тем больше по нраву он становился Шохову. Бескорыстие, чего же в нем плохого? Шохов не был таким и сам про себя понимал, что он опытней, что он много расчетливей Петрухи. Но ведь это лучше, а не хуже, что Петруха был другим. Что могло бы выйти из двух одинаково расчетливых людей в одной берлоге?

А тут они зацепились, говоря языком механики, как две шестерни, и зуб одной плотно вошел в паз другой и передал вращение...

Шохов был тут ведущей шестеренкой, он это понимал. Он в отличие от Петрухи знал, куда может энергию приложить в жизни.

Вот к чему он пришел во время долгих зимних разговоров. Но предшествовало этой зиме многое, о чем он и поведал Петрухе.

В юности в одном из журналов увидел Шохов белокаменное чудо на цветной фотографии и с тех пор на всю жизнь влюбился в него. Он долго хранил у себя в тетрадях эту вырезку и помнил наизусть надпись внизу. «Выдающейся постройкой является беломраморный мавзолей Тадж-Махал в Агре (1632—1650 гг.). Выполненный в гармонических пропорциях, в строгих формах, он поражает красотой силуэта и тонкостью инкрустации прорезных мраморных плит. Это произведение заканчивает развитие магометанского периода в архитектуре».

Особенно Шохову нравились слова о гармоничности и о тонкости инкрустации. И было жалко, что «произведение заканчивает развитие... периода...». Никто больше ничего подобного не строил и не смог бы, даже если б захотел.

А Тадж-Махал волшебным образом блистал на картинке среди знойного синего воздуха, как белый мираж, как мечта, сотканная из прозрачных струй. Он снился Шохову то вблизи, то вдали, неизменно прекрасный. Как он там создан, из каких материалов, со швами или без них, и на каком таком растворе, и по какому расчету?

Может, с той дальней поры и зародилась в Шохове мечта стать строителем, познать чудо красоты и возможность создавать ее своими руками.

Строить же Шохов любил, у него всегда перед работой руки зудило. А тогда, после армии, он, как застоявшийся конь на конюшне, рвался к делу. К любому, какое только дадут.

Прораб Мурашка сразу почувствовал в нем эту нетерпеливость. Громко усмехаясь, произнес:

— Подожди, парень! На таких, как ты, воду возить любят! Запрягут — и не заметишь! Ох как запрягут!

— Пускай, — отрезал Шохов.

Разговор происходил в конторе строительства, куда пришел Шохов за месяц или два до увольнения в запас. Он уже понял, что в деревню к себе не вернется, там нечего делать, оставалось попытаться счастья, как говорят, на месте.

Тут-то он и наткнулся на Мурашку, прораба строительства: его фамилию произносили все как имя. Мурашка затащил Шохова в чей-то кабинет и, шумно дыша (Шохов тогда не знал, что такова манера у прораба — все время отдыхиваться), будто после пробежки или гонки, стал выведывать-разузнавать данные о солдатике.

Шохов коротко отвечал, что делать он умеет, в общем-то, все.

— Ну так уж и все?

— Да, все.

— К примеру! — заорал Мурашка, непонятно был, рассердился он или так просто привык всегда говорить. — Я и то всего не умею!

Шохов промолчал.

— Перечисляй, — приказал Мурашка.

— Ну чего,— виновато произнес Шохов,— ну дома ставил, каменщиком был, печником-кафельщиком, штукатуром, маляром, жестянщиком-кровельщиком, бетонщиком, арматурщиком...

— Годен! — взревел Мурашка и как-то диковато на всю комнату захохотал и трясанул Шохова за плечо со всей силой, тот едва устоял на ногах. — Дом в одиночку поставишь? Ну избу, избу?

— Наверное, поставлю,— сказал Шохов, подумав.

— Тогда ответь на вопрос: сколько в избе углов? А?

— Смотря в какой.

— В пятистенной?

— Ну рубленых шесть.

— Кут где находится? — не отставал Мурашка.

— Против печи, у входа.

— Хвалю! — воскликнул Мурашка живо.— Догадлив крестьянин. А где ты живешь?

— Пока нигде. В казарме.

— Общежитие получишь! — капризно отмахнулся Мурашка.— Только это не про нас. Каждый уважающий себя строитель должен свою хату иметь. А с такими руками, как у тебя, и подавно.

Манера говорить у Мурашки была громкая, шумная. Видать, и спорить любил бурно, и на работе так же командовал. Он и внешне был колоритен, крупный сорокалетний мужчина, его обойти — как доброе дерево, так подумал Шохов, с ходу не минуешь! Рассмотрел Шохов и глубоко запрятанные острые глазки с бледноватой голубизной. Но еще и рост и эта манера шумно дышать и громко возглашать истины, безоговорочно, убежденно, будто он и есть последняя инстанция.

А работать с ним оказалось легко. Они строили детский сад, двухэтажное кирпичное здание, и Мурашка насколько был громок, настолько и отходчив и никогда не придирался по мелочам. Месяц почти приглядывался к новоиспеченному работнику и вдруг перевел его в бригады.

И опять будто бы шуточкой: «Работа дураков любит!» Но в моменты растерянности, если что-то у Шохова не выходило (бригада попалась разномастная), всегда оказывался поблизости и будто бы даже не советовал, как бы сам спрашивал, и все становилось на место. Станный, в общем-то, был человек, непривычный для Шохова, с какой стороны ни подойти. Особенно после одного случая, когда Мурашка запил.

Шохова предупреждали, что с прорабом подобное случается, но какое ему дело, каждый живет как знает. Человек умеет работать, а остальное, как говорится, его личное дело. Но и случая поглядеть Мурашку в пьянстве не было, пока не сдали объект. И тут отпали какие-то преграды, разрушились барьеры, исчезла зажатость последних сдаточных сроков на глазах бесконечных комиссий — и пошло. С утра пиво да пиво, потом к полудню бомбу, как звали здесь большую и темную бутылку фруктового портвейна, а уж там и водочка и все остальное, к вечеру Мурашка был шумен как никогда. Поил в ближайшей забегаловке, именуемой в простонародье «Шайбой», знакомых и незнакомых, рычал на тех, кто не хотел пить, размашисто обнимал дружков, которых в этот момент почему-то оказалось много, не обошлось и без драк и скандалов. А потом и вовсе пропал на целых три дня, будто бы уехал к брательнику в близлежащую деревню.

Мастер в ту пору оказался в отпуске, на Шохова перевалили все дела Мурашки, и кроме очередной и не очень-то благодарной работы по монтажу оборудования и доделочных работ, на которые никого нельзя было организовать, да и никто не хотел слушаться.

пришлось выгораживать самого Мурашку и скрывать от начальства его пьянство и прогул.

И все-таки дознались. Бригадир штукатуров Семен Хлыстов, ушловатый мужичишка со странным затаенным взглядом на асимметричном лице, написал куда-то письмо, Шохова вызвали, пригрозили, но сделать ничего не смогли — уже сляпали задним числом какую-то бумажку от лица Мурашки, и кончилось все выговором. Мурашке и Шохову одновременно.

А потом появился сам Мурашка с опухшим лицом, с кротким собачьим взглядом. Стоял рядом с Шоховым и шумно вздыхал да приговаривал свое излюбленное: «Тимоха Шейкин попутал». Так он звал сорокаградусную.

На второй или третий день, почти оклемавшись, коротко выспрашивал о делах, поинтересовался:

— Выговорили тебе? Ну поздравляю! Начин — половина дела.

А потом, уже к вечеру:

— Что будешь делать-то? — И помолчал и шумно придыхая: — Пойдем-ка домой ко мне. Жена борща наготовила. Пойдем-пойдем, не бойся, я теперь не страшный.

И то же повторил в доме за столом, когда достал бутылку и уловил настороженный шоховский взгляд:

— Не бойсь. Не заведусь. Теперь я закруглил. Конец Тимохе Шейкину, чтоб его...

И точно, после двух рюмок отставил, хоть и ненадолго. Поднялся, повел показывать свою хату, подвал, огород, сад, сарай и другое хозяйство. Жил Мурашка на окраине города, на очень зеленой одноэтажной улице Планетной. Двое детишек и тихая жена, их и не слышно было. А жена так вовсе не видна, приносила-уносила тарелки с тем самым душистым красным борщом, и все это быстро и бесшумно.

А вот что интересно, хоть и водил и показывал все свое Мурашка так же громко, но дома это не казалось странным.

— Учись, Григорий, — произносил хозяин с какой-то шуточной угрозой и, будто демонстрируя крепость, брался руками за стояки, стены, табурет и за стол. — Учись, пока я жив Каждый петух на своем пепелище хозяин! Ты еще не созрел до этой мысли! Ты еще не битый, тебе и выговор будто значок на грудь: блестит! А я, брат, походил по стройкам и вкусил на своей шкуре правду, заключенную в поговорке, что ничего нет постояннее на наших стройках, чем временное жильё! Считай, загибай пальцы: Воткинская, Братская, Хантайская, Нурекская. Каждая в отдельности — как рубец на сердце от инфаркта! Будешь любить, и ненавидеть, и рваться сбежать — и все равно никуда не уедешь, ведь дите свое бросить нельзя, какое бы оно ни было, а? Это тебе похлеще женской любви!

И вдруг стал шумно агитировать Шохова за семью, приговаривая, что общежитие не дом, а зоопарк, а человеку для внутренней жизни прикрытие в виде стен и крыши необходимо. А в конце, как всегда, у Мурашки это вышло неожиданно, предложил на вечернее время шашку: ремонтировать школу. Тут же потащил Шохова в эту школу в конце той же улицы Планетной, утверждая, что учительница Тамара Ивановна живет здесь же, при школе, и всегда в вечернюю пору бывает дома, но никто им не открыл дверь. Мурашка барабанил по стеклу, прикладывал руку к глазам и пытался что-то за окном рассмотреть, но махнул рукой, и они повернули обратно.

Дорогой у Шохова будто язык развязался, стал он рассказывать Мурашке про свою жизнь, и про Тадж-Махал, как красив на картинке, и про деревню, и про армию.

Мурашка слушал, кивал, а дома снова потянулся к бутылке (ах

Тимоха Шейкин, подлец этакий!) и, налив две рюмки, громко, как на банкете, сказал:

— Мой тост такой, Григорий Афанасьич: выпьем за нас, грешных! Потому что мы, строители, грешим больше остальных!

Махом выпил и продолжил свою мысль, нависая над столом, над закуской, почти над головой самого Шохова:

— Тадж-Махал, говоришь? Могу рассказать, как он, значит, строился, этот твой... Начнем с того, что в этом мавзолее покоятся растраченные зазря деньги! Ты слушай! Слушай! Я же тебя про Тадж-Махал не перебивал. И ты меня не перебивай! Вот так! Почему я говорю, что мы, строители, растратчики? Нам выгодно быть растратчиками. В конце года мы приходим к заказчику твоего мавзолея и просим дать нам пятьдесят тысяч, а он тебе взамен и говорит: «Я тебе их подпишу, а ты еще возьми моих двести тысяч!» Потому что конец года. Какой там век? Семнадцатый? Так вот конец года в семнадцатом веке! А лимит у него не израсходован, и если он не потратит его, ему на будущий год текущий год срежут... Ну, конечно, я забыл сказать, что начали строить твой Тадж-Махал по временным схемам, так как проект не был готов, а визирь или кто он там торопился умереть, ему мавзолеей вот так нужен был. Подводку коммуникаций, дороги и прочее не сделали вовремя, а после, когда положили основание, пришлось его ломать и переделывать заново. Тем более что колонны, которые доставили из мраморных копей, как оказалось, не соответствуют окончательному проекту, и снова пришлось, в третий раз переделывать основание... Ты чем, Гришуха, недоволен? Ну тогда слушай, я ведь тебе все как есть говорю. Ты знаешь, что говорят поляки о нашей профессии? Они говорят: пан бог создал землю, а уж все, что есть на земле, создали строители. И наш детский сад и твой Тадж-Махал... Все! Все!

Мурашка на ходу заводился и — ах Тимоха Шейкин! пристал ведь, пржстал, но я его доблю! я его доплю! да! да! — наливал и опрокидывал махом, никак не мог ему Шохов в этом перечить.

— Теперь вопрос угореловки на Тадж-Махале. Не знаешь, что такое угореловка? А вот что это такое. Конец года, набрав на себя те самые двести тысяч, ты, конечно, не успеваешь завершить и заслоняешься фиктивным актом, фитюлькой то есть. А в начале нового года еще отрабатываешь старый год, который по всем показателям считается выполненным, и премии за него уже получены и потрачены. Так что первый квартал ты и работать не в состоянии как положено. На втором лишь квартале отдышишься, но опять же распутица, весна, бездорожье. Лишь в третьем квартале по-настоящему берешься за дело, а планушко-то идет, и Тадж-Махал стоит, и четвертый поджигает, и уж поневоле ты какую-то часть его перебрасываешь на начало другого года, и несть этим угореловкам конца! Потом вдруг выясняется, что подрядным организациям выгодно ставить колонны, но невыгодно портики, к примеру. И торчат который год сотни этих самых колонн (за них больше платят), а портики откладываются на потом... Вон как у нас тут самое дорогостоящее в объекте — крыша да уборная. Очко врезать дороже, чем сама уборная, скажу тебе! Там мы еще и стены в уборной не возвели, а уже сотни этих очков наврезали и где можно и где нельзя — тут чистая монета идет! А однажды вот так же, как у строителей Тадж-Махала вышло, не сдал я объекта. По акту уборная существует, а на самом деле ее нет. Мы ее собирались в январе возвести. И вдруг с проверкой: так и разэдак, а где же уборная? Чувствую, что дело мое кранты. Накопилось на меня всякого, уж начальство на точке закипания. Ну я как рубану с ходу, не знаю, как уж я нашелся. «Был ураган, — говорю, — так уборную с дерьмом подняло и унесло». Посмеялись да ушли, так-то вот.

Впервые слышал Шохов такие разговоры, да и впервые, надо

сказать, именно с ним так разговаривали. Вот когда станет Шохов заматерелым строителем, когда пройдет свои законные стройки от начала, поймет, что было истинного за словами Мурашки.

— А сколько было реорганизаций во время строительства Тадж-Махала, не знаешь? А я утверждаю, что их было бесконечное количество. Потому что в мире всего две неизлечимые болезни — это рак и реорганизация. Так вот чтобы при возведении Тадж-Махала сложить нормальный, работоспособный коллектив, необходимо минимум полгода. Это тебе любой средний тадж-махалский руководитель скажет. А у нас что ни срок — или разделение, или объединение, отпочкование, слияние, и так без конца. Ты думаешь, что рабочему человеку в первую очередь нужно? Деньги? Так вот ты глубоко заблуждаешься. Он готов и за средний заработок вкалывать, если ты ему создашь уверенность, что его не будут дергать, переводить, без конца реорганизовывать. Рабочего человека интересует стабильный коллектив, имеющий перспективу... Так вот, Гришуха, я помру, а ты уж попомни, что на Тадж-Махале было всего пять этапов во время строительства: шумиха, неразбериха, нахождение виновных, наказание невиновных, награждение непричастных. Все. Топаи домой. Завтра мы продолжим Тадж-Махал строить.

А в школу они с Мурашкой все-таки пришли. Правда, случилось это лишь через неделю, заедали разные дела, к тому же на бригадира штукатуров Семена Хлыстова, того самого, который накапал на прораба, поступила жалоба от комсомольцев бригады, будто он, Хлыстов, пользуясь правами бригадира, сам отлынивает от работы, хоть и получает по пятому разряду, да еще со сверхурочников, так называемых вечерников, дерет на бутылку, а они молчат, им пятерку лишнюю хочется заработать, и будто бы к тому же ворует кисти, и опять все молчат, покупают за свой счет...

Мурашка позвал Хлыстова и показал ему кулак, пообещал уволить, если услышит еще хоть одну жалобу. До него и раньше доходили всяческие слухи. Криворожий Хлыстов прямо в глаза не смотрел, а все наискось и под конец только буркнул: «Это мы посмотрим». Было ясно, что он отыграется на жалобщиках, а при случае и на самом Мурашке. Пакостный мужичишка, говорили, что он девчонок-штукатуров принуждает сожительствовать с ним, а они молчат. Эта жалоба поступила устно, попробуй-ка докажи!

Все это Мурашка выложил дорогой Шохову с громкой обидой, шумно дыша, подпирая собеседника к самому забору.

— И ничего нельзя сделать?

— У нас же гуманный закон! — выделяя каждое слово так, что слышно было на всю улицу, произнес Мурашка, даже стайка воробьев вспорхнула с ближайшего дерева. — И хлыстовы этим особенно умеют пользоваться. Но я дождусь, дождусь, когда он подставит, как говорят боксеры, скулу...

Ох, не знал он, не знал и Шохов, что все это дорого обойдется самому Мурашке, а для Шохова станет памятью на всю жизнь...

А пока они шагали в дальний конец улицы, в школу, чтобы поговорить с неведомой Тamarой Ивановной о ремонте.

Учительница, как и предполагалось, на этот раз была дома, и окошко ее, занавешенное простеньким ситцем, светилось изнутри. Тамара Ивановна несколько раз переспросила: «Кто там?» И Мурашка, стараясь не греметь голосом, объяснил, что это прораб Мурашка с приятелем по поводу ремонта, о котором у них был разговор.

— Не очень-то вы торопитесь, — вместо «здравствуйте» произнесла Тамара Ивановна, впуская их, впрочем, не столь уж и агрессивно, а как-то звонко и весело.

Темным школьным коридором она провела гостей в свою ком-

натку, небольшую, но светлую, с окнами на две стороны (угловая, зимой выхолаживает, наверное, подумалось Шохову), с обстановкой чрезвычайно скромной: кровать, очень чистая, без морщинок (морщинки в казарме у Шохова строго наказывались), трельяж со всяческими женскими флакончиками и столик. Весь гардероб умещался в уголке за занавеской. В комнате было несколько стульев, по-видимому казенных, клеенчатых, на них-то хозяйка и предложила присесть и сама села, положив локти на стол.

Никакого особенного впечатления на Шохова она не произвела, кроме разве ощущения уюта: облегающий халатик и особенно ее руки, белые, домашние, ухоженные, напоминали о семейном тепле. Так в Шохове это чувство и осталось навсегда. Подробно же рассмотрел он ее позже и поразился, что не заметил сразу, как она стройна, какие у нее высокие ноги, крепкая грудь, белая шея и уже ставшее за годы привычным и родным выражение лица, насмешливое и испуганное одновременно. Глаза у Тамары Ивановны были редкостного цвета, золотистые, но не блестящие, а с затаенной глубиной, волосы темно-русые, короткие, прямые. Но, как было сказано, ничего особенного Шохов поперву не рассмотрел, потому что думал о каких-то своих вполне прозаических делах, и даже шабашка, на которую его сагитировал прораб, не очень-то увлекала.

А между тем Мурашка и Тамара Ивановна вели неторопливый, но деловой разговор, из которого выяснилось, что до конца занятий в школе о ремонте не приходится и говорить и если что и возможно, это подремонтировать комнатку Тамары Ивановны.

— Это тебе Гришуха один сделает! — произнес, а точнее прогудел Мурашка, и стекла в окошках позванивали от его голоса. — Он у нас бессемейный, а значит, свободный. А тут и делов на неделю. А?

Это «а?» было обращено к Шохову, и он кивнул согласно, почувствовав на себе любопытствующий женский взгляд.

— И вся недолга! — вскричал Мурашка. — Поллитру на стол — и будет тебе ремонт по высшей категории!

Поллитры у Тамары Ивановны не нашлось, и она предложила чаю. Мурашка заспешил домой, подозрительно настойчиво советуя Шохову остаться, якобы обговорить подробности. И как ни подмаргивал, Шохов ушел вместе с ним и ни о чем таком в тот вечер не задумывался: посмотрел по телевизору кино и пораньше лег спать.

Он и на второй и на третий день не пошел к Тамаре Ивановне, что-то его отвлекло. Потом, будто устыдившись, что все-таки его ждут и оттягивать далее просто неудобно, он пришел к знакомой школе и так же, как Мурашка, постучался в светящееся окошко. Сколько раз потом он будет здесь стучаться нетерпеливо и требовательно. И снова, как с Мурашкой, Тамара Ивановна звонко спросила: «Кто там?» — и открыла ему дверь.

В этот вечер они поговорили о подсобных материалах, обоях, белилах, синьке, клее, потом Тамара Ивановна угостила его чаем с вишневым вареньем. И снова Шохов почувствовал неуловимый дух домашнего тепла, уюта, исходивший от этой женщины в облегающем халатике и с белыми гибкими руками.

В этот вечер он простился не слишком торопливо и до ночи не мог заснуть, все ему мерещились белые руки, и запах женского тепла кружил голову. Тут же решено было, что завтра он придет снова, захватит кое-что из подсобных материалов и вина, красного и сладкого, чтобы не подумали, что он пытался спойть. А в последний момент все-таки купил еще и водки, и вина, и каких-то закусок вроде любительской колбаски и плавленых сырков. Не раз потом они вспоминали, как Григорий выставлял на стол свои дурацкие закуски и как молча, но вовсе без суждения, насмешливо и испуганно Тамара Ива-

новна смотрела на них, особенно на бутылки, а потом как ни в чем не бывало произнесла: «Хотите, я вас супом угощу?»

Она и от водки не отказалась, выпила рюмку и прикрыла ее рукой: «Все, Гриша, я больше не пью». А потом он понял по каким-то неуловимым признакам, что удобно ему остаться ночевать, и он смело затянул вечер, повествуя о службе в армии, о дружках, которые разъехались, но пишут, кто как устроился, и о Риге он рассказывал, о старом городе, о Домском соборе, где слушал органную музыку, но еще более восхищался старинной архитектурой, которая, конечно же, далека от индийской, от того же Тадж-Махала, но так же потрясла его.

Тамара Ивановна вышла и вскоре принесла альбом пластинок, и среди них одну, где была запись именно органной музыки в Домском соборе, а на обложке сам собор, его центральный зал. Тут только увидел Шохов небольшой проигрыватель чемоданчиком, в крышке которого был смонтирован динамик, он стоял на подоконнике и рядом десяток пластинок, часто иггранных, судя по виду.

Вот с этой органной музыки, а потом еще других записей, а потом еще с книжек, которые он увидел в школьной кладовочке, и начал Шохов все больше и больше думать о Тамаре Ивановне. И додумался он в конце концов до женитьбы. Но это через месяц или чуть больше, если считать от того дня, когда они впервые посетили школу с Мурашкой. А в этот странный вечер, а потом и ночь ничего у них и не было. Шохов полез к Тамаре Ивановне, но та легко его отстранила, так, с обычной своей усмешкой, после которой надеяться на что-то было невозможно. Он спал на полу, на белой крахмальной простыне, на мягкой подстилке, и, конечно, не смог заснуть ни на минуту и догадывался, несмотря на полную тишину, что и Тамара Ивановна не спит.

Рассердясь на себя, встал с рассветом, часа так в четыре, и, уже одевшись и направляясь к двери, услышал, нет, пожалуй, почувствовал, как соскользнула она с кровати, обняла со спины и голосом, которого он не узнал, пронзительным и тихим, просила ее простить.

— Я не могу так, сразу,— произнесла она, он слышал ее дыхание на своем плече и боялся шелохнуться, не то что встать к ней лицом. Так и ушел, чувствуя на плече, на коже зудящую боль, как от ожога.

Шлялся до самой смены по каким-то незнакомым улицам и глупо, беспричинно улыбался. Он знал, что запомнит навсегда это утро.

Но запомнилось оно совсем по другой причине. Так уж вышло, что он раньше обычного пришел на работу и в свете раннего утра шагал по длинному крылу строящегося здания, составляя в уме план работы на день. Он залезал на леса, проходил по шатким узким досочкам и вовсе ничего сегодня не боялся. Он просто был уверен, что ничего с ним случиться не может. Настроение было воздушно-прекрасным на сегодня, как и на всю жизнь. Вот тут он услышал в одном из закутков громкий женский плач. Завернул в боковой отсек и увидел девушку, он ее встречал несколько раз и даже знал, что ее зовут Кофея, странное татарское имя. Девчонка была молоденькая совсем, черноглазая, с косичками. Шохов, встречая ее на работе, почему-то всегда произносил: «Здравствуй, блинчик». Уж такое приятное и круглое личико было у татарки, что он ее называл блинчиком.

А теперь он узнал ее, удивился: почему в такой ранний час она появилась на работе и чем так расстроена? Может быть, недоплатили ей, или подруги сказали со зла какое-нибудь резкое словцо, или другое, но в том же роде?

Шохов был человек открытый, но ничего он еще не понимал в женских бедах. Да еще в этот день было у него возвышенное настроение. Может, потому и воскликнул:

— Здравствуй, блинчик! Кто тебя с утра обидел?

Слова и тон были такими легкомысленными, что девушка только посмотрела на него и пошла прочь.

Понял Шохов, что ляпнул ненужное. Он догнал татарку уже во дворе:

— Эй, Кофя, ты что? Что случилось?

Девушка только повела плечами.

Но утро было такое свежее, такое чистое, и настроение и голос у Шохова безмятежным и искренним, что девушка в конце концов расказала, что их бригадир Семен Семеныч Хлыстов обещал на ней жениться, а теперь он сказал, чтобы она убиралась куда глаза глядят. А куда она может поехать, если у нее скоро будет ребенок...

Тут она снова расплакалась, и Шохов пообещал поговорить с Хлыстовым.

— Ты, блинчик, не робей,— сказал он бодро.— Я ему все выскажу. Он будет знать.

Но высказывать тоже нужно уметь. Шохов, утром же повстречавшись с Хлыстовым, все ему напрямки и выложил.

— Семен Семенович,— сказал он, глядя в асимметричное, остренькое, как у полевого мелкого хищника, лицо,— вы за что же обидели девушку, вы знаете, о чем идет речь.... Вы обещали на ней жениться, да?

Хлыстов только остреньким носом повел в его сторону.

— Не знаю, Григорий Афанасьич, ничего не знаю. А вот что молодые бригадиры, без году неделю тут, сплетнями занялись, слышу. И на это соответственно буду реагировать. За клевету по нынешним законам граждане несут уголовную ответственность.

И, не взглянув больше на опешившего бригадира, Хлыстов мelenько засеменял в сторону.

А Шохов, вот уж сила демагогии, даже слова в ответ не смог произнести. Стоял, задыхаясь от злости, сдерживал себя. Не дай бог догонит и ударит этого подонка — и вправду засудит. В этом не было никакого сомнения.

День был испорчен начисто, и Шохов не нашел ничего лучше как пойти к Мурашке и все тому рассказать. А вышло, что Шохов спихнул на него то, что должен был сделать сам. Моральные угрызения таким, как Хлыстов, непонятны, а вот физическую силу они уважают. Жаль кулаков, да бьют дураков! Набить бы морду в том же закутке, и пусть расплевывается — вот что он должен был по чести сделать. Не сделал. Природная осторожность не позволила. А Мурашка, нужно было знать его, тот зажегся, не потушить. Он шумно вздохнул и произнес с каким-то странным шипением:

— Ага! Сенька Хлыстов! Он у меня получит.

Сколько раз вспоминал Шохов эту фразу, убеждаясь, что именно с нее-то и началось несчастье. И так и эдак потом, когда все произошло, прокручивал слова Мурашки, желая найти хоть какой-то просвет для своего оправдания, и ничего у него не выходило.

Любил ли Шохов свою Тамару Ивановну, он не знал. Знал одно: что Тамара Ивановна ему дана навсегда и все в ней — и длинные ноги, и звонкий голос, тоже, как и глаза и волосы, золотой,— было как бы от веку родным.

Зато можно твердо сказать, что Тамара Ивановна любила Шохова, и любила по-настоящему. Она была старше его на пять лет, мечтала о своей семье, и Шохов, простодушный, старательный и, более того, основательный и твердый, как ей казалось, в жизненных решениях, не мог сразу не понравиться ей. Она потом так и объяснила свои чувства, в какой-то предрассветный час, когда они лежали на сдвинутой из-за ремонта к середине комнаты кровати и совсем не хотели спать.

— Ты добрый человек, я это сразу почувствовала,— говорила она

шепотом, хотя не только в комнате, но и во всей школе они были одни.— У тебя хорошие глаза и удивительная улыбка, она-то и выдает твоё простодушие. Тебя часто обманывали? Да? А вот меня часто. И все равно я верю в людей.

— Меня обманули только один раз,— сказал он.

— Это была женщина?

— Да, я тебе потом о ней расскажу.

— Можешь и не рассказывать, если тебе неприятно.

— Я обязательно должен о ней рассказать,— повторил твердо Шохов. Лицо сделалось жестким, на переносице резче обозначилась вертикальная морщинка. И Тамара Ивановна, чтобы смягчить ею же вызванный разговор, стала пальцами разглаживать эту морщинку, а потом целовать ее.

Через месяц и один день после первого посещения с Мурашкой они расписались. Были приглашены в свидетели и Мурашка и подружки по школе, но Мурашка в загс прийти не смог из-за каких-то неприятностей на объекте (они теперь строили школу-интернат), зато подружки пришли все. Так и вышло, что на своей свадьбе Шохов представлял как бы весь род мужской, а кроме него было шесть женщин, все ровесницы или чуть старше Тамары Ивановны и все безмужние. Женщины пили мало, но шумно, целовали Тамару Ивановну, желали ей счастья и крепкой семьи, да и детишек в придачу. К Шохову обращались по имени-отчеству и кто с придиркой, кто с кокетством или даже затаенной завистью рассматривали его. Тамара же Ивановна ничего не видела и была откровенно счастлива. Она всех любила, всем верила в этот прекрасный вечер. Заводили пластинки, Шохова по очереди приглашали танцевать, и все-таки все знали, что и во время танцев он думает о своей Тамаре Ивановне, и потому все время женщины как бы извинялись перед ней, произнося: «Мы твоего Григория Афанасьевича не закружили?» Тамара Ивановна, выпившая сегодня больше чем обычно, зардевшись, отвечала дерзко и громко: «Голову, девчонки, не закружите, он у меня наивненький!» Смотрела из-за стола насмешливо и испуганно — так, во всяком случае, казалось Шохову. Он же во время танцев с бойкими учительницами видел только свою Тамару Ивановну и глаза ее, сумрачно-золотые, безбедные, полные счастья.

Шохову было поручено развести подруг, и он безропотно их всех проводил. Одна жила на другом конце города, была шумливей остальных и досаждала ему бесконечными разговорами. Потом запела вдруг:

На стене висит пальто,
 Меня не сватает никто!
 Пойду в поле, закричу:
 «Ох, замуж я хо-чу-у!»

А на другой день они справили свадьбу еще раз, уже с Мурашкой, который пришел без жены.

Тамара Ивановна огорчилась и спросила: почему же без жены?

— А нечего ей,— рыкнул Мурашка от входа.— Пусть с детишками сидит, нечего ей ходить по гостям.

— Вам, значит, можно ходить? А ей нельзя?

— Я другое дело,— очень уверенно и громко подтвердил он.

— Это что же, принцип? Женщин держать дома?

— А в каждой семье должен быть свой принцип,— решительно сказал он, без приглашения садясь за стол и ставя локти перед собой. Но, прежде чем обратиться к закуске, опытным взглядом оглядел комнату, отмечая качество ремонта и некоторые новшества вроде стеллажа, который Шохов сделал для книг, лежавших в кладовке.— Я и вам желаю иметь свой принцип в семье, который не нарушался бы,— по-

вторил настойчиво, с нажимом Мурашка; видать, завелся на работе и не смог отойти.

Громко выпивая и закусывая, Мурашка произнес, усмехаясь:

— Тамара Ивановна, за вашу семью и за ваши кулинарные способности. Не забывайте, мужика надо вкусно и часто кормить... Тогда он будет доволен!

— А я знаю,— отвечала та и при этом смотрела ласково на Мурашку.

У Шохова впервые от ревности екнуло сердце, вот уж чего он за собой не замечал. Просто был он неопытен и не знал, что женщина может смотреть ласково на любого гостя, ведь гостю это приятно. И ведь эта ласковость-то принадлежала все равно Шохову, она потому и есть, что он, Шохов, рядом.

Мурашка же, шумно дыша, повторил свои рассуждения насчет кормежки и в полушутку стал говорить, что лично он любит, чтобы после работы был красный борщ. Оттого и женился. Все думают, что он просто женился, а он все — из-за борща. В его любви борщ занимал первое место. А если серьезно, то он лично считает, что женщина создает в семье равновесие. Когда все хорошо и у всех хорошо, она будто бы и ворчит, и грызется, и конфликтует, не без этого. А как что-нибудь случится — она и утешает, и подбадривает, и поддерживает... В общем, создает равновесие.

— А что там случилось, на работе? — спросил Шохов.

Мурашка, указывая на него, вскричал:

— Он — кипишной! Кипишной! Он за работу болеет! Я это сразу понял, когда принимал его. Я тоже был такой, верно говорю. Однажды, где же это было, на Хантайке, кажется... Вы не бывали на Хантайке? Лесотундра, но места отменные, надо сказать. Так вот, машина у меня застряла, а я молодой был, скинул с себя полушубок да под колеса: одни тряпочки принес домой... А жена так и не дозналась!

— Что-то у вас жена все в стороне и все ничего не знает? — засмеявшись, спросила Тамара Ивановна, и Шохов снова почувствовал толчок ревности.

Мурашка хмыкнул, поворачиваясь, и зацепил локтем, звякнул тарелкой.

— А я, уважаемая Тамара Ивановна, дом свой берегу и жену берегу,— сказал он отчетливо.— Вы, наверное, успели понять, что наша работа далеко не золото. Каждый день решаешь уравнение с тысячью неизвестных и никогда не знаешь, какое из этих неизвестных сведет твою работу к нулю!

— Да, да, тяжелая работа,— сказала Тамара Ивановна.

Шохов хоть так и не считал, но промолчал. Он знал: надо вкалывать и не нервничать, а все эти высшие соображения не для него.

— Я, может, от строек крупных убежал, чтобы жизнь себе сбереечь. А как ее можно сбереечь, вы спросите? А так вот. Свои нервы, свои беды, свои рабочие дела не тащить домой. Дом — это... это... место, где можно себя уберечь. А для этого жена должна беречь дом, убирать его, воспитывать детишек и ничего не знать о моих делах. В крайнем случае ее лишь должно волновать, сколько прибавляется у меня на книжке...

И опять смеясь и ласково и негромко, спросила Тамара Ивановна, золотисто взглядывая на Мурашку, сколько же у него на книжке, много ли ему дала профессия строителя.

Тот грохнул, будто потолок обвалился:

— Сто тыщ!

— Правда? — усомнилась Тамара Ивановна и взглянула на Шохова.

— Правда! — шумно выдохнул тот.— В перспективе — сто тыщ!

— Как это? В перспективе? — спросила Тамара Ивановна.

— Ну как? Я получаю двести целковых, и до пенсии мне оста-

лось двадцать лет. Вот вам сорок восемь тыщ! А потом я еще лет тридцать проживу, и мне будут платить по сто двадцать — вот и выходит на круг сто тыщ! А все потому, что я знаю, что работой я обеспечен, будь она проклята!

— А все-таки вы мне не ответили,— напомнил Шохов.— Что-нибудь случилось, да?

Мурашка торопливо закусывал и не отвечал, казалось, что он вообще не слышал вопроса. Но потом поднял голову и почти равнодушно сказал, что сегодня он уволил бригадира штукатуров Сеньку Хлыстова. Без профсоюзов там, без всего. Уволил, и баста.

— Он будет жаловаться.

— Пусть жалуетя.

— Потом у него тут несколько дружков, он их поит.

— Пусть! Пусть! — И Мурашка резанул воздух рукой.— Я эту гниду к стройке на километр не подпущу.

— А что случилось? — спросила Тамара Ивановна. От мужа она уже знала, кто такой Хлыстов.

— Девчонка пришла ко мне, плачет, говорит, что... В общем, беременная от него. Я позвал, стал внушать, все деликатно... А он, вонючка, мне и говорит: «Я не знаю, может, ты сам ее и запузрылил!» Я ему тут и врезал так, что он с лесов слетел. Будет помнить.

О том, что об этой девчонке Мурашка узнал от Шохова, он дипломатично промолчал.

— Вас же судить будут! — испуганно произнесла Тамара Ивановна.

— А ч-черт с ним! Да никто и не видел! Пусть доказывает теперь! Вот, Гришуха, запомни: правдолюбцы — это несчастные люди! Как я выражаюсь, это смазывающая часть общества, как масло в машине... Но ведь масло-то первым и сгорает! А без масла машина — ни с места! Одни сознательно на это идут, другие становятся ими случайно. Но сгорают и те и другие. И никто им помочь не может. Понял? Один Тимоха Шейкин, друг мой, приятель! Так что наливай, Гришуха, выпьем за наших врагов! Чтобы они провалились навсегда! Хоть так и не бывает! Врагов иметь может только уважающий себя человек. Понял? Выпей тогда за меня и за моих врагов, я всегда их имел. Выпейте и вы, Тамара Ивановна.

— Я выпью за вас,— произнесла Тамара Ивановна и опять с нежностью посмотрела на Мурашку.

Вопреки ожиданию Шохова да и самого Мурашки ничего не произошло. Хлыстов как-то незаметно, без всякой склоки исчез со стройки, слинял. Ему было с руки таким образом сбежать от своей вины перед молоденькой девушкой. Говорили, что он устроился в ремонтную контору, а Мурашке пообещал отплатить с лихвой, когда времечко придет. На эти слова тогда не обратили внимания, мало ли кто и как выражает свою обиду. Вспомнили, к сожалению, когда было поздно.

Шохов и Тамара Ивановна обживали свою отремонтированную комнатку. На очередную шоховскую зарплату купили и сшили длинные занавески на окна и приобрели в рассрочку телевизор. Книги из школьной кладовки перекочевали на стеллажи; во всю стену, они сразу как-то украсили их жильё. И учителя, заходившие к ним изредка на чаек, и другие гости сразу обращали внимание на эти стеллажи, любовались и обязательно спрашивали: кто же это сделал, по заказу или они покупные?

Тамаре Ивановне нравилось это внимание к стеллажам потому, что она могла сказать доброе слово про мужа. Но обернулось это по-своему: все стали просить устроить в их доме такой стеллаж для книг («У нас муж завал. Ваш муж такой мастер! У него золотые руки!»). И Шохов и Тамара Ивановна не умели отказывать.

Шохов оказывался еще и виноватым.

— Этим сделаю, и все. Скажи, что больше я не могу. Я правда не могу, у меня сдаточный квартал.

— Я их всех ненавижу, они эгоисты! — произнесла Тамара Ивановна. — Они ничего не хотят понимать, кроме того, что нужно им! Только им! А мы тоже люди! Мы тоже хотим спокойно жить!

Бедная Тамара Ивановна! Она и не подозревала, что не будет у нее никогда этой спокойной жизни. Ее беспокойства, если посмотреть с сегодняшнего дня, только начинались.

Тамара Ивановна хотела иметь свою квартиру, хотя бы однокомнатную. Таковую, в которую не смогут без стука входить школьники (сейчас это было почти как норма), чтобы была своя ванная, и кухня, и окошки, в которые никто бы не мог заглянуть.

— Будет все, и дом будет, — говорил Шохов.

Он сходил в исполком и выведал, как встать на очередь. Все это было возможно. Но знакомый инспектор сразу сказал: хоть строительство идет, но надежды получить в ближайшие пять лет нет.

После этого разговора и зародилась у Шохова мыслишка написать кому-нибудь из бывших приятелей, чтобы выяснить жилье на дальних крупных стройках. До поры до времени Шохов держал свои мысли при себе. Наоборот, все время подбадривал Тамару Ивановну да и себя, что все устроится и не век они будут жить при этой дурацкой школе. Школа, и ученики, и шум в коридоре его не то чтобы беспокоили — он же весь день на работе, а потом наступают каникулы, — но заставляли переживать за Тамару Ивановну, за ее испорченное настроение.

Решил поговорить с Мурашкой, хотя знал, что тот скажет что-нибудь такое: «Учителя учат детей хорошей жизни, а сами бедствуют». Но трудно сейчас вне дела с Мурашкой встретиться, а во время работы и разговоры рабочие: июнь подходил к концу, а отделочные работы, как всегда, отставали. К тому же запаздывала столярка. Мурашка притащил раскладушку на первый этаж недостроенного здания, чтобы быть, как говорят, всегда при деле. Он и питался на ходу, а про свой флотский красный борщ и не вспоминал. Однажды лишь наскочил на Шохова, посмотрел на него так, будто впервые видел, и помолчав, сказал, словно договаривал прерванное прежде:

— Вот еду взятку давать. Как этаж, так полста рублей заинтересованному лицу. Иначе ни столярки, ни бетона... ничего не будет. Не для себя, паря, для дела. Зато детишки с Нового года жить будут здесь. Так-то! — И ушел.

И еще были очень короткие встречи. Они как-то и не остались в памяти, только потом, когда все случилось, Шохов вспомнил все до мелочей. Один раз Мурашка сказал, после того как обнаружился какой-то незначительный брак: «Спешить надо медленно, Гришуха. Есть на этот случай хорошая поговорка: поспешай, но не поторапливайся». Это вместо замечания.

Еще про какого-то человека: «У него гордый профессионализм! Он марку стали по запаху определяет! Представь, электрод понюхает и точно скажет, какая сталь!»

А однажды: «Кто такой мастер? Это мальчик на побегушках и у начальства и у рабочих, да! Да! А прораб? Это тот же мальчик, только постарше!»

А потом это произошло. Торжественно сдали интернат, ключи от строителей вручал сам Мурашка и расчувствовался, когда детишки преподнесли цветы и стихи хорошие прочитали. Шохов в этот день не отходил от Мурашки, все боялся, что тот заведется, пойдет вразнос вместе с Тимохой Шейкиным. Но вот что странно: Мурашка даже от пива отказался и был особенно подтянут и торжествен. Его детдомовские ребятишки беспокоили. Может, он чувствовал что-то, ведь бывает оно, как говорят, это предчувствие. Они с Шоховым вместе и

до дома дошли — на одной же улице теперь жили,— и со спокойной душой Шохов впервые за месяц ощутил, что вечер у них с Тамарой Ивановной свободный и можно сходить в кино или погулять в парке. Но лучше посидеть дома у телевизора, поговорить о домашних делах.

Часов так в девять, полдесятого постучала в окошко детская рука. Тамара Ивановна решила, что кто-то из ее учеников, вышла открыть дверь, а вернулась белая, блее мела. Глядела на мужа потемневшими глазами и всхлипнула.

— Мурашку... убили.

Шохов смотрел на нее, ничего не понимая, и как ни вникал в смысл слов, все было как в немом фильме: медленно оседала на стул Тамара Ивановна, с ужасом глядя на мужа, и все словно остановилось в неподвижности и замерло.

— Кто? Кого?..— спросил он, вдруг сорвался, с порога вернулся, чтобы сказать какие-то слова жене, но раздумал, потому что никаких слов у него не было, и побежал прямо к дому Мурашки.

Но жены Мурашки уже не было, а был тот самый мальчик, сынок Мурашки, который, видать, и постучал в окошко, чтобы сообщить страшную новость. Он и сейчас ничего не мог сказать, кроме слов: «Папку убили. Он в больнице». Кто убил, как убил и где — ничего этого мальчик не знал. И почему тогда в больнице, если убили? Может, и не убили, может, несчастье какое, ведь не кладут же в больницу мертвых? Шохов бежал по улице к больнице, она была на другом конце города. Он не замечал дороги, не замечал встречающих людей, перед глазами была испуганная физиономия ребенка. А что произошло в жизни самого Шохова? Он-то понимал или нет? Каково ему, когда он представил, что с ним никогда не будет рядом человека по имени Мурашка. Все, что он нашел в жизни, произошло через Мурашку: работа, семья, любовь, дом, товарищество, понимание каких-то необходимых и важных для жизни вещей... Все, словом. И теперь тот корень, на котором выросла эта крона шоховской жизни, был подрублен чьей-то подлой рукой.

Тут и пришла молниеносная догадка: Сенька Хлыстов. Если убийство, если не случайность, если все так, как сказал ребенок, то было именно убийство и это его рука! Так в почти беспамятном беге от дома до дверей больницы стало очевидно то, о чем Шохов вроде бы и не раздумывал, оно сформулировалось само собой.

А когда он увидел у дверей нескольких человек из бригады и стоявшую в стороне убитую горем, маленькую, ставшую словно бы еще меньше, еще незаметнее жену Мурашки, понял, что все так оно и есть и, значит, его дорожный бред про потерю всего, что составляло его жизнь, правда.

Он выслушал рассказ, передаваемый в который раз. Будто Мурашка решил сходить на сданный объект, отнести для детишек несколько цветков в горшках для интернатской оранжереи. Он так жене и сказал: «Вот дело сделано, а пуповина не отпала. Пойду погляжу и цветы детишкам подарю. Будут у детдомовцев свои цветы».

Стреляли в упор, прямо в лицо, была вывернута вся нижняя челюсть. И все-таки, подерживая ее руками, он сам дошел до больницы и упал замертво здесь на лестнице. Милиция разыскивает преступника, но пока безрезультатно. Конечно, вспомнили и о странной угрозе Хлыстова, но тот вроде в отпуске, в отъезде, и, таким образом, его вина отпадает.

А Шохов слушал и не слушал, потерянно бродил возле высоких окон больницы, издали смотрел на горестно согнутую спину жены Мурашки. Что-то навсегда оборвалось в нем со смертью этого человека. Он не знал, как будет жить. Но жить, как прежде, он понимал, никогда уже не сможет.

Зримых перемен вроде бы и не произошло. Кроме того разве, что

Тамара Ивановна в каникулярный отпуск не уехала, как собиралась, к своей маме в Подмосковье, в Красково, а просидела в доме Мурашки, ухаживая за его женой и за двумя детишками, младшему было шесть лет. Вскоре старшего удалось Тамаре Ивановне устроить на третью очередь в пионерский лагерь.

У Шохова никакого отпуска быть не могло. День-деньской он проводил на объекте, подчас задерживаясь до темноты, потому что дела без Мурашки шли неважно, а возвращаясь, брал в руки инструмент и начинал что-нибудь мастерить по хозяйству. Так, в последнее время выстелил он линолеумом пол, отгородил переборочкой хозяйственный уголок, где стояла электроплитка и посуда, прибил вешалку, а вместо старой трехрожковой люстры купил новую, немецкую, висящую гирляндой из цветного стекла. Шохов делал все умело, но без особого энтузиазма, почти по инерции. Хотел занять время, чтобы уйти от навязчивых мыслей. Но куда от них уйдешь!

А мысли угнетали. И одна из них о том, что вот Мурашка уехал от крупных строек, прижился в этом уютном городке, потому что хотел, по его же словам, сберечь свое здоровье или даже жизнь. А что же получилось? Ничего он не сберег, потому что все свое, как удачи, так и неприятности, человек носит с собой, и с этим уж ничего не поделаешь. Ведь не зря же говорят: судьба — это характер. А характер, известно, в гостях и в командировке не оставишь, не заменишь другим, он на всю нашу жизнь даден один.

Так что же выходит, от судьбы-то не уйдешь? И, произнося слова о правдолюбцах, которые, как масло в механизме, сгорают, Мурашка как бы про себя говорил, а значит, понимал, что он тоже обречен? Ведь очевидно всем, что был он, выражаясь его же словами, человек кипишной, беспокойный, равнодушный, и его надорванная, измученная душа не могла не страдать, видя зло, и, значит, не мог он пройти мимо не вмешавшись.

Значит, он что же, был обречен? Нет, конечно. Не мог он знать, что станут стрелять в него в упор из охотничьего ружья. Случай, как выражаются, исключительный. Но ведь могло произойти и что-нибудь иное, скажем могли столкнуться нечаянно с лесов, подкараулить на недостатке материалов, написать анонимку про пьянку, про взятки, да мало что сделать! Есть тысячи способов вовсе безопасных повредить неуголному человеку. Это мы в добре не слишком изобретательны то ли по недостатку времени, то ли по нашей вялости и лени. А в злобе, в ненависти мы разнообразны как нигде.

И вот до чего додумался прежде всего Шохов: нельзя ходить поперек людей. Хочешь жить сам, дай жить другим. Это никак не переключило его принципам делать все по правде. На том стоял род Шоховых, верно. Но никто не говорил, что надо лезть на рожон и подставлять свою челюсть под пули. Народ разный кругом, некоторые озлели, не только кошелек из-за рубля, а душу вынут и выбросят. Значит, надо быть настороже.

А лучше, еще лучше просто уехать отсюда подобра-поздорову, мало ли хороших городков на свете — что, на этом клин сошелся? Уехать не потому, что лично он опасался за свою жизнь, ведь было же сказано, что от судьбы, как и от себя, не уйдешь. Но уйти от неприятного места, связанного с тяжелыми воспоминаниями. Шохов уже понимал, как трудно будет ему жить и работать там, где все начиналось с Мурашки. Будет над Шоховым, над его семьей, над делами маячить тень убитого прораба, и жизнь станет неважною. Отчего, скажем, вовремя не остановил человека? Ведь первый узнал, что ему угрожали, да и началось все, если размотать клубочек в обратную сторону, не с тебя ли? А не остановил, не попытался сгладить конфликт, поговорить еще раз с кривым Хлыстовым, не смог смягчить стихию Мурашки, который, конечно же, временами становился **просто** **неуправляем,**

Некому, кроме Тамары Ивановны, было все это опровергнуть. Но Тамара Ивановна вечера проводила опять же там, в Мурашкином домике, может, и она чувствовала какую-то вину и хотела хоть как-нибудь, хоть минимально ее загладить?

Тогда тем более надо уезжать. С работой после Мурашки не клеилось. С жильем тоже. Все сходилось, как бывает подчас, в один узел, и разорвать его мог лишь отъезд Шохова.

Однажды за чаем выложил он все Тамаре Ивановне. Был поздний вечер. Была черная осень. Шел дождь. Они пили перед сном чай, разговор шел как будто бы обычный, о делах, о том, что ноябрьские праздники на носу, что кончается четверть и много у Тамары Ивановны контрольных. И хоть коллектив в школе неплохой, но она почему-то устала и боится, что не выдержит целого учебного года. Да и вообще она устала жить при детях, при школе, как в общежитии.

— Уедем? — сказал Шохов.

Он собирался поговорить об отъезде и готовился к такому разговору. Но и для него все получилось неожиданно и гораздо проще, чем он ожидал. Выходило так, что лучше бы поехать ему одному, чтобы было наверняка. Все он выведает, приглядится, приживется и тогда позовет ее. Учителя в новых местах нужны, как и строители. А вот куда ехать, он пока не решил. Да мест на карте много. Так он выразился. И на юге и на севере сплошь строительство, мелкое и крупное, разное. А на востоке тем более, там куда ни ткнешь — то ли гидростанция, то ли какая дорога или комбинат химический... Но, пожалуй, стройку надо выбирать покрупней, с большим разворотом жилья, и лучше, если сначала. Вот и Мурашка утверждал, да и другие тоже, что первым хоть поначалу и достается тяжелее, но они, а не припоздавшие в выигрыше. Если не бояться начинать, как говорят, с пустого места. Шохов же лично не боится.

— А какой город ты придумал? — спросила ровно Тамара Ивановна. Нельзя было определить, как отнеслась она к предложению Шохова. Да и разговор-то шел о предварительной разведке, а не о том, чтобы она срывалась с насиженного места и ехала с ним завтра.

— Не знаю, — сказал он. — Может быть, в Усолье? Знаешь, это на Ангаре.

И хоть Шохов притащил атлас и разъяснил ей, что от срединной части России до Сибири рукой подать, Тамара Ивановна ничего больше не произнесла. И Шохов понял, что ей надо привыкнуть к этой мысли и не надо торопить с решением. Все придет само собой.

Ноябрьские праздники справили они с учителями: после торжественной части, после детского концерта накрыли в конференц-зале стол и устроили шумные танцы. На второй день отсыпались, гуляли по улицам и вечером снова встретились с подружками Тамары Ивановны и, выпив, смотрели телевизор, заводили пластинки — кто-то принес только купленного Булата Окуджаву, — и опять, как прежде, Шохов разводил всех женщин по домам.

Об отъезде речь не заводилась, даже наоборот, в тот праздничный вечер, какой-то особенно задумчивый, немного ленивый, помыв посуду и убрав, они полусидя вели разговор об этих самых подружках Тамары Ивановны, почему, в конце концов, они так одиноки и есть ли у них кто-нибудь.

— У двух детишки, — сказала Тамара Ивановна. — А вот те, что рядом с тобой сидели, даже не выходили замуж.

— Неужели так трудно выйти замуж? — спросил он.

— *Трудно. Конечно, трудно. Они же не девочки какие. На танцы пойти не могут, а в школе мужчин нет. Хоть бы ты со стройки пригласил кого-нибудь.

— Со стройки? — спросил рассеянно Шохов. — Так я подал заявление об уходе.

Вот так и сказал просто. И она, его родная Томочка, ни словечка

не молвила по поводу отъезда. Лишь улыбнулась, но это резануло как по сердцу:

— Видишь, теперь и я еще безмужняя буду.

Он стал горячо уверять ее, что только-только устроится — придет за ней, она не отвечала.

Может быть, она предчувствовала что-то, да боялась не только высказать, но и подумать, поверить в свои предчувствия?

Но и Шохов, если бы мог предполагать, решаясь на такой шаг, какую длинную, какую долгую дорогу выбрал он для себя, может быть, поостерегся бы уезжать. Но что мы знаем про себя?

В мокрый день, когда шел и таял снег и было сыро и неуютно, он уезжал поездом до Москвы и далее до Усолья. В Москве он должен был заехать к маме Тамары Ивановны и передать ей в подарок несколько банок варенья.

Провожавшая его Тамара Ивановна не плакала и внешне даже не была огорчена. Наоборот, пыталась развеселить его каким-то рассказиком про первоклашку, который намочил в штанишки, не успев расстегнуть пуговицы. Потом поцеловала мужа и попросила чаще писать.

— Не пропадай, мой Шохов,— сказала она и смотрела на него своими золотистыми веселыми глазами.

Снег падал на непокрытые волосы, на лицо, и Шохов ощутил губами, целуя ее, пресный вкус этого растаявшего снега. На мгновение шевельнулась странная ревность к этому ее веселому состоянию: в самом деле, неужели ей не было грустно? Он еще ничего тогда не понимал в женщинах и не знал, что не всегда они смеются, когда им хорошо, и не всегда на прощание плачут. Тамара Ивановна просто хотела, чтобы ему было спокойно в дальнем чужом городе. В ней был запас сил и запас оптимизма, как они потом ей пригодились!

Поезд медленно отходил от перрона, и люди побежали, что-то крича на прощание, и она в толпе сделала несколько шагов по ходу поезда, не отрывая блестящих глаз от Шохова, словно стараясь его навсегда запомнить такого, отъезжающего. Среди всех провожающих она одна-единственная ничего не кричала, не улыбалась и не махнула ни разу рукой.

Но, вернувшись домой, легла на кровать и проплакала весь вечер...

— Так вот, Петруха, про жизнь есть такая байка. Ехал, мол, мужик на базар, вез на продажу добро всякое. Тридцать лет ехал, все прибавлялось добра у него. А распродал все за три года. Я до своего базара, Петруха, доехал; скоро и обратно поворачивать. Теперь отними от нынешних календарных мои кровные — и выйдет, что семя, из которого я вырос, было брошено вскоре после войны, о ней знаю я по рассказам бати моего, инвалида, вернувшегося с фронта калекой. Но мог бы и не вернуться — и не было бы Гришки Шохова и его двух младших братьев, погибли бы, считай, от войны, не родившись.

Когда я родился, голод был, говорят, Петруха. В городе за коммерческим хлебом давились, по карточкам отоваривались, потом их отменили, а у нас в вятской деревне Васино, сто километров от Котельничей, если слыхивал, и того не было, тяжелей, чем в войну, кору, камыш, лебеду с картошкой мешали, я и по сию пору зову ее детской смесью. Знаешь, в магазине всякие протертости для детишек продают, так для меня и запомнилось, слаще меда послевоенные блины из мороженой картошки, на ней и вызревал, как бурьян на тощей земле.

В колхозе, как мать говорила, шесть копеек на трудовень и мешок капусты при расчете. Вот ведь что чудно, Петруха: жили и выжили, это я тоже понимаю так, что отрыжка от войны, а полхлеба самой войны стала. А что до меня лично, так я доволен своим детством, с четырех лет, как помню себя, со сверстниками за ягодой в лес, а леса

у нас какие, за грибами, за сорочьими яйцами, за клюковкой опять же, за травками да корешками, из которых мы отвары да чай варили. С батей на реку с острой или бредишкой, в ночное лошадей караулить или подпаском в стадо. В школу пошел не как нынешние, с семи, даже шести лет, а с восьми с половиной, и далеко ходить было, десять километров в одну сторону, да все лесом. До седьмого класса нас человек пятнадцать было из одной деревни (все послевоенный прирост!), с седьмого поубавилось до шести, в восьмой ходил я один.

Когда мне, Петруха, по злу или вообще кричат, мол, где ты только воспитывался, я честно отвечаю, не кривя, что воспитал меня лес. Нет, ты представь: распутица, а то запуржит, переметет кругом, а то мороз по лесу трещит да волки на лугу воют, а я с торбочкой, а потом планшеткой (с войны брезентовые такие планшеточки привозили) через плечо шагаю — и хоть бы что мне, живучий, дьявол, был. Да нет, не то чтобы совсем не боялся, я цену себе знал, поэтому и выдуживал.

Лет с семи пришлось помогать в колхозе: лошадь ли запрячь, солярку подтащить или обед в поле. А в двенадцать я уже пахать умел на тракторе, в моторе все понимал. А уж плотничать, столярничать, печки класть так у нас каждый умел, кто же станет, кроме нас, это делать. В каждой избе свои потери, а у нас отец вовсе неработный, а братишкам какая ни есть одежда нужна, и мать измоталась. Я тогда подростком на лесозаготовки стал уходить, отмерят делянку, лошадь с телегой от колхоза, а дальше сам крутись. Веришь ли, Петруха, один, сам с усам, как говорят: дерево в одиночку пилю, валю, сучки обрубаю и грузу тоже один. Ведь как наловчился: телегу, значит, набок кладу, и колом как рычагом комель-то в нее и двигаю. Рычаг — с тех самых пор осознал! — великая штука. А как комель задвину, на другом колесе повисну, хоть и весу мизер, но тоже рычаг, и поворачиваю в стоячее положение, а уж бревно-то в телеге.

А где научился, спрашивается, Петруха? Так жизнь нас учит, и нет других таких замечательных учителей. Да своим умом доходил, норму-то выполнять надо. Видел я однажды, как мужики избу подняли на рычагах, и не только подняли, передвинули еще. Был у нас в деревне мужичишка — замухрыжистый, а Цезарем звали. До сих пор не знаю, почему так звали, а какой он Цезарь — для смеху, может быть. Так он в какие-то времена избу построил не вровень с другими. Она как бы портила улицу, ломала стройность, ее и решили передвинуть. Собрались, значит, миром, человек десять васинских, колья затесали и пошли домкратить колями-то, приподымут, брус подкатят, и уж за другой угол снова подымут, и снова брус подкатят. А потом на катки ее, избу-то, и теми же рычагами стали двигать. А я, оголец с голым пузом, хоть и мал был, а запомнил вишь.

Потом я в Горький махнул, мы, считай, на границе Вятской и Горьковской областей расположены, так мне прямая дорога была в Горький ехать. Вот там я закончил ПТУ, а когда в строительном техникуме на вечернем отделении лекции слушал, из них да еще из книжек узнал, что рычаг, мной изобретенный, есть основа всей строительной техники, почитай, со времен Вавилона. Я уж про свой Тадж-Махал не говорю.

То же и с печкой, я их по окрестным деревням столько сложил. Любую мог — с плитой и лежанкой, русскую, таганок иль, скажем, как в бывшем барском доме, голландку с изразцами, но это очень редко. Ну и касающиеся всего этого дела секреты знаю, как сделать, чтобы печь стонала, как затопят, или дымоход забивался... Если хозяин, к примеру, жаден иль просто обманет после работы.

Однажды в городе на Урале показали мне двухэтажный каменный дом, в котором бы жить да жить, а никто не хочет и не может оставаться больше одной ночи. Будто ночью в комнатах всхлипы, да рыдания, да стон раздаются, и нервы у людей не выдерживают. Я-то

сразу скумёкал, что за мастера потрудились. В дом, конечно, не стал заходить, а снаружи осмотрел, красавец, а не дом, в нем еще поколений десять просуществовало бы. А в окнах в самом деле пустота, фанеркой зашито. Вот что может сделать мастер: построить дом и навсегда его обезлюдить. Тут, Петруха, есть над чем покумекать!

Я тогда постоял перед домом, все пытался этого мастера себе представить: за что же он, бедолага, людей-то наказал? Не только хозяина, а весь город, почитай, этим домом там детишек пугают. Да и просто пустой дом на самом видном месте — само по себе тяжкое зрелище. Ах, сквознула, конечно же, сквознула мыслишка, не попробовать ли того ловкого мастера перемастерить — найти давний секрет. То ли чугунок пустотелый в стене, то ли ртуть между кирпичами... Так ведь все одно стену развалить надо, а кто ж разрешит разваливать?

Уехал. Не задержался. Это я сейчас укатанный такой. А тогда, как танк, пер, не остановишь. А куда бы, спроси меня, не ответчу. Все казалось, что лучше там, где меня нет.

Так вот, возвращаюсь к печкам, в них-то я особенно преуспел. Из глины могу кирпич печь, да не простой, а узорный, как вятский пряник, изразцы могу разные приготовить, и цветные, обливные, какие хошь. Тут, кстати, на Вальчике, а еще лучше в овражке, я копнуть успел и скажу как специалист: глина жирная, не глина, а золото, на что хочешь пойдет. На фундамент иль на печку. Я все про будущий дом говорю. Я построю, в одиночку построю, привык уже. У меня руки, Петруха, не хуже твоих. Но в четыре руки, скажем, мы бы такой дом возвести могли! Ты нос-то не вороти, ты подумай давай. Я словами сорить не привык. Я дело тебе говорю. Потому еще говорю, что сызмальства понял, как тяжело в одиночку рычагами ворочать. Хоть тебе, хоть мне, это без разницы. Любому.

А дальше — встретил я дружка Алексея Третьякова. Мы звали его в техникуме Лешка длинносогнутый. Разговорились, то да се, а он, оказывается, уже в тресте работает. Я удивился, конечно, а он посмеивается и говорит: «Пока ты, Гриша, терял время на опровержение романтики, я просто работал. А трест — это результат только...»

Я потом у Лешки в подчинении на КамАЗе ходил и сторел на этом. Так сторел, что до сих пор прийти в себя не могу. Но это другая история. После как-нибудь скажу. В техникуме, Петруха, может, и не был я романтиком, как окрестил меня приятель, но уж наивным был я парнем точно. В деревне хоть в бедности, но понятия честности или справедливости на первое место ставятся. Без них никакого уважения к человеку быть не может.

Есть такая сказочная загадка, мне ее мама загадывала. Рассказывается она так. Жил-был царь, а у него была дочка-красавица. Захотел ее царь выдать замуж за принца, и тот не против вроде был, а она возьми и сбеги ночью к мельнику, которого любила. Прибежала, значит, дочка на берег реки, увидела рыбака и говорит: «Рыбак, рыбак, отвези меня на другую сторону, я тебе что хочешь отдам!» «А мне ничего не надо,— отвечает рыбак.— Только я не повезу тебя, мне отдыхать надо». И не повез. Побежала тогда царская дочь вокруг, через мост, а тут ее вор подстерег и стал грабить. Рассказала царская дочь вору про свое несчастье, он и отпустил, ничего не взял. Прибежала царская дочь к мельнику, стучится: «Это я, царская дочь, я к тебе сбежала от батюшки, потому что он хотел меня за принца выдать!» «Уходи отсюда,— сказал мельник.— Боюсь я с тобой связываться, неприятностей наживешь много». Побежала царская дочь обратно, и вор опять ее пропустил. Пришла она с повинной к принцу, а тот ее тоже принимать не хочет, обиделся сильно. Вернулась царская дочь к отцу, в ноги бросилась, прощения просит. Царь пожалел и приласкал ее, тут и сказочке конец. А мама и спрашивает, кого бы я по своему пристрастию поставил на первое место, кого на второе и так

далее. Я, помню, поставил на первое принца, на второе — вора, на третье — дочь, а потом царя и рыбака. Мельник занял у меня последнее место, он означал трусость. А на первое место в жизни, оказывается, я ставлю гордость, сказала мама, на второе — великодушие, на третье — любовь, на четвертое — ум, на пятое — лень. Вот это уж точно, в нашем семействе ленивых не было. Да и отец тоже приговаривал: мужчина не должен быть ленивым...

Я тебе, Петруха, кажется, не говорил, что во время техникума я работал по литейному делу. Год после на заводе отрубил огнеупорщиком четвертого разряда. Попутно освоил профессии обмуровщика, футуровщика, изолировщика, старался, как видишь. А у меня вдруг кашель открылся с приступами до рвоты, и перевели меня тогда в кроватный цех, на легкую работу: шарики для кроватей декоративные делать. А докашлялся я до того, что под рентгеном пятна в легких у меня нашли. Сразу, представляешь, путевку в зубы и в Алупку, в туберкулезный санаторий... На целых полгода!

Ну приехал, сроду так не отдыхал. Поперву диковинно было: море, горы, экскурсии, скажем, в Бахчисарай или еще куда. А потом уставать начал, анализами замучили сестры. Да и вообще не по мне такое лечение. Сходил я, значит, в местную ремонтную контору, договорился на полгода пошабашить, и пошла, как говорят нынче, трудотерапия, тонус повысился сразу. Работа каменщика не из легких: сколько кирпичей положишь, столько раз и нагнешься. Девятиэтажный дом с такой кладкой стоит рабочим двадцать семь тысяч рублей. В день платят летом, а в Крыму-то все дни, посчитай, летние, шесть рублей. Негусто, как видишь, но отдохнул, подлечился всласть.

А лекарства я по методу бати принимал. Он как с поля мокрый придет, так редечного сока с самогоном — и в тулуп. Утром здоровехонький встает, будто сто бабок зараз лечили! Еще я придумал цветочный мед, килограмм на три литра морковного сока... Ну а с заводом с той поры мы, как говорится, навсегда расплелись. Техникум я закончил, и потом меня в армию забрали. А после армии, когда с Мурашкой это произошло...

— Что произошло? — спросил Петруха.

Шохов не ответил.

Нет, не мог никак забыть он тот летний долгий вечер, когда, вручив ключи от интерната, Мурашка взволнованный, оживленный возвращался домой, потом вернулся на объект, захватив горшочек с цветами. Он нес цветы на широкой ладони, вытянув перед собой, не ведая, что его караулит смерть. Оглушительно, в упор, с пламенем из короткого ствола ударил в лицо выстрел, и Мурашка, почти ослепший, в полубеспамятстве, уронив цветок и придерживая руками отбитую челюсть, брел, покачиваясь, по пустынным улицам, а кровь стекала по руке и капала на землю с острого локтя. Он дошел, донес себя до больницы (он и ее строил) и тут при входе осел на ступени и в такой странной позе умер.

— Ему все равно не смогли бы помочь, — произнес Шохов глухо. — Вот. А мы уехали, потому что жить и думать... Думать о том, что и я... Я тоже в чем-то виноват...

— Отчего же ты взял, что ты виноват? — спросил Петруха.

— В том-то и дело, что я не виноват! — воскликнул Шохов. — Мы и семью поддерживали, Тамара Ивановна каждый вечер у них сидела.

— А ты?

— Я? Ну, я же на стройке... Днем и вечером. Но я даже после, когда уехал, посылал им деньги.

— Скажи, а... — Петруха немного помедлил, раздумывая, как удобнее спросить. — А ты в милицию не заявлял насчет того, что Хлыстов... Хлыстов, так я понял? Что Хлыстов угрожал?

— А чего заявлять? — удивился Шохов. — Все кругом знали об угрозах, да и вообще об их отношениях. И милиция знала.

— Да не в том дело, что знала, — сказал Петруха удивленно. — Надо же было напомнить, подтолкнуть... Одно дело, когда все молчат, а другое...

— Нет, в милицию я не ходил, — отвечал Шохов сумрачно. — У Хлыстова оказалось полное алиби, он гостил в своей деревне. Неподалеку, правда. Да ведь у него дружки были не лучше его.

— И дружков тоже копнуть!

— Копнули, как же! Один из них, я уж точно не узнавал, кто именно, и оказался убийцей. Судили открытым судом... Но человека-то не вернешь! Но все это уже без меня было. А когда приехал проведать Тамару Ивановну, через год, что ли, я уже не стал ворошить, и ходить по милициям, и доказывать, что Семен Семенович тоже преступник. Живым — живое. А у меня свои проблемы с отъездом. Я говорю, с отъездом из Сибири...

— Что же, в Усолье не прижился? — спросил Петруха.

Шохов усмехнулся:

— Я не только в Усолье, я там везде побывал. В Ангарске строил хлебозавод, и шамотный завод, и кирпичный тоже. Потом в Байкальске рубил щитовые и брусовые дома...

— А Тамара Ивановна ждала?

Шохов кивнул, взглянув на Петруху. Все-то он понимает. Сразу нащупал слабое местечко. Тронь — и заноеет. Заболит.

— Так получилось, — попытался объяснить он, — только она соберется ко мне приехать, как я сам уезжаю. Но я к ней в отпуск приезжал. И каждый раз я говорил: «Все, заякорился. Больше никуда не еду. Как напишу, приезжай». А тут с последнего места, Байкальска, значит, я письмо своему приятелю написал... Тому самому Лешке Третьякову, которого мы длинносогнутым прозвали в техникуме. Он как раз приехал из треста на КамАЗ, его назначили начальником СМУ Жилстроя. Он мне ответил: мол, приезжай, мастером устрою. На пути к нему заехал я к Тамаре Ивановне. «Все, родная, — говорю. — Это наше последнее место. Больше никуда не сдвинемся. Как там писали в военных приказах: «Ни шагу назад!»? Да? И я тебе говорю: все, ни шагу назад». А у нас сынишка родился, два годика ему. Я ей говорю: «Ты пока с сынишкой побудь, а я как с жильем устроюсь, вам напишу». Так и порешили. Она провожала меня. Знаешь, Петруха, она всегда провожает весело. От нее не тяжело уезжать. Но в этот раз смотрел из тамбура, как она молча идет за вагоном... Не машет и ничего не кричит, а просто идет, как много лет за мной шла, и так смотрит... Так смотрит... Дал себе слово: хватит, буду навсегда закрепляться.

— А что мешало раньше-то? — спросил Петруха.

— Мой характер — вот что мне мешало остаться. Всегда и везде только мой характер. От себя не уйдешь, это я давно понял. Но все казалось — где-то можно найти то самое, что ищешь.

— Так что же ты ищешь? — спросил опять Петруха.

Шохов задумался. Молчал долго. Вдруг заговорил торопливо:

— Не знаю. Наверное, не смогу объяснить как следует. Может, лучше поймешь, если расскажу, что произошло там... — Он качнул головой. — В отпуске с Тамарой Ивановной был, ничего не знал. Приезжаю веселый, отдохнувший, а мне под нос приказ Третьякова о переводе в рядовые рабочие. Хоть не имел права по закону... Да что уж там выяснять. Шапку в охапку да...

— Уехал? — спросил Петруха недоверчиво.

Шохов кивнул.

Но что-то недостаточное было в этом его кивке. И точно, Оглянувшись, Шохов произнес негромко:

- Понимаешь, он и туда явился.
 — Он? — переспросил Петруха.— Кто — он?
 — Да Сенька Хлыстов!

Его имя было произнесено совсем тихо. Почти суеверно.

— В Челны? Этот самый... Хлыстов? — воскликнул, оживившись, Петруха.— Ну, а ты? Ты с ним поговорил?

Шохов посмотрел на дверь и ничего не ответил.

— А может, ты ему просто морду намылил?

Шохов при этих громких словах, произнесенных Петрухой весело, только поежился.

— Что ты... Знаешь, это почему-то случилось в тот день... Да-да, именно в тот день, когда вернулся я из отпуска. Прохожу по улице, а мне навстречу кто-то... Здравствуйте, мол. А я уставился, не разберу, кто же это. Косорылая такая улыбочка, кепочка с козырьком: «Здравствуйте, Григорий Афанасьич».. Я кивнул и обомлел: Сенька тут! Жди неприятностей! Выхожу на следующий день на работу — так и есть!

— Мистика какая-то,— растерянно улыбувшись, произнес Петруха.— Надо было все-таки морду ему набить.

Шохов со вздохом отмахнулся.

— Не до морды, самому, считай, намылили... Так и улетел.

Часть вторая

С крутого и длинного холма, с перекрестья двух земляных дорог, разбитых машинами, можно разглядеть и новый строящийся город, и уже построенный поселок на отшибе, который тут называют Воргородок.

Город, белокаменный, многоэтажный, сверкающий на закате красными горящими окнами, похож на мираж, он и возник как мираж года два назад на этой равнине, вблизи большой реки, должной поить, кормить, а в общем-то, и чистить (очистные сооружения) и даже украшать собой город. Тем не менее реку и особенно берега успели замусорить так, что невозможно к ней подступиться в черте города.

Сам город не имеет пока названия и зовется по-прежнему — Новый.

Вор-городок ни в какое сравнение с ним не идет. Он деревянный, из двух-трех улиц, ничем не мощенных, проживает в нем, по приблизительным подсчетам исполкома, человек пятьсот.

А так городок не хуже иных и дома в нем, как в каждом подобном городке, щитовые, засыпные, брусовые, рубленые, а некоторые даже с голубыми террасами. Кое-где на заборах названия улиц и номера домов проставлены и почтовые ящики висят, хоть известно, что никаких названий и номеров быть не может, а почтальон сюда сроду не заходил.

В Новом городе тоже нет названий улиц, кроме двух-трех главных, одни кварталы, но со временем будет все: и улица Романтиков, и памятники, и цветники, и фонтаны, и все остальное. А Вор-городок, хоть пытается походить на настоящий, не имеет перспективы (но все растет!) и считается не то чтобы временным, а даже вовсе несуществующим: он вроде есть и нет его, одна видимость, в общем.

Люди-то в нем живут, это можно сказать с уверенностью. Но взгляните вы в планы, в схемы, в другие официальные бумаги — так его нет и быть не может, потому что на всех схемах, планах, бумагах тут обозначено чистое место.

Ну а раз чисто, то и никакой ответственности и никаких обязанностей вышестоящие организации за этот городок не несут. Попробовали бы в Новом городе воду не дать или хлеб не подвезти — тарараму было бы до самой Москвы и дальше. А городок ничего не требует и ничего не просит. А если своим присутствием и нарушает гармонию и стройность здешней жизни, то любому, местному, руководи-

телю позволительно вовсе не замечать его, в крайнем случае лишь отмахнуться: «Мы вас не селили в этом свинорое, с нас и не спрашивайте. Вот бульдозер пришем да снесем, чтобы знали!»

Но не снесут и ничего не сделают, да и грозят равнодушно. По привычке. Потому что не хватает рабочих рук и квартир не хватает. А как без людей, без рабочих рук можно вообще что-нибудь построить?

Так и притерпелось, привыкло, прижилось, не свое, но и не чужое, одним словом — Вор-городок. Отчего же вор? Ворует, что ли? А из чего дома построены? А транспорт откуда брался? А время для постройки? Раз к себе тянут, то уж точно воры и никаких тут сомнений нет. К тому же, попристальней посмотреть, и парнички, и огороды развели, и коров даже, не считая всякую мелкую живность, а иные уже лучком, редисочкой в пучках (вот до чего дошло!) у магазина торгуют.

А мотоциклы откуда, а «Москвичи», а гаражи для них? Так-то уж честно и заработанные? Нет уж, дудки. Краденое оно. А покопать, так много можно выкопать и вывести на белый свет.

Но вот что занятно: ведь пытались копать, а какое-то бессмысленное оно, это копание, выходит. Бесполезное, странное даже, если трезво взглянуть.

Возьмем строительный материал, из которого дома в Вор-городке построены. Тут уж, кажется, преступление налицо, бери голыми руками!

Действительно, прошла ревизия по домам. Но из этого сплошной конфуз вышел. В одном доме опалубка строительная использована, на ней следы бетона остались. В другом — срубик в ближайшей деревне куплен, на вывоз, как говорят. В третьем случае отбросы со свалки взяты и в четвертом и пятом тоже. Тут и вовсе никакого доказательства не требуется, этих отпиллов да отбросов там и сейчас можно сколько угодно собирать.

Что же касается толя, железа, стекла оконного или гвоздей, то на них у большинства жильцов квиточки хранятся, они их при случае прямо комиссиям в нос суют. И хранят, хранят те серенькие квиточки, чтобы никто не цеплялся.

То же с мотоциклами да огородами. А про редиску с луком и говорить нечего.

Но главный парадокс в другом, ох, совсем в другом. Жители-то Вор-городка, если, скажем, проверить документы, удостоверения личности, поголовно окажутся не туеядцы и частники-спекулянты какие, а самый что ни на есть трудовой рабочий класс, который и строит расчудесный белый город будущего из ячеистого бетона, завод для производства которого был куплен за границей. И некоторые из тех рабочих окажутся руководителями производства, общественниками и ударниками труда.

Нет, дорогие товарищи, расправиться с Вор-городком таким способом невозможно. А что же делать? Ведь делать что-то надо!

Можно, к примеру, поселить всех в новые дома. Всех переселять? И того, кто приехал сюда первым и очередь соответственную имеет, и того, кто вчера только прибыл и ему, как говорится, ждать и ждать? Неудобно и несправедливо выходит. Да и квартир тогда для всех не набраться. А если выселять постепенно, как оно и положено, то на место старого жильца новый переедет — и вовек нам с этим Вор-городком не справиться.

Так-то привыкнув, отмахнулись, закрыли глаза, чтобы дымом не ело. Мол, нам и своих проблем хватает.

Если комиссия какая приедет, схватятся, улицу бульдозером подравняют, заборы, крайние к городу, выкрасят да сосиски, а то и апельсинов в автолавке подбросят. А на вопрос комиссии будет категорически сказано, что **временный строительный поселок под снос приго-**

товлен и на днях исчезнет с глаз человеческих, а вместо него станет тут культурный парк с аттракционами и колесом обозрения, а может, еще стоянка для частных машин. И с детской площадкой в придачу. Но комиссия уедет, а Вор-городок останется, потому что ему дальше жить, и детей воспитывать, и светлое наше будущее приближать надо.

Вор-городку исполнилось уже два года. Срок, понятно, не юбилейный, но достаточный, чтобы жизнь в нем как-то устоялась, а люди узнали друг друга. Встречаясь на одной улице, провожая в школу детишек, занимая друг у друга кто хлеб, кто воду, кто топор с пилой, люди знакомились. Миром и прежде на селе дома строили. А нынче-то, когда ремесло и умение забыты основательно, без соседской помощи, участия и совета вовсе невозможно что-то сладить.

И опять же, сложив жилье, став полноправным жителем Вор-городка, человек ни на секунду не забывал о том, что он как бы вне закона именно тогда, когда он дома, потому что на работе он полноправный член нашего общества.

Неофициальной границей между двумя мирами служил холм, называемый Вальчиком. Возвращаясь с работы и перевалив через Вальчик, житель Вор-городка оказывался в сфере других отношений. Высокая должность вроде бы принималась в расчет, но никак не подчеркивалась. Наоборот, шишкоманы, как их тут называли, подчас ничем в обычной вор-городской жизни выделиться и не могли, в то время как мастера на все руки, умельцы, работяги или просто отзывчивые люди были в цене и не могли не пользоваться повсеместным уважением. А если иной шишкоман и имел то преимущество, что подвластных ему рабочих или технику пускал на пользу своего дела, так это, хоть внешне никак не порицалось (всяк к себе гребет), но, уж ясно, и не вызывало сочувствия: чему сочувствовать-то, если за такого и остальных ворами обзовут, как уже обозвали.

Все началось со слуха привычного, но всегда неприятного, что Вор-городок в который раз собираются сносить. Теперь якобы угрожали не отдельным времянкам, улицам, а всему городку в целом.

Будто бы видели люди на плане на месте городка не то цех, не то крытый рынок, не то ангар какой и будто план этот уже обсуждался в исполкоме, и был в перспективе принят, и дано властям указание жестоко бороться с любыми новыми застройщиками, а к живущим применять экстраординарные меры по выселению.

И прежде бывали подобные слухи, и угрожали, с листком ходили, и масляной краской, ядовито-синей, какую-то особую нумерацию делали (чтобы новых совсем уж незаконных застройщиков отличать!) — все, все было. Но теперь одновременно со слухами появились геодезисты, студенты и студентки — практиканты, и начали местность мерить, расставляя свою оптику на треногах прямо посреди дворов и огородов.

И еще одно, уже более серьезное подтверждение: от Нового города в направлении Вор-городка стали отсыпать дорогу. Временную пока дорогу, щебеночную, но кто не знает, что щебеночные временные дороги после десяти лет эксплуатации по своей цене приближаются к тем же асфальтовым, так называемым с твердым покрытием, и влетают государству в копеечку. Дорога — факт, неопровержимо доказывающий, что строители подбирались к Вор-городку. Как дотянут до Вальчика, так и Вор-городку конец. А до Вальчика при нынешней вялой и халтурной отсыпке, по оценке знающих людей, тянуть эту дорогу не меньше года. Но что такое год для тех, кто приехал жить навсегда?

Первой, как потом вспоминали, засвиристела насчет новых слухов жена Васи Самохина, тракториста треста Строймеханизация, Нелька. Сама Нелька, молодая и красивая бабенка с развратными козьими глазами, работала в конторе Гидропроекта. Будто там на

столе своего начальства Нелькина подруга углядела пресловутый план застройки Вор-городка.

Все в городке знали, что Нелька — баба пустая и вздорная то ли по молодости, то ли по недостатку ума и сплетен у нее всегда полный рот, не зря она среди таких же молодых весь день толчется. Им и работать некогда, только по магазинам бегать да слухи на хвосте, как сороки, носить. И все-таки...

Самой-то Нельке чего, кажется, паниковать? Они, Самохины, свою времянку кое-как слепили и надеются к Новому году отсюда перебраться, им вроде бы квартира обещана. Оттого Самохины и живут, как на вокзале, ни мебели приличной, ни абажура, ни обоев на стенах: неряшливое, словом, жилье. Нет чтобы лишний раз после работы веником махнуть, пришла, сумку кинула, побежала к соседям: Коле-Поле новый слух докладывает.

Коля-Поля — молодожены, по распределению учительствовать сюда приехали. Хозяйства своего нет, ни строить, ни жить не умеют, и домик-засыпуха у них хоть и чистый, но голый, одни книги кругом. Им, говорят, давали общежитие, порознь разумеется, но они купили в Вор-городке времянку за восемьсот рублей (на все родительские свадебные деньги) и теперь старались наладить свой быт. Ходили всюду вместе, и работали вместе, и ели вместе, и даже мысли у них были какие-то одинаковые, так что в Вор-городке их нераздельно стали звать: Коля-Поля.

Коля-Поля разволновались от Нелькиной болтовни, и было отчего. Хоть хозяйство малое, но свое, добытое дорогой ценой. К тому же Коля-Поля собирались стать родителями, чего многоопытная Нелька еще не проведала, а жить с ребенком в общежитии никак невозможно.

Едва трепливая Нелька выпорхнула от них, чтобы успеть обежать до темноты остальных знакомых, как Коля-Поля надели резиновые сапоги (одинаковые, у них был один размер ноги — тридцать девятый), надели спортивные куртки, тоже одинаковые, и пошли в дом напротив по их улице Сказочной, к единственной знакомой здесь, тете Гале.

Тетя Галя, Гавочка, так произносил ее имя картавый директор УРСа и так ее звали в городке, работала директором столовой и принимала посильное участие в судьбе двух непрактичных, ни к чему не приспособленных молодых людей.

Домик у Гавочки небольшой, но уютный, полированная мебель, трельяж, телевизор. Деревянная низкая тахта накрыта польским узорным покрывалом. А раздевалочка и кухонька отгорожены чистыми ситцевыми занавесками. У дверей индийский цветной половичок положен. Все хорошо у Гавочки, одна беда — детей нет. Может быть, с детишками не так бы все ухожено было, да уж точно был бы дом настоящим домом.

Коля-Поля, потоптавшись, сняли сапоги в прихожей и присели на краешек тахты. Они пересказали ей Нелькину сплетню про план, про исполком, про указание бороться с застройщиками и прочее в том же духе. Вид у Коли-Поли был удрученный. Они жили тут недавно, в такие переделки еще не попадали.

Тетя Галя, Гавочка, наоборот, была старожилом на этой улице, да и во всем Вор-городке; это она, кстати, посоветовала Коле-Поле перебраться сюда для жительства, она же и подыскала нужную времяночку, помогала переезжать и на первых порах подкармливала их.

Гавочка вообще, несмотря на общепитовскую закалку, была сердобольным и чувствительным человеком. В сорок пять лет она знала цену человеческому сочувствию и умела сострадать. Новость, которую принесли Коля-Поля, Гавочка приняла спокойно. «Ничего не будет, — так она сказала. — Здесь советская власть, и никого еще без

жилья не оставляли. Снесут, значит, дадут новую. Но скорей всего, что не снесут. А потому спите, детишки, спокойно, а Поля особенно, потому что ей волноваться вредно».

Поля покраснела и кивнула. Когда молодые люди ушли, Гавочка включила телевизор и принялась старательно смотреть очередную серию телевизионного фильма о милиции. В середине фильма, в самом захватывающем месте, где преступника почти что настигают и только случайность помогает ему вывернуться из опасной ловушки, Гавочка задумалась и выключила телевизор.

Гавочка была строгой и красивой женщиной. Темные густые волосы собраны пучком на затылке, большие серые глаза под черными бровями и губы, чувственные, нежно-красные, не знающие помады.

Гавочка посмотрела на себя внимательно в зеркало, наскоро поправила волосы и стала одеваться, на дворе уже было начало осени.

С непокрытой головой, в плащике и цветных резиновых сапогах она прошла в самый конец своей улицы Сказочной, и встречающиеся мужчины да и женщины оглядывались ей вслед. Было в ее походке что-то независимое, хоть стояла на улице грязина по колено и идти приходилось осторожно, прижимаясь к самым заборам.

Направлялась Гавочка к старику Макару, жившему в одиночку, как и она, в небольшом щитовом домике, втором от края. Дед Макар работал в той же конторе Гидропроекта, где и Нелька Самохина, и от него надеялась Гавочка узнать подробности.

Деду Макару было за шестьдесят. Всю жизнь протаскался он геологом по рекам Сибири и к окончанию жизни имел построенный в Москве кооперативчик. Но вдруг оставил его вышедшей замуж дочке, а сам приехал на север и поселился в Вор-городке.

Жил дед Макар просто, варил себе овсяную кашу, проповедовал какую-то замысловатую теорию электрического происхождения мира, и в доме у него была непонятная вращающаяся машина, на которой крутились планеты, и где-то среди них была Земля.

В Вор-городке да и в самой конторе деда Макара мало кто принимал всерьез из-за его чудачеств и старомодности, каким-то образом сохранившейся до наших дней. Носил он старинное золотое пенсне на шнурочке, надевал на работу черный костюм, женщинам по утрам изящно целовал руку и говорил «мерси». Был до крайности щепетилен и никогда не просил обратно занятых у него денег, чем, естественно, всегда пользовались молодые современные нахалы и нахалки. Над дедом Макаром потешались, немного жалели, некоторые считали его неудачником. Но то, что осуждалось окружающими, нравилось Гавочке, она, может быть, первой поняла деда Макара и прониклась к нему сочувствием.

Дом деда Макара был единственным, который она посещала, не считая странных отлучек в полгода раз из Вор-городка. Наверное, трепали, не могли не трепать всякие несуразности про эти ее визиты к деду, она умела ничего не слышать и делать так, как ей хочется. Дед же Макар был далек от всякой реальности, ему и на ум не могли прийти какие-то сплетни.

Он был одет в просторную теплую толстовку с огромными карманами и валенки, принял Гавочку у дверей, поцеловал ей руку, пригласил зайти испить с ним кофе. Действительно, на столе рядом с крошечной электрической плиткой («В магазине учебных пособий, дорогая Галина Андреевна, такие плиточки продают, весьма и весьма удобная штука!») стояла ручная кофемолка и мельхиоровая посуда для варки кофе, сахар был в серебряной сахарнице, и там же лежали щипчики.

Гавочка не отказалась от кофе, который и был ей подан с превеликими церемониями. Дед Макар был мил и подшучивал над своими кулинарными способностями, он знал, что Гавочка прекрасно сама

готовит. Зашел разговор о всяческих делах, о конторе, где служил дед Макар, и тут было деликатно спрошено, нет ли каких слухов по поводу Вор-городка. Оказывается, были такие слухи. И дед Макар неторопливо пересказал случай про чертежницу Машу, которая своими глазами видела у начальника отдела на столе план застройки Вор-городка.

— Вы верите? Это серьезно? — спрашивала, не выказывая никакого волнения, Гавочка.

— Да как вам сказать, милая Галина Андреевна, — отвечал тот, все так же продолжая колдовать над очередной чашечкой кофе, теперь уже для себя. — Все может быть. Они вправе здесь строить, не так ли?

— А что же будет с нами? У вас есть куда ехать? — спросила она.

— Лучше бы, милая Галина Андреевна, никуда не ехать. Да ведь жизнь нас не спрашивает, у нее свои траектории.

Дед Макар тронул ручку своей машины, зажужжали шестерни, и планеты закружились по своим орбитам. Гавочке стало тяжело от этого круговерчения планет. Ей показалось, что старик на фоне избретенной космической машины кажется особенно одиноким и никому не нужным.

Она поспешила сказать, что слухи, как все слухи, могут и не подтвердиться. Да и планы наши, реально существующие, часто переделываются, и рано нам загадывать, паниковать.

Ушла Гавочка не сразу, но, простившись с милым дедом Макаром, направилась не к себе домой, а в сторону, где стоял, видный издали, дом Григория Шохова, в силу и возможности которого она особенно верила.

Было в лице Григория Афанасьевича Шохова, несмотря на простоватость, что-то такое, что не пропустишь, когда увидишь. Одутловатые щеки, прямой нос, голубые глаза, на одном из них постоянно ячмень из-за простуд на сквозняке, ведь у воды всегда ветер.

Но что-то цепкое, нахальное в голубых глазах заставляло на нем задерживать взгляд, предполагая, что у человека с таким выражением глаз должна быть активная сильная натура и везучий характер. И жилье его великолепно смотрелось с Вальчика, выделяясь необычной черепичной крышей красного цвета. Никто здесь больше так домов не крыл, толем крыли, кое-кто железом; пытались по воспоминаниям о родных деревнях дранкой крыть, даже тесом, но черепицей никогда. Может, потому Шохов и выбрал черепицу? Он и построил его не по-здешнему, с фантазией, с масштабом, с перспективой на завтрашний день.

Каждый раз, возвращаясь домой с работы, взойдя скорым шагом на Вальчик, Шохов с особым удовольствием отыскивал свой барственный дом среди многочисленного сборища домиков, сараюшек, хибар и засыпух и, замедлив шаг, пытливо вглядывался в него, будто приглядывался хозяйским оком, чего недостает в нем еще. Так художник бросает, отступив от полотна, последний взгляд на законченную им картину, а потом, приблизившись, делает еще один, последний, завершающий, мазок.

Говорится же: всякий дом хозяином хорош и не дом хозяина красит, а хозяин свой дом. Истинно, но когда они воедино, когда отражают друг друга и друг другом держатся — это еще истиннее. Без дома человек пуст. Вот какая формула вызрела в Шохове за время его бездомных мытарств.

Может, по этой причине выслушал он запыхавшуюся Гавочку с плохо скрытой тревогой и несколько раз прерывал ее репликами в том роде, что посмотрим, это еще неизвестно. Он пообещал Гавочке все досконально выяснить и рассказать, успокоив напоследок сообщением о том, что сам он лично слышал другое. будто Вор-городок ут-

вердят административно как индивидуальную застройку и тем полагают конец всяческим тревогам и слухам.

Но сам-то он знал, что про индивидуальную застройку он придумал, и даже сам поверил в свою выдумку, настолько она казалась ему реальной и возможной. Ведь если ему пришло в голову, то почему бы оно не пришло тем, кто наверху, кто мозги отращивает на этих вопросах.

И все-таки ночь он спал беспокойно. Внутри болело, сверлило, и мысли разные одна хуже другой лезли в голову. Давненько он не испытывал это глубинно-щемящее чувство, верный признак приближающейся опасности.

Отчаявшись уснуть, он ткнул кулаком не в меру жаркую подушку и поднялся. Не зажигая света, накинул на голое тело неприятно холодящий плащ, резиновые сапоги на босу ногу и вышел во двор. Сапоги были удобные, с войлочной стелечкой. Сейчас и они его раздражали.

В белых ночных сумерках, которые на севере и в августе были продолжительны, он пошел вокруг дома, не зрением, а памятью различая любую деталь в нем и так же памятью восстанавливая историю этой детали. Он старался таким образом утвердить уверенность в прочности построенного и созданного им мира.

Вернулся в дом и опять же прислушивался к странной жизни дерева — половиц, стен, перекрытий, они звучали, как в любом доме, особенно по ночам. Это невидимая, но определенно существующая душа дома Шохова скрипом, вздохами, шуршанием и стенанием разговаривала на своем тайном языке.

Он почти умел понимать этот язык. Сейчас ему казалось, что дом настороженно предупреждает его об опасности, нависшей над ними обоими.

Да, теперь он понял, что это за опасность и чем она ему грозит. Утром поднялся на час раньше, ополоснулся холодной водой без мыла и ходким шагом направился задом в дальнюю ложбинку, где на отшибе стоял темный крошечный срубик с тесовой крышей. В этом срубике жил его приятель, положивший начало Вор-городку. Об этом теперь и не помнили, незаслуженно приписывая первооткрытие Шохову, и он не отказывался. Но сам-то знал, помнил, и очень хорошо помнил, что был лишь второй здесь и без Петрухи никогда бы не имел своего дома и всего, чем был сейчас богат.

Другое дело, что оказался он практичнее Петрухи, сметливей, удачливей, как он сам про себя понимал. И место выбрал поудобнее, когда строился, и к нему, а не к Петрухе стали лепиться другие дома. Петруха так и остался в своей дохлой избенке на отшибе.

Теперь она показалась Шохову еще бедней, чем в ту пору, когда вдвоем с Петрухой коротали зимние черные вечера.

Открыв дверь без стука и переступив порог, как некогда, Шохов с брезгливым интересом оглядел внутренность дома: голые бревенчатые стены с торчащим из пазов мхом, крошечные окошечки, едва пропускавшие синий утренний свет, и беспорядочный завал на столе, на подоконниках, по углам, даже в ногах на кровати всяческих запчастей и деталей.

Петруха по-прежнему работал в телевизионном ателье. Но с таким же успехом мог бы работать в любой другой мастерской: часовой, или швейной, или фотографической, — ибо мог починить какой хочешь механизм, если он не был безнадежно испорчен. Исправлял приемники и телевизоры, старинные граммофоны, табакерки музыкальные, будильники, и ручные, и карманные, и напольные часы, и в башенных тоже понимал, хотя видел вблизи только раз. Приносили ему старые швейные машинки «Зингер», одна уникальная машинка для шитья ботинок попалась, очень он ею восторгался; попадались

кофемолки, кухонные агрегаты, утюги, электросамовары, стиральные машины и японские счетные машины на интегралах.

Все он брал и чинил.

Сам Петруха любил приговаривать, что никакого особого секрета не знает, а многие механизмы, особенно старые или слишком новые, видит впервые в жизни. Но если их сделали чьи-то руки, то другие руки могут их понять и починить.

Но было в Петрухе одно неприятное лично Шохову качество. Не то чтобы вовсе неприятное, но какое-то ненормальное, ущербное, если подумать. А по-современному так даже неприличное: Петруха никогда не левачил. То есть от ремонта он не отказывался, если находилось время и особенно если замысловатая игрушка какая попадалась, и делал все на совесть, но денег за свою работу не брал.

Но вот же какая странность: люди забирали свои тройки, и пятерки, и десятки, но вовсе не относились к Петрухе уважительней. Он словно бы сам обесценивал собственную работу.

Кто же в наше время не берет денег, если их дают, — только чокнутые разве? Берут задарма, за стрижку хорошую, за дефицитный товар, за смененную шайбочку в раковине, хотя все это обязаны делать за зарплату. А он, видишь ли, хочет быть чище чистеньких, за работу не берет!

Так Петруху в Вор-городке и нарекли чокнутым, однако пользоваться его услугами не перестали. Человек слаб, он может и презирать ближнего, но выгоду свою не упустит, кому же не приятно на пустом месте пятак найти?

Шохова это раздражало и, если говорить начистоту, уязвляло. Он хоть приборов не чинил, но умел класть печки, орудовать топором и фуганком и, как все в Вор-городке, в свободные часы шел помогать соседям, когда его просили — как бы выжил Вор-городок без взаимной помощи? — а за работу деньги брал, не стесняясь заломить повыше.

И все-таки Шохов испытал сейчас не растаявшее сожаление о минувшей зиме, такой неустроенной и такой пронзительной для души, которая соединила их как братьев родных, а потом это стало теряться и исчезать.

Петруха еще спал. Двери у него, вот тоже чудачество, никогда не запирались на ночь.

Шохов уже за угол подушки взялся, как бывало при их совместной жизни, чтобы рвануть из-под головы с громким смехом, но задержался, увидев спокойное Петрухино лицо.

Был Петруха некрасив, скуласт, толстогуб, нос широк и приплюснут, да и фигурой не особенно вышел. Но глаза его, помнил Шохов, серые, большие — даже девушки, несмотря на Петрухину неприглядность, засматривались в них, как в водное, не тронутое рябью зеркало.

Шохов так ничего и не узнал о Петрухином прошлом. Догадывался, что тот за свои тридцать лет, а они были ровесники почти, помытарствовал немало. Поездил по Союзу, пытал свое счастье, но нигде не прижился. Если же спрашивали, произносил уклончиво: мол, жизнь везде одинакова и нечего в ней искать того, чего не бывает.

Шохов сейчас и сам удивился, что в трудный момент прибежал к Петрухе, которого и в грош не ставил, когда дело касалось практических соображений. Тут доисторический дед Макар мог быть полезней.

Но так уж устроен человек, что на переломе судьбы идет он не к своим благополучным приятелям, с которыми соединял его удача да везенье, а возвращается к брошенным старым друзьям, где самоценность отношений проверена не раз. Они как запасной окопчик в бою: может, его уже замело пылью, но если знаешь, что он есть, то и жить и драться легче.

— Чего случилось-то? — спросил Петруха, приподнимаясь на подушке. Он умел просыпаться и соображать сразу.

Смотрел своими большими глазами на гостя и ждал ответа.

— Шел-шел и зашел, — произнес Шохов и отодвинулся от кровати. Сел на стул.

— За так просто ты и чихать не станешь, — лениво сказал Петруха и повернулся к окошку, высматривая погоду. Глаза его наполнились глубокой синью. — Выкладывай, выкладывай, я ведь тебя знаю. Случилось что?

— Случилось.

— Ну слушаю. — Петруха зевнул и потянулся. Его никак не тревожил громкий голос приятеля.

Шохов еще помедлил, раздумывая. Стоит ли начинать разговор, ведь не за советом же он пришел сюда. Для сочувствия, для дружеского понимания — а может ли быть такое понимание при теперешних их отношениях?

Он еще раз пристально взгляделся в ничем не омраченное Петрухино лицо и решил ничего не говорить и не тревожить Петруху. Пусть дальше живет, раз блаженный, ему лично слух ничем не грозит.

— Случилось, что вспомнил тебя и решил узнать, жив ли ты, — сказал Шохов с напускной лихостью.

По-видимому, тон его обманул наивного Петруху. Он еще раз глянул в окошко, на часы, которые не снимал с руки даже на ночь, и стал молча одеваться.

Шли они вместе. На центральной, единственно обжитой улице Нового города Петруха, попрощавшись, свернул к своему ателье. Шохов пошел дальше.

На работе пробыл он час или два. Позвонил деду Макару в Гидропроект, вызвал его к подъезду и о чем-то недолго переговорил. Потом встречался с баламутной Нелькой, от которой насилу отвязался. Видели его с какой-то девочкой в кафе.

Но когда он появился к вечеру на Вальчике странно взмыленный, осунувшийся даже, можно было подумать, что день у Шохова был тяжкий.

Задохнувшись, лоя ртом воздух, такого с ним никогда прежде не бывало, встал он на перевале, на скрещении двух разбитых дорог и смотрел бессмысленно, отчужденно на Вор-городок и на свой красным пятном крыши отмеченный дом.

— Стригут под корешок, — произнес вслух и сел на траву у обочины. — Но посмотрим, посмотрим. Бананов им захотелось!

О каких бананах шла речь, понять было невозможно.

— Мы еще посмотрим кто кого! — И он грозно шурнул кулаком в сторону Нового города и повторил с ненавистью: — Бананов захотелось!

Если бы Шохов мог все это предвидеть в самом начале своего строительства! Но тогда он был настроен оптимистично, безоглядно верил в свою звезду, которая сверкнула ему алмазной синей гранью на этой выбранной им точке земного шара. Чем человек отличается, как писали в одном популярном журнале, от пчелы? Да тем именно, что он в уме, в своей фантазии создает будущий свой дом, а потом его строит. И Шохов его создал, детально представляя, что и каким манером будет у него возводиться, из каких материалов и в каком порядке.

Длинными зимними вечерами и ночами он тысячу раз сложил его в уме, каждый вариант разглядывая то вблизи, то на расстоянии, пока однажды не решил: все! Все, шабаш! Вот то, чего он и хотел.

Вообще это была необыкновенная зима в его жизни, когда все переосмыслилось, выстроилось навсегда и надежно, как будущий дом. Была возможность подумать о себе, о Тамаре Ивановне, о своей род-

не, живущей в деревне Васино, что близ Тужей, и о Третьякове Лешке, и об остальных тоже.

Необыкновенное чувство ясности пришло к нему, определив и его уверенность в том, что он задумал, и его здоровое, энергичное настроение. Он полюбил этот, в общем-то, случайный в его жизни город, эту новостройку, и реку, и белое плоскогорье за Вальчиком, где будет стоять его жилище. Он любил Петруху, себя он тоже любил, потому что поверил в свою идею и понял, что если сам до нее допер, то не последний он, Шохов. человек на земле, может кое-чем еще блеснуть. Хоть на вид пока лёзный, как называли таких в деревне, то есть одинокий и безземельный бобыль.

О, Шохов многому научился за эти тридцать с небольшим лет, пока путь его лежал по его же рассказанной сказке в сторону базара! Он был благодарен Петрухе, невозмутимому слушателю. Долгие повествования о жизни и помогли сообразить о себе то, что не было до конца осознано прежде.

С Петрухой вообще было легко, пока его самого не трогали. Он был покладист и терпелив к чужим идеям, все их воспринимал без сопротивления, если даже не поддакивал, то и не возражал. Да и слушать он умел как никто. Настораживался он лишь тогда, когда пытались копнуть его нутро, что-то выяснить о его прошлом. Тут он замыкался, отстранялся и произносил нечто невнятное, неопределенное, наподобие: «А кто его знает». И Шохов не лез, решив, что ему достаточно и Петрухиного сегодняшнего чудачества; нечего лезть, куда его не просят. Тем более что Петруха ему необходим для исполнения идеи именно такой, доверчивый и покладистый.

Однажды, это случилось на самый Новый год, Шохов напрямик высказал Петрухе идею о совместном строительстве нового дома. Старательно налегая на подробности, обрисовывал совместное их житье-бытье в пятистенке: где у каждого будет свое крылечко, и своя верандочка, и свой огородик. Но в то же время будут они вместе, потому что он, Шохов, понял, что с Петрухой они навряде двойников и много чего в жизни их роднит да сближает.

Петруха по обыкновению сидел, уткнувшись в книжку, хоть и не читал, а слушал, это было видно по блуждающему взгляду его серых глаз. Перед ними на столе, на этот раз освобожденном от всякой машинной рухляди, стояла бутылка портвейна и два стакана. Они только что выпили за год новый, который, ясное дело, станет лучше предыдущего, и за шоховское будущее жилье, и вообще за счастье.

Вот тут Шохов и разоткровенничался. Называя нарочито будущий дом по-свойски избенкой, кельенкой, он схватил кусок угля и тут же на постеленной посреди стола газете нарисовал все как есть, объясняя, где тут бабий кут, а где хозяйский кут, а где печной угол и задний, так называемый коник.

— Красный угол пойдет на юго-восток! — кричал Шохов, разойдясь. — Как у нас говаривал отец: солнце входит утром в избу красными окнами! А как полдень, произносят: солнце с красных окон своротило... А лавочка под красным окном тоже красной, Петруха, зовется!

— Чего это все красное у тебя? — спросил с сомнением Петруха. Но и он заинтересовался диковинными названиями.

— Это что! — воскликнул вдохновенно Шохов. — И крыльцо бывает красное! И дерево бывает красное! Да-да! Самое что ни на есть строительное, сосняк кондовый, двести пятьдесят кругов! Он-то и есть избняк. Только нам такого, Петруха, не достать. Хоть бы полукрасное, до ста пятидесяти кругов, считай. А то еще преснина есть, пресняк балотный (восемьдесят кругов), а то еще прозванный, это который из лучшего, но с брачком...

Петруха покачивал лишь головой: ишь понесло.

А Шохов уже клеть и сени вознес, подызбицу сляпал, чердак, подволоку. А тут еще истепка, то бишь подклеть, холодная изба, кладовая, а рядом лабаз да пелевня для дров и многое другое.

— Вот скажи, Петруха,— настаивал громко Шохов, глаза его разгорелись, и сам он будто опьянел от своего разговора.— Мужик делил меж сыновьями избу, каждому сыну по углу, так? А себе, как ты думаешь, что он выбрал? Печь! И, говорят, спокойно дожил свою жизнь.

Вот что любил и знал Шохов, вот что изливал из души, будто стихи любовные читал! Тут и опечье, и подпечье, и запечье, и припечье... И под, и свод, и шесток с загнеткой, которая еще кличется бабуркой, а там чело, да устье, да кожух, он же шатер! Ах, какие имена! Какие теплые, отдающие жильем дурманным теплом слова все эти! Печь нам мать родная — вот как дома произносили.

Петруха опять восхитился: ну и шпарит приятель! Разошелся на Новый год — весну, что ли, почувствовал?..

— Не печь кормит, а руки! — крикнул Шохов.

Тут бросился он к своему чемоданчику и стал говорить, как он печничал, печнокладом, значит, работал по деревням. Он достал из-под жиденького своего барахлишка долото, наверхток, отвес и еще кругляк-отпил, который привез из родного дома.

— Кабы не клин да мох, так бы и плотник издох!

Тут заиграла вовсю музыка, Петруха крутанул ручку приемника. Странная это была музыка, играла вроде бы одна труба, но так ловко выходило, что почти ансамбль, и Шохов, придерживая в руках долото и отвес, пустился изображать какой-то немислимый танец.

Светлые волосы пали на его глаза, и пот на лице прошиб, но он ничего не замечал. Он танцевал посреди избушки (своя избушка — свой простор!) нечто немислимое, фантастическое, но было еще в нем какое-то особенное счастливое торжество. Он танцевал, если хотите знать, свое будущее жилье, свой дом! И было это даже не в движениях, а в особой счастливой посадке головы, в затуманенных мечтой глазах, во всей его чудной позе!

И через все это он вдруг закричал Петрухе сильно и дерзко:

— Ну, будем строить или нет? Вместе! Едино! Так, чтобы всегда вместе, а, Петруха! И никогда не разделяться, а?

И Петруха, вовсе, наверное, не мечтавший сейчас о новой избе, но замороженный по-детски счастливым танцем своего собрата, вдруг махнул рукой, будто что-то отбрасывая, и тоже пошел вихлять ногами. Теперь они оба топтались посреди избенки, стараясь перещеголять друг друга. Они орали друг другу, хотя были рядом.

— Будем! — вопил Петруха.

— И выйдет нам ладина! Ладина — это ведь по-нашему удача! Ты знаешь? Это счастье!

— Ясное дело, будет ладина!

— Ладина! Ладина! Ладина! — пел Шохов, кривляясь и гримасничая.

А Петруха как резаный вопил ему вслед, и если бы посмотрели со стороны люди, то решили бы, что тут сошли с ума.

— Ха-ха! — орал Шохов Григорий Афанасьевич, человек вполне солидный, инженер на стройке, много что повидавший и переживший, вряд ли кто мог бы представить его таким.— Охо-хо! — ревел он, хватаясь за живот и изображая из себя какого-то черта, прыгающего на углях.— Охо-хо-ха-хе-хи!

А Петруха, косолапый, колченогий заморыш, почти что диснеевский гном, с пуговицей-носом и круглыми чистыми глазами, шмыгал обрезанными валенками, открыв в восторге рот (не Петр, а Петрушка из театра!), и так уж у него все нескладно получалось, что ясно было: никогда он не танцевал и не будет и не для этого создан.

— А ты — человек! Ты, Петруха, это... Ты человек! — ревел Шохов ему в лицо.

— Ага! — взвизгивал тот.

— Ты, Петруха, мастер! Ой мастер!

— Ма-а-стер! — подвывал тот.

— Мы с тобой, Пе-тру-ха, такое смастерим! Мы такое с тобой, эх! Мы всем покажем! Они-то думают, а мы еще эх! Мы сами с усами!

— Мы все можем! — подтверждал по-дурацки Петруха. И вот что было очевидно, что он ведь взаправду все может.

И как ни верил Шохов в себя и в свои руки, но ясно видел, что Петруха мастер шибче его, хоть и не знал, в чем именно.

Месяца два прошло с того новогоднего вечера. По-прежнему жили они в избушке, топили печь по утрам, расчищали снег самодельной лопатой, склепанной из дюралевого листа, варили кашу, чай и вместе затылок в затылок торили дорожку в Новый город.

Петруха будто даже стеснялся воспоминаний о том странном вечере и краснел, как девушка, когда Шохов невзначай напоминал ему. Сам же Шохов преобразился совершенно. Теперь все свободное время он пропадал в магазинах, на складах, на каких-то базах, выискивая все, что могло бы им пригодиться при строительстве. Однажды съездил даже в районный центр Новожилов, крошечный деревянный городок за восемьдесят километров вниз по реке, и там тоже приценивался, знакомился с кем надо, в общем, организовывал строительные материалы.

Возвращался позже обычного возбужденный, громкий, но водкой от него и не пахло. Повествовал Петрухе о своих подвигах и сам громко смеялся при этом. Или, наоборот, негодовал, но всегда это происходило азартно, лихо, такой уж он был человек.

— Прихожу, — повествовал он за вечерним чаем. Пил из кружки, обжигался, но не замечал, потому что был захвачен предметом разговора. — Так вот прихожу. Сидит этакий прыщ на ровном месте. Я ему напрямик: нужен, мол, тес. Плачу наличными, приплачиваю тоже. А он с пристрастием вопрошает: «Где сидишь?» Я опешил, говорю: «Что значит — сидишь? Я не сижу, а работаю». А он свое, значит, гнет: «Кем работаешь-то? Начальником аль нет? А раз начальником, значит, шишка. Значит, все равно сидишь. Даже если по воздуху летаешь. Потому что у тебя — место». «Ну тогда, считай, так, — отвечаю, — сижу прорабом на водозаборе». «А что имеешь?» — это он, значит, спрашивает: бетон, цемент, краны, бульдозеры, рабсилу? «А тебе-то зачем, я же тес покупаю!» А он мне, Петруха, знаешь, что на это ответил? «Мне, милок, твои деньги не нужны, — как отрезал. — Сейчас ценится услуга за услугу. Только так. Слышал поговорку: баш на баш?» «Слышал», — говорю. «Теперь ее народ по-другому сложил, и куда вернее: дашь на дашь. Понял?» Я киваю. Чего уж не понять. С тем и ушел.

— Ну? — спросил наивно Петруха. В руке у него паяльник и какой-то приборчик с вывернутыми железными внутренностями. Он ожидающе смотрит на Шохова, оторвавшись от своего замысловатого дела.

— Чего нукаешь? — подъязвил Шохов. — Аль считаешь, что уж запряг, оттого что за двоих бегаю?

Упрек мизерный, но Петруха будто покраснел, засопел носом.

— Я спрашиваю, как быть в таком случае?

— Так и быть, что помнить эту поговорку. Тес я, между прочим, достал. Завтра его тягачом забросят.

— Значит, бетон, цемент, что там... наобещал?

— Не-е-ет. — Голубые глаза Шохова в полусумраке нагло

блестели, а прямая черточка у переносицы стала будто жестче.— Хотя без этого «дашь на дашь» вряд ли чего построишь. Так я понял.

— Тогда, может... не надо ничего и строить? — предположил Петруха. Опять без всякой задней мысли, а по-своему, по-детски спросил.

Шохова хоть резануло (всякого бы такое резануло), но сдержался, только вприщур не без превосходства посмотрел на своего друга и союзника. Только ему за его глупость, за чудачество, за бескорыстное и безвинное младенчество простил Шохов такой вопрос. Никому бы другому не простил.

— А знаешь, что я ему пообещал — дашь на дашь? — нахально вато воззрися в лицо Петрухе.— Я тебя пообещал, дружок. Магнитофон ему заграничный чинить будешь. А может, телевизор еще!

Сказал и посмотрел, как будет реагировать Петруха на подобную новость. С веселой ухмылкой изучал он Петрухино лицо, ловя не без удовольствия всяческие в нем перемены. А Петруха не сразу сообразил, что означает хамоватая реплика Шохова. Кивнул согласнo, потом удивился, посмотрел в лицо Шохова и покраснел. Эх, простота, все в нем, как в зеркале, отражалось. Понял, видать, что продали его с потрохами, а не нашелся, что ответить, уткнулся в свой приборчик.

— Ну? — спросил с вызовом Шохов.

С чувством правоты спросил, потому что сам вкалывал, мог и Петруху поэксплуатировать: чего ж ему, блаженному, сделается? Он же не посылал дружка своего взятки давать, не гонял по девкам на тех складах, где можно что-то доставать. Не заставлял, словом, делать то, что Петруха никогда бы не смог исполнить. Наоборот. Он предлагал Петрухе сидеть чистеньким, незамаренным в своей избушке да чинить приборы. Магнитофоном меньше, магнитофоном больше. Ничего аморального в таком варианте не было. Это Шохов знал твердо. Знал он, что Петрухе нечем крыть на такой вызывающий поступок. Хотя был в нем некий скрытый смысл, который с ходу углядеть невозможно, разве только почувствовать.

Петруха почувствовал покушение на его свободу. Оттого и замкнулся.

— Ну? — повторил Шохов миролюбиво.

— В свободное время сделаю,— буркнул тот, не поднимая головы.

— А ему не второпях! — подхватил обрадованно Шохов.— Ему можно и совсем не делать! Если не хочешь! А?

Это от избытка чувств он предлагал Петрухе отступного. Мол, не хочешь, так и не делай. В конце-то концов выскребемся. Не такие петли миновали.

Но Петруха такого тона не принял. Он посмотрел на Шохова впрямую, как глядят обиженные дети.

— Нет, я сделаю. Отчего же... Только... Только ты в другой раз заранее мне скажи. Сперва предупреди меня, а потом уж обещай. Ладно?

— Да ладно! Ладно! — Шохов теперь чуть не заискивал. Знал ведь, что обижает, специально обижал, потому что в какой-то момент разозлился, что тянет весь воз за двоих, забыв, что сам и впряг Петруху в свой воз. А теперь вот обидел, стало легче, но и жалко почему-то стало.

И вечер расстроился, и разговор заглох. Все пропало. Даже его лихое настроение.

Теперь и он нахмурился, взгромоздился на лавку, не скинув обуви, и стал глядеть в потолок.

— Кстати, у тебя избушка-то застрахована? — поинтересовался

Шохов. Намеренно безразличным тоном спросил, чтобы услышать голос Петрухи и убедиться, что он уже не таит обиды.

— Чего тут страховать? — удивился тот.

И Шохов с облегчением услышал именно те интонации, которые хотел услышать. Но, может, лишь чуть-чуть натянутым был голос Петрухи.

— А когда изба в деревне горит, знаешь, что мужики делают, а? — произнес Шохов, вовсе не рассчитывая на какое-то любопытство дружка. — Во время пожара мужики печь ломают. Вот что они делают.

— Почему? — удивился Петруха.

Ах, какой он был все-таки незащитный, он и обижаться не мог долго, все в нем наружу. Надо с ним поосторожнее в будущем, так решил Шохов.

— А потому что печка в избе самая ценность. Это по стоимости, значит, страховки. Если изба сгорела, а печка стоит, так мужику копейки могут выплатить. Вот и происходит дикость: пожар, надо избу тушить, а мужики ломами орудуют, кирпичи крушат. Я однажды увидел, страшно стало. — Он помолчал и уже для себя, точно для себя, а не для Петрухи сказал, что страшно вообще, когда жилище уничтожают. — Вот кошки, странные они существа, верно? А когда мне бульдозером избы однажды пришлось сносить, потому что под затопление деревня уходила, это на Ангаре, так хозяева будто и ничего, их переселили, а кошка орала, будто живой человек. У меня, поверишь, нервы не выдержали. Выскочил я из бульдозера, шуганул ее, а она в сторонку отбежала и снова кричать. Ну как ребенок все равно.

Петруха работу оставил, повернулся с интересом.

— А разве нельзя было не разрушать? — спросил наивно.

Шохов покачал головой.

— Нельзя. В том-то и дело. Бревна всплывут потом, какой-нибудь катер протаранят. Да ведь отжило. А она, дура, не понимает. Орет, и все тут. Хозяин скарб погрузил — и молчок. А кошка — животное бессознательное... Но, если посудить, выходит, она больше хозяина, что ли, переживает?

— А ты чего, не переживал бы?

— Я в своей деревне напереживался. — как отмахнулся Шохов. — Ну а тогда я еще молод был, да вроде и чужое.

Шохов стал раздеваться, шаркая ногами по избе. Но носки на ночь не снял, был февраль, и в окошки и в дверь сильно задувало. К утру, как ни топи, домик так выстуживался, что пробирало под полушубком. Поэтому, бросив дров и глядя раздумчиво на высокое гулкое пламя, Шохов посидел на корточках, почесываясь, вздохнул:

— Ты не сердись на меня, Петруха. Я же вгорячах наобещал, когда и раздумывать некогда. А ведь доставать материал-то надо. Ты, если хочешь, действительно не делай, я ему деньгами на ремонт дам, он не обидится...

Петруха сидел, склонясь над своей работой, молчал.

Не этот ли разговор о кричащей кошке вспомнил Шохов два года спустя, когда проснулся ночью в своем доме, напуганный неожиданным слухом, но еще больше своим собственным предчувствием скорой беды.

Однажды он проснулся с ясной головой и твердым пониманием того, что надо делать. Впервые он четко и неизбежно понял, что не просто Вор-городку, а именно его дому, его семье, с тех пор как они приехали, лично ему угрожает реальная опасность. Он, только он один, как мышь на корабле, чувствовал ее приближение. Необходимо было, не поднимая шума, не возбуждая постороннего интереса, все выведать. Чтобы предугадать свою жизнь на несколько мгнове-

ний вперед, потому что именно такой человек всегда в выигрыше перед остальными. Успеть опередить и события и время и успеть принять меры, чтобы защититься.

Однажды в каком-то спортивном интервью со знаменитым футболистом он прочел и запомнил, как тот объяснил свой успех. Он так сказал: «Все дело в том, что я у ворот на несколько мгновений опережаю соперников, чувствуя, предвидя, куда упадет мяч. Только и всего».

Вот что главное в жизни: на несколько мгновений раньше определить, куда упадет мяч...

В управлении Спецмонтажа, где он имел своих дружков, никто ему членораздельно ответить не мог. Тут нужно было действовать иначе.

Французские духи, подаренные простой практикантке-чертежнице в закутке возле проектной конторы, были ничто в сравнении с тем, что он получил тогда.

Перед ним лежала на столе калька с планом городских строений, культурных центров, магазинов, детских садов, рынка, промышленных мелких объектов. Один из них — опытным глазом строителя он засек сразу и вцепился, хищно сверля это место, — выходил на Вальчик, и дальше шла странно заштрихованная площадка, которая, как бы не замечая, пересекала их Вор-городок пополам, удобно располагаясь на месте нынешних времянок, в том числе и его, Шоховского дома.

В целом план для того, кто мог что-нибудь понимать в планах или читать чертежи, был просто великолепен. В нем возносились к солнцу белые этажи высотных домов, в нем шумели фонтаны, цвели клумбы, наполнялись детскими голосами зеленые бульвары и, словно нарисованные (пока действительно только нарисованные), на синем небе красовались огромные рекламы. Город был хорош, что и говорить. Но сейчас он вовсе не радовал Шохова, как в день его приезда, а вызывал глухое раздражение.

Но было среди всего на плане такое, что и вывело Шохова из себя, — это бананохранилище. Трудно определить, да еще в момент, когда он слишком напряжен и взволнован, именно ли оно станет на месте его дома... Но то, что оно само по себе существовало, взвинтило и без того натянутые нервы Шохова и вызвало откровенную злобу.

Можно понять все другое: магазины, детские сады, клумбы (хотя нет, клумбы на месте своего дома Шохов тоже не принял бы!), но только не бананохранилище — здесь, на севере, где и бананов сроду не видывали, разве что на картинках!

— Бананы! — произнес он вслух и громко рассмеялся, так смеются, когда дело худо. — Бананы! — И он стукнул со всей силы кулаком по чертежу так, что хрупкая бумага с треском порвалась.

Тут он опомнился и ладонью стал ее разравнивать и соединять. Руки у него дрожали. Отодвинув чертеж в сторону, он попытался успокоиться, стал смотреть в окно.

Шохов находился в вагончике-прорабке в полном одиночестве. Был перерыв, и все ушли в столовку. За окошком сквозь сероватый день и мелкий, почти незаметный на этом сером фоне снег, падающий отвесно, можно было разглядеть черное отверстие водозабора, встающего из глубины берега как гигантский колодец. Два года он строил этот водозабор, а стоять он будет, может, сто лет. Потому что город, Новый город не сможет обойтись без воды. А вот без самого Шохова он, конечно, проживет спокойно. Сметет его крошечный домик (крошечный в сравнении с водозабором, конечно) и не заметит этого. Много ли значит его внеплановая времянка в сравнении с любым плановым объектом, будь это даже бессмысленное ба-

наохранилище... Ну конечно, Шохов сейчас сообразил, что никаких бананов на месте его дома не будет, это просто милая шутка проектантов: подобное пишут на застолбленных для дальнейшей стройки участках, пока Госплан не утвердит какой-нибудь химический или там целлюлозный комбинат.

Он снова обратился к ненавистной кальке. Уже более тщательно, квадрат за квадратом, он стал ее изучать, пытаясь найти хоть какие-то изъяны, за которые могла зацепиться его изобретательная мысль.

Шохов не зря считал себя опытным строителем, верным учеником Мурашки. И не такие калечки и чертежи держал в руках, да не все они, ох, далеко не все воплотились в реальные строения. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги! — так и говорилось, когда чуть ли не в последний момент (а до последнего так еще тысячу и один раз) менялся замысел. Ах, да что говорить, всяко еще могло и тут повернуться!

Но то, что происходило раньше по ходу дела, Шохов хотел угадать до рождения; в зачатке выявить те микроскопические трещинки, которые могли бы свести на нет весь проект в целом. Предстояло разглядеть и прощупать весь чужой замысел и его промашки. Надо было вычислить реальные планы, пользуясь и опытом и строительной, вот что главное, интуицией. Хотя и говорится, что информация — мать интуиции.

Однажды Шохов необыкновенно поразил своего друга Петруху, когда заявил ему, что он не только определил место для своего дома, пользуясь розой ветров (в конторе все можно найти!), не только восходы и закаты для того, чтобы в красное окно солнце по утрам входило, но и потратил недельку, сидя по вечерам, чтобы определить возможность паводка от большой реки.

— Паводка? — спросил недоуменно Петруха, для которого такие страхи были столь же нереальны, как столкновение, скажем, Земли с кометой.— Паводка? — повторил он с той милой и детской интонацией, которая поперву умиляла, а потом раздражала Григория Шохова.— Так ведь река вон где, а мы вон где. Как это она может нас затопить-то?

— Еще как может! — отвечал Шохов вовсе без улыбки и даже с угрозой непонятно по чьему адресу.— Она по оврагу против ручья сюда придет.

— Против течения? — насупился Петруха. Он всегда обижался, если Шохов выговаривал ему, как школьнику.

— А ты почитай,— будто не замечая Петрухиной обиды, поучал Шохов,— как вода города крушит Страшной воды ничего на свете нет, когда она из управления выходит. Про волны цунами слышал небось? Так вот шпарит такая волна выше двадцати—тридцати этажей—для зрительности, и ничем ее не остановить, даже приглушить невозможно.

— Цунами, это там у них,— наивно предположил Петруха.

— Ну а если плотину, к примеру, разрушить, то и выйдут тебе почти цунами! Я тут для интереса все пересчитал и могу сказать, что такая волна много может снести... А так как мы расположены по боковому ее ответвлению, то удар придется и сюда. Вот смотри! — Шохов моментально нарисовал на подвернувшемся клочке реку, плотину, город и их маленький ручеек с единственной избушкой. А потом ту избушку прикрыл чертой под крышу и заштриховал. — Видал? Тебя первого и смое!

— А тебя?

— А меня не смое. Я выше построюсь, потому что я предусмотрительный! А если мы вместе поселимся, то и тебе бояться нечего.

Похвастал Шохов, но не соврал. Волну предусмотрел, а планы

государственные — нет. Вовсе это не от безверья, уж кому как не Шохову знать, как быстро кругом застраивается. Просто с высоты прожитых лет было ему видно, что никого еще не сносили в таких случаях, а как бы узаконивали, привязывали, подверстывали к другим объектам, так все и оставалось.

И на общество тоже рассчитывал Шохов не в последнюю очередь. Коллективное мнение — большая сила.

Ну а если говорить по правде, то предусмотрительный Шохов и дом-то, избенку, кельенку свою, предусмотрительно с возможностью перегона построил. Только сани под столбы подвести — и гони ее в какие хочешь дали от города и бананохранилища! Промашка тут не в шоховском плане, а в шоховской жадности произошла. Вот как стоило это назвать! Она тогда произошла, когда он меру потерял и начал лепить хозяйство к хозяйству: и погреб, и подвал, и баньку, и сарай, и еще лабазню, и еще гараж, да с садом и огородом, как и полагалось оно при хозяйстве. Тут сам дом как бы затерялся в остальном, он вроде бы цену имел не сам по себе, а по тому, что к нему прилегало. Особо же водопроводом самодельным, и электричеством, и летним домиком с кухней и баллонным газом, и тротуарчиком перед крыльцом. Перечислить — и то выходит, что Шохов эти два года непрерывно доводил свое хозяйство до ума. И когда уже казалось, что дело к концу и можно вздохнуть свободно (ой ли, сказал бы Петруха, так уж и вздохнуть, да возможно ли представить?!), а тут она, волна-то страшная, и накатилась. Невинный планчик на кальке.

Но все страхи, все от воображения, решил Шохов. А если реально, так вон на когда оно замыслено и ничего еще не известно. Он стал сворачивать кальку, но еще заглянул в уголок на фамилии исполнителей — архитектора, начальника, проектировщицы, всех надо заметить и запомнить. И рядом, как же сразу он не засек, было обозначено скромно: эскиз застройки.

— Ага,— произнес Шохов с привычным превосходством.— Эскиз! Так-то, братцы, ешьте, как говорят, свои бананы, а наши игрушки не троньте! Мы тоже хотим жить!

В мартовский сверкающий день, когда еще весна в одном только названии и есть, а морозец потрескивает даже сильнее, чем в феврале, и солнце будто крепило его и украшало блеском, прошелся Шохов ноголем по будущей своей усадьбе и все показал Петрухе. Прямо на гоелем рисовал по живому: где его горенка, а где горенка самого Шохова, и куда выйдут ступени, и где калитка и забор станут.

Петруха соглашался вроде бы и кивал, только про забор спросил с сомнением, нужен ли он. От кого же городиться, если пусто вокруг? Но Шохов твердо отвечал, что забор нужен, потому что сейчас пусто, а потом неизвестно, как обернется. Он и тут, как говорят, далеко смотрел! И высмотрел, надо отдать ему должное. И вообще какое такое хозяйство без забора! В уборную и то будешь ходить как на вокзальной площади! А если кур да собаку завести? Нет, Петруха, ты еще мал в таких вопросах. А я тебе скажу, что, может, с забора-то и начинается настоящее...

И тут он посмотрел вдаль, на верхние, видные отсюда этажи белых домов, впервые засомневавшись, не близко ли затеялись строиться. Возникало в нем такое подспудное сомнение, что говорить. Но подавил он в себе далекую и неясную тревогу. Даже не тревогу, а нечто смутное и кратковременное, чего за хорошим настроением да ярким утром не расчувствуешь, не разберешь. Шоховский практицизм взял, как всегда, верх. Ведь ясно же как божий день, что близость к городу выгодней во всем: в транспорте, в прокладке

электричества, других каких коммуникаций (вон куда Шохов дальновидно заглядывал!), да ведь и просто если понадобится в магазин сбегать. Шохов смотрел далеко, много дальше, чем его близорукий дружок.

Зима, если посчитать, вовсе не зря им прожита. Она вся состояла из планов и сомнений, а потом уже и конкретных замыслов, вызревших, как северный огурец на навозе, на этих сомнительных планах и превратившихся в груды кирпича, штабеля досок, бревен, те са и прочего необходимого материала.

Как на строительном серьезном объекте, все складировано, заприходовано в книжке и учтено, все свое будущее место знает в том самом будущем доме. И от дождя прикрыто и от снега.

Подумать только, один же практически все достал, заплатил, привез и рассортировал! В какой-нибудь конторе на подобном же деле бригада бы корпела, и как знать, лучше бы она это сделала или нет. Скорей всего что нет! Она бы половину побила, а половину бы растащила и растеряла, а уж все, что осталось бы, свалила кучей, в которой сам черт ногу сломит, а сама бы села играть в домино.

Шохов вырос при советской власти и хоть был из деревенских, но не стоял горой за частную собственность, которая убивает в человеке живое. Но что верно, то верно, и он понимал, что люди-то отвыкли работать, делать, как они бы для себя, а не для дяди сделали. Когда-то был для него пример Мурашки, для которого деньги не шли в счет, а прежде было уважение к своему труду. Сейчас самоуважение не в счет, сейчас стал рубль в ходу, только он один. Но рубль-то тот самый, за который еще и не надо ничего делать! Вот в чем несчастье наше! Сознательность важна, но она через собственное брюхо самый короткий путь к работе имеет.

Все это Шохов думал-передумал и прежде, и на работе, и здесь. Был бы какой дошлый экономист, он бы и без счетной машины сообразил, сколько труда, сколько мысли, горения, таланта вложил Шохов в свои планы своего объекта.

И вот наступил день, когда Шохов произнес не без пафоса, потрянув светлой головой:

— Мы присутствуем при закладке первого дома по улице... По какой улице-то? — спросил он Петруху.

— Разве у нас улица? — усомнился тот.

— Будет дом — будет и улица, — уверенно подтвердил Шохов.

— Ну тогда... Тогда по Сказочной улице! — выпалил Петруха.

— Почему — Сказочной?

— А как же! Дома нет, улицы нет, а мы название даем... Сказочная, потому что как в сказке: она есть, но ее и нет!

— Будет, — твердо сказал Шохов. Но в целом название одобрил. — Значит, так. Мы присутствуем при закладке первого дома по улице Сказочной. Право забить колышек в основание дома поручается молодому строителю Петру Петровичу Петрову. Стучи, Петруха!

Тут же топориком Петруха вколотил в снег дощечку, которую саморучно изготовил Шохов для такого повода. На дощечке углем было накорябано: «Здесь будет построен дом Шохова — Петрова. 17 марта».

Оба, стоя в полушубках, но без шапок, как какие-то полярники посреди белой равнины, прокричали громогласное «ура».

Начин — половина дела.

Григорий Афанасьевич Шохов стоял посреди тесного магазинчика, снизу доверху набитого товарами. Все тут было, от стиральных машин, холодильников и торшеров до мочалок, керосиновых ламп и самого керосина. Шохов стучал ногтем по железному топору и подносил к уху. Свою знаменитую пушистую шапку он сдвинул набок,

чтобы не мешала слушать, тем более что под гулками сводами магазинчика было шумно.

Магазинчик находился в новожиловском торговом ряду, в центре, в бывших кельях некогда существовавшего здесь монастыря, основанного по преданию Зосимой и Савватием во время странствия их из срединной России на крайний север. В самом монастыре когда-то располагалась мастерская по изготовлению колючей проволоки (мотки этой проволоки до сих пор ржавели в густой крапиве), а нынче на весь город звенела циркуляркой деревообделочная мастерская, куда, собственно, и направлялся наш герой. Но, как всегда бывает в таких случаях, нужных людей на месте не оказалось. Чтобы не терять драгоценного времени, Шохов направился в торговый ряд и тут же опытным глазом высмотрел этот магазинчик. Шохов точно знал, что именно в таких глухих, забытых людьми и богом уголках встречаются редкости, которые ему нужны.

Все оказалось, как он и предполагал. Среди пестрого хлама, среди стиральных порошков, подушек, веников, покрышек разного калибра, хрустальной люстры, телефонного аппарата, японского сервиза, клеенок, термосов, граненых стаканов, синих чашечек, в которых он узнал несравненную Гжель (о, где вы, московские коллекционеры?), самоваров, утюгов, одежных щеток, алюминиевой посуды и многого другого он находил какую-нибудь нужную вещь и выхватывал ее из общего беспорядка.

В кармане у Шохова лежал список необходимых товаров, длинный, в несколько десятков предметов, но он даже не заглянул в бумажку. Первым делом Шохов купил замок. Усмехнувшись, подумал: вот будет Петрухе снова загадка, отчего замок, если нечего запереть!

Замок, как указывалось в инструкции, был повышенной секретности. Шохов особенно ценил то, что позакковыристей, именно со всякими там загадками. Он как мастер обожал разные хитрые вещицы, но замки в особенности. Занятно было, поковырявшись, добраться до сути и понять что к чему. Когда он проезжал Москву в первую свою поездку в Сибирь, он там разыскал ГУМ и зашел в отдел, где продавали хозяйственные вещи, в том числе замки. Все их пересмотрел, покрутил, пощупал, чем немало возмутил молоденькую продавщицу с подкрашенными глазами.

Он и теперь все какие были выставлены замки на полочке внимательно осмотрел, не боясь испачкаться в смазке, опробовал их, особенно те, что предназначались для гаражей и подсобных помещений (мало ли будет помещений в будущем его хозяйстве!), иные и вовсе без ключей, но с набором номеров. Но ценил все-таки те, что с ключами. Само присутствие ключа при хозяине повышает его тонус, его самочувствие, так он считал. Он выбрал один из замков, тот самый, «повышенной секретности». И опять усмехнулся, подумав о Петрухе. Конечно, Петруха его не поймет. Ему невозможно проникнуться шоховскими мечтами. Нет, не заботами, а именно мечтами. У всякого человека свой предел и свой настрой. Что для самого Петрухи главное в жизни, Шохов затруднился бы ответить. Может, у него и нет такого главного. Петруха существовал, как показалось Шохову, одним днем, сегодняшним, мало беспокоясь даже о завтрашнем, не то что о какой-то перспективе вообще. Так живут птицы, но человек так не может жить, по разумению Шохова. У человека должна быть идея, мечта, страсть. И если Шохов приобретал замок, то именно страсть руководила им. То же и с некоторыми другими уже приобретенными Шоховым товарами, которые покупались с перспективой и складывались аккуратной горкой в сенцах, в комнате или у задней стенки их избушки.

Однажды Петруха, не без смущения разглядывавший все это, спросил, как он всегда делал, по-детски: а правда ли, что слово «скопидом» произошло от сочетания «скопи» и «дом»? Так, мол, они в ма-

стерской зовут одного парня, жуткого барахольщика и жилу: скопидомок.

— Я тоже скопидомок,— произнес спокойно Шохов и как отрезал.

До смысла сказанного Петрухой, особенно же до причины, он дошел. Не смог он понять лишь самого Петруху, его побуждений. Да и возможно ли понять, когда не знаешь о человеке и его прошлом почти ничего. Может, он из студентов, что недоучились, или, пуще того, из образованных и интеллигентных малых, которые, разочаровавшись в своей профессии, кинулись в народ, в ремесла, в прикладные искусства. Шохов встречал подобных ребят. Один, к примеру, забросив научный институт, где он работал на счетно-электронной машине, занимался тем, что клеил по домам синтетические обои, находя в этом и удовольствие и приличный заработок, а другой, кандидат математических наук, так и вовсе устроился на кладбище, преуспев в изготовлении могильных плит.

Но кто бы он ни был, Шохов никак не менял отношения к названному брату. Лишь бы сам Петруха не мешал шоховским мечтам и планам, лишь бы не расхолаживал и под руку не говорил того, чего не понимает. А уж о помощи, о настоящей помощи, Шохов не помышлял.

Тогда зачем же практичному и расчетливому Шохову нужен такой напарник? Дело не только в том, что Петруха отдал на постройку дома половину всей суммы, а если точно, то даже больше, он не был мелочным. А ведь известно, что даже крупная и сильная держава в войне ищет себе союзника, любого, подчас и слабосильного, потому что это всегда выгодно. Но Шохов смотрел дальше и видел то, что, может быть, сегодня отсюда и не совсем видать.

А по поводу брошенного слова «скопидомок» он нисколько не обиделся и не увидел в названии ничего дурного. В корне слова, как бы то ни было, стояло «дом», а дом и был главным в мечте, в идее самого Шохова. Что же в том плохого, что он скопил свой дом? Он, может, всю жизнь этим и занимался и накапливал в душе эту мечту, это чувство тоски по собственному жилью — вот какие оказались у него накопления!

Вслед за замком Шохов отложил в сторону несколько банок масляной краски, бежевой и голубой (для фасада дома и для забора), и кисти он тоже прихватил. Он стоял посреди неудобного, с бетонным полом и высоким серым сводом магазинчика, прикидывая, как ему проникнуть в дальний, заваленный матрацами угол, и уловил внимательно-настороженный взгляд продавца. Тот уже давно наблюдал за необычным, непохожим на здешних покупателем и через мельтешащий у прилавка народ старался не терять его из виду.

Теперь, когда магазин опустел, продавец, был он то ли грек, то ли армянин, седой, сплошь в золотых зубах, крикнул со своего места, обращаясь к Шохову:

— Что ищешь, а? Ты строиться решил, да? Так ты меня спроси, я знаю, что тебе нужно!

— Я тоже знаю, что мне нужно,— произнес Шохов независимо, даже отчужденно.

— Ты знаешь, что ты хочешь! — воскликнул продавец, чуть обижаясь. — А я знаю, что и где у меня лежит. Это же разные знания!

Шохов уже и сам сообразил, что задираться ему не стоит. Старик, пожалуй, мог быть ему и полезен. Он подошел к прилавку, произнося на ходу, что хозяин, пожалуй, прав, ему видней, где что лежит... Тем более если оно лежит под прилавком.

Конечно, Шохов пошутил, но старик не принял шутки и обиделся всерьез. Крикнул сердито:

— У меня все лежит на местах! У меня под прилавком нет ничего! Но если ты думаешь, дорогой, что можешь здесь разобраться без собаки-ищейки, ты глубоко заблуждаешься!

— Я же пошутил,— произнес миролюбиво Шохов.

Но старик в запале продолжал:

— Даже я (а ты понимаешь, что я знаю свое дело) во время инвентаризации не могу всего найти! Это же не магазин, это монастырский склеп, куда меня замуровали пожизненно. Ты не находишь? А у меня от него радикулит, между прочим. Ты видишь, я намотал на пояс шерстяной шарф, видишь, да? Так все от этого склепа. Сюда приезжали кино снимать из старинных времен! Эти мальчишки в темных очках, в кожаных куртках были в восторге от нашего обшарпанного городишки. Они и меня хотели в свой фильм вставить как доисторическую реликвию, но я наотрез отказался. Мне дай бог разобраться в моем товаре среди этих авгиевых конюшен!

Шохов только успевал кивать. Он понял, что у старика, как выражаются, накопело.

Старик же, выговорившись и махнув с досадой рукой, полез в дальний угол, кстати, тот самый, к которому приглядывался прежде Шохов, и оттуда из-под матрацев, плетеных корзин, железных ящиков для хранения хлеба извлек несколько разных видов топоров и молча положил на прилавок.

Шохов тоже молча взял за обушок один из них и пощелкал пальцем по лезвию. Раздался тонкий звон. Но в это время в магазин влетели школьники, шумные, румяные, и оттеснили Шохова к середине зала. Он с досадой поморщился и, сдвинув шапку набок, стал слушать, прищелкивая по топору и поднося его близко к уху.

Продавец отпустил детишкам тетради и, обернувшись к Шохову, спросил, чего он так слушает, не считает ли он, что топоры бракованные.

— Нет, нет,— отвечал Шохов.— Я определяю сталь.

— Чего же в ней определишь? — спросил старик вздорно.— Сталь как сталь.

— Качество, разумеется,— ответил Шохов, все прищелкивая по топору ногтем.— Вот здесь, у жала, вишь, щелкну и слушаю— звенит? — И с тем он опять щелкнул и поднес к волосатому уху старика.

Тот сосредоточился, даже глаза закрыл. Потом вскинул их на Шохова и хитровато заключил:

— Так что, что звенит? Металл, он и звенит. Как же он может не звенеть, если железный, к примеру. Подушка не звенит, она перьевая. Плохое перо, между прочим, но это к разговору не относится. И деревяшка не звенит. А это ты мне попробуй сделай, чтобы она не звенела, а? — И ухмыльнулся, довольный своим выводом.

Шохов засмеялся. Это был тот самый странный смех, в котором многие улавливали некое превосходство и даже обижались. Но старик не обиделся. Он принес другой топор и положил перед Шоховым.

— Вот смотри. Он тоже звенит.

Шохов и его взял за обушок и, сильно щелкнув по краю лезвия, поднес к уху. Снова проделал то же самое, и в глазах его, глубоких, голубых, напряженных, проглянуло радостное удивление.

— Ого! — воскликнул он.— Вот что мне надо!

И тут же пояснил опытному продавцу, что звон у хорошей стали должен быть долгим. А если она брякнула да замолкла, то никуда она, эта сталь, не годится. Будешь непрерывно точить, и все попусту.

Старик выслушал, потупляя свои огромные прекрасные глаза, и, ничего не произнеся, ушел и вернулся с двуручной пилой.

И ее Шохов опробовал и тоже одобрил.

— Что знаешь, в кармане не носишь,— заметил он простодушно.

— Хм, верно,— ответил продавец и снова ушел.

На этот раз он долго копался, наконец вытащил откуда-то косу. Настоящую косу с ручкой и даже банькой, за которую нужно держать.

— А это? — И хитро посмотрел на Шохова.

Шохов, ни слова не говоря, поднял косу за обушок и попросил спичку. Тут же положил спичку поперек лезвия и стал смотреть, как спичка медленно поворачивается будто сама по себе на кончике жала.

— Хорошая коса! — произнес облегченно. — Я ее возьму.

Зачем ему была нужна коса, он и сам бы не мог объяснить. Может, для того же, для чего и замок. Как воспоминание о деревне... Ставили у них косу у дверей — от злых сил. Хотя в дальней перспективе для себя Шохов мечтал, что когда-нибудь на зорьке он пойдет с косой за калитку (за свою калитку своего, разумеется, дома), чтобы разгуляться по первой росе.

— А все-таки почему же она крутится? — спросил старик заинтригованно. Он все хотел знать.

— Хорошая сталь, — отвечал весело Шохов. Коса настроила его окончательно на добрый лад. — Если иголку положить, то иголка тоже будет крутиться. Но если сталь плохая, уж чего ни клади, так и будет лежать!

Продавец слушал, смотрел на Шохова. С пониманием и некоторым раздумьем смотрел. С каким-то неопределенным замыслом в глазах. Заявил внезапно:

— Тебе цемент нужен?

Шохов оборвал речь и, удивленный, кивнул.

— Тебе толь нужна? — настаивал старик.

— Конечно!

— Тебе белила, гвозди, шурупы нужны, да? — Продавец будто испытывал своего клиента, уставясь в него блестящими глазами. — Если тебе все нужно, как же ты решил строить? Где ты хотел достать? А?

— Да кое-что у меня есть, — вразяжку произнес осторожный Шохов.

Ох уж этот Григорий Афанасьевич, опытный он был жук! Еще какой жук! Они тут, считай, два жука и встретились, понравившись друг другу. Потому что каждый угадал в другом себе подобного! Так-то! А мастер мастера, как рыбак рыбака, за сто верст чует.

Вот отчего старик зажегся, вот почему вдохновенно произнес по списку самые труднодоступные товары. И не такой Шохов человек, чтобы отказываться от добра, когда оно плавает прямо в руки. Строительство только начиналось, а запас, он вниз не тянет, он всегда своих денег стоит, если он есть.

Притушив азартный, едва ли не хищный блеск в голубых нахальноватых глазах, Шохов по возможности коротко, как покладистый и уважающий себя человек, произнес, что кое-что у него, конечно, есть, но... И тут он сделал многозначительную паузу, которая еще больше подчеркивала его простоту, покладистость и неуверенность. Действительно, посмотреть со стороны (он-то знал, как он выглядит), милый парень, добродушно-открытый, где он, такой миляга и скромница, что-то сможет достать?

— Будет тебе цемент! — воскликнул старик важно и хлопнул ладонью по прилавку, даже счеты подпрыгнули. — И другое тоже будет. Приезжай, дорогой. В конце месяца приезжай.

Старик ткнул пальцем в шапку и спросил как бы мимоходом, где такие красавицы продаются — небось в столице? А у него на старости лет как раз нет теплой шапки, а где возьмешь?

Шохов будто и не заметил намека и подтвердил, что это тоже проблема, да что сейчас не проблема?

Он расплатился за купленный замок, за другие товары и в конце, помедлив, прикупил ко всему одну чашечку гжельской работы. Понимал, что пустое чудачество — приобретать вовсе ненужные вещи, особенно же такие, как эта чашечка. Посмеиваясь над собой, он завернул ее в газетку и уложил в сумку.

Прощаясь со стариком, уже уходя, Шохов что-то вспомнил. Тут самое главное, как он понимал, надо было соблюсти и равные отношения, и неторопливость (что он и сделал), и тактичность по отношению к партнеру. Да, конечно же, он вспомнил только сейчас про этот незначительный разговор о шапке. Он-то лично своей шапкой несколько не дорожит и при случае искренне готов уступить ее хорошему человеку. Так он сказал почти на ходу, простецки улыбнувшись.

И продавец в ответ, показав сразу все золото зубов, воскликнул в порыве сердечности:

— Приезжай, дорогой! Все для тебя сделаю!

Они простились, довольные друг другом.

Выходя на старую, крытую булыжником площадь городка, Шохов оглянулся на торговый ряд с колоннадой по всему первому этажу, подпиравшей длинную стену монастыря. Действительно, в каком-то кино из чеховских времен он это все уже видел.

Сейчас он подумал, что день у него, несмотря на плохое начало с лесопилкой, вовсе не оказался пропащим. Откопать такой магазинчик со стариком — все равно что на асфальте найти золотой самородок. А без шапки он как-нибудь проживет. Тем более что шапка крышей дома ему обернется.

Если бы даже без пользы сиюминутной, все равно интересно было бы посидеть с таким стариком за бутылочкой вина и потолковать о жизни.

Перво-наперво он смастерил верстачок, приспособив его у задней стены избушки. Потом точило сделал. Самое что ни есть примитивное точило. Пробил в куске найденного песчаника дыру, вогнал туда ось с рукояткой, а внизу корытце для воды пристроил. Одной рукой крутит, другой держит инструмент. Время от времени инструмент в воду сует, смотрит, пальцем пробует, каково на бриткость.

Петруха взглянул, от досады крикнул.

— Чего же не сказал, я бы электрическое точило сделал!

Шохов снизошел до объяснения:

— Думаешь, если электрическое, значит, лучше? Электрическое, оно сталь сжигает. Электрическое, Петруха, создано для ленивых. А по мне, так лучше этого и не надо.

Тут же на глазах дружка наточил он топор. Пальцем тронул лезвие, и палец будто приклеился, прилепился.

— Чуешь, Петруха, когда кожа к острию липнет, это и есть вострота! А для пилы милей всего, Петруха, обыкновенный напильник. Если напильником не пережимать, то все будет нормально.

Шохов ровнехонько, не надавливая сильно, каждый зуб с одного бока наточил и разводкой в стороны разогнал, вприщур, как прицеливаясь, глазом вдоль зубьев развод выверил. Тоже с рубаночком помудрил. Вышиб клин, наточил нож и поставил на место. Потом на свет посмотрел, вымеряя, постукал молоточком, опять на свет посмотрел и остался доволен. Провел легонько по горбылю, и стружка золотая с шипеньем закрутилась. Хотел только испробовать, но рука, охочая до дела, привычно нашла свой режим, пошла и пошла работать, так что забылось обо всем. Опомнился он, когда темнота облапила со всех сторон, работу прикрыла.

Теперь каждый вечер, а вечера все длинней, все светлей становились, Шохов, возвратясь домой, занимался подготовкой досок. Пилил по мерке, строгал, шкурил и ровной стопочкой по счету тут же, возле задней стены избушки, складывал. Он все считал.

А в начале апреля лиственничные стулья поставил — то же, что фундамент для будущего дома. Петрухе пояснил, что листвяк вечен,

он от воды не гниет, а даже крепче становится. Листвяк этот он при-смотрел возле ручья, когда гулял. Уж сколько он тут пролежал без надобности, не считалось. Кожа на нем пожухла и облезла, гладкую древесину обнажила. А Шохов как увидел листвяк, снег счистил, перчаточку не жалеючи, досуха оттер и сразу убедился, что листвяк этот старый, он посинел от лежания. А это уж точный признак, что будет он держать крепче камня, потому что напитан тяжелой смолой, а смола — из категории вечных. Когда измерил до сантиметра, позвал Петруху. Двуручной пилой, которая даже не звенела, а журчала, так была наточена, отсекали они двенадцать чурок по сто тридцать сантиметров каждая. Потом Шохов изготовил носилки, и на тех носилках они отнесли чурки на рабочую площадку.

Еще одно новшество придумал неумный Шохов. От избушечки к месту будущего дома проложил деревянный, в две доски, скрепленные поперек, тротуарчик, им самим прозванный лавицей. А по этой лавице на тачке, тоже им смастеренной, стал перевозить материал. Петруху же после разметки попросил вырыть ямы для ступьев. Петрухе вообще доставалась самая черновая, бездумная работа. Но он и не роптал. Он понимал, что со своей неуклюжестью в строительном деле на большее он никак претендовать не может. Тут Шохов — король (и свое доказал!), а он как бы подпасок.

После нескольких поездок Шохова в Новожилов на склад, даже на лесосплавной участок стало окончательно ясно, что избняка добротного, ни кондового красного, ни полукрасного и никакого другого, даже прозванного (с брачком, значит), им не достать. Да и денег не хватит. Решено было строить засыпуху. Но обвязку сделать из бруса, чтобы в перспективе можно было и стены замесить на рубленые. Шохов был верен себе.

А вот с кирпичом им прямо-таки повезло. Его удалось достать по государственной цене, восемьдесят один рубль за тысячу, буквально вырвав из-под носа какого-то нерасторопного заказчика на базе. И хоть, по оценке Шохова, не очень добро был испечен тот кирпич, если по дороге рассыпался от одной тряски, все же лучше, чем ничего. А самому сейчас домашний заводик оборудовать рук бы не хватило.

Тракторист, который взялся перевезти кирпич, двадцатилетний, цыганского вида парень, содрал с Шохова втридорога, поясняя, что везти-то надо без дороги, по снежной целине да к черту на кулички. Шохов и сам соображал, что не автодром тут, но поторговался для порядка и, на удивление, что-то выторговал.

Пока разгружался кирпич, шустрый тракторист внимательно прочитал дощечку, воткнутую неосмотрительно нашими друзьями. Видно, смекнув, что здесь, за Вальчиком, заваривается необычное дело, походил по площадке, все время возвращаясь к дощечке и раздумчиво над ней посвистывая. Потом сел на свой трактор и, ни слова не сказав, укатил.

К вечеру того же дня он объявился снова. Опять же молчком вынул из кабины фанерку с колышком и воткнул ее метрах в двадцати от их участка. На фанерке чернильным карандашом наискось чуть коряво было написано: «Мое место. Самохин Вася».

Надо сказать, что эта самозваная, самовольная, прямо-таки хамская фанерка вызвала в Шохове противоречивые чувства.

С одной стороны, стало понятно, что в одиночестве они не останутся, стоило, как говорят, начать, а там пойдет. Но с другой — как-то было обидно, что вот приехал пацан от горшка два вершка и запросто, без всяких там переживаний и раздумий, не посчитав за честь поговорить с ним, Шоховым, или для виду посоветоваться, словно на каком-то Клондайке застолбил себе участок.

Шохов подошел к фанерке и на глазах новоявленного Васи

Самохина выдернул ее и закинул в снег. В другой раз, мол, будешь знать, как самовольно здесь распоряжаться.

Закинул и встал, глядя впрямую на тракториста. И тот стоял, переводя задумчивый и вовсе не сердитый взгляд с того места, куда улетела фанерка, на разозленного Шохова и обратно. Он уже сообразил свою промашку и, кажется, был в некоторой растерянности, что же предпринять. Спорить ли, драться или кончить дело миром.

— Помешала тебе, да? — спросил, заикаясь, он.

— Помешала.

— Чем же тебе помешала? Места, что ли, мало?

— Мало.

— Чего оно, купленное тобой, место-то?

— Купленное, — сказал уверенно Шохов, и его глаза голубые, глубокие стали тверды, как лед. — Я тут весь бугор арендую. У меня официальные права на него. А ты, если хочешь строиться, катись вон туда! — И он указал рукой в поле. — Отсчитай по спидометру три километра и втыкай свою дурацкую фанерку. Тебе, гражданин Самохин Василий батькович, с трактором все одно, километром дальше или километром ближе. Лично я считаю, что тебе надо километром дальше селиться.

В запале высказался Шохов и, не дожидаясь ответа, повернулся, направляясь к избушке. Он точно знал, что тракторист не посмеет ему перечить. Шохов умел пустить пыль в глаза. Особенно же Васю Самохина добило обращение к нему как бы казенное, предостерегающее, когда произносили его фамилию и имя, присовокупив слово «гражданин».

— Эй, постой! — крикнул он вслед Шохову. — Чего я отдельно стану? — произнес миролюбиво, когда Шохов повернулся полубоком. — Ты не сердись, слышь, за мной не пропадет. Я тебе помогу материалы перевезти. И хочешь, опилок натащу для засыпки. Их в «Золотом дне» целая гора, этих опилок.

Шохов помедлил, строгим взглядом измерил тракториста с ног до головы. Тем же непререкаемым тоном очень холодно произнес, что он подумает, а опилки пусть тот привезет. Шесть машин на засыпку и три на завалинку.

— А там посмотрим, — добавил он уходя.

И пошло с того момента, тут уже и сам Вася Самохин помогал, что каждый новый поселенец не смел ступить на Вальчик, не испросив разрешения у Шохова. А иные считали законным принести для «прописки» бутылку коньяка или другой подарок. Шохов от подарков не отказывался, чем вызвал полное возмущение Петрухи. Тот даже скандал закатил, но Григорий Афанасьевич остался непреклонен в данном вопросе. Свою правоту он объяснил просто:

— Нельзя, Петя, идти против народной традиции. Люди хотят меня вознаградить за мою идею. Почему же не пойти им навстречу? (Можно отметить, что Шохов упустил, что идея-то поселиться здесь была не его, а скорее Петрухина, но об этом как-то уже и не вспоминалось.) А что касается, — продолжал он, — всех поселяющихся, то это необходимо и просто для контроля: не со всяким же пришлым захочется тебе жить в соседстве? Кого подальше можно отодвинуть, а кого поближе. Да и сами поселенцы должны чувствовать, что существует тут общий порядок, а не какая-нибудь анархия!

Многое мог бы ему тогда сказать Петруха. Одна беда, одна нужда всех их свела за Вальчиком, и не надо изображать из себя власть и наводить, как говорят, тень на плетень.

Но Петруха к тому времени уже немного разобрался в своем товарище, в стиле его жизни.

В общем, поговорили наши друзья, а традиция-то узаконилась

и осталась. Дощечку же Васи Самохина, который на первых порах загорелся постройкой своего дома и даже кое-какой материал завез, а потом охладел и раскочался лишь к середине лета, Шохов несколько раз переносил с места на место. Все оттого, что планы его по мере строительства менялись, и он опасался, что будущий сосед при всей своей нынешней выгодности поджал бы будущий участок самого Шохова.

Брошенное же попутно замечание тракториста по поводу «Золотого дна» Шохов не пропустил мимо ушей. При первом же случае посетил это место и пришел в полный восторг!

Еще бы, представьте свалку, которая протянулась вдоль дороги, идущей от города к станции на несколько километров. Но какую свалку! Прозванная в народе «Золотым дном», она многожды оправдывала свое название. Все здесь было. Доски опалубочные, опилки, обрезы дерева, обломки кирпича, пластик, известь, бетонные плиты, трубы асбестовые, радиаторы отопительные, целые газовые плиты, помпеты или бракованные, какие-то ящики, ведра, тележки, электропровода, патроны для ламп и сами лампы, всяческая электрическая мелочь, выброшенная мебель с инвентаризационными номерами... И многое-многое другое.

У Шохова при виде всего этого пропадающего добра голова пошла кругом. Он будто ошалел от радости, накинулся, стал хватать что ни попадя. Но, опомнившись, он решил действовать осмотрительно, тем более что никто ему не мешал и никаких конкурентов поблизости не наблюдалось. Только мальчишки бегали невдалеке и барабанили палками по железяке, издавая глухой звук: бум, бум, бум.

Шохов, уже не торопясь, одергивая и сдерживая себя, пошел вдоль дороги, засекая все, что могло бы ему пригодиться, и снося это к обочине. К вечеру у обочины высилась приличная горка из разных, очень несоразмерных предметов.

Тут были горбыль и дерматин, стулья и бачок для питья вместе с кружкой, которая так и осталась висеть на цепи. А вот массивный железный бак, как раз по нему барабанили хулиганившие ребята, предназначавшийся Шоховым для душа (какой же дом без душа!), он в одиночку не смог дотащить до дороги, уж больно оказался тяжелым. С помощью Самохина, его трактора, все это и многое другое Шохов переволок на участок и рассортировал по степени необходимости. Ведра и другие емкости отложил в одну сторону, горбыль, дерматин и пластик — в другую. А еще провода, патроны, штепсели, разъемы и лампочки сложил в особый ящик и написал на нем слово «электро». В другом таком же ящике уже давно хранился весь инструмент Шохова, кроме шурупов и гвоздей, для них он сколотил переноску с ручкой.

А вот мебель, два деревянных стула, сломанное кресло, которое починить не составит особого труда, и тумбочку прямо-таки с засохшей буханкой хлеба, которая там оказалась, он положил на чурбачки и накрыл клеенкой, тоже найденной на свалке.

Ах, «Золотое дно»!

При воспоминании о свалке Шохов даже спать перестал спокойно и каждый свободный час проводил там то ранним утречком, до работы, а то и после нее, наведываясь столь же аккуратно, как на службу. По нему можно было бы засекаать время.

Отсюда он, теперь уже в одиночку, приволакивал на участок то колесико для тележки, то трубу, или балочку, или ведро извести (не только известь, но и ведра сгодятся, хотя этих ведер он собрал не меньше десятка), здесь же нашел он лопату в хорошем состоянии, совковую, и грабли.

Петруха не без тихого изумления поглядывал на все разрасставшуюся груду добра, сложенную малыми и большими кучками,

Шохов вроде бы догадывался, что он мог ему сказать, хоть пока и не говорил. И слава богу, потому что выяснять отношения ему никак не хотелось, особенно же в такой ответственный момент, как начало стройки. Вот когда построятся, тогда живи как кому вздумается. Не в этом ли, в общем, и заключалась Петрухина философия, по разумению Шохова?

А сейчас все у них едино, они совместным расходом на стройматериал повязаны так, что не разорвешь: никуда друг без друга.

Время от времени Шохов навевывался в свое общежитие. Два раза переночевал, чтобы никто не мог его упрекнуть, что он там не живет. Но вскоре и сам убедился, что никто под него и его койку особенно не подкапывался. Многие из числившихся ночевали у родителей, у приятелей, но чаще у женщин. Коечку берегли на случай, если понадобится справка на очередь для получения квартиры. Возможно, так и посчитали, что завел он себе в городе подружку и ночует у нее.

Шохов в объяснения не пускался, но предположения о подружке не отвергал. Пусть каждый думает что хочет. Среди всех в этом общежитии Шохов ближе всего стоял, по его разумению, к своей — но какой! — квартире.

О ней, кроме Петрухи да находчивого Самохина, знал еще только один человек: жена Тамара Ивановна. Почта от нее шла на «до востребования», которую Шохов получал в городском отделении связи.

Сюда он приходил раз в неделю, потому что Тамара Ивановна именно раз в неделю с необыкновенной аккуратностью писала ему письма. Почерк у нее, почерк учительницы начальных классов, был чистый, ровный, без единой помарки и очень нравился Шохову. Тамара Ивановна сообщала новости о Набережных Челнах и ходе работы на КамАЗе, где все после пуска конвейера переместилось на пуск строящейся гидростанции. Писала о знакомых, которых она изредка на улице встречала.

Но ни разу не упомянула Третьякова. Хотя именно дела Третьякова больше всего и интересовали Шохова.

Чаще всего писала жена о сыне Володьке, который учится так себе и лентяй порядочный. Уже научился прятать дневник, а недавно в драке разбили ему нос и пришел он весь в крови. О себе Тамара Ивановна ничего не писала, и писать, как она считала, было не о чем. Только в конце письма не забывала сказать несколько грустных слов, что она любит своего Шохова, и верит в то, что он задумал, и очень по нему скучает. Вспоминает его морщинку на переносице и целует его в эту морщинку. Но теперь, как она понимает, ждать осталось недолго. Только закончится учебный год — и она приедет. Пусть дом не будет завершен, ей все равно. Она готова доски носить и хоть чем-нибудь помочь своему Шохову. Она решила, и так, надеется, и будет.

Нельзя утверждать, будто Шохов не испытывал угрызений совести за долгую разлуку. И Петруха, который знал в подробностях всю его историю, однажды сказал, что нельзя так жить, что семья на расстоянии не может быть крепкой.

Петруха сказал и перевел разговор на себя, упомянув, что лично он когда-то провинился перед своей семьей. И теперь несет за это наказание.

— Ты изменил с другой женщиной? — спросил быстро Шохов. Это был, в общем-то, первый случай, когда Петруха едва приоткрылся.

— Я полюбил другую женщину, — сказал виновато Петруха. — Но, знаешь, я любил и свою жену. И я скрыл от нее мою связь. А потом все обнаружилось, лучшие друзья продали, и я ушел. В общем-то, я потерял всех, и жену и ту, другую... Но сам и виноват. Сам и плачу.

и осталась. Дощечку же Васи Самохина, который на первых порах загорелся постройкой своего дома и даже кое-какой материал завез, а потом охладел и раскачался лишь к середине лета, Шохов несколько раз переносил с места на место. Все оттого, что планы его по мере строительства менялись, и он опасался, что будущий сосед при всей своей нынешней выгодности поджал бы будущий участок самого Шохова.

Брошенное же попутно замечание тракториста по поводу «Золотого дна» Шохов не пропустил мимо ушей. При первом же случае посетил это место и пришел в полный восторг!

Еще бы, представьте свалку, которая протянулась вдоль дороги, идущей от города к станции на несколько километров. Но какую свалку! Прозванная в народе «Золотым дном», она многожды оправдывала свое название. Все здесь было. Доски опалубочные, опилки, обрезы дерева, обломки кирпича, пластик, известь, бетонные плиты, трубы асбестовые, радиаторы отопительные, целые газовые плиты, помятые или бракованные, какие-то ящики, ведра, тележки, электропровода, патроны для ламп и сами лампы, всяческая электрическая мелочь, выброшенная мебель с инвентаризационными номерами... И многое-многое другое.

У Шохова при виде всего этого пропадающего добра голова пошла кругом. Он будто ошалел от радости, накинулся, стал хватать что ни попадя. Но, опомнившись, он решил действовать осмотрительно, тем более что никто ему не мешал и никакие конкурентов поблизости не наблюдалось. Только мальчишки бегали невдалеке и барабанили палками по железяке, издавая глухой звук: бум, бум, бум.

Шохов, уже не торопясь, одергивая и сдерживая себя, пошел вдоль дороги, засекая все, что могло бы ему пригодиться, и снося это к обочине. К вечеру у обочины высилась приличная горка из разных, очень несоразмерных предметов.

Тут были горбыль и дерматин, стулья и бачок для питья вместе с кружкой, которая так и осталась висеть на цепи. А вот массивный железный бак, как раз по нему барабанили хулиганившие ребята, предназначавшийся Шоховым для душа (какой же дом без душа!), он в одиночку не смог дотащить до дороги, уж больно оказался тяжелым. С помощью Самохина, его трактора, все это и многое другое Шохов переволок на участок и рассортировал по степени необходимости. Ведра и другие емкости отложил в одну сторону, горбыль, дерматин и пластик — в другую. А еще провода, патроны, штепсели, разъемы и лампочки сложил в особый ящик и написал на нем слово «электро». В другом таком же ящике уже давно хранился весь инструмент Шохова, кроме шурупов и гвоздей, для них он сколотил переноску с ручкой.

А вот мебель, два деревянных стула, сломанное кресло, которое починить не составит особого труда, и тумбочку прямо-таки с засохшей буханкой хлеба, которая там оказалась, он положил на чурбачки и накрыл клеенкой, тоже найденной на свалке.

Ах, «Золотое дно»!

При воспоминании о свалке Шохов даже спать перестал спокойно и каждый свободный час проводил там то ранним утречком, до работы, а то и после нее, навеваясь столь же аккуратно, как на службу. По нему можно было бы засекаать время.

Отсюда он, теперь уже в одиночку, приволакивал на участок то колесико для тележки, то трубу, или балочку, или ведро извести (не только известь, но и ведра сгодятся, хотя этих ведер он собрал не меньше десятка), здесь же нашел он лопату в хорошем состоянии, совковую, и грабли.

Петруха не без тихого изумления поглядывал на все разрастающуюся груду добра, сложенную малыми и большими кучками,

Шохов вроде бы догадывался, что он мог ему сказать, хоть пока и не говорил. И слава богу, потому что выяснять отношения ему никак не хотелось, особенно же в такой ответственный момент, как начало стройки. Вот когда построятся, тогда живи как кому вздумается. Не в этом ли, в общем, и заключалась Петрухина философия, по разумению Шохова?

А сейчас все у них едино, они совместным расходом на стройматериал повязаны так, что не разорвешь: никуда друг без друга.

Время от времени Шохов навещался в свое общежитие. Два раза переночевал, чтобы никто не мог его упрекнуть, что он там не живет. Но вскоре и сам убедился, что никто под него и его койку особенно не подкапывался. Многие из числившихся ночевали у родителей, у приятелей, но чаще у женщин. Коечку берегли на случай, если понадобится справка на очередь для получения квартиры. Возможно, так и посчитали, что завел он себе в городе подругу и ночует у нее.

Шохов в объяснения не пускался, но предположения о подруге не отвергал. Пусть каждый думает что хочет. Среди всех в этом общежитии Шохов ближе всего стоял, по его разумению, к своей — но какой! — квартире.

О ней, кроме Петрухи да находчивого Самохина, знал еще только один человек: жена Тамара Ивановна. Почта от нее шла на «до востребования», которую Шохов получал в городском отделении связи.

Сюда он приходил раз в неделю, потому что Тамара Ивановна именно раз в неделю с необыкновенной аккуратностью писала ему письма. Почерк у нее, почерк учительницы начальных классов, был чистый, ровный, без единой помарки и очень нравился Шохову. Тамара Ивановна сообщала новости о Набережных Челнах и ходе работы на КамАЗе, где все после пуска конвейера переместилось на пуск строящейся гидростанции. Писала о знакомых, которых она изредка на улице встречала.

Но ни разу не упомянула Третьякова. Хотя именно дела Третьякова больше всего и интересовали Шохова.

Чаще всего писала жена о сыне Володьке, который учится так себе и лентяй порядочный. Уже научился прятать дневник, а недавно в драке разбили ему нос и пришел он весь в крови. О себе Тамара Ивановна ничего не писала, и писать, как она считала, было не о чем. Только в конце письма не забывала сказать несколько грустных слов, что она любит своего Шохова, и верит в то, что он задумал, и очень по нему скучает. Вспоминает его морщинку на переносице и целует его в эту морщинку. Но теперь, как она понимает, ждать осталось недолго. Только закончится учебный год — и она придет. Пусть дом не будет завершен, ей все равно. Она готова доски носить и хоть чем-нибудь помочь своему Шохову. Она решила, и так, надеется, и будет.

Нельзя утверждать, будто Шохов не испытывал угрызений совести за долгую разлуку. И Петруха, который знал в подробностях всю его историю, однажды сказал, что нельзя так жить, что семья на расстоянии не может быть крепкой.

Петруха сказал и перевел разговор на себя, упомянув, что лично он когда-то провинился перед своей семьей. И теперь несет за это наказание.

— Ты изменил с другой женщиной? — спросил быстро Шохов. Это был, в общем-то, первый случай, когда Петруха едва приоткрылся.

— Я полюбил другую женщину, — сказал виновато Петруха. — Но, знаешь, я любил и свою жену. И я скрыл от нее мою связь. А потом все обнаружилось, лучшие друзья продали, и я ушел. В общем-то, я потерял всех, и жену и ту, другую... Но сам и виноват. Сам и плачú.

— У тебя были дети?

— Почему были? — возразил Петруха. — Они у меня есть. Это меня у них нет. Да ладно, — добавил он, будто уже сожалея о затянном разговоре.

Никогда он так много о себе не рассказывал. Единственный раз, и все оттого, что ему жалко стало Шохова.

Однажды и Шохова прорвало. Настроение было такое. Тут же на почте написал размашисто и быстро о том, что жизнью своей он недоволен. Хотя никого не винит, сам виноват. «Встретил я старика на Ангаре, он лодки умел строить. Я мотал по стране, а он строил свои лодки. Можно и утешиться, я тоже кое-что построил за это время. Но спроси сейчас в Усолье, в Перми, в Челнах: кто меня там помнит? Никто, пожалуй. А вот старик, он единственный такой в своем колхозе, и без него не было бы лодок. Вот о чем я думаю все время. С Петрухой обсуждаю. Человек должен жить в одном месте, как камень, мхом обрастать. Не только окружающим, но и самому про себя знать охота, что без тебя не обойдутся. А так покудова и останется от меня одна трудовая книжка. А что в ней по-настоящему можно узнать? Что я, деревенской закваски человек, сковырнулся из своего Васина да и покатился как под гору не в силах нигде остановиться?»

Писал Шохов и про дом, что не все сходится и денег, к примеру, не хватило. Все потратил, еще и у Петрухи прихватил. Он чокнутый парень, но к деньгам, по его собственному выражению, индифферентно относится, отдал все что имел. Побольше бы таких приятелей, а то прежде все попадались иные, что норовили сами кусок оторвать...

В конце ставил вопрос, как говорят, в лоб: верит ли в него еще Тамара Ивановна или настолько разуверилась, что не ставит его в грош и отвечает на письма по одной свойственной ей жалости? Тогда лучше уж пусть совсем забудет и начнет жизнь так, как ей захочется. Он ей мешать не будет. Только Вовку жалко. Без Вовки он жизни своей не представляет. Да уж какая у него жизнь — жестянка...

Многажды возвращался он к тому скороспелому письму. Терзал себя за оплошку, написать новое письмо не решился.

И Тамара Ивановна молчала.

Наконец в начале апреля, когда не думал, не чаял, ответ пришел. Ничего не было в письме особенного, и написано обо всем чисто, без помарок, прозрачным, как морская водица, почерком. Шохов в нетерпении на почте пробежал глазами и нашел, что хотел найти. Тамара Ивановна ровно отвечала, что она никогда не считала, что может удержать своего Шохова силой, только пусть напишет он всю правду, а не ссылается на усталость и невезение. Если появился кто-то в его жизни, она поймет и перестанет ему писать. В смысле же своих собственных чувств только одно написала: она тоже устала ждать. Устала быть без него, без дома, где существует мужчина. И все.

Шохов тут же, не выходя с почты, на обратной стороне бланка телеграммы написал скорый ответ.

Он написал, что хоть Тамара Ивановна не упоминает о своих чувствах, но само письмо, которое она прислала, говорит о том, что она его любит. «Я знаю, — писал он, — что быть любимым приятней и легче, и я это уже пережил, потому что всегда понимал и чувствовал, что ты меня любишь. Но теперь я могу сказать твердо, что я тебя люблю сильно. Петруха где-то вычитал, что, мол, сильные люди предпочитают любить, а слабые — быть любимыми. Но я вовсе не считаю себя слабым, я хочу и умею любить. Поверь мне, и ты поймешь это сама».

В те самые дни начала апреля, очень солнечного, теплого, теплей, чем обычно, по отзывам старожилов, они с Петрухой в присутствии Самохина поставили лиственничные стулья, бросив под один из них несколько серебряных монет и кусок шерстяной тряпки: для богатой и теплой жизни. Шохов был убежден, что так оно и будет. Не оттого, что верил в приметы, внутреннее чувство удачи не покидало его больше в этот год ни разу.

То же и на водозаборе.

Деньги к деньгам, а удача, она полосой ходит. Как и неудача. Потому, наверное, к везухе в домашних делах уверенно прибавлялась везуха служебная. Впрочем, и здесь Григорию Афанасьевичу пришлось вначале повозиться.

Практичный Шохов не пожалел ни сил, ни времени, чтобы наладить хорошие отношения со смежниками, парнями из Спецмонтажа. Специалисты там «перший класс», всем известно. Но народ норовистый, гордый. Если невзначай на большую мозоль наступишь, долго помнить будут. Тогда, считай, пропал план, пропала и работа.

Да и второй смысл был в таких отношениях: при случае известно, кого перетянуть, пообещав поприбыльней кусок, а кого задобрить или даже припугнуть.

И у городских строителей удалось Шохову увести толкового механика и толкового бульдозериста, даже не одного, а двух, но второй, несмотря на высокую квалификацию, оказался алкашом, и с ним пришлось расстаться.

Опять же не без понимания запросов с первых дней на объекте Шохов пробил торговую точку, то есть буфет, где рабочий человек мог бы перекусить, попить чай. И хоть невыгодно было орсу иметь лишнюю единицу вдали от города, где ничего пока и не было, Шохов не поспешил с обещаниями и умасливаниями, но своего добился. Он знал, что такое буфет на стройке. Люди сыты, но это полдела. Буфет — это атмосфера надежности и стационара. А вот когда он добьется еще, чтобы в буфет привозили дефицитные сосиски, кур и прочее (а он потом добился!), будет людям что и домой отвезти и соседям похвалиться: у нас, мол, на водозаборе этого добра сколько хошь! И станет понятно: на водозаборе — хозяин, на водозаборе — порядок. Надо съездить посмотреть, как там насчет работенки. Вот что предугадал Шохов, и это оправдалось.

Теперь можно бы и успокоиться: и люди сыты и дело идет. Но Шохов велел построить конторку, одну часть которой приказал отгородить для общепита: для тех, кто захочет отдохнуть, не уезжая домой. Известно, сколько нервов отнимает дорога. А коли человек без нервов отдохнул, он и работать станет лучше. Все это как бы микроусилия, и результат не столь очевиден, но Шохов знал, что он есть, результат. И потому за конторкой против дороги, освободив на пару дней бульдозер, приказал разровнять поляну и поставить турник, футбольные ворота и сделать из чурочек городки. Мяч он пока купил на свои деньги.

Обратившись к дороге, которая была в ужасном состоянии, и отсыпав сколько хватало сил гравия и песка, Шохов приказал отмечать водителям по два рейса за один. Приписки, скажете, конечно. Только приписки припискам рознь, и уж если точно сформулировать, то назвать это нужно иначе: компенсация. Без нее отвратило бы опытных водителей от его участка уже на второй день, и попробуй потом переломи их настроение. Кто сможет учесть все колдобины и провалы, где тяжелому «КрАЗу» впору оставить колеса с кузовом?

Все это обернулось Шохову добротным стройматериалом, металлом, бетоном и другими радостями. А те, кто поленивей и помедленней на реакцию, к тому времени, как у Шохова работа кипела, только жалкие остаточки подбিরали.

Как-то заехал к Шохову на объект управляющий трестом и не без изумления оглядел площадку. Дело было к вечеру, рабочие, оставшиеся ночевать, гоняли мяч по площадке, шумно кричали у городков. Кто-то наяривал на гармошке. Мимо прошагал один из механиков с сеткой, полной грибов. Проводил начальник треста грибы глазами и, покачав головой, произнес только:

— Ну, Шохов, даешь.— Потом добавил: — Смотри, чтобы твои футболисты на объекте так же активничали!

— Будут,— отвечал Шохов, понимая, что начальник одобрил его действия тоже.

Более того, Шохов был уверен, что заболеет он завтра, водозабор еще месяц-другой по инерции будет гладко катиться и не споткнется. Важно было его с нуля, с фундамента правильно начать. А кривое основание никогда не даст прямого дома.

У Шохова всегда перевыполнение, всегда премиальные. И люди к нему потекли, и специалисты стали за него держаться, и механизаторы, крановщики да механики не глядели на сторону — куда бы, мол, махнуть. От добра добра не ищут. Хоть объект в лесу, неудобный, словом, ни раньше уйти, ни налево скальмить, а недостаток-то объекта Шохов в достоинство превратил. Охота, да ребалка, да грибы — все твое, только дело знай.

К тому же, чтобы не бегать за каждой деталью на склад или в город (кто имел дело с запчастями, тот знает, сколько они отнимают сил, и времени, и нервов), Шохов через два месяца свои мастерские организовал. Это было потрудней, чем буфетик у орсовского начальства выкорябывать. Навесик, а потом и зданьце построить было нетрудно. А вот оборудование, станочки разные пришлось поискать. Где из списанного притащил, где ловкостью брал, он и Петруху привез как-то на водозабор и попросил неполадки устранить, и тот разобрался и все, особенно касающееся электричества, наладил. Особенно запомнилась историйка с японским фрезерным станком. Шохов его на складе, во дворе, под масляной бумагой обнаружил. И ублажил кладовщика. В стройтресте лишь ахнули, но обратно забрать не смогли. И хоть матюгнули Шохова на каком-то очередном производственном собрании, но в коридорчике произнесли с уважением: «Шохов — хозяин! И палец ему в рот не клади!»

Сейчас уже невозможно вспомнить, когда дед Макар появился в Новом городе, в конторе Гидропроекта, куда его направили работать. Однако же все помнили, что появление деда Макара в отделе не осталось незамеченным хотя бы потому, что самому старшему работнику здесь едва исполнилось сорок лет, а большинству инженеров и того меньше, и вдруг появился человек пенсионного вида, в темном костюме и в золотом пенсне.

Про деда Макара тогда толковали много. Разговоры были самые необычные. Так, рассказывали, к примеру, что в молодости это был очень удачливый молодой человек, которому прочили замечательную карьеру, он же, бросив все, уехал с экспедицией на Ангару и там, в глухих местах, прожил почти всю свою жизнь, работая в гидрогеологических партиях. Вернувшись в Москву, построил себе кооперативную однокомнатную квартиру, но вдруг оставил ее, переписав на дочь, только что вышедшую замуж, а сам приехал в Новый город и поселился в общежитии. Говорили, что старик привез с собой всего рюкзак вещей и какую-то странную машину с ручным приводом, которая воспроизводит Солнечную систему и вращает планеты. Будто бы дед Макар с молодости разрабатывал теорию электрического происхождения Земли и влияния планет друг на друга.

Больше всего болтали о его квартире, которую он смог так легко оставить, пусть и дочери, чтобы уехать в свои шестьдесят с чем-то лет в необжитый северный район и начать сызнова.

Люди народ малoverный, но однажды рассеянный дед Макар оставил на своем рабочем столе письмо дочери и его случайно прочли. Содержание письма моментально стало известно всей конторе, от заведующего группой рабочего проектирования Леонида Тарасовича до учениц-чертежниц, набирающих в коридорных разговорах рабочий стаж перед поступлением в институт.

Дочка писала, что они с мужем после отъезда деда Макара привели подаренную им квартиру в относительный порядок, сделав очень дорогой ремонт («Сейчас все так дорого»), и теперь заняты поисками приличной мебели, финской или же югославской. Они побывали в Доме мебели в Медведкове и видели там прекрасные гарнитуры: «Капри», «Весну», «Рицу» и другие,— но такая на них очередь, что стоять надо много лет. Дочь спрашивала, нет ли возможности что-нибудь подобное достать у них в Новом городе, так как, по их сведениям, самые хорошие дефицитные товары гонят именно на БАМ и другие северные стройки. Многие их приятели именно оттуда привозят или получают по почте кожанки и дубленки.

В конце дочь писала: «Твои знакомые до сих пор продолжают нам звонить, а некоторые спрашивают, почему ты все-таки уехал, и даже считают нас косвенной причиной твоего отъезда. Я отвечаю всем одно: что, конечно, мы тебя не гнали и ты сам захотел посмотреть север, но и ничего противоестественного не видим в том, что ты нам отдал квартиру. Кто же нам поможет, кроме тебя? Вы пожилы, как говорят, а мы только начинаем, и, возможно, нам это важнее. Некоторые называют такое эгоизмом, но сейчас так поступает большинство, а мы никакое не исключение. Мы ценим то, что ты для нас сделал. Кстати, мы здорово потратились на ремонт, и если у тебя найдутся деньги, пришли, пожалуйста, со временем мы тебе отдадим. Насколько я понимаю, у тебя никаких особых трат и нет кроме как на питание. А как у вас с продуктами? Целую тебя, родной. Нина».

Нельзя сказать, что, познакомившись с письмом, о чем дед Макар, естественно, не догадывался, все сразу же полюбили или даже зауважали его. Ничего подобного. Деда посчитали чудачком и соответственно к нему относились. Но надо учитывать, что большинство работников конторы составляли женщины. Они не могли не понимать, что означал такой поступок, как подаренная дочери квартира. Осуждая его дочь, они сходились на том, что пусть дед Макар и чудак и малопрактичный человек, но все-таки он человек добрый. А доброта, да еще в таком идеальном виде, большая редкость в наше время.

Сделав такой вывод, опять же все в конторе, от молоденьких чертежниц до инженеров, вовсе не переставали эксплуатировать дедовскую доброту. Наоборот, почувствовав безотказность деда, они шли к нему кто за трешкой и за пятеркой, кто с просьбой сходить за него на воскресник, или же подтянуть горящую работу, или остаться на вечер и прикрыть молоденькую маму, сбежавшую с работы пораньше в детский сад... И все остальное в том же духе.

Дед Макар неизменно исполнял просьбы и никогда, ни одним намеком не проявил своего хотя бы случайного недовольства.

Станный он человек, к этому сходились все.

Но женщины и жалели его. И ухитрялись каким-то образом взять в стирку его вещи или компенсировать свое беспардонство в других делах.

Только об одной беде старика никто не знал в конторе. Именно о том, что однажды в его отсутствие молодые ребята из обще-

жития, подвыпив, решили покрутить забавную машинку с планетами и докрутили ее до того, что вся она разлетелась по частям. Дед Макар и тут остался вполне человеком. Он никому не пожаловался и даже ребятам не стал выговаривать. Он сложил растерзанную машинку в чемоданчик и, прижимая его к груди, будто в нем находилось больное существо, принес в мастерскую. В мастерской подобных машинок не выдывали и, осмотрев ее, в ремонте отказали. Впрочем, кто-то произнес, что машинку сможет сделать в городе только один человек, а работает он в телевизионном ателье в центре города.

Так свела жизнь деда Макара и Петруху.

Петруха, подобно предыдущему мастеру, осмотрел машинку, ухмыльнулся, потому что кинематика оказалась настолько хитрой, что сразу понять ее было невозможно. Это и решило судьбу старика.

— Приходите за Вальчик, я живу в избушке, там увидите... А машину я беру с собой. Что-нибудь придумаем,— сказал Петруха.

В воскресенье дед Макар появился на участке между избушкой и новостройкой.

Зарыв в землю стулья, Шохов и Петруха делали разбивку, натягивая шнур по диагонали, чтобы был правильный угол.

Шохов пояснял:

— Бечева натягивается наискосок между угловыми стульями, чтобы одна диагональ равнялась другой, понимаешь? Потом главное — это нулевая горизонтальная отметка. Берем высокую точку. — Шохов так и сделал, вбил гвоздик в один из листвяков, он же стул, и продолжал: — Стул у нас торчит примерно на сорок сантиметров. Теперь выравниваем шнуром по уровню (вишь, пузырек на середине) к следующему стулу... Так от стула к стулу. Теперь по шнуру так же вбиваем промежуточные, поддерживающие, стулья. А дальше обвязка, или основание, дома. Брус по четырем угловым стульям соединяется в лапу. Это когда концы бревен врезаются без остатка. А то еще можно в обло, там, наоборот, концы торчат наружу.

— А когда ты каменный дом в городе возводишь, неужто и там веревочкой? — наивно спросил Петруха, удивляясь такой странной и вроде бы примитивной технике.

— Нет,— терпеливо ответил Шохов.— Там существуют нивелиры и прочая техника. Но издревле делали-то люди, как мы с тобой, и дома, как ты знаешь, не скошены и стоят до сих пор. А уж сколько прошло!

— А наш сколько простоит?

Шохов задумался.

— Засыпуха-то немного. Лет тридцать простоит, пожалуй.

— На наш век хватит! — воскликнул простодушный Петруха.

Шохов его радости не поддержал.

— Что такое тридцать лет? — произнес он.— Мы заменим тес на бревна, он все сто будет стоять.

— А зачем тебе сто лет? — спросил Петруха.

До чего же непонятливый был он человек. Непонятливый, инфантильный, можно сказать. Как ему объяснить, что времянка — она и есть времянка, у нее и задача другая, и живешь в ней как во времянке. А Шохов надолго дом затеял, чтобы уверенно в нем жить. Чтобы все кругом знали, что вот поселился навсегда человек, и крепко своим хозяйством живет, и детям еще свое оставит. Чего же в нашем мире крепкого будет, если самое что ни на есть надежное и крепкое — дом, и тот некрепок окажется?!

Тут-то и влез в разговор наш дед Макар. Он, как пришел, присел на чурбачок и молчком сидел, слушал. Петруха был занят, и дед Макар тоже не торопился.

А теперь он влез в разговор, но очень деликатно влез, извиняясь на каждом слове и смущаясь своей нетактичности, потому что его-то здесь ни о чем и не спрашивали.

— Простите,— попросил он и даже приподнялся.— Простите, ради бога, если я вам помешаю. Но только я хотел вас спросить: вы действительно считаете, что дом, в том числе ваш дом, это самое надежное, что есть в мире?

Поскольку Шохов после таких слов уставился на деда Макара изучающе, но и с некоторым недоумением, потому что не заметил его прихода, то старик счел нужным добавить не без некоторой неловкости:

— Меня зовут Макаром Ивановичем, если позволите. Мы тут с Петром Петровичем договорились встретиться, я и пришел.

— Да ничего,— сказал Шохов, продолжая разглядывать странного деда, его длиннополое, очень старое пальто, его ботинки с галошами (сто лет не видел галош! неужто их еще продают?), шляпу, тоже несовременную, с большими полями и с кокетливым бантиком, и уж совсем из ряда вон выходящее — пенсне в золотой оправе и на шнурочке. Где он откопал пенсне в наше время?

Но не странное появление здесь фантастического деда, и не его дурацкая несовместимость с их собственной грязной одеждой, и даже не глупый вопрос вызвали в Шохове некоторое замешательство, а потом и враждебность.

Ему почудилось, хоть был он человек вовсе несуетливый, что приход деда сам по себе предвещал нечто неприятное и даже роковое. «Ну зачем он пришел?» — с каким-то непонятным ему самому отчаянием подумал Шохов, все так же разглядывая деда, который продолжал бормотать свои извинения.

Что-то отвечать было надо, и Шохов ответил, что зовут его Григорием Афанасьевичем и что он действительно считает, что дом в наше время — самое надежное, что может быть в мире.

— А что может быть надежней? — спросил он в свою очередь и напряженно, гораздо более напрягаясь, чем обычно, ожидал ответа.

— Так ведь простите, уважаемый Григорий Афанасьевич,— четко выговорил старик: ах, как Шохова уже раздражала эта идиотская манера непрерывно извиняться и четко произносить имя-отчество, что обличало в старике умение спорить доказательно и долго.— Как может дом в нашем современном мире быть надежным, если вдруг упадет атомная бомба и его не будет? Мы ведь все под бомбой живем,— добавил очень грустно старик.

— Войны не будет,— отрезал Шохов грубо, сам удивляясь своему тону.

— Может быть... Может быть...— согласился старик и сел на свой чурбачок, а полы его длинного пальто опустились прямо в грязь, он этого и не заметил.— Но, уважаемый Григорий Афанасьевич, ведь может случиться землетрясение, или, скажем, буря, или... пожар какой, вот вы и голы и ничего у вас нет, потому что дома-то нет. Ведь стихия, Григорий Афанасьевич, она неуправляема. Так или нет?

— Что же, значит, и строиться не надо? — опять же грубо и сердито спросил Шохов, вовсе уже не пытаясь сдерживаться и деликатничать с глупым стариком.

— Отчего же не надо? — закивал старик, его тоже никак не устраивал тон собеседника и его неприятное раздражение.— Надо строиться, надо. Вот я вам скажу, что я бы хотел иметь домик с огородиком, и возможно даже, что я куплю такой домик, если мне попадется!

— Покупайте нашу избу! — почти по-детски, непосредственно воскликнул Петруха, влюбленно глядя на старика. Ему-то дед Ма-

без вызова спросил, и Шохову не было неприятно любопытство старика, ведь разговор-то касался дома и замыслов вокруг этого дома.

— Может быть, баньку сделаю, как в деревне. Сарай опять же. Скотник еще. Погреб, конечно. Как же без погреба?.. Колодец...

Старик кивал согласно. Лишь Петруха с удивлением ловил каждое слово Шохова, потому что многое здесь было для него внове. Он и не подозревал, какой пышный замысел расцвел в голове его друга.

— А чего ж? — опять спросил старик вежливо и почти сочувственно. — В доме-то небось мебель красивую поставите, да? Ковры заведете?

— И мебель и ковры будут, — подтвердил Шохов. И, будто почувя неуловимый подвох, подозрительно посмотрел на старика. К чему все-таки он спрашивает и не пора ли оборвать его да и начать работать? Как говаривали в деревне, от шаты и баты не будем богаты. Говорителей много в наше время развелось, а дома-то они точно не построят, одни идеи у них, как за твой счет позабавиться да прожить. Он уже не о старике, он вообще подумал.

Но старик и без того понял, что время разговора истекло. Он встал, поклонился и произнес очень и очень вежливо:

— Спасибо за прекрасную беседу, многоуважаемый Григорий Афанасьевич. Вы мне все так замечательно и подробно объяснили. Спасибо, спасибо.

— Да не стоит, — пробормотал Шохов, чувствуя вроде бы вину за свою несдержанность.

— Нет, нет, преогромнейшее спасибо! Я, откроюсь вам, видел в городах подобный вам вид людей, мещанский вид, разумеется. Сейчас все так живут: интеллигенты, и продавцы, и всяческие высокие чины, разумеется. Все схватились за вещи, все приобретают! И думают, что в этом высшая истина.

— А разве в этом нет истины? — жестко произнес Шохов, глядя в упор на старика.

— Да, да! Вы должны так думать, все это правда. Я очень рад, что вы со мной искренни. Потому я и увидел в вас модификацию, подвид, что ли, понимаете, вы-то не мещанин, не чиновник, не зубной врач, вы же истинный рабочий, не так ли?

— Ну и что, что я рабочий? — спросил Шохов.

— Да вот я и говорю: что же, рабочие не могут уж приобретать то, что другие давно приобретают! — воскликнул с непосредственной живостью старик. И сам себе ответил: — Могут и должны. И вы для меня подтверждение того, что так оно и есть! Вы мне, можно сказать, открыли глаза, когда рассказали про ваши планы. И я очень благодарен, очень. Я хотел бы с вами еще встретиться, если не возражаете.

— Не возражаю, — сухо произнес Шохов, засомневавшись в чем-то.

Старик явно наводил тень на плетень. Над этим стоило поразмыслить. А вот тогда действительно можно и встретиться и уже со своей стороны пощупать старикашку, чего он сам-то хочет, что ищет и почему так настойчиво лезет в душу со своим зоологическим делением всех на виды.

— Мы, конечно, заняты, — сказал Шохов. — Но приходите. Вон Петруха у нас. Мастер тоже. Он, наверное, по характеру к вам ближе стоит? Он из подкласса неимущих как раз!

— Петр Петрович мне сразу понравился, — подтвердил старик, сделав вид, что не замечает выпада против него. — Если он починит мне мою машину, то я буду ему благодарен до гробовой доски. Прощайте!

кар нравился все больше и больше.— Я все равно перееду в новый дом!

— Мерси, Петр Петрович,— поклонился в его сторону старик и пообещал вернуться к этому разговору.— Дом нужен любому человеку,— продолжал развивать он свою мысль.— Надо определить, может ли дом, да и другие вещественные предметы, даже столь важные, стать нам надежным укрытием от неприятностей и бед. Вот в чем вопрос, уважаемый Григорий Афанасьич. Не посчитаете ли вы, что надежней иметь внутреннюю устойчивость против всех бед, а уж дом, как говорят, в придачу?

— А что это такое? — спросил Шохов, зло прищурясь.— Внутренняя устойчивость? И откуда вы знаете, что я, к примеру, внутренне неустойчив?

Старик осклабился и даже пенсне снял. Достав фланельку, он медленно протер стеклышки с двух сторон. Он действительно нигде не торопился в отличие от Шохова, и это тоже не могло не злить последнего.

— Это уже философская штучка,— произнес он, показывая маленькие зубки, с каким-то дурацким смешком.— Но она как бы отвергает ваше предположение, уважаемый Григорий Афанасьевич, что мир живет одними домами. В домах, но вовсе не ими, я говорю, в идеале, конечно, потому что практический результат, как говорят, налицо.

Петруха аж рот открыл, настолько его увлекло.

Упрямый все-таки был старик. Вежливый, но уж точно упрямый, так подумал Шохов. А может, и фанатик. Они все, старики, в некотором роде фанатики, потому что жизнь прожили кое-как, не нажив ничего, а сейчас уж вовсе ничего не наживут. Оттого и философствуют на скончании лет!

Надо отдать должное интуиции Шохова, он был близок к истине, пусть и погорячился излишне. Сейчас Григорий Афанасьевич понял, откуда исходила враждебность к старику, и сразу успокоился. Этот старик, судя по всему, отрицал не дом и тем более не шоховский, а любую идею накопительства, резонно считая, что вещи еще никого и ни от чего не спасали.

Что ж, Шохов познал за свою жизнь роль бессребреника и с него довольно. Он поработал во славу отечества, да и сейчас продолжает работать на совесть и имеет право нормально жить. Правда, никто не знает, что такое нормально жить. Для одних это однокомнатная квартира, для других — дом, сад, машина у подъезда. Но в конце концов это детали, потому что и машина, и даже двухэтажный дом, какой он собирается построить (подчердачная мансарда у него уж точно будет!), и сад при доме никому у нас не запрещены.

Старик принял его сбивчивую речь покорно. Он, кажется, и не собирался биться насмерть, а только был излишне любопытен, так теперь вывел Шохов. Он швырнул свой шнурок, сел на обвязку, ощущая, как приятно на ней сидеть и как возвращается к нему уверенность от грубого прикосновения дерева, своего дерева, того самого, которое будет держать его стены его дома.

— Значит, и второй этаж будет? — спросил старик вполне миролюбиво.

— Да, летняя комната. — ответил Шохов уже спокойно.

— И, простите, огород?

— А как же без огорода?

— И гаражик? — опять спросил старик.

— Не знаю,— ответил Шохов неопределенно. Он действительно этого не знал.— Если удастся купить мотоцикл, то и гараж. О машине я пока не мечтаю.

— Ну, а еще что? — спросил настырный старик, но опять-таки

— Счастливо,— сказал Шохов и посмотрел старику и Петрухе вслед.

«А что-то в них есть одинаковое»,— подумал он и почувствовал усталость. Неужто перенервничал по пустякам? Да мало ли сумасшедших будет тут проводить свои социологические исследования, на всех, что ли, он должен реагировать? Не-ет. Уж тут-то, возле его будущего дома, Шохова ничем не собьешь. Идеалистов век прошел, наступила эра практичных людей, и только они значат что-то в нашей жизни. Ну а если уж град с неба и ураган или бомба какая, как угрозил старик, так всем одинаково влечет, и тем, кто в хоромах, и тем, кто в щитовых домиках,— стихия не выбирает, по кому ударить. Но ведь еще существует жизнь и вне стихии, и тогда как лучше-то жить? А вот в домике-то своем можно и подвальчик поглубже от той же стихии вырыть, чтобы голову бедовую сунуть туда! Если метров на десять закопаться, то никакая стихия не возьмет.

И Шохов уже чисто практически стал осмысливать новую идею, находя ее вполне исполнимой. «Даже из никчемного разговора со старым хрычом может быть реальная польза!» — зловредно подумал Шохов и повеселел.

Только бы он Петруху не настропалил против дома. Тут нужно свою контрагитацию провести. Петруха покладистый малый, он поймет. Так решил Шохов и взял в руки топор. Стройка разговоров не любит. Ох, как быстро время идет! Апрель на скончании, и Первоймай, день возрождения природы, если по древним обычаям, уже на носу. А там и лето, когда можно будет, по расчету Шохова, работать не только по вечерам, а даже по ночам.

Теперь чуть ли не каждый вечер дед Макар торчал у них на площадке. Без всякого повода и приглашения приходил, скромненько усаживался где-нибудь в сторонке, наблюдая за ходом работы. Ни с какими разговорами и тем более советами он не лез, посматривал да помалкивал, только пенсне его золотое посверкивало под желтыми лучами предзакатного солнца.

Надо сказать, что и Шохов притерпелся и уже не раздражался при виде старика, а давнее чувство неопределенности, томившей его опасности вроде бы сгладилось, приглушилось. Но никаким сочувствием он так и не проникся к старику и едва ли за все время их знакомства обратился к нему раз, другой. Несколько примирило с дедом Макаром то, что тот был решительно настроен на покупку Петрухиной избы. Тут, кроме всяких сугубо материальных и практических соображений, была у Шохова мысль и несколько коварная, почти зловредная: посмотреть философа в обстановке, так сказать, не отвлеченной, а конкретной, избыной. Вот тогда и видно станет, что еще движет миром, кроме желанья приобретать нужные вещи и нормально в нем устроиваться!

Сам дед объяснял свое желание иметь избу тем, что в общезжитии с молодыми и пьющими ребятами ему нелегко, хотя комендант твердо обещал, как только будет случай, поселить его с такими же, как он, старичками, тоже оставившими свое жильё детям и приехавшими заработать последнюю в жизни квартиру. Оказывается, было их не так уж мало на стройке.

Но, главное, дед Макар мечтал в одиночестве разрабатывать свою электрическую теорию, от которой зависит счастье всего человечества.

Впервые он открыл свою теорию Петрухе, когда в один из светлых весенних вечеров они сидели в избышке и пили чай. На столе стояла в почти законченном виде диковинная машина старика, с которой Петрухе пришлось немало повозиться. И хоть, по выражению самого Петрухи, была сконструирована дуракоустойчивой

(любимое его словцо означало: надежность, если даже станет пользоваться невежда), покорежили ее основательно: и зубья в передаче полетели, и схема была нарушена, и даже некоторые планеты пострадали, будто над ними пронесся космический вихрь разрушения. Петруха планетки подклеил и закрасил, шестерни сменил, а вот орбиту, ее тончайший расчет наладить с ходу не мог, тут необходимо было знать законы небесные, а не только земные. Петруха несколько вечеров, к неудовольствию Шохова, просидел в технической библиотеке, набрав разных книжек по астрономии, изучая законы движения небесных тел и механику их обращения вокруг Солнца и своей собственной оси. Исписал цифирью две школьные тетрадки, но все выверил, высчитал и даже поставил в машину не предусмотренный конструктором свой собственный счетчик-календарь, фиксирующий земные часы, дни, месяцы и годы.

Дед Макар, узрев аппарат возрожденным, растрогался до слез. В этот день он принес из общезнания кулек конфет, и было решено отпраздновать починку аппарата.

Дед Макар отхлебывал чай, видно, был большой любитель этого дела, и косил глазом на всяческую аппаратуру, громоздившуюся на столе.

— Я в электричестве, уважаемый Петр Петрович, кое-что понимаю. Но эти ваши схемы, хоть убей, никогда бы не смог разобрать, — произнес он с действительным изумлением. — Неужто во всех таки и понимаете?

— А чего в них понимать? — простодушно отвечал Петруха, глядя влюбленно на старика. — Они же все одинаковые. Почти одинаковые.

— Как же они могут быть все одинаковыми, когда они разные?

— Очень просто. Это как в языках. Вы языки знаете?

— Я даже эсперанто изучал! — гордо сказал старик. — Всемирный язык трудящихся. — И он прочел:

Антауэн, камарадо,
Ремконтем, аль авро!
Перкуглей кай гранадо
Набайрон пушес фор! —

что означает: «Вперед, заре навстречу, товарищи в борьбе, штыками и картечью проложим путь себе!»

Петруха выслушал заворуженно и сказал:

— Не вам же объяснять, что если вы знаете несколько основных языков, изучение других языков порядком упрощается. В нашей технике то же самое: лезешь в какой-нибудь новый магнитофон, а там и схема и даже конструктивное решение взяты из предыдущего магнитофона. Очень, очень редко попадается, когда все внове, но тогда и интересно. Вон как эта штучка! Японская, между прочим, предназначена для определения биоритмов в жизни человека...

— Биоритмов? — переспросил с интересом дед Макар. — Как же она эти биоритмы рассчитывает?

Петруха пододвинул приборчик, показал клавиатуру и стал объяснять, что в запоминающее устройство, оно-то и вышло из строя, закладывается год и месяц рождения и некоторые другие сведения. Можно, к примеру, заложить данные одновременно двух человек, и тогда станет ясно, совпадают ли у них духовные, а если между мужем и женой — сексуальные амплитуды и если не совпадают, то на сколько процентов...

Старик с величайшим интересом рассматривал приборчик, что-то прикидывал, бормоча, и вдруг обрадовался:

— А ведь что ни говорите, Петр Петрович, но, выходит, правы наши предки, которые по знакам зодиака определяли судьбу человека, а? Свѣмба-то — характер, а характер, оказывается, от времени гола

зависит. Ведь зависит же, если закладывается год и месяц, я вас спрашиваю?

Петруха шмыгнул носом, обозначая свою малую компетентность в таких вопросах.

— Я больше по схемам разумею,— произнес он, как бы отмахнувшись.

— Не ерничайте! — пригрозил в шутку старик.— Мы рождаемся при определенном положении планет.— Он ткнул рукой уже в свой аппарат, но глядел при этом на Петруху.— Но мы причастны к космическим ритмам, а они тоже зависят от расположения планет. Представьте, милый Петр Петрович, что уже доказано — если планеты выстраиваются в один ряд, то создаются определенные магнитное и электрическое поля, которые влияют и на рождаемость, и на урожай, и на болезни... Так высчитано, к примеру, что чумные годы, унесшие на земле миллионы жизней в прошлые века, вовсе не были какими-то особенными в климатическом или ином отношении, но, как сейчас подсчитано, соотношение планет между собой и Солнцем было особенным, не столь обычным...

— Это что же, звездочеты знали, что говорили? — спросил наивно Петруха.

— А говорите,— специалист по схемам! Так вот, Петр Петрович, если в этом направлении поглубже копнуть, то можно многое в новом свете увидеть: и зарождение жизни на Земле, и влияние на политические, а не только биологические процессы, и в конечном итоге и на историю, значит. А теперь представьте, милый Петр Петрович,— голос старика зазвенел торжественно и победоносно,— представьте, что если известны законы управления историей, то уж можно не только индивидуально, а для всех рассчитать формулу, которая к счастью приведет... Не так ли?

Тут старик полез в карман своей просторной толстовки и вытащил оттуда письмо.

— Дочь пишет,— произнес с особой интонацией и стал выискивать какое-то нужное место.— Вот-вот, слушайте, что она пишет: «Папа, я вычитала в польском журнале гороскоп для тебя на апрель месяц. С первых дней, как там написано, все будет идти успешно. Но потом начнутся хлопоты и особенно трудные для разрешения осложнения (уж не с моим ли поломанным аппаратом!?). Не нервничай и старайся спокойно их разрешить. Со второй половины месяца вновь наступят удачные дни (а ведь наступили же!), которые вернут тебе хорошее настроение. Постарайся самое большое внимание уделить своим жилищным проблемам, они будут иметь для тебя главное значение...»

Старик свернул письмо и положил в карман. Торопливо начал пить вовсе остывший чай, но, занятый своими мыслями, оставил его и сказал уже не Петрухе, а самому себе:

— Весь мир хочет счастья, дорогой Петр Петрович! Отсюда и йога, и дыхательная гимнастика, и система голодания по Полю Брэгу, и сыроедение, и... вот такой гороскоп... И прочее и прочее. Все от желания быть счастливым. Кстати, мне советуют уделить внимание жилищным проблемам, как вам нравится? Так вот, я готов въехать в вашу избу сразу же после вашего переезда. Но мне хотелось бы, конечно, знать, когда он совершится. Только не поймите, бога ради, что я вас тороплю! Нисколько!

— Да переезжайте хоть сейчас, Макар Иваныч,— предложил Петруха.— Ведь Григорий Афанасьевич, чтобы не отрываться от работы, прямо в доме шалаш сделал. Он там и жить собирается. А лавка его остается.

Старик вздохнул, оглядывая как бы новыми глазами избу, и печь, и лавку, и произнес задумчиво, но вполне решительно:

— Я тогда свой аппарат в общежитие не стану переносить, да? Вы не против, чтобы он постоял в избе до моего полного вселения?

— Пусть стоит,— сказал Петруха.— Хотя...

— Что хотя? — насторожился сразу старик.

— Нет, я уже о другом. Я просто подумал, что вы с Шоховым очень разные люди.

— Это он со мной — разные люди,— поправил серьезно старик. И подтвердил, что он это понял сразу.

— Шохов не верит в какое-то общее счастье,— продолжал Петруха.— Но и я не уверен, что оно есть. Весь опыт человечества...

— Отрицательный опыт — это тоже опыт,— сказал старик.

— ...доказывает, что не надо ни за кого, и уж точно за потомков, решать вопрос их собственного счастья. Они вовсе не так его поймут и не будут вам благодарны.

— Ах вот вы о чем.— Дед Макар покачал головой.— Но тут вы не правы, Петр Петрович. Вы совершенно не правы. Но мы еще успеем на эту тему поговорить. Спасибо за чай, за гостеприимство. Я смогу переселиться, если вы не раздумаете, к Первому мая. Всего вам доброго.

— Приезжайте,— сказал Петруха.

Когда старик ушел, он пододвинул к себе аппарат и стал медленно раскручивать систему, следя глазами за движением планет и о чем-то напряженно размышляя. Потом лег спать. Ему приснился голубой, ярко-голубой космос, в котором вращались планеты, черные, синие, желтые, красные и зеленые. Синей была Земля. Она неслась вкуче с другими, но и сама по себе в межзвездном пространстве очень одинокая, потому что она одна из всех осознала, что она такое, в этом было ее счастье, но и ее трагедия.

Петрухе стало холодно во сне от такой мысли. Он впервые подумал о том, что без старика и без Шохова, вечно тормозящего других и себя, ему было жить одиноко.

Врываясь в беспокойный Петрухин сон, стучали стучал на участке топор Шохова.

Не было в жизни Шохова более прекрасной весны, чем эта. Все ладилось, все сходилось удачно в его замыслах и свершениях. Во всем ему везло. Везло необыкновенно.

И вот удивительно: чем лучше становились его дела, тем больше везло. В каждом отдельном случае можно было бы воскликнуть: пофартило же человеку! Но пофартить может раз или два. Ну от силы три раза. А вот когда везло непрерывно, когда все, чего бы он ни касался, превращается в непрерывную удачу, иначе как фортуной не назовешь.

Не хватало материала — и он тут же появлялся, словно кто-то колдовал ему под руку и наводил на него нужных продавцов.

Недоставало денег — и тут вдруг подкатывала премия или же случайный перевод с прежней работы, где он, оказывается, недополучил, а то вдруг неожиданная помощь от братьевников Михаила и Лешки или даже скромненькая посылочка от Тамары Ивановны.

И в семье, как он понимал, все сходилось к лучшему. Проскочит лето — и новый сезон они начнут жить вместе. Это ли не везение!

И на водозаборе все шло наилучшим образом. Наконец-то после затяжного нулевого цикла и ординарных земляных работ начался монтаж металлоконструкций, и сразу стала видна классность Григория Афанасьевича, его технический уровень в таких делах.

Нужно сказать, что и с погодой Шохову везло чрезвычайно. В середине апреля после остреньких морозцев хлынуло тепло, очень раннее по здешним местам, и в течение двух недель все очистилось от снега. Это позволило Шохову форсировать работу и уже к маю пе-

реехать в крошечный балаган, который сам он называл, посмеиваясь, собачником.

К чему надо было покидать теплую и обжитую избу, когда она практически тут же, рядом, и поселиться в неудобном, наспех сколоченном балаганчике, сбитом из досок? Петруха даже пытался отговаривать Шохова, страшая его простудой и воспалением легких, но Шохов был неукротим: «Я нетерпелив. Я долго ждал». Как бы мог он, заложив свой дом, жить где-то в стороне, пусть это и удобней? Вот уж где он показал себя не только целеустремленным, а неистовым, оголтелым!

Но это со стороны. Шохов, как стал строителем, понял, насколько важно для дела и для себя быть при своей стройке. Вон и Мурашка жил при интернате, когда его возводили. И вовсе причина не в жуликах, как все понимал Петруха, считавший, что Шохов сторожит свой дом, инструмент и материалы. Конечно. И сторожит! Но еще существенней быть и жить там, где все твое. Чтобы, открыв глаза и нащупав под боком топор, сразу начать работу. Потом в густых и поздних сумерках, отложив инструмент, тут же отвалиться на спину и уснуть сном праведника с легким и прекрасным чувством содеянного. Вот что значило жить при доме. При своем доме, даже в дощатом балаганчике.

С помощью Петрухи, который в целом старался, хоть часто и без пользы (Шохов знал, в чем он будет полезен!), они положили пологие лаги — восемь лиственничных бревен (другое дерево было слабей и хуже) — и приступили к возведению стен. Горбыль, как и опилки, был наготове. Ровно по отвесу Шохов поставил стойки из бруса, тоже заранее приготовленные, метра три высотой, закрепив их расшивкой к основанию. В течение нескольких дней он обил стены горбылем, и сразу стало видно, каков будет будущий дом. Он как бы обрел с высотой и форму и объем.

Сделав коробку, Шохов специальной лопатой, смастеренной из куска жести, стал набрасывать опилки в застенок, Петруха эти опилки трамбовал. В те же вечера, когда Петрухи не было (он увлекся машиной старика и несколько вечеров просидел в технической библиотеке), Шохов готовил стропила и тогда же сколотил себе тот самый балаган, настил из досок и острую крышу, как у походной палатки. Он поставил балаган прямо посреди дома, как раз там, где потом станет печка. А когда будут готовы чердак, и стропила, и прожилины, и обрешетка — все, что положено, — и даже временно толь (Шохов уже тогда мечтал о черепице!), он вместе со своим балаганом переедет под крышу. Ночи вплоть до июня были холодны, а потом появились мошка и комары. Мошка, правда, в помещение не лезла, зато комарье проникало везде, и если бы не балаган, Шохову пришлось бы туго. Хоть спал он все эти месяцы от силы по три-четыре часа.

Как прояснилось на дворе и можно было собственную руку разглядеть, он был уже на ногах. И вот что удивительно: он не чувствовал усталости, ему казалось, что он может работать, совсем не отдыхая. Но это все позже. Теперь же, под Май, под самый праздник, Шохов перетащил в балаган свое барахлишко, тряпки под голову сунул, вниз мха подвалил для тепла и первый раз, по-детски счастливый, заснул в собственном доме и проспал до позднего утра.

В тот же день, под праздник Первого мая, дед Макар переселился в Петрухину избушку. Какой-то старомодный саквояжик наподобие тех, с какими ходили прежде земские врачи, да рюкзачок — вот и все, что при нем было. Впоследствии он еще принес спальный меховой мешок с зеленым брезентовым верхом, тяжелый и теплый, на нем, а подчас и в нем, он и спал, заявляя, что так ему очень привычно. Но одновременно со спальником оказались у старика такие непривычные для Петрухиной избы предметы, как ручная кофемолка очень изящ-

ной работы (Петруха тут же ее разобрал и всю осмотрел), мельхиоровый джезве и серебряная вазочка для сахара с серебряными щипцами. Была у старика еще электрическая плиточка.

— Вы что же, так на Ангаре и жили все время? — спросил Петруха, не без любопытства осматривая старикинский скарб.

— Да, Петр Петрович, так и жили, — отвечал дед Макар.

— А прописка?

— Прописка, разумеется, у меня столичная была, — сказал дед. — В Москве у меня семья жила. На Кропоткинской, знаете?

— Где же она? Семья?

— Ну, Петр Петрович, дорогой, это ведь когда было! — сказал старик и задумался. Но, вроде бы чувствуя какую-то неудобную недосказанность, добавил, что так уж вышло, что была у него там, на Ангаре, вторая жена, геолог, она недавно умерла. С ней-то он и прожил лучшую часть своей жизни. И дочка у него от этого брака, плод поздней любви, как он выразился, воспитывалась в Москве у тетки, то есть его сестры. Он мало ею занимался и чувствует вину за столь урезанную родительскую ласку. Деньги-то, конечно, ей высылал и как мог помогал и сейчас еще помогает, хоть ей двадцать седьмой год и она инженер... — Инженер — это русский интеллигент, едущий в Сибирь для служения будущему нашего отечества! Август Адамович Вельнер, Малышев, Колосовский — они все инженерами поначалу были. Я в тридцатые годы в Ангарском бюро работал, Петр Петрович. С академиком Александровым встречался на Первой всесоюзной конференции по размещению производительных сил, с речью выступал. Мы тогда отстаивали идею каскада крупнейших электрических установок на Ангаре и законно считали, что мы можем их построить. Перед войной мы даже начали работы...

Дед Макар так же неожиданно оборвал, как и разговорился. Может, он привык, что его мало слушали.

— Вельнер — тот, который... в ГОЭЛРО? — спросил Петруха живо.

— Да, да, — подтвердил обрадованно старик. — А вы откуда знаете, Петр Петрович? В школе проходили, в институте?

— Ну кто же Вельнера да Александрова не знает? — уклончиво произнес Петруха. — Основоположники, так сказать.

— А вы сами-то не из тех ли инженеров, которых за специалистов не почитают? А? — засмеялся дед Макар хитровато. — Вот я видел нынешних. Зимой сидят в Москве, а как лето — собирают бригадку и в отпуск в Сибирь. Берут там, скажем, подрядную работу и за гри-четыре месяца сколачивают гараж, к примеру, на БАМе или другой объект. Получают чистенькими и снова в Москву. У них зима — как санаторий на работе, они уже к новому лету готовятся... Иначе, говорят, не проживешь, — инженеры!

— Что же у них за отпуск такой, три месяца-то?

— Обыкновенный, за свой счет, — сказал старик.

— А если не отпустят?

— Совсем уволятся, чего им терять-то? Они на подрядных работах больше, чем за год сидения в институте, заколачивают. Дни и ночи, считай, работают. Но там взаправду работать нужно, а не загорать...

— Да знаю я, какая работа в институте, — сказал Петруха. — У нас кибернетики тоже подхалтуривали.

— Так кто же вы, доктор Зорге? — опять спросил настырный дед Макар. — Вы, бог мой, и кибернетику знаете?

— Кто же ее сейчас не знает? — отмахнулся смешком Петруха и предложил прилечь поспать, так как весенний праздник солидарности решили они провести с Шоховым и Самохиным вместе, а для этого встать пораньше.

— Пролетарии всех стран, объединяйтесь? — спросил старик.

Шутник он все-таки был, это Петруха сразу, с первой встречи заметил. Но шутник шутнику рознь. Старик был добрый шутник, все-то у него выходило изящно.

— Так я с вами завтра объединяюсь, если вы не против,— добавил он и стал себе стелить на лавке постель.

Шохов разговора этого не слышал, иначе мог бы почерпнуть для себя и кое-что новенькое. Но он крепко, впервые, может, со времени отъезда из Челнов, спал и не видел никаких снов. Даже дома собственного во сне не увидел, хотя загадал на ночь, чтоб увидеть.

Зарю он проспал, а проснулся от гула трактора, потому что практичный Самохин не любил ходить пешком, если под рукой была своя «тележка».

Было решено не завтракать, а всей компанией идти к реке, там у костерка отпраздновать такой день. А практичному Васе Самохину, раз уж он на колесах, предлагалось, пока все дойдут до реки, сделать круг через город и прикупить чего-нибудь покрепче.

— Водки? — спросил Вася Самохин, впрочем, для проформы, бормотуху он не обожал.

— Мне все равно, — ответил Петруха.

— А может, сухонького? — предложил дед Макар.

— Так погода-то, дед, еще мокрая! — воскликнул Самохин. Он несколько не сомневался, что все равно дело кончится водкой.

— Бери на свое усмотрение! — крикнул Шохов. — А может, и Макара Иваныча за компанию прихватишь?

— Это почему же мне такие привилегии, Григорий Афанасьевич? — спросил старик, немного обижаясь.

— Так до берега-то далеко. А мы по-быстрому!

— Я к ходьбе привычный, — упрямо отвечал старик.

— Да и обувь у вас того... московская, — добавил Шохов.

— Садитесь, Макар Иваныч, — попросил Петруха. — Чего вам терять?

— Садись, дед! — крикнул беспардонный Самохин. — Вино поможет выбрать! Я его только пить умею!

Так они и добирались до берега. Старик уехал с лихим Васей Самохиным, а Шохов и Петруха пешочком продирались вдоль ручья.

Дорогой Шохов спросил Петруху:

— Ну как с дедом? Уживемся?

— Не знаю, как ты, — отвечал сухо тот. — А я уживусь. Я-то с кем хошь уживусь.

— Это что же, у меня характер уже не такой, да? — спросил Шохов.

— Да нет. Просто вы с дедом Макаром разные люди. Старик о себе не печется, — продолжал Петруха. — Он обо всем человечестве сразу думает.

— Ну так что? — возразил уязвленный Шохов. — Пусть себе думает. Он уже вон белый, а все без порток ходит со своим человечеством-то.

Петруха молчал.

— Я так и понял, что он тебя накручивать против меня станет!

— Ну что ты к старику пристал? — в сердцах сказал Петруха.

— Это он ко мне пристал! — произнес будто с обидой Шохов. — И к тебе пристал! Мы еще с ним хлебом горюшка, вот увидишь!

— Он имеет право так думать, — примирительно добавил Петруха. — Он же никому не делает зла. Даже тебе.

— Я тоже имею право так думать, как я думаю. А он меня обликает, между прочим!

— Да это он вгорячах же!

— Он там, в Сибири,— с каким-то необычным ожесточением сказал Шохов и своего голоса не узнал,— законсервировался. Он же там избежал трудностей, понимаешь?

— Ты считаешь, что в тайге легче жить? — спросил Петруха.

— Я не про физические трудности говорю! Впрочем, это его дело, как жить.— вывел Шохов, сразу успокаиваясь.— Лишь бы ко мне не лез в душу. Тут я его не пущу. И в дом тоже не пущу. Вот мое слово.

Они вышли на берег реки. Утро было солнечное, прохладное, на крутых склонах проклюнулись мелкие желтые цветочки.

Ледоход прошел, но вода была высокая, желтовато-бурая, течение было заметно даже на глаз.

Шохов почти машинально посмотрел вверх по течению, туда, где еще в день его приезда ничего не обозначалось, а сейчас уже торчали краны и берег был прилично срезан бульдозерами: там находился его водозабор. Правей из-за бугра поднимались на отшибе высокие белые здания Нового города.

По берегу виднелись голубоватые дымки. А около ближайшего к ним костерка уже суетился темнокудрый Вася Самохин, а дед Макар собирал сушняк вдоль воды.

Постелили на землю брезент, принесенный Самохиным, расселись, стали готовить закуску самую что ни на есть мужскую: сыр, колбасу, селедку. Накрошили прямо на газету крупными кусками, хлеба нарезали, и тогда только практичный Вася Самохин принес из реки бутылку водки, с которой еще капала вода.

Дед Макар все ходил вдоль берега, собирал сушняк, его позвали.

— Чудной старик,— сказал Вася Самохин и посмотрел в его сторону.— Ей-бо, чудной. Я ему говорю: дед, берем белую. А он вдруг спрашивает: она что же, из зерна? Я говорю: конечно, дед, из зерна, только после того, как его лошадь поела! А дорогой... Дорогой все про мускулы объяснял, что они от электричества у нас двигаются.

Вася Самохин привстал с бутылкой в руках, улыбаясь подходящему деду Макару, и крикнул:

— Дед, рубани им за электричество — отчего у меня мускулы сейчас бутылку открывают?

Дед Макар никак не отреагировал на Васину остроту. Он сбросил хворост, шляпу с кокетливым бантиком положил на траву и, крикнув, присел рядом, подвернув под себя полу пальто.

— Один из крупнейших биофизиков,— произнес он,— Сент-Дьерди, однажды сказал, что, по существу, не так уж велика разница между травой и тем, кто ее косит. Для сокращения мышц косца используются те же вещества, что и для роста травы,— калий и фосфат...

— Во дает! — воскликнул восхищенно Вася.— Дед, ты еще про электричество сказани!

— Отстань, Самохин! — хозяйски прикрикнул Шохов.— За что пьем?

— Так праздник же!

Все, в том числе и дед Макар, подняли стаканы и чокнулись с глухим звоном.

— Был у меня приятель,— сказал Шохов, выпив и отставив стакан в сторону.— Он водку Тимохой Шейкиным называл. А как, значит, подымет рюмку, произнесет: выпьем, мол, за нас, грешных, потому что больше нас, строителей, никто не грешит...

— Прилично заливал? — спросил Вася Самохин.

— Было. Но он и строитель был классный. Таких сейчас нет.

— А чем тебе нынешние-то не по ндраву? — спросил Самохин.— Вкальвают, да и пьют не хуже других.

— Пьют, это верно. Даже — лучше. Они еще вкальвать не научи-

лись, а это,— Шохов указал на бутылку,— за милое дело. Я в автобусе на работу езжу, так от моих соседей с утра несет. А раньше что-то я не помню, чтобы на работу выпимши-то ездили!

— Если человеку тяжело, как не выпить?

Тут подал голос и дед Макар, он спросил:

— А какая такая у человека тяжесть?

— Дед, тебе не понять,— сказал Вася Самохин.— Тебе уже легко. Водка способствует удалению стронция! Ты же ученый, ты должен знать! И потом, русский народ всегда пил, чего тут говорить.— И Вася Самохин налил по второй.

— Васенька, вас обманули,— сказал дед Макар.— Мы тут все — русский народ и все по-разному это делаем.

Но Самохин его не слушал.

— Я так думаю,— сказал он бойко,— что за новоселье Григория Афанасьевича надо выпить. А?

— Какое же это новоселье: в собачью будку переселился! — подал голос молчавший до сих пор Петруха.

— Но переселился же!

Шохов тост поддержал.

— Пусть не совсем новоселье,— произнес он.— Но в собственном доме. А еще осенью вот тут шлялся в сумерках, место выбирал. Глядь, огонек в ночи горит и приветливо манит...

— Это кто ж, Петруха горел?

— Он песни распевал в избе,— сказал с улыбкой Шохов.— Как это там про тещу... Улица! Улица!.. Что ж, Петруха, выпьем за улицу и новый дом? Как говорят, спасибо старому дому, а мы пойдем к другому!

— Так и у меня тогда новоселье,— хихикнул чуть захмелевший дед Макар.

— С тебя еще, дед, за прописку востребовать надо! — крикнул Самохин и выпил. И все последовали его примеру — А хочешь, дед, я тебе новый дом выстрою? — спросил вдруг он.— Я правду говорю. Они тут чикаются,— он махнул рукой в сторону Шохова и Петрухи,— а я тебе халупу из опалубки в неделю поставлю, даже электричество проведу. Хошь? Ну решайся! Дед!

— Васенька,— обратился дед Макар ласково, поблескивая весело своим пенсне. Он как будто бы не замечал тыканья и обращался исключительно на «вы».— Васенька, вы еще себе ничего не построили, только опилки завезли.

— А себе-то чего? — развязно выкрикнул тот.— Себе я всегда могу. Я вот тебе предлагаю. Слышь, дед... Я серьезно.

— Отстань,— сказал Шохов.— Он же избу купил. Ты лучше мне из опалубки сороковок достань.

— Ну прямо стихами заговорил, Гри... Гри... Григорий Афанасьич! А на что еще?

— Мало ли на что.

— Вот отгадай загадку,— ухмыльнулся Самохин.— Несут корыто, другим покрыто — что? Отвечаем: гроб!

— Все на свете покрыто корытом,— в тон произнес дед Макар.— Это, Вася, вам другая поговорочка.

Вася Самохин снова разлил и кинул бутылку в траву. Она покапала по крутому откосу, плюхнулась в воду и закружилась по течению. Поднимая стакан и глядя на старика, он сказал энергично:

— Ты хороший дед! Хоть и в шляпе ходишь, да еще в золотых очках! Про мускулы здорово объяснил. Хотя и без твоих объяснений этими рычагами двигаю. Еще и тебя научу. Но за мной, как говорят, не станет. Я тебе, дед, еще пригожусь. Я, может, тебе последним такси отработаю. В те края, где тишь и благодать, а?

— Все, Васенька, может быть. Поэтому не откажусь,— отвечал старик легко.

— Он меня, между прочим, спрашивает: почему, говорит, на служебном тракторе-то ездешь? А я ему ответил. Я ему свою калькуляцию выложил. Он ведь философ. Да вы все тут философы, между прочим! Даже Шохов, хоть Григория Афанасьевича я уважаю. Он пра-кти-чес-кий философ. Он из своей философии дело вывел.

— Ну-ну, так какая калькуляция-то? — подзуживал ехидный дед Макар, показывая мелкие зубы. Но глаза у него были, как ни странно, серьезные.

— А вот какая, — ощерился на деда Вася. — Из нас четверых я тут в чистом виде рабочий класс — один! Вкальваю, значит. И рассчитываю свой труд, за который по нынешним ценам моя жена Нелька могла бы мне мяса и масла купить, на триста шестьдесят рублей. Записали? Так. А заплатили мне в прошлом месяце всего-навсего двести восемьдесят. Ты слушай, дед, слушай, закусывать после будешь. Двести восемьдесят, запиши, если память дырявая. Так что же по моей калькуляции получается, а? А получается-то недоразумение, дед, так как недодали мне по кругу целых восемьдесят рублей. Законных восемьдесят! Значит, я должен сэкономить. На чем же, спрашивается? На транспорте, на жилье, еще на чем-то, да? «Жигулей» у меня нет, на такси мне недодали, да и такси подорожало, — так? А я тогда на тракторе ездю, на государственном, значит, транспорте, то есть беру в счет своих недоданных восьмидесяти рублей. А там еще кому-нибудь опилочки завезу, опалубку-сороковочку на полы — и опять же прибавлю. Что бы они там ни придумывали, свое я возьму! Вот моя калькуляция... — Вася вздохнул и добавил, понизив голос: — А если предположим, цены увеличат? Да? Я и тут на стреме: к трактору прицеп привинчу. Я тоже калькуляцию набавлю. Потому что я ученый се-го-дня. Да! И меня на этом не объедешь...

— Васенька, Васенька, — спросил дед Макар вполне доброжелательно, — а кто это, объясни нам, несознательным, о ни? Кто ты, я уже понял!

— Эх, дед, думаешь, Вася глуп и не понимает, что ты мне вешаешь? Но Вася-то простачок! Он за бутылкой отведет сердце — вот она зачем, — а потом пойдет за тебя и за всех других вкальвать!

— Вася, — негромко произнес Шохов, многозначительно взглянув на него, — не зарывайся. Ты спрашивал, что мне в нынешних не нравится, да? Так я тебе могу объяснить, что именно: нахальные вы все ребята.

— Григорий Афанасьич, — попытался вмешаться дед Макар.

Но тот его не слушал, продолжал:

— Если непонятно, объясню, гражданин Самохин. Нагловатые, расчетливые, цепкие, прете, как на буфет. Нет для вас ничего святого. Не правда ли?

— Григорий Афанасьевич! — взвыл дед Макар.

Но тут вмешался Петруха. Он закричал, хохоча по-дурацки:

— А ведь вы похожи! Вы чем-то друг на друга похожи!

Шохов недоуменно посмотрел на Петруху, на Васю Самохина и тоже вдруг засмеялся.

— Ну нет, — отверг он. — Вася меня по всем статьям переплюнул. Я калькуляцию свою и государственную пока не путаю. И вообще, я к Макару Ивановичу на «ты» не обращаюсь. Мы хоть разные люди — не спорю, но я уважаю Макара Ивановича.

— Мерси, — произнес дед Макар и наклонил седую голову.

— Так и я уважаю! — воскликнул Самохин. — Дед, извини, что не так сказал, а?

— Так, так, Васенька, — успокоил тот, улыбаясь вполне естественно. — Поскольку мы с вами сошлись на корыте, есть предложение выпить, как говорят, тоже из одного корыта, потому что философом-то оказались вы... И каким!

— Во дает! — с восторгом произнес Самохин и сбежал под горку,

к воде, извлек из ямки вторую бутылку водки. Он надорвал серебряную фольгу, разлил по стаканам и провозгласил: — Дед, лью за тебя!

— Макар Иваныч,— произнес Шохов и вежливо чокнулся со стариком.

— Дед Макар, чтоб ты долго жил и никакого «последнего такси». Наоборот, чтобы все у тебя ладилось,— сказал Петруха.

— И дом чтобы сладился! — крикнул Самохин.

— Но есть же у него дом! Он же избу покупает!

— Я знаю, что я говорю,— трубил свое Самохин.

Дед Макар поблагодарил всех и Васю Самохина отдельно, каждый раз чуть приподнимаясь, когда чокался. А выпив, встал, захватил стакан и пошел к реке. Трое сидящих посмотрели ему вслед. Теперь, со спины, особенно было видно, что стар дед и пить ему вровень со всеми было, наверное, нельзя.

Впрочем, постояв и поглядев на воду, он наклонился, зачерпнул воды, сполоснул стакан и вернулся обратно.

— Дружочки мои,— сказал он с бледной улыбкой,— здесь хорошо. И потому что с вами и потому что с рекой, а я всю жизнь на реках провел. Но есть у меня деликатное предложение: пойти в город и закусить горячим обедом. Тем более что в столовой заведующая — моя добрая приятельница Галина Андреевна, она хорошо нас накормит. Как, уважаемые коллеги?

Предложение было принято сразу. Деда Макара снова посадили на трактор, а Петруха и Шохов пошли следом. Вася Самохин по просьбе наших друзей не лихачил и вел машину осторожно.

В столовой, совсем пустой по случаю праздника, они снова заказали вино, каких-то котлет с картошкой, а Шохов и дед Макар еще и по порции московского борща с колбасой.

Вышла к ним средних лет красивая женщина, строгая и ласковая одновременно. Деда Макара она поцеловала в щеку и поздравила с праздником, остальным приветливо подала руку.

Дед всех представил, называя даму Галиной Андреевной, но присовокупляя, что она же Гавочка. Так, мол, произносит ее имя картывый директор УРСа, и если нам, грешным, будет тоже позволено так называть, мы даже с превеликим нашим удовольствием воспользуемся, потому что, милая Гавочка, путь к сердцу мужчин, таких, как мы, лежит только через желудок, и вы, судя по вашим замечательным обедам, вполне нашли этот путь! Мерси! Мерси!

И опять дед показал себя перед всеми как несколько болтливый, но прелестный собеседник и прекрасный кавалер, так что можно было только удивляться, откуда в нем сохранилась такая прыть.

Галине Андреевне объяснили, что день у них сегодня, можно сказать, особенный, потому что накануне и Шохов и дед Макар переехали в новые жилища. Ей объяснили, где это находится, а возбужденный вином, но и, кажется, красотой заведующей Самохин Вася предложил и ее перевезти на участок.

— Хотите, Галя, — он и тут не удержался от фамильярности, — я вам домик сколочу? Я по правде, а?

— Хочу, — сразу согласилась с милой улыбкой Галина Андреевна.

— Они вот смеются, а я и вправду могу за неделю построить, я деду предложил, а он отказывается, чужак!

— Нет, я не откажусь, — произнесла опять же с улыбкой Галина Андреевна.

Тут все поднялись и стали с жаром ее убеждать, что это так хорошо, когда она поселится с ними рядом, и насколько лучше жить в своем домике, чем в городе.

— Да у меня в городе ничего и нет, — с улыбкой объясняла прекрасная Галина Андреевна. — Я хоть сегодня... Верно говорю.

— Сегодня так сегодня! — крикнул заводной Самохин. — Предла-

гаю осмотреть будущую усадьбу нашей Гали... Галины Андреевны то есть!

Все громко прокричали «ура».

Тут же было решено, что Галину Андреевну Самохин тоже возьмет с собой на трактор. А Петруха и Григорий Афанасьевич придут пешком. Попутно они еще забегут в магазин и пополнят кой-какие запасы.

Насчет запасов Галина Андреевна тут же их суету отвергла, попросив девочек-поварих организовать ей на дорогу все что возможно.

Их с дедом Макаром со всяческими предосторожностями посадили в кабину трактора, и тот же Самохин, настрого предупрежденный Шохвым насчет лихачества, медленно повел свою машину по боковым улицам прямо к Вальчику. Следом двинулись и Шохов с Петрухой.

Наверное, они довольно громко разговаривали, потому что Шохов не сразу расслышал, как встречный человек произнес:

— С праздником вас, Григорий Афанасьевич!

Шохов машинально кивнул, сделав несколько шагов, но, что-то сообразив, резко остановился, оглянулся. Небольшого росточка человек в плаще и кепочке, криво улыбнувшись, уходил прочь. Сразу же вспомнился необычный, будто вкось направленный взгляд, и остренькое личико, и эта подобострастная улыбка... Хлыстов! Вот теперь Шохов точно понял, что это был Семен Хлыстов, давний враг его и Мурашки.

Петруха, ничего не заметив, продолжал говорить свое, он, кажется, рассказывал о занимательной теории старика, который по расположению планет что-то там пытался определить. Шохов кивал, но не слышал, не мог слышать, потому что память восстанавливала прошлое. И мысли одна за другой, отрывистые, как импульсы, сотрясали его. Значит, и сюда добрался Семен Семеныч? Приехал, а возможно, где-то уже и работает в строительном управлении? Надо бы навести справки — где. А ведь узнал, поздоровался, га! Может, он искал этой встречи? Может, он вообще знал, что Шохов здесь живет? Откуда? Так мир на слухах стоит! И ведь не побрезговал, поздравил, по имени-отчеству назвал... Было что-то в его улыбке, во взгляде скользящем такое, что Шохов понял: новой встречи им не избежать. Ах, не зазря же вспомнил именно сегодня он Мурашку. Ведь существуют же какие-то флюиды, которые в один день соединили убитого и убийцу, дотоле не вспоминаемых?! Какой неожиданный день!

В очень смутном, тяжелом состоянии поднялся он вслед за Петрухой на Вальчик, где уже бойкий Самохин, соскочив с трактора и приняв на руки Галину Андреевну, что-то показывал ей, объяснял, тыча рукой в направлении избушки.

Теперь Самохин подскочил к Шохову.

— Григорий Афанасьич! Что же это такое? Что происходит? А?

— Что происходит? — вяло спросил Шохов.

— Но вы же видите? Видите? — И он снова указал в сторону избушки рукой.

Шохов глянул туда, где белыми тесовыми досками выделялся на темном плоскогорье его дом, и поразился необычной картине: прямо от его дома вдоль оврага вкривь и вкось по направлению к реке стояли времянки.

Целая улица времянки!

Невесть откуда взявшись в это первомайское утро...

— Времянки же! — надрывался Вася, заглядывая в лицо Шохова.

— На санях, наверное, — не без скрытого изумления, даже с какой-то дурацкой радостью декламировал Петруха. — Привезли на санях!

— Кто же это привез? Кто разрешил им? Разве мы им разреша-

ли? — кричал Самохин расстроено, обращаясь к Шохову, к Петрухе, даже к Галине Андреевне.

Только дед Макар ничего не слышал и не видел. Он заснул в кабине по дороге сюда и продолжал спать.

— Улица сказочная... — произнес Шохов, загнипнотизированный необычным видом. Настолько необычным, что показалось Григорию Афанасьевичу все это голубым весенним миражем, привидевшимся с высоты Вальчика.

Времянки стояли несколько неровным, но внушительным рядом, и дымок у многих из труб вился, а около иных еще суетились люди, что-то там делая, подкапывая, устанавливая, ровняя.

— Вот и городок, — произнес Шохов со странно бледной улыбкой.

— Ну да, Вор-городок! — подхватил, не разобравши слов, Вася. — Как воры пришли!

Шохов ничего на это не ответил. Все молча смотрели вниз, не решаясь идти дальше. Вдруг с высоты, из кабины трактора раздался голос деда Макара. Он тоже проснулся из-за громких криков Самохина и понял, в чем дело.

Высовываясь в дверцы и указывая в сторону времянок, кричал, похохатывая, странным пьяным тенорком:

— Половцы! Печенегии!!! «И половцы непроложенными дорогами побежали к Дону великому! Кричат телеги в полночи, словно лебеди распущенные... О русская земля! Ты уже за холмом!»

Часть третья

Григорий Афанасьевич Шохов не считал, что ситуация со сносом Вор-городка ему до конца ясна. Но памятуя, что лучшая интуиция — это информация, он после изучения калечки с проектом застройки наведаясь в кое-какие другие конторы, и в горисполком зашел к Риточке, и в Гидропроект заглянул и по крохам, по мизеру все что было можно собрал воедино.

Выходило, что опасность хоть и существует, но не столь уж реальная, как поперву казалось. А при этом положении лучше шуму не поднимать, слухи по возможности опровергать и вообще вести себя, как и прежде. Строительство нового гаража никаким образом не прекращать. Пусть люди видят, что он спокоен.

Но между тем было им для себя решено глаз с проектантов и горсоветских деятелей не спускать и нос держать по ветру, чтобы не упустить опасного момента.

По этой же причине он калечку с планом принес домой и прикинул к стене около кровати. Так что в любое время суток, открыв глаза, сразу же натыкался взглядом на чертеж. Он читал, что у древних греков в местах, где они веселились, были нарисованы траурные картины, дабы люди и во время праздников не забывали о грядущей смерти.

И все-таки, хоть слухов он не поддерживал и даже, наоборот, старательно их опровергал, утешал паникующих, разговоры продолжались, один домысел порождает другой, а тот третий, и скоро навертелся такой клубок, что размотать его самому искусному правдолюбу было уже не под силу.

В один прекрасный осенний день, когда проглянуло солнышко и ветерком подсушило грязь в городке, к дому Григория Афанасьевича пришла делегация. Были тут и Галина Андреевна с дедом Макаром, и болтливая Нелька, которая, конечно же, больше других все знала, и потому могла трепать что ни попадя, и ее слушали, пришли и Самохин Вася, Нелькин муж, и Коля-Поля, и дядя Федя, и многие другие. Шохов уже не всех знал в Вор-городке. Не было лишь Петрухи.

Григорий Афанасьевич в дом такое скопище приглашать не стал,

а всех рассадил во дворике, благо было тепло и сухо. Люди оглядывались, осматривались, многим было в диковину увидеть собственными глазами, какое обширное хозяйство развел Шохов тут, за высоким забором.

Некоторые, самые нахальные, все осмотрели, ощупали руками, а кое-кто и пальцами измерил, а то и рулеточкой, которая у хорошего хозяина всегда при себе. И все убедились: правду баяли — большой мастер и настоящий хозяин этот Шохов. Есть чему у него поучиться.

И вот уж как последний пример — это нынешний день, воскресный вроде, когда лежебоки под газеткой спят, или в телевизор уставились, или же на пикник к воде ушли. А он опять чего-то строит и встретил их как был — в рабочей спецовке и с руками, вымазанными раствором. Одним словом, трудяга человек, мужик, за которым любой бабе жизнь прожить не страшно.

Пока Шохов переодевался, а иные бродили по двору, высматривая для собственной пользы его разнообразное хозяйство, большинство расселось у летнего столика на скамейках. О погоде говорили, о картошке и о капусте, которые надо было подкупить, чтоб на всю зиму хватило. Кто-то рассказал, что народ в лес за брусникой кинулся, а на базаре она выросла в цене до двадцати рублей ведро, да и то не купишь. А брусника — ягода на диво полезная, ее и на кисели, и на варенья, и просто в сахаре мочить можно. А в прежние-то годы, кто из новоселов помнит, ее сколько хочешь было. Город подрос, и продукт вздорожал. Даже рыба у рыбаков удвоилась в цене, уж река — вон она, рядом!

Посиживали, разговаривая о том о сем, но никто, ни один человек не обмолвился о главном, для чего, собственно, они все собрались. Беседовали, старательно обходя все, что касалось судьбы Вор-городка. И это до той поры, пока не вышел хозяин.

В джинсах, в голубой рубашке, умытый и гладко причесанный, он сразу стал моложе и светлей. Извинился, что задержал, и присел, поставив чурбачок рядом с остальными.

Все молчали, и он не торопил с разговором, разглядывал лица, помалкивал. Ясно было, что он догадывался, по какому поводу могли сегодня прийти люди и почему именно к нему они пришли.

— Строимся еще, Афанасьич? — спросил кто-то для разгона.

И все посмотрели на Шохова.

— Да. Гаражик достраиваю, — отвечал он. Из синей глубины глаз бросил пристальный взгляд на собеседника. Попросту тот или всерьез интересуется делами Шохова. Или же в самом вопросе уже закладывалась тема будущего разговора. И добавил с улыбкой: — Могу показать. Вдруг кому на будущее сгодится мой проект, если решите купить мотоцикл. К весне собираюсь приобрести.

— А где?

— Ну где? — сказал Шохов. — Где придется. В Москве, говорят, бывает.

— В Москве все бывает, — раздался смешок. — Да не про нас! Там своих ездовых хватает.

— Говорят, в Москве и гараж несколько тыщ стоит, не то что у нас.

— Там земля дорогая.

— Ага. У них дорогая, а у нас даровая!

— Это пока, паря. А потом тебя с этой земли понесут так, что забудешь своих...

— А кто же это понесет? Мы что, не свои люди? Или не такие, как везде?

Так, проделав круг, разговор подошел к исходной точке. А потому хоть и перебрасывались вгорячах, но смотрели-то на Шохова, на него одного. От него главным образом ждали решающего слова. Все, конечно же, уловили мысль про будущий год и про совет, как

строить гараж, и в этом уже был косвенный ответ на волнующий всех вопрос. Но теперь оставалось узнать, а что же известно самому Шохову, если он не боится строиться. Есть у него какие-то сведения на этот счет или так, одна, как говорят, голая вера в то, что не тронут Вор-городок, не посмеют тронуть.

— Так вы считаете, Афанасьич,— подал кто-то голос,— можно спать спокойно?

Галина Андреевна помалкивала и казалась теперь рассеянной или усталой. Она сидела рядом с дедом Макаром, теребя в руках колечко с ключом и поглядывая изредка на Шохова.

— Я сплю спокойно,— ответил Григорий Афанасьевич и посмотрел при этом на Галину Андреевну. Будто ей, а не спрашивающему он хотел доказать, что все спокойно в городе Багдаде... Почему-то эта фраза из какого-то кино вспомнилась ему сейчас.

— Вы спите спокойно, потому что вы знаете, что можно спать спокойно, уважаемый Григорий Афанасьевич? Или потому, что ничего не знаете и знать не хотите? — подал голос дед Макар, задирая голову и показывая мельенькие зубы.

— Ну что я знаю? — произнес Шохов, не глядя на деда Макара, но отвечая, конечно же, ему. — То же, что и все. Что есть план промышленной застройки нашей территории, но он только еще предварительный, перспективный, а что у нас зовется перспективой, надеюсь, все знают. Тут строители собрались, как я понимаю.

— А что такое перспектива? — спросила теперь Галина Андреевна. Хотя и она, проработавшая много лет при стройках, не могла не знать, о чем идет речь. Ей просто было легче спросить об этом, и она спросила.

И опять все смотрели на Шохова, ожидая ответа. А он вдруг подумал, что сейчас, здесь, перед людьми он должен говорить то, что он и себе опасался сказать: что перспективный план — это тоже план, а значит, он когда-нибудь может исполниться. Тогда почему же он сам не паникует и другим не дает? У него есть какие-то сведения еще, или его опыт подсказывает ему, что такой план нереален? Да или нет?

Но выказать свое сомнение, свою нерешительность значит наверняка посеять панику в городке и дать повод каким-то ненужным, несвоевременным демаршам, письмам, делегациям, просьбам и тому подобным действиям. Они-то могут привлечь к Вор-городку внимание властей, заставить их отвечать на действия, а значит — решать, но тогда вряд ли это решение будет в их пользу.

А тишина, а неопределенность, а неуверенность и время — вот главный фактор, в котором он видит союзника, — могут привести и наверняка приведут к положительному результату. Пока еще планы да планы, а городок будет укрепляться и строиться (вот как сам Шохов укрепляется), и в конце концов, когда придет время, можно ли будет его сносить, если он встанет, как Рязань перед Батыем, полный отчаянной веры и желания победить?

Когда же паника, то не до победы, тут слабые сразу побегут, все поползет, начнут кидаться в разные стороны. Тогда не останется ли Шохов один в своей укрепленной крепости среди поля? Он да горстка ему подобных?

Люди заговорили, и можно было услышать чутким ухом, что все они не защищены ничем и никем и нет у них в запасе ничего, что бы могло служить поддержкой, кроме слов Шохова:

— Куда же мы пойдем, у нас дети!

— Мы продали все, когда ехали сюда.

— Я занимала деньги на временку, а еще не расплатилась...

— А мы... мы ждем ребенка!

— У меня мама больна. Она не вынесет такого потрясения!

— А мы корову купили.

— Меня привез муж, а сам уехал. Я даже работы не имею. Я совсем одна, понимаете? Я одна! У меня грудной ребенок!

Все говорили и все смотрели на Шохова. А он подумал, что каким-то образом отвечает за этих людей, хоть они и не скажут этого вслух и, может, и не подумают даже, что он виноват перед ними. Каждый за себя ответчик. Каждый поселился здесь потому, что не мог поселиться в другом месте. И не в Шохове причина. И все-таки он их привел сюда.

Значит, и Шохов виноват? Косвенно да. Каждый сейчас печется о себе и смотрит на Шохова как на помощь, как на защиту, как на надежду сохранить свое жилье...

Исподлобья, корябисто рассматривал он людей и слушал их голоса. Его глубокий затаенный взгляд выдавал только крайнюю озабоченность, но и, пожалуй, решимость. Острая упрямая складочка на переносице усиливала это впечатление.

— Мы ждем ребенка! — вторично и еще отчаяннее повторили Коля-Поля.

Когда замолкли, он вздохнул и поднялся. Глядя в лица этих людей, ловя их глаза, сказал, что он лично верит, что никогда их не снесут. Причин много. Он и не помнит, чтобы где-нибудь в таком случае сносили. Но не надо шуметь и возбуждать других. Надо жить, как жили, и строить, и строиться. Вот и все, что он думает. А в остальном он такой же, как и они, и у него нет никаких запасов и заделов, как нет места для отступления. Все же видят, чего он тут понагородил.

Шохов был искренен, ему поверили. Тон разговора поутих, некоторые стали уходить. А те, что остались, продолжали как бы по инерции обсуждать свои домашние дела, свои насущные проблемы. У кого водой погреб залило, а у кого холодильник не тянет, потому что вечером все включают телевизоры, а проводка-то одна на всех, да и та почти незаконная. И все в том же роде.

Кто-то из чересчур любопытных углядел у Шохова муравейник посреди огорода и, конечно же, поинтересовался, зачем он развел муравьев возле дома, они вроде бы кусаются.

— Муравьишки тараканов гонят, — сказал Шохов с неожиданно детской улыбкой. Напряжение спало, ему стало легче разговаривать.

— А голуби? Голуби для чего?

Шохов снова усмехнулся:

— Нет, я не увлекаюсь голубями. Но у нас в деревне было поверье, что дом, где живут они, не сгорит от пожара.

— Практичный вы человек, — сказал дед Макар, поднимаясь и откланиваясь.

Скоро все разошлись.

Шохов остался один в пустом своем дворе. Он сел на скамейку, на которой только что сидели люди, и посмотрел туда, где прежде был он сам. Он будто бы рассматривал себя со стороны, вслушиваясь в собственный убежденный голос, вглядываясь в свои честные голубые глаза.

Как выяснилось, и у него самого не было ничего в запасе. Люди верили ему, а он должен верить себе, а это было гораздо труднее. И что будет, если усомнится он?

Теперь, со стороны, он мог по памяти рассмотреть и тех, кто приходил. Вьедливого дядю Федю; затаенное и почти страдающее лицо Галины Андреевны; ощеренного в странной, вызывающей улыбке деда Макара и эта его последняя брошенная реплика насчет практичности. Все, мол, у вас, Григорий Афанасьевич, целесообразно в доме, даже голуби, даже муравьишки крохотные для дела, а не для души

приспособлены. Практичный вы человек, Григорий Афанасьевич, счастливенько оставаться!

И Самохин, шумный и бестолковый Самохин вел себя нынче естественно тихо. Болтливая Нелька хоть между делом трепалась, а он сидел, как министр на званом обеде. Отчего бы это? Или справедливы слухи, что он провернул свое дельце с квартирой и не сегодня-завтра рванет? Нужно бы через ту же Нельку посильней копать, она расколется. В ней ни одна новость больше пяти минут не держится... Так он решил.

О Петрухе он не хотел думать. Он уже знал, что Петруха не придет к нему в этот дом. Хоть пожар случись, хоть потоп, хоть что другое. Все равно не придет.

Шохов скинул одежду синюю рубашку, брюки, надев более привычную рабочую одежду, пошел достраивать гараж. Жалко было терять выходной день.

По едва подсохшей тропке между времянок возвращались к себе дед Макар и Галина Андреевна.

Дед по привычке шагал, не разбирая грязи, и, оборачиваясь назад, к собеседнице, продолжал начатый от дома Шохова разговор.

— Город — это не коробки для жилья, нет, многоуважаемая Галина Андреевна! Вы когда раскапываете древние поселения, что вы ищете? А? Вы могильники ищете! С них начинается, ими же и заканчивается цивилизация. А у нас и кладбища своего еще нет. В деревню кого-то возили хоронить, и все пока. Это поезд, паром, а не город! И традиция тут одна: куда-нибудь доехать.

— Так ведь эта традиция всю жизнь,— произнесла Галина Андреевна. Впрочем, поддерживала разговор она вяло, потому что настроение у нее, по-видимому, было нехорошим.

— Н-нет! Эх нет! Обжить, удобрить своими костями землю, чтобы на ней взросли доброта, культура, нравственность, ремесло... Благородство! Поколения нужны, понимаете, уважаемая? А коробки, они и есть коробки. Хоть неон повесь, хоть золотом обклей, а людям это не в душу. Им скучно жить, когда... Вот вспомните, уважаемая Гавочка, вспомните наш поселочек на Ангаре. Кстати, вы нас прекрасно там кормили! Ваши отбивные, ваши пельмени я буду помнить до конца жизни!

Дед Макар остановился у своего домика и спросил, задирая голову и взглядывая на Галину Андреевну через пенсне:

— Как насчет кофе? Правда, растворимый, я получил от друзей посылочку. Пишут, в Москве снова появился.

— Почему друзья? Почему не дочка? — спросила осторожно Галина Андреевна.

— Ну как же! Как же! Ниночка тоже пишет,— торопливо сказал дед, вдруг тушуясь и протирая грязным платочком пенсне.

— Пишет, чтобы ей прислали денег?

— Ах, ну зачем вы так, многоуважаемая... Зачем? Они действительно нуждаются, я это знаю. У них и мебели нет.

— Значит, мебель просят? — в упор спросила Галина Андреевна.

— Нет, нет. Они ничего не просят. Я сам. Я сам, понимаете, хочу им помочь. Вы же с директором УРСа не в плохих отношениях, да?

— Не буду я для вашей Нины ничего доставать,— сказала ровно Галина Андреевна.— Если вам — пожалуйста. До свидания.

И она пошла, в красном плащике, без платка, очень стройная, изящная даже со спины. В ней все было достойно — походка, манера разговаривать, держать голову, смотреть на собеседника, если даже она была категорична, как сейчас. И дед Макар вздохнул, поглядев ей вслед. Он-то знал, насколько она права.

Было ведь, когда дочь, точно взбесившись, кричала на него: «Выродок! Мамонт сибирский! Прележал в вечной мерзлоте тыщу лет и хочешь, чтобы мы так жили? А мы не пещерные люди, чтобы на шкурах спать! Мы жить хотим, красиво одеваться, ходить в ресторан, принимать гостей. А ты... Ты посмотри на себя, до чего ты обтрепался, нам же стыдно показать тебя друзьям! Да! Да! Знакомьтесь, уважаемые коллеги. Это наш папа, он электричество зажигал на Ангаре! И дозажигался... Зато есть машина, такая редкая, которая нас, как и все человечество, приведет к всемирному счастью! Папа! Продемонстрируй!»

Дед Макар повертел головой, будто пытаясь от всех этих слов освободиться. Уж когда они были сказаны, а все помнит, помнит. Но нет, не сердится. Не смог воспитать, так на кого же он должен обижаться! А вот по поводу мебели, видать, придется самому идти к начальнику. Для себя бы он не пошел. А для дочери... Для нее он все сделает. Для нее, если понадобится, и унижаться будет, и деньги в долг просить, как уже и просил, и остальное в том же духе.

Дед Макар после разговора с Галочкой расстроился и раздумал идти домой. Он направился в сторону от Вор-городка, в ложбинку, где стояла избушка Петрухи. Там в обществе ненавязчивого Петра Петровича находил он взаимопонимание и покой.

А между тем Галина Андреевна тоже не торопилась попасть к себе. Медленно вышагивая, она смотрела на дома, такие разные, от крошечных щитовых хибарок до изб, на бревнах которых цифирье проставлено. Как перевозили, значит, метили. У одних дома вовсе низенькие, сляпанные кое-как, а у других — дворцы, не хуже стилизованного городского ресторана. С уважением к себе созданные, с мастерством, почти что шоховским. Хотя, по совести, далеко им всем до Шохова.

В мыслях Галина Андреевна вернулась к сегодняшнему разговору. Ей, как деду Макару, не показалось, что Шохов что-то от них скрывает. Да и что, в сущности, скроешь, если живешь у людей на глазах! Другое дело, что мог он сомневаться, предполагать самые ужасные последствия и не верить в хороший исход дела. Но и этого не было. Наоборот, ее удивило как раз то, что практичный Шохов, которому было здесь терять больше, чем кому-то другому, оказался относительно спокоен, почти самоуверен. Галина Андреевна верила в чутые, в интуицию Григория Афанасьевича. Она понимала, что разговор у них в целом получился и люди, даже самые напуганные, несколько успокоились. Только дед Макар не поверил Шохову. Он так и заявил, выходя из калитки, что не верит ему. Не верит, да и все, а почему — не может объяснить.

— Или он знает больше и тогда имеет все основания оставаться спокойным, его можно понять. Или... Или, уважаемая Галина Андреевна, это просто приятная мина при плохой игре. Но в чем тут игра? Не в том ли, чтобы нас успокоить и этим как бы укрепить волю людей перед новыми испытаниями, а?

— Отчего же вы не верите людям? — спросила грустно Галина Андреевна.

— Верю, уважаемая Гавочка! Всем верю, а Шохову не верю. Он зубастей нас всех. Помяните мое слово: что бы ни случилось, он выйдет сухим из воды!

— Да как же он может выйти сухим, если мы все здесь повязаны одной веревочкой, а он так больше других!

— Да, да. Так оно и есть. А все-таки он и тут будет первым! — И, засмеявшись и показывая маленькие зубы, дед Макар добродушно добавил: — Жизнь покажет, чего тут спорить.

И он пустился в рассуждения о новых городах, которых со времен Ангары видел десятки, и о том, каков должен быть в них нрав-

ственный климат, каковы традиции. И почему все новые города так похожи друг на друга.

— Вот вспомните наш поселочек на Ангаре...

Но еще до этого разговора, сидя на шоховской усадьбе на скамеечке, дед Макар будто невзначай спросил:

— А что, милейшая, не собираетесь ли куда-нибудь съездить? Не забудьте предупредить, я соберу посылочку.

Так туманно бесхитростный дед Макар намекал на поездки Галины Андреевны к мужу. Никто в Вор-городке не знал, кроме деда, что у Галины Андреевны есть муж и что находится он в заключении, в колонии, расположенной близ Новожилова. Туда-то и ездила раз в полгода Галина Андреевна, получая трехдневные отпуска в своем УРСе.

С Николаем Кучеренко она познакомилась на Ангаре. Там и свадьбу в палатке сыграли. Дед Макар, работавший в комплексной экспедиции, тоже был на их свадьбе. Это, пожалуй, были самые счастливые годы в жизни Галины Андреевны. Работала она поваром. «Любила людей кормить, потому что сама наголодалась», — однажды сказала она.

Галина Андреевна была родом из Перми и родилась в праздничную дату — восьмого марта. «Родилась восьмого, а крестили одиннадцатого», — рассказывала она. — Нарекли в честь святой мученицы Галины».

Еще когда была маленькой, отец, железнодорожный рабочий, переехал в Забайкалье, работал дежурным по станции. Жили они в вагончике. Во-он откуда пошла ее дорожная биография, вагончики да вагончики. До сих пор... Когда мама ее умерла от тифа, было Галочке семь лет. Осталось четверо детей и папа пятый. Вдруг они оказались под Читой, отец снова женился, это было на станции Урил. Потом он умер после какого-то острого воспаления легких, и мачеха, бросив их, уехала на Сахалин, предоставив детей самим себе. Жили они на чердаке, самой старшей из них, Галиной сестре, было двенадцать. Ломали асфальт, скамейки по ночам, топились, собирали по столовым корки. Не было случая, чтобы Галина Андреевна не накормила лютого забредшего в ее столовую ребенка. Помнила свое детство!

Ими тогда, брошенными ребятишками, заинтересовался гороно, отправил к бабушке, папиной, значит, маме, в Красноуфимск. У той двое детей. Гале и ее сестрам они приходились теткой и дядькой. Детишек они разделили между собой: дядя Сережа взял старшую сестру и Галю, а тетка Капа забрала младшеньких. Потом снова объявилась мачеха и увезла их в Читку. Тут их и застало начало войны. Галя как раз окончила семь классов и пошла работать на спирто-водочный завод:..

Платили немного, а было их в семье ртов: мачеха да двое ее детишек — с Галей четверо, хотя старшая тоже была при деле. Работала Галя на мойке стеклопосуды, а у самой голова кружилась от голода. Ее подруга жалела, подкармливала. Несколько раз Галя падала в обморок. И во время одного голодного обморока обожглась. Ее отвезли в больницу. Доктор Кузнецов посмотрел и спрашивает: «Девчоночка, сколько же тебе лет?» А было ей четырнадцать, хоть она всем говорила, что девятнадцать. Пять лет набавила, чтобы устроиться, значит. А он-то, доктор, он сразу раскусил ее возраст. Выписали ее, направили в дом отдыха. Впервые в жизни ее в столовой кормили, жиденькую похлебку давали, но досыта. Повара жалели ее: кости да кожа. И это опять на душу легло. Значит, поварская профессия для живого человека, для помощи ему, для жизни. Так на всю жизнь и запомнила.

Тут они переехали во Владивосток, город ей сразу понравился, Море, бухта и дома среди пологих гор.

А с рыженьким парнишкой, его Петей звали, она встретилась потом. Оказалось, что он морячок, военные караваны сопровождает. Привел Галю к своей матери и говорит: «Мама, это моя жена, она будет у нас жить». Справили свадьбу, молодой муж в море, а она осталась ждать. Мать сразу невзлюбила невестку. Пока муж Петенька дома, у них спокойно. Когда уйдет в рейс, все не так. И обед сварен не так, и полы помыты не так. Особенно насчет полов она изгилялась...

Петя ушел с караваном да и не вернулся. Попали под бомбежку. Конечно, провожала она его, как в обычный рейс, и не загадывала ничего. Поцеловала Петечку своего рыженького и, помахав рукой, стала ждать. А ждать-то было уже некого. Потом-то уж она посчитала, и вышло, что прожили они вместе не больше месяца. А вот помнила — всю жизнь.

Второй ее муж был геолог Иван Бойченко, бородатый шутник и непоседа, лет за тридцать ему. Он-то и перетащил Галю на Ангару и устроил в экспедиции поваром. Но только и с ним счастливой жизни не получилось, его медведь задрал в тайге. А Николай Кучеренко был ее третьим мужем. Свадьбу они праздновали в палатке, в молодом городке близ Усолья. Через год, что ли, в кармане у одного рабочего детонатор взорвался. Двоих убило, одного ранило. Бригадир строителей Кучеренко посчитали виноватым, присудили ему большой срок.

У Галины Андреевны сохранилось шуточное свидетельство о браке (настоящее-то откуда в тайге взять?):

«Он — Кучеренко Николай Анисимович. Специальность — строитель. Стаж работы: пол-Братской, начало Усть-Илимской и Усолье. Моральный облик — активный строитель, член партбюро. Цель жизни — быть полезным обществу.

Она — Кучеренко Галина Андреевна. Специальность — повар. От кого произошла — нашли под березой. Цель жизни — у нас общие цели».

Так написала она. И всю жизнь, сколько потом жила, была верна этим словам.

Был такой вопрос: «По принуждению ли замуж идете?» «По злему умыслу», — написала она в шутку.

Далее в свидетельстве шло: «Он и она обратились в общественный комитет по гражданским делам с великой просьбой — позволить им объединиться в брачный союз и рука об руку вместе шагать по торной и в то же время новой для всех молодоженов, тернистой для незакаленных и слабых дороге в будущее. Он и она обязуются дать жизнь следующему поколению строителей, которое понесет в дальнейшее будущее эстафету человечества. Решение общественного комитета по гражданским делам: считать отныне и во веки веков Кучеренко Николая Анисимовича и Кучеренко Галину Андреевну мужем и женой. По возможности поселить их в коммунальную квартиру, а торжественное собрание друзей провести 3 декабря сего года».

Была и грамота, с которой обратился к ним тогда на свадьбе дед Макар, представлявший комплексную экспедицию:

«Дети мои, граждане! Из моего скита киповского, что у дальней речки, проделали мы путешествие длинное зело. По воздуху летели на машине гремящей, осеняя себя крестным знаменем, до острога Братского. Оттель на карете самокатной, в толпе людской, в атмосфере дурно пахнувшей в тутошние места переместились и не туристских помыслов богопротивных, а брачного союза освещения для.

Всерьез ли затеяли вы, отрок Кучеренко Колька и отроковица Галина, соединение жизней своих, нет ли греха какого в помыслах ваших? Вот вам и кара за грехи: жениху первых три тоста водки и

спирта не наливать, первые три раза молодую в щеку только лобызать. А грехи поделит начальник над всем тут строительством, он же и старший. Ты пошто, ирод, не смотрел за поваром Галькой, девкой непутевой? Все шастал по делам да по карьерам, по тайге непролазной неизвестных помыслов для. За грехи твои запишем дело сие, покуда не устроишь запруду у Толстого мыса, и домов не поставишь, и град не возведешь у Ангары-реки согласно проекту, и технической документации, и замечаниям святых людей. Аминь! А за непогляд в твоём пастырстве тащи, антихрист, зелья побольше и немедля!»

Дед Макар тогда из Москвы из отпуска приехал, был весел, хорошо отдохнул, оттого и дурачился. А она и тут, на свадьбе, посидела рядышком с мужем и побежала скорей гостей обслуживать. У деда под собственный праздник машину выпросила. Свадьба-то кончится, а завтра снова за продуктом в глубинку ехать. Так она ему и сказала: «Лучший подарок — это машина, чтобы за продуктом для рабочих съездить».

— Секретов поварских каких-то особенных нет,— так Галина Андреевна девочек обучала, когда они приехали.— А есть любовь к делу. Одним нравится, другим нет. Ну, кто-то промолчит, а кто-то и схамничает. А ты должна улыбаться. Да, да. Улыбаться и говорить: «Пожалуйста, пожалуйста...» Худо тут, скажем, с продуктами. Но один и тот же продукт можно и хорошо и плохо приготовить. Как говорят, за вкус не ручаюсь, а подам горячо! Это поговорка, но подать нужно горячим, это точно. Ребятущки замерзли, у них дорога двести километров, глубинный завоз. Да еще по реке, ночью, чтобы по морозцу. А другие строят мосты, лежневку, и еще земснарядовские. Они последними приходят, так им обязательно погорячее да получше. Вот какой у нас принцип.

А уж то не рассказывала, как хлеб по избам в деревне пекли, а потом на зорьке все дома обойти, да собрать, да привезти. И все до завтрака.

А девицы приедут, только научишь — их мужчины-то замуж расхватывают, и опять одна до нового завоза.

На утлых лодчонках плавали в разные деревни за продуктами: есть нечего, помогите!

А тут ее на бойню послали. Хоть мясо от мяса всегда отличала, а на бойнях она сроду не была. Увидела самого большого быка и говорит:

— Давайте этого. Чем больше, тем лучше.

А как закололи, вода из него пошла, и стал тот бык тощий-тощий. Видать, солью его кормили, чтобы он пил больше. Так и запомнила, как вместо мяса воду купила. А мяса вышло совсем мало. Расплакалась тогда Галина Андреевна, потому что вышло оно не по рубль во семьдесят, а по три шестьдесят. Плачет сидит, а тут ребята с работы пришли. Была такая строительная бригада, звали их синенькие. Это после того как все одинаковых беретов накупили. Так вот синенькие с работы вернулись, увидели, что она плачет, и утешают:

— Не бойся, Галина Андреевна. Съедим за любую цену и еще добавок попросим.

А потом первые дома пошли, городок, город... В тот день пускали большую столовую (такой она им казалась тогда), на шестьдесят посадочных мест. Банкет в честь такого события устроили, начальство собралось. Галина Андреевна впервые увидела жен своих начальников, до этого-то все одни да одни.

Она и тост подняла за жен, потому что бедные мужички здесь намаялись, и уж кто как не Галина Андреевна видела, как им худо свои холостые столовские щи хлебать!

Тут еще какой-то корреспондент подлез, подсунул аппарат и по-

просил повторить, он, мол, не успел записать. Она только отмахнулась:

— Это наше. Понимаете? Это не для всех, а для наших только! — С тем и отказалась повторять.

Тогда он спросил:

— Правда ли, что на день Восьмого марта вам подарили пятьдесят комплектов духов, все, что было в магазине?

— Правда, — ответила она.

И тут девушка прибежала, говорит:

— Иди, я чего-то скажу.

Галина Андреевна даже обрадовалась: слава богу, от корреспондента отвязалась. А девушка только на кухню вышла и говорит:

— Там несчастье: на площадке взорвался детонатор и двух человек убило. Это у Николая Анисимовича.

— А он? Как он? Жив?

— Жив. Но его арестовали.

Так Галина Андреевна и путешествует вслед за мужем. А два года назад его под Новожилов перевели. Тогда-то она приехала в Новый город, бросив квартиру.

Примерно через месяц после того как Галина Андреевна познакомилась с Шоховым и Васей Самохиным, предложившим построить ей домик, она получила разрешение на свидание с мужем и выехала под Новожилов.

Надо отдать должное хватке бойкого Самохина. Он на следующий же день после разговора завез на своем тракторе опалубочные щиты, кое-какой инструмент и за десять дней вместо хвастливо обещанной недели сколотил приличную времянку. Плату за материал и за работу взял мизерную, о чем впоследствии, наверное, не раз жалел. Но уже начиная с Коли-Поли, он эту сумму удвоил, а с последующих брал и того больше. Вор-городок оказался для него сущей золотой жилой.

Домик у Галины Андреевны был небольшой, четыре на четыре метра. Но до осени требовалось отеплить тамбур, насыпать завалинку и запастись дровами. Еще ей хотелось развести под окошками маленький огородик, хоть несколько грядок для лука, редиски и моркови. Ну и, конечно же, цветов, пусть и простеньких, наподобие золотых шаров или граммофончиков.

Все эти мысли никак не заслоняли главной: в первый день июня она встретится с мужем, последний раз они виделись восемь месяцев назад. Они переписывались, и муж знал о том, что она бросила квартиру и вслед за ним приехала в эти новые места. Был он в курсе ее работы и всяческих дел в Новом городе. Только о собственном ее домике он ничего не знал, поскольку все это произошло в считанные дни. Тем более у нее горело поскорей рассказать про деда Макара, оказавшегося здесь, который познакомил ее с Шоховым («Очень славный человек, такой деловой и все умеет делать своими руками!»), и о Васе Самохине, как и о сколоченной им времянке.

До выхода Николая оставалось два с половиной года, в общем их отсчете срок небольшой. Но никто не мог наперед так далеко заглядывать в их жизни. И все-таки Галина Андреевна позволила себе помечтать о том времени, когда они смогут сами решать, где им жить, и, возможно, если все сложится удачно, останутся тут и по примеру Григория Афанасьевича построят себе настоящий крепкий дом.

Судя по развороту стройки, дел тут хватит надолго, а Николай специалист каких мало. Его и в заключении ценят как работника и поощряют, это было ей известно из его писем и пересказов. Да и есть

резон всегда оставаться неподалеку от тех мест, где находился, чтобы, как говорят, преодолеть психологический барьер. Нужно привыкнуть ко всяческим оговоркам по поводу прошлого, особенно вначале, и показать себя с наилучшей стороны. Да и климат в их возрасте нельзя так резко менять...

К тому же квартиры у них нигде не припасено. А тут уже вроде бы и очередь на жилье, а теперь и домик. Так Галина Андреевна и решила: все ему рассказать и вместе помечтать о будущей новой жизни в своем домике.

Последнюю неделю перед свиданием почти не спала, все мысли донимали, предположения. Но и читать не могла (дед Макар одолжил хорошую книжку про пользу волков), и радио слушать не хотела.

Каждый вечер, погасив свет, ложилась и начинала мысленно разговаривать с Колей. Вот уж больше девяти лет она стойко несла свой крест и не жаловалась никому. Но знала по опыту, что самые трудные для нее эти несколько дней перед свиданием (каковы же они будут перед выходом, если до него доживет?). Они превращались в сплошной диалог с мужем. Покупала что-то для него, советовалась мысленно, стоит ли покупать. Делала по работе дела и опять поясняла ему, что и почему она делает. А потом еще светлыми вечерами выкладывала ему свои мысли по поводу их дальнейшей жизни. А если и забывалась (майская ночь белым-бела, и неизвестно, непонятно, в каком часу приходил сон), то и во сне разговаривала с мужем. Причем самого его она не видела ни разу, как случается с другими: все видят, как в цветном кино. Галине Андреевне снились звуковые сны. Она разговаривала и знала, что говорит с мужем. Муж не то чтобы возражал, но будто бы чаще отмалчивался, и ей начинало казаться, опять же во сне, что он вроде бы с ней не согласен.

В общем, последние дни бывали тяжелей всего.

После свидания ничего подобного не происходило. Она возвращалась спокойной, тихой, задумчивой и уже ничего не видела, могла даже по нескольку дней вообще не вспоминать мужа. То есть не то чтобы не помнить о нем, а просто знать, что ему там неплохо, и больше о нем не думать.

Но кроме изнуряющих мысленных бесед, она уставала в эти дни и физически. Надо было купить разных разностей повкусней и получше. Надо было книжек достать из тех, что он просил, одежду приготовить, табак самого лучшего найти.

Все это не сразу, не мигом — она прикапливала задолго до встречи, иной раз с того дня, как приезжала с очередного свидания. Но всего ведь не напасешься, особенно продуктов. А тут как раз апельсины, которые были целый месяц, исчезли, и мяса для пельменей свиного нет, пельмени она ему непременно возит, потому что пироги с капустой да пельмени — самая любимая Колина еда.

Когда в поисках свинины ходила на базарчик, прикупила и меду банку (он жаловался, что часто простужается) и теплые вязаные носки. Хотела меховую безрукавку достать, но не достала. А просить в УРСе, унижаться не стала. К другому разу найдет. Зато подвезло с курами, две штуки запекала в духовке, завернув в фольгу, так и повезла. Не забыла прикупить бутылку коньяка (водки в магазинах уже не было давно). Коньяк был ее маленькой, но действенной хитростью.

Достала она и баночку черной икры и рыбки красной, обменяв на сумочку, привезенную из отпуска. А дед Макар вместе с письмецом притащил сыру финского «виола», заброшенного к ним в буфет.

Все это Галина Андреевна упаковала накануне в сумку, а в последний момент пельмени заложила в столовый термос, да еще захватила на урсовском «газике» в магазин за хлебом и за солью, вспомнив, что прошлый раз не оказалось у них соли и взять было, конечно, негде.

До Новожилова дорога километров восемьдесят и в сторону двадцать: чистых три часа езды. Но она и дороги не заметила и города, вся была настроена на встречу.

Процесс оформления, знакомый до мелочей, еще занял два часа. Эти часы были уже из ее золотого времени, того самого, которое отпущено для свидания. А отпущено им двое суток, или (что, конечно же, больше) сорок восемь часов.

Было сорок восемь, а стало — сорок шесть.

После многочисленных постов и проверок привели ее в домик одноэтажный, кирпичный, комнат на пять, в каждой комнате две койки, гобеленовые коврики, стол, тумбочка, шкаф. За все уплачено, как в гостинице, по рубль двадцать в сутки.

Не раздеваясь, не раскладывая вещей, присела она на кончик стула и стала ждать.

Уже и не особенно переживала, не чувствуя ничего, даже времени не чувствуя, потому что все отошло, и дорога, и усталость, и постовые, осталось лишь одно-единственное чувство близости его да сознание, что он совсем рядом, здесь, на этом кусочке земли.

Гавкнула собака, машина проехала. Кто-то кому-то прокричал на ходу. Ничто из этого не коснулось ее слуха. Но лишь на дорожке раздалась шаги, одни печатные, крепкие, другие с протяжным шарканьем, как она вся превратилась в слух, напрягаясь и обмирая. И уже у дверей негромкие голоса, звон ключей — их отпирают, запирают. Тишина. Но она не шелохнувшись сидит и точно знает, что муж ее уже здесь, в доме, в коридорчике, у дверей...

— Коленька!

— Галюша!

Долго стоят посреди комнаты и ничего не слышат. Одни. На все отпущенные часы одни.

Зарылись друг в друга, уже далеки от этого мира, стоят и не дышат. Молчат.

Только потом, боясь оторваться и потерять это чувство единения, не отпуская из рук друг друга, присели на кровать и снова замерли. И если бы мог кто-то их видеть, то показалось бы странным: сидят два человека и даже слов нет, час за часом проходит, и сумерки наступают, а они сидят и сидят.

В первый вечер они и ужинать не стали, как легли — и всю ночь проговорили. Только наутро вспомнила Галина Андреевна про пельмени, ахнув, побежала на кухню, вынула из термоса, сунула в холодильник и стала готовить плотный завтрак. Но обоим никак не елось, и они, едва опробовав стол, снова легли в постель.

Она поведала Коленьке про маленькую хитрость с бутылкой коньяка, которую, конечно же, пронести не разрешили, и она тут же отдала «зелененьким»: мол, не обратно же везти... Уж точно, что лишний часок, а то и два не станут дергать теперь, когда будет кончаться их время.

— Бедная ты моя, — приговаривал он и все гладил ее густые темные волосы. — Бедная ты моя...

— Вовсе я не бедная, — отвечала она, закрыв глаза. Но рук от него ни разу не отпустила. — У меня есть ты, которого я люблю.

— А я еще бедней. Себя замучил, ладно. Я тебя замучил с твоими переездами, с твоей одинокой жизнью.

— Нет, это вовсе не мучительно — любить тебя. Ведь ты живой, и я знаю, что ты живой, а это самое главное.

— Могла бы полюбить кого-то еще. Более благополучного...

— Нет, не могла. Ты один такой. Я еще во время свадьбы нашей знала, что ты у меня навсегда.

Он вдруг сообразил:

— Когда все случилось, я не верил тебе. Понимал, что можно ждать, но не верил. Человек слаб, а жизнь одна.

— Я и не говорю, что я сильная. Но ведь ты забываешь, Коленка, что моя жизнь — это ты. Другой мне не надо, потому что она — не моя жизнь.

— И все-таки! Сколько раз возвращался я к этим минутам, когда случилось несчастье. Сколько раз передумывал, так и сяк поворачивал и пришел к выводу... Знаешь, что я решил? Что этого не могло не быть.

— Почему?

— А-а! Вот один человек, он бригадиром на соседнем участке у нас работал, так тот сразу усек, что дело табак. Он, Шохов, даже ко мне в тот вечер пришел, когда решил уволиться...

— Кто? — спросила Галина Андреевна, открывая глаза. Серые большие глаза под черными бровями, как они были глубоки и прекрасны.

Он стал целовать их, хоть она и отворачивалась, памятуя приметку: целовать в глаза к прощанию.

— Кто? — переспросила она, даже приподнялась на локте.

— Шохов Григорий Афанасьевич. А почему ты спрашиваешь?

— Потому что он живет здесь.

И она пересказала ему встречу в столовой, когда нестареющий дед Макар (про деда-то муж знал, что он здесь) привел своих новых приятелей навеселе, и среди них был тот самый Шохов. Все сходилось: и фамилия и имя.

— Но как же я в Усолье его не встречала? — спросила Галина Андреевна возбужденно.

— Он всего год у нас работал, — сказал муж. — А потом уехал. Как раз в тот день, когда у меня несчастье произошло.

— Испугался?

— Нет. Во всяком случае, знаю точно, что заявление он подал раньше моего случая. И меня уговаривал уехать.

Галина Андреевна, подперев кулаком подбородок, смотрела на мужа и ждала. Ждала, что он еще скажет. Сейчас она впервые подумала, что не замечала прежде столько седины у него — черно-бурый — и карие глаза, в которых всегда читалась доброта, вот что она при первом же знакомстве увидела в нем, будто высветлились, порыжели от времени.

— Он что же... бесчестный человек? — спросила она, преодолевая в самой себе какое-то странное сопротивление своим словам.

— Нет! Нет! — вскинулся муж. — Шохов честный человек. У него обостренное чувство опасности. Это я потом понял... А какой он работник! Мы в соседних бригадах работали: он гараж строил, а я столбовую для тебя. Потом он Дом культуры строил. А я мастерские... Нас равно ставили как бригадиров, хотя в душе я понимал, что он лучше меня. Вот посудите. Была мода, когда в бригадах специализацию ввели. Одна бригада бетонит, другая столярит и так далее. А он первый пошел против моды и ввел за правило, что каждый его рабочий должен все уметь делать. А ведь есть такие работы, что, не сделав одной, невозможно начать другую. Мы ждем, когда сделают, а он сам да сам. В общем, утер нам нос, мы тоже по его методу начали работать.

— Я сразу поняла, что он мастер, — сказала задумчиво Галина Андреевна.

— Мастер! Он столько всяких новинок напридумывал... Я так не

умел. К примеру, штукатурка. Мы ее на дранку кладем, а дранка коробится, и начинается наша штукатурка отлетать. Помучались мы порядочно. А он знаешь, что сделал? Он не стал намертво ее прибивать, а на такие шпунты посадил, на которых дранка могла бы скользить... Мелочь, но ведь мозги надо иметь такие, чтобы сообразить.

Вот теперь Галина Андреевна снова видела мужа как прежде. Он всегда был увлеченным, равнодушным человеком, который не мог о себе помнить, когда было дело.

— Да он и здесь мастер,— повторила Галина Андреевна.— Но почему же все-таки он тогда уехал?

— У нас техника безопасности была ни к черту. Как раз в этот год, может, ты помнишь, пошли какие-то бессмысленные случаи. Один рабочий под грейдер попал, а у другого, когда он купался в Ангаре, произошел разрыв сердца. Потом еще — помнишь, арматура не выдержала, и кто-то свалился с высоты насмерть.

— Это я помню,— сказала она.— Этот случай произошел с Завадским. У него еще двое ребятшек осталось.

— Вот-вот. А Шохов вдруг стал увольняться. По сути дела, ведь и мой взрыв был случаен. Рабочий забыл в кармане детонатор. К машине шли, когда рвануло... Одному полголовы камнем, а шофера насмерть...

— Не надо об этом,— тихо попросила Галина Андреевна и сильно руками сжала голову мужа.

— Я не об этом. Я говорю, что случайность. И грейдер — случайность, и арматура. Уж не считая ледяной воды. По отдельности-то все случайность. А вместе — не-ет! Вот Шохов-то первый и догадался об этом. Я тебе сказал или нет, что у него было какое-то обостренное чувство опасности? После какой-то истории с прорабом. Он рассказывал, да я не помню. Несчастье, в общем. Он уехал тогда. И тут заявление на стол и скорей, скорей, скорей... Чувствовал: что-то должно случиться... Он опасность нюхом чувствовал. Пришел ко мне и говорит: уедем...

— А почему же я его не видела? — опять настороженно переспросила Галина Андреевна.

— Ты тогда была на перекрытии. Высоких гостей кормила.

— Да, да,— произнесла негромко Галина Андреевна.— Как же, я там среди начальства и этих, иностранцев, одна крутилась. Они там все гархали не по-нашему. А у меня осетр килограмм на тридцать, я им на костре готовила... Говорят по-немецки, а уминают вполне порусски. Один из них потом приезжал. Приходил в мою столовую: «Галя, унд риба, укусно, гут!»

— Ну вот.— Муж будто не слышал ее.— Григорий Афанасьевич ко мне пришел, завелся, начал крыть начальство и говорит: «Подал заявление я, Николай Анисимович. Уезжаю на Каму». «Думаешь, там лучше?» — я спросил тогда. «Не знаю,— говорит.— Но поверь, что здесь нехорошо». Это он несколько раз повторил. Я-то старше его на полтора десятка лет. И опыта у меня поболее, а самоуверенности тогда хоть отбавляй. Я и говорю ему: «Вольному воля, Григорий Афанасьевич, только с места на место прыгать не люблю. Надо сделать здесь так, чтобы хорошо было...» Потом узнал, что в тот день, когда меня арестовали, он и уехал.

— Знал, что арестовали?

— Думаю, что знал. А чем он мог мне помочь?

— Это правда? — спросила Галина Андреевна и посмотрела мужу в лицо.— Он не мог ничем помочь?

— Галюша, чем же он поможет, тут уголовное дело. У меня еще непорядки по технике безопасности обнаружили. Да в тот вечер,

помнишь, я забежал на твой банкет и рюмку выпил... В общем, одно к одному.

Больше они за эти двое суток Шохова не вспоминали. Только на вторую ночь, когда Галина Андреевна, сморенная долгой бессонницей, в мгновение, как это бывает у детей, уснула, муж потихоньку встал и при свете лампочки там же, на кухне, написал Шохову письмо.

«Здравствуйте, Григорий Афанасьевич! — писал он. — С приветом к вам из недалеких мест заключения ваш бывший коллега по работе на Ангаре Н. А. Кучеренко.

Во-первых, сообщаю, что нахожусь я сейчас в ИТК усиленного режима и работаю на строительстве третьей очереди химкомбината. Руковожу бригадой по изготовлению и монтажу арматуры, металлоконструкций и сборного железобетона.

Рассказывать о том, что жизнь здесь несладкая, пожалуй, вряд ли стоит. И так всем известно. Раз уж попал в исправительно-трудовое учреждение, тут уж не думай, что нравится, что не нравится. Что есть, тем и довольствуйся.

Пишу я вам, Григорий Афанасьевич, с большой просьбой: чтобы вы возбудили ходатайство перед администрацией учреждения (начальником колонии, а он, в свою очередь, перед судом) об отправке меня на вольное поселение в Новый город на строительство. В сентябре — октябре ожидается большая отправка из колонии, и я прошу тебя, Григорий Афанасьевич, сейчас до осени, уделить мне хоть немного времени. Я свою ошибку осознал и много над этим передумал. И часто я вспоминаю, как ты меня предупреждал об опасности, а я не слушал. Но теперь-то я ученый.

За двадцать пять лет трудового стажа я всегда отличался усердием в работе. Григорий Афанасьевич, если вы возьметесь за мое дело, то все будет зависеть от убедительности вашего отношения, которое вы напишете на имя начальника колонии. Да и вы сами, Григорий Афанасьевич, понимаете, что чем подробнее вы меня охарактеризуете, разумеется в положительную сторону, тем лучше. Надо указать, что потерпевшие также ходатайствуют о моем направлении на вольное поселение, так как социальной опасности для общества я не представляю. Желательно их заявления также отправить в одном конверте с вашим. Обе сестры погибших обещали написать сюда подробные заявления, если они напишут и вы напишете, то вполне возможно, что к Октябрьской я буду в Новом городе. А если ничего не выйдет, то долго мне еще сидеть, и не знаю, что может произойти со мной в обществе шнырей и крысятников.

Конечно, я держу себя в руках, но ведь устал за столько лет и на сколько меня хватит, не знаю. Честное слово, если бы не Галя моя, не выжил бы и на сегодня, сам бы руки на себя наложил. Уж очень-то здесь насыщено такими людьми, которые не хотят работать и всеми возможными ухищрениями стараются погреть пузо на солнышке. А в конце месяца — отчитывайся перед начальником колонии, если заработок не достиг планового.

Ну ладно, Григорий Афанасьевич, на этом заканчиваю свое письмо. Еще раз прошу: вытаски меня отсюда! Не выйдет с первого раза — напиши вторично, можно и в Президиум Верховного Совета РСФСР и в Верховный суд тоже. Не место мне здесь, честное слово. А уж если выйду досрочно, буду работать столько, сколько скажешь, и кем угодно, хоть арматурщиком первого разряда.

До свидания.

Большой привет вашей жене и сыночку, а также бывшему начальнику КИП Ангарстроя Макару Иванычу, а если кто еще из наших есть, то и им. Спасибо, что Гале моей помогли с домиком, выйду, за все оптом расплачусь. Только вызволи, приложи силу.

Николай Кучеренко,

Да, Григорий Афанасьевич, обязательно укажи, что я болею нервной болезнью сирингомиелией, это очень тяжелая болезнь, если не лечить, года через два-три, то есть к моменту окончания срока, я могу стать инвалидом. Ну вот, теперь все. Конец месяца завершен удачно. Бригада план выполнила, а если есть план, то и к бригадиру соответственное отношение. Поздравляю задним числом со всеми прошедшими праздниками и желаю самых больших успехов в жизни и работе.

Кучеренко».

Внезапное заселение участка, открывшееся в майский праздничный день с высоты Вальчика, не было неожиданным для Григория Афанасьевича. Он знал, он предвидел такое заселение потому, что немало поездил по стройкам и всюду встречал индивидуальные поселки, именуемые по-разному: где самострой, а где нахалстрой, или попросту нахаловка, или оторвановка, или шарашкино, шараповка, шанхай, чикаго, копейград, а в Братске так вовсе индия, что означало индивидуальный поселок.

Расчерчивая свою будущую усадьбу, Шохов это предугадывал и расположил дом так, чтобы с трех сторон к нему невозможно было подступиться будущим застройщикам, и только с одной стороны, где воткнул колышек Самохин, могла вырасти первая улица Вор-городка.

Если Шохов и был поражен, взглянув с высоты на десятки домиков, то лишь тем, что это произошло так массированно, как десант с неба. Даже его, выдавшего, как говорят, всякое, взволновала и обрадовала картина мгновенного образования улицы (как же, ведь его грех прикрыт другими теперь грехами!), но и испугала. Подумалось: как бы сразу не схватились здешние власти! Постепенность, незаметность в таких делах была бы куда надежнее.

Но о чем теперь говорить? Посеял ветер — пожал бурю. Главное было — скорректировать свои планы с учетом нынешних событий, предусмотреть все. К примеру, определить уровень взаимоотношений, без которых невозможно существовать в таком плотном соседстве, и даже степень прикрытия от посторонних глаз своего дома и строительного материала, сейчас довольно разбросанного... Ибо известно, что поселенец, как младенец, что видит, то к себе и тащит!

Так появилась проблема забора, к которому Шохов и приступил на следующий же день после праздника.

— Зачем же забор, когда дом еще не построен? — спросил наивный Петруха.— Да и никто не строит заборов. Все так живут. Смотри!

— Надо забор,— твердил Шохов, не считая нужным объяснять, почему надо.

И с тем начал копать ямы для столбов, разметив все четыре стороны участка, но прежде всего забор стал городить с той именно стороны, где были поселенцы, улица, а значит, посторонние глаза.

— Неудобно как-то,— сказал опять Петруха.

Он и вправду чувствовал себя неудобно. Постоянно оглядывался, не смотрят ли на них, не удивляются ли, что они отгораживаются от белого света.

— Неудобно штаны через голову надевать,— коротко отвечал Шохов.

На следующий день он затесал столбы, на костре из разбросанной щепы обжег края и каждый столб снизу завернул в кусок толя. Выравнивая столбы, битым кирпичом заполнил щели в ямах и деревянной чушкой все это крепко утрамбовал, Петруха только придерживал столбы. Набив поперечные жерди, Шохов необработанным горбылем (торопился прикрыться) без щелей, сплошняком начал возводить высокую, метра два, ограду.

И опять пораженный Петруха спросил его:

— Зачем же такой высокий? А ров с водой ты не собираешься копать?

Шохов колотил и колотил, не глядя по сторонам и ничего не отвечая.

А когда Петруха вторично произнес, что это не забор, а китайская стена, Шохов вдруг вспылал:

— А мне и нужна стена! Я не хочу на виду у всех жить! Я не хочу жить на коммунальной улице!

— Но ведь мы вместе строимся? — спокойно и с некоторым удивлением возразил Петруха.

— Строимся вместе... А жить будем отдельно! — опять закричал Шохов.

Петруха отступил на несколько шагов, будто испугался, что его ударят. Рассматривая Шохова на расстоянии, задумчиво подтвердил:

— А ведь правда, может, мне не стоит переезжать в этот дом, а? — И с этими словами удалился.

Шохов только покачал головой, не прекращая работы. Он-то понимал, что Петруха юродивый и поэтому можно ждать от него любых выплесков. Но что он сам себе не враг и не отступится от строительства, Шохов тоже знал. Они, как двое в каком-то фильме, соединены цепью, и разомкнуть ее невозможно. А если и грызутся, так это тоже нормально. Дружеская грызня вовсе не грызня! Но у Шохова опыт и, что важнее, хорошее знание жизни в отличие от Петрухи. «Сам же потом будет и благодарить, когда поставлю забор. А со временем и до забора созреет», — решил Шохов.

В него будто вселился бес. Он вставал рано утром и до самого вечера возводил ограду, действительно такую ограду, чтобы прикрыла все.

Он бы и ров с водой построил, пусть Петруха не шутит над этим, но не в его возможностях сделать такой ров. Впрочем, и так дом с трех сторон прикрыт оврагом, а спереди теперь — сплошной стеной.

Закончив забор, Шохов с удовлетворением прошелся вдоль него, хлопая ладонью по неотесанному горбылю (потом заменим!). Он и в сторону отходил, чтобы узнать, что можно увидеть от временок, он и на Вальчик взбирался; отовсюду забор был налажен и хорош, отовсюду гляделся и внушал уважение к хозяину. Так что Шохов произнес не без хвастовства:

— Ну и нагородил, Григорий Афанасьевич! Ну и нагородил делов!

В этот же день, а точнее сказать, вечер — майский день, считай, до ночи, — пришли к нему первые соседи-переселенцы. Про себя он теперь так и звал: десантники.

Новоселы неожиданно оказались народом хоть и не робким, но вполне покладистым. Было в них одновременно будто и нахальство, но и некоторый испуг, уж как оно все вместе сочеталось, трудно понять. Несколько мужчин, молодые и пожилые, и две женщины постучались у новой калитки, но так как Шохов за визгом пилы их не слышал, они крикнули ему, что просят выйти к ним на минутку, чтобы поговорить.

Шохов знал, что новоселы придут к нему, должны прийти, и про себя хотел, чтобы они пришли. Дело, конечно, хозяйское, где селиться и как. Тут они могли никого не спрашивать и ни перед кем не отвечать. Но Григорий Афанасьевич не мог не понимать, что переселенец поглядывает ревниво на других и втайне надеется, что он не совершает какого-то проступка и закона не нарушает, а делает, как все. И это необычное состояние уважения всего законного и сомнения, что он все-таки нарушает его, заставляет переселенца быть начеку, заводить знакомства и искать в каждом поддержки.

Все так и произошло: десантники явились к Шохову.

Григорий Афанасьевич обернулся на крик и жестом пригласил заходить во двор. Был он не один, с Петрухой, но обращались к нему и разговор вел с гостями только он.

Сели кто где мог, курящие закурили, оглядывая незаконченный дом и двор, заваленный строительным материалом.

Для начала знакомства задали несколько вопросов: где что доставал, как дорого обошлось и все в том же духе. Шохов сдержанно, но вежливо ответил, объяснил, ничего не скрыл. Даже про «Золотое дно» поведал.

— Так вот, Григорий Афанасьевич,— произнес после паузы самый пожилой среди них, невысокий дядька с выражением не то чтобы нахальным, но задиристым, свои звали его дядя Федя. У него, видать, и характер, несмотря на тщедушность, был драчливый.— Не судите строго, если что сделали не так. Мы люди мирные и хотели бы все уладить добром.

Дядя Федя произнес и стал усиленно дымить папиросой, сосредоточенно глядя только перед собой.

— А что улаживать-то? — будто не понял, не захотел понять Шохов.— Живите, раз поселились Я тут, можно сказать, никто.

— Да и мы никто,— хрипловато усмехнулся дядя Федя.— Это село черт в кузове нес, да растрес, так у нас говорят. В общем-то, мы все из одной бригады, да и на стройку вместе ехали, так нам с руки и поселиться вместе...

— Ну и живите,— опять повторил Шохов.— Откуда сами?

— Ярославские,— подал голос кто-то из молодых.

А дядя Федя опять же, язвительно усмехаясь, произнес:

— Ни сбывища, ни скривища, ни крова, ни пристанища! А вот насчет того, что жить тут, мы не то чтобы спрос объявляем, а как бы хотим с вами наладить связь и недовольство сладить, значит.

— Почему недовольство? — уже всерьез заинтересовался Шохов и даже привстал. Был он в робе, усыпанной опилками, верхночки, такие брезентовые рукавички для работы, в руках держал, так как предпочитал не набивать мозолей и работать вообще организованно, пусть здесь и не производство. Волосы, светлые, потные, растрепались, но все равно было видно, что он человек хваткий, настырный и, может, даже веселый, уж больно голубые и бойкие у него сейчас глаза.

— А как же,— резонно качнул головой дядя Федя.— Ясно, что недоволен, раз под боком деревню построили, да еще без разрешения!

— Да я и сам... без разрешения строюсь-то! — весело воскликнул Шохов без всякой, впрочем, наигранности и посмотрел при этом на Петруху.

— Понятно дело,— сказал дядя Федя.— Но не вы к нам, а мы к вам, как говорят, приладились. Тут никаких сомнений нет. И потому хотим, чтобы вы нас благословили да и не сердились тоже. А мы, как положено, прописочку, значит.

Тут дядька кивнул одной из женщин, и она ловко вынула две бутылки водки, сало в тряпочке, яички и что-то еще.

Шохов как взглянул, так и понял: работа эта Самохина. Вот же проходимец, накрутил, значит, людей, припугнул, может быть, заставил прийти на поклон. Вроде бы как к воеводе какому. Да ведь они и сами то же бы сделали, но по-человечески, как совесть подсказала! Ах, Самохин, сукин ты сын!

Осмотрев подарок, Шохов мельком взглянул на Петруху, как он это все оценивает, хоть знал, как он оценивает, посмотрел на дядьку и на остальных — все ждали его ответа. Он сказал просто, как умел это делать:

— Спасибо.

Потом опять посмотрел на Петруху и добавил:

— Есть предложение: все это добро вы сейчас заберете к себе домой, а я к вам, скажем, с Петрухой приду на новоселье. Как?

Дядя Федя откинул папироску и без выражения произнес:

— Идет...

И тут дал знак женщине, и она все это ловко спрятала в сумку.

Еще посидели для приличия, погоду обсудили, виды на лето, на урожай. Потом гости встали и попрощались.

Все были довольны, как показалось Шохову. Даже он сам был доволен. И только Петруха стоял, как и прежде, на своем месте и о чем-то мучительно думал, гримасничая. Он не умел скрывать чувств.

На следующее утро он не пришел, как было договорено, на работу и вечером тоже не пришел. Шохов занимался чердаком да крышей, и помощь Петрухи при этом была ему позарез необходима. Но так уж он был устроен, что не пошел к Петрухе в избушку и не стал ни о чем напоминать. Знал, что никуда не денется, придет, да еще прощения попросит.

Он сбил из горбыля потолок. Наложив брусочки, все обколотил досками, сделав, таким образом, и черный потолок. На это пошла обрезная доска, обзол. Сверху всего он насыпал опилок, действуя опять же изобретенной им лопатой с трехметровой ручкой. Опилки не хватило, он и тут нашелся, на участке Васи Самохина прихватил с десятка ведер. Вася в убытке не будет, он себе всегда привезет.

Надо отдать ему должное, что опалубочные доски на пол он, как обещал, достал и на тракторе забросил на участок. Теперь из этих досочек после соответствующей сортировки лучшая часть была отложена на полы (по счету!), а остальные пошли на рамы.

Пока Петруха хандрил и задерживал крышу, Шохов фуганочком и полуфуганочком поработал над доской-сороковкой, потом раскинул ее на бруски, отобрал в каждой брусочке паз для стекла. Он успел еще и стекло на складе выпилить. Для дешевизны попросил бой. Петруха должен быть благодарен: квадратный метр по рублю достался! Купил в магазине и стеклорез. Тут же увидел пилочку-змею и ее купил для вырезки декоративных узоров по дереву. Дом должен быть красив.

Петруха явился на третий день вечером. Извинился и молча присел на какой-то обрубок, на Шохова он не смотрел. И хотя тот принялся ему объяснять, что они должны сегодня сделать и как дальше пойдет работа, так же безучастно смотрел куда-то в пространство и не двигался.

— Ты чего, заболел, что ли? — спросил Шохов. Он чувствовал некоторую вину за свою прошлую грубость, но извиняться не собирался.

— Нет. Я не заболел, — ответил Петруха тихо. Вздыхнув, продолжал: — Ты извини, Григорий Афанасьевич, я в этот дом не поеду.

Петруха будто и не говорил, а спрашивал разрешения у Шохова. Тот не сразу понял, о чем идет разговор.

— Как не поедешь? Когда не поедешь?

— Никогда, — произнес еще тише Петруха.

До Шохова дошел истинный смысл произнесенного, он все понял и ужаснулся: Петруха отказывался насовсем от дома!

— Ты подожди, подожди, — приструнил он мягонько и терпеливо, зная, что умеет уговаривать, а уж доброго, покладистого Петруху тем более сумеет уговорить. — Ты чего, обиделся, что ли?

— Нет, Григорий Афанасьевич. Я не обиделся.

Шохов поморщился от непривычного Петрухиного официального обращения.

— Обиделся! Что же я, не понимаю? Ну прости! Прости! Под руку ведь говорил, ну я и вспылал, с кем не бывает,

— Не обиделся, — повторил Петруха.

— Так что же стряслось-то? — громко воскликнул Шохов. — Дом, что ли, плох? Может, лучше кто сделает?

Петруха помотал головой, все так же не глядя на Шохова.

— Дом, Григорий Афанасьич, хорош. Я такого дома никогда не построю. И никто не построит!

— Так какого рожна! — крикнул Шохов, но сдержался и тише, приструнивая себя, добавил: — Извини, но чего же ты хочешь? Денег? Их же все равно нет!

— Денег я сейчас не прошу, — сказал Петруха. — Будет, отдашь. Я вот подумал, Григорий Афанасьич, что помощи от меня было все равно мало. Да мне и в избушке неплохо. Честное слово. Только не надо на меня сердиться... Я не смогу жить в таком доме.

— В каком таком-то? — удивился Шохов, глядя впрямую на Петруху, искренне желая его понять. — Большом? Теплом? Высоком? Како-ом?

— Да нет, — морщась, пробормотал Петруха. — Не в этом дело. Я вообще говорю. Не привык я, понимаете. Усадьба, огород, сад, сарай... Вы же все это будете строить, да?

— Если буду, так буду. А может, и не буду.

— Ну вот. Я и понял... Такой огромный забор... Все это не мое. Мне и денег не жалко. Вы уж живите с женой, вам, наверное, тут хорошо будет.

— Подожди, — попросил Шохов, пытаясь заглянуть ему в лицо. — В заборе, что ли, все дело?

— Во всем. И в заборе тоже.

— Ну давай его ломаем к чертовой матери! — решил тут же Шохов.

— Не надо ломать, Григорий Афанасьевич. Вы без него не сможете. Да и не в нем только дело.

Шохов вздохнул и присел рядом с Петрухой. Тронул за плечо, что-то хотел сказать, но раздумал. Помолчав, произнес подавленно:

— Бросаешь меня? — И так как Петруха не отвечал, еще сказал: — В самый трудный момент, Петруха, бросаешь. А ведь вместе же мечтали, да? И осталось-то... всего ничего.

Тут Петруха подскочил и беспомощно руками потряс перед лицом Шохова.

— Не могу! Слово, что не могу! Три дня мучился, себя довел не знаю до чего... — И очень жалобно, моляще: — Не могу, Григорий Афанасьевич, отпусти ты меня, пожалуйста.

Тут вроде Шохов и опомнился. Усмехнулся странно и махнул рукой.

— Ах, ну что тебя, силой держат? Но ведь от дома же отказываешься! От хорошего дома. В избе хочешь прожить? А ведь приличный дом — это, Петр Петрович (так-то тебе: тоже обращаюсь официально), для самосохранения, да, да! Ты за личность ратуешь, а какая же личность без стен и крыши, на виду у всех? А? Ты хочешь, чтобы люди к тебе не лезли, когда их не просят, так это только в нормальном доме может быть. И забор никому не помеха, если калитка существует. Забор дает возможность на своей земле стоять. Да нет, я понимаю, насколько она своя, условно, конечно, своя! Но ведь представь себе, как это получается: выйдешь после работы, а тут и грядочки, и деревца, и собачка твоя, и всякая мелкая живность, и даже воробьи... А ты здесь царь, ты король, президент, глава всему! И лишь поэтому ты полноценный человек, да, да! Тебя на работе придавят невзначай, по дороге нахамят, в магазине обругают... А в калиточку вошел, задвигкой лязгнул — и навсегда сам с собой. Никто не оскорбит, не обидит, не накричит, не тронет. Открой грудь, рубашку сними, пусть кожа, пусть легкие отдыхают. И сердечко потише, и нервы поглаже, и вот уже чувствуешь, что ты в человека восстанавливаешься! У нас пого-

ворка была: в лесу человек лесеет, а в людях людеет. А он и в хозяйстве, в доме, в участке своем людеет... Как же ты можешь после этого от него отказываться-то? Ведь не враг же ты себе?

— Да вы не сердитесь, Григорий Афанасьевич,— повторил Петруха.— Мне избы достаточно для себя, чтобы человеком быть. А в этом дому я могу и потеряться... Правда. Счастье — это умение довольствоваться малым...

— А дед? Дед Макар? — как за соломинку ухватился Шохов за последний, вовсе не малый, как ему казалось, довод.— Он-то ведь ждал избы?

Пожалуй, впервые Петруха посмотрел в лицо Шохову, и взгляд его был чист.

— Да, я знаю. Я его подвел, конечно. Но мы придумаем. А пока мы вместе проживем. Он хороший человек.

— Я так и понял! — ранено вскрикнул Шохов.— Я так и понял, что вы оба против меня будете!

— Да нет, Григорий Афанасьич, дед Макар к вам зла не имеет. Но мы... мы и правда в чем-то похожи. Даже электронная машинка показала, что у нас в биоритмах духовного совпадения почти сто процентов.

— Машинка? Машинка? — закричал, разозлясь, Шохов.— А на счет меня что же твоя дурацкая машинка сказала? Ты ведь рассчитал, да?

— Нет,— сказал Петруха виновато.— Я вашего дня рождения не знаю.

— Но все равно...

Он не стал прощаться с Петрухой, а залез на чердак, под самые стропила и стал стучать топором.

Петруха до избы дошел и спать лег, но не спалось ему. Почти до рассвета он слышал этот ровный одинокий стук.

На другой день после ухода Петрухи свалился Шохов. Как подкосило его. Может, он той холодной ночью застудился, ветер был. А может, перетрутился да и перенервничал.

С утра занемог, но пытался себя пересилить и распорядка обычного не стал нарушать. Кой-какие дела по дому сделал и на работу ходил, а вечером строительством занимался. Но без охоты работал, по инерции, а ужинать и вовсе не стал.

Ночью спалось плохо, думалось о смерти. Вдруг захотелось Тамаре Ивановне письмо ласковое написать. О своей любви к ней, что сильно истосковался по ней, по семье, устал жить один. Человек он вроде семейный, а всю жизнь как сам по себе. Забыл уже, как бывает, чтобы дома кто-то суп сварил, майку, носки постирал, да и утешил, когда в расстройстве нервы и все валится из рук.

А ночью приснилась ему Тамара Ивановна, будто она веселая, танцует современный танец. Он тоже захотел с ней танцевать, но не выходило почему-то, все никак в ритм попасть не мог и немного тушевался. Напрасно он силился подладиться, стал нервничать, нехорошие мысли полезли в голову. Захотелось испортить ей этот не в меру веселый танец. «Ты мое письмо получила?» — спросил он жену с неприязнью. «Получила, но не прочла»,— отвечала Тамара Ивановна, все так же улыбаясь, никак не желая остановиться. «Так прочти! — крикнул он.— Мне же плохо! Мне совсем худо! Или ты ослепла да оглохла от своего дурацкого плясання!»

Проснулся он от собственного голоса. Светила луна в проем окна, и было тихо. Так тихо, будто омертвело вокруг. Сердце сжалось у него от страха. Чтобы не слышать этой тишины, он поднялся, нарочито громко шаркая ногами, пошел на улицу и написал из бачка, звякая цепью. Это был тот самый бачок с кружкой на цепи, подобранный на свалке. Попил и сел на приступку. Вдруг подумалось, что еще можно

пойти в избушку, разбудить Петруху и попробовать помириться с ним. Потом развести в печке огонь и посидеть, как зимой сидели, когда было им хорошо. Что же произошло, что разбежались они? Неужели шоховский забор напугал Петруху? Но Шохов знает, что прав-то он, когда поставил этот забор чертов, заслонившись от чужих глаз и рук. Не пришло время, когда можно всем и все доверить, это и Петруха в силах понять. Как не пришло время только отдавать, ничего не требуя взамен.

Человек — существо гармоничное, и его идея жизненная тоже должна быть гармоничная и вот какая: ты вкальываешь не за страх, а за совесть, но ты должен иметь свой угол, свое хозяйство, свой другой, внерабочий мир, который давал бы тебе возможность чувствовать себя не роботом, а человеком.

Большого Шохов не хочет. Он не способен воровать, даже урвать по-настоящему, даже схимичить, как тот же Вася Самохин, которого он не осуждает. Пусть живет, если совесть не болит у него. Так что же тогда Петруха на него взъелся, почему отторг от себя? У тебя, мол, свое, а у меня — свое. Но он-то с дедом Макаром не один!

Застыл Шохов, и стало познабливать его. А он все сидел; пойдет ли он или не пойдет к Петрухе — ничего не изменить между ними. И дело тут не в шоховском заборе, а в чем-то ином, что Шохов до конца не додумал. Но он додумает. Он до всего доходил своим умом и до этого тоже дойдет. А сейчас надо зажаться и самолюбие спрятать по-дальше. Всяко переживали и это пережужим... У него есть дом и Тамара Ивановна с Вовкой. Они-то его всегда понимали. В конце концов, у него есть еще и он сам. Ни разу он не сдрейфил, не отступил от своего, шоховского начала. Уезжал — да. Менял места — да. Жил без семьи — да. Многажды да! да! да! Но именно потому и делал все и ездил, что себе не хотел, не мог изменить. Как чувствовал опасность, что сомнут, скомкают, сломают, так и уезжал скорей. А теперь здесь, когда близка цель, не кто-нибудь, а Петруха, добрый, в сущности, человек, вынул первый чурбачок из-под основания его идеи. Вот уж не думал, не гадал. И записать Петруху во враги тоже невозможно. Первый раз беспомощным, бессильным был он перед Петрухой.

Совсем остыл Шохов на воздухе. Трусцой пробежался до постели (уже не в балагане, а в уголке дома на железной койке, взятой с «Золотого дна», спал он), завернулся в одеяло и полушубок. Но продолжало трясти и ног заледенелых не чувствовал.

Забылся под утро, когда серый рассвет влился в свободные проемы окон, осветил неустроенную внутренность дома. Только коечка среди досок, стекла, рам и инструмента была здесь чем-то обжитым, но казалась такой одинокой, заброшенной, как и сам Шохов.

Приснился ему короткий сон, что Петруха нанизывает на длинный нож с деревянной ручкой куски хлеба и, подбросив ловко этот нож вверх, так странно зубами его ловит, что хлеб попадает в рот. Испугался Шохов, выхватил у Петрухи нож, понимая, как опасен подобный фокус. Но Петруха беспечно достал другой нож и опять стал его подбрасывать и ловить зубами. Больно от такой картины стало Шохову, страшно стало. Он проснулся и опять почувствовал, что знобит его, голова разламывается от боли в висках, а во рту пересохло. Попытался идти, с трудом сделал несколько шагов, ноги дрожали. Он перемог себя, умылся, хотел что-то поест всухомятку, но ничего не лезло в горло. По сухой тропе вдоль ручья, а потом по дорожке он забрался на Вальчик и присел на землю. В утреннем ясном свете поднимался перед ним Новый город, как белый мираж в пустыне. Отливал синевой асфальт на улицах, первой и нежной зеленью покрылись кустики вдоль бульваров. Видно было, как шли на работу люди — цветная, пестрая толпа.

Шохов почувствовал, что он отторгнут и от этого живого мира. Заточил себя в неустроенном доме за высокой стеной, и никому он

там не нужен. Умрет, и не вспомнят, найдут через неделю-другую, если кто-нибудь хватится на работе. Странные мысли сегодня лезли в голову.

Он поднялся, не оглянувшись на свой дом, как это делал прежде, стал медленно спускаться, чувствуя все время эту противную дрожь и слабость в ногах. Через полчаса он сидел в городской поликлинике в кабинете врача, полной и добродушной женщины в золотых очках. Женщина посмотрела язык, пощупала пульс и велела лечь на кушетку. Помяла живот, спросила, каков стул, нет ли рвоты или поноса.

— Я мало ем, — сказал вяло Шохов.

— Мало не мало, но вам требуется покой и нормальное питание, — произнесла доктор и что-то стала записывать. Она писала и одновременно продолжала говорить: — Куриный бульон, ранние овощи. Попросите вашу жену, чтобы она...

— Я один живу, — перебил сразу Шохов.

— Вот как? — ровно произнесла врач. — А кто же за вами ухаживает?

— Никто. Я сам.

— Это не годится, — сказала врач раздумчиво. — Я боюсь, что у вас воспалительный процесс в легких. Могут потребоваться уколы. И вообще... Может, вас направить в больницу?

Шохов испуганно отказался:

— Нет, нет! Я не могу в больницу!

Он только представил, что придется на неделю или две бросить свой дом, хозяйство, материалы, все, что открыто лежит и требует постоянного присмотра, — это было невозможно. Никак невозможно. Могут растащить, украсть что-нибудь. Да и нельзя бросать дом в таком виде!

— Ладно, — сказала женщина. — Я вам выпишу на пять дней бюллетень, но если станет хуже, вызовите врача. Наташа! — крикнула она в соседний кабинет. — Запиши у больного адрес и телефон.

— У меня нет телефона. И адреса тоже нет.

— Но что-то есть, если вы живете? — с улыбкой спросила врач.

— Дом... Недостроенный...

— Ну так и запишем, что у вас недостроенный дом, — произнесла, все улыбаясь, врач и кивнула ожидавшей его медсестре.

Худенькая, черненькая, остроносенькая, похожая на галчонка медсестра Наташа записала в тетрадь местонахождение дома, на всякий случай телефон работы. Потом выписала рецепты, дала на подпись врачу и объяснила, что и в каком порядке пить.

Он зашел в аптеку и все купил, как положено, хоть вовсе не был уверен, что станет эти лекарства принимать. Шохов не любил лекарства. Потом зашел в общежитие так, попутно. В городском отделении связи взял письмо от Тамары Ивановны. Дорогой его прочел. Жена писала, что у них теплая и хорошая весна. Сын Вовка окончил вполне достойно, с двумя тройками, первый класс и в начале июня едет в пионерский лагерь на целых два срока. У Тамары Ивановны должен быть отпуск, который она хотела провести рядом с мужем, чтобы скорей помочь с домом, но так уж вышло, что она тоже поедет в пионерский лагерь по решению роно. Она отказывалась, но ничего не вышло. Больше новостей никаких не было, кроме одной. Тамаре Ивановне написала жена Мурашки (оказывается, они переписывались, Шохов не знал), что старший сынок Валерий окончил ПТУ и должен быть направлен на любую новостройку страны. Не может ли Шохов взять его к себе? Парень он смиренный, послушный и очень старательный, весь в папу. Если Шохов согласен, то Тамара напишет им сама. Она же считает, что сына Мурашки следует принять, он вырос без отца, и у них, у Шоховых, перед семьей бывшего друга, как говорят, моральный долг..

Вот такое было письмо.

Шохов положил его дома под подушку, чтобы не забыть ответить. Что он ответит, он еще не придумал.

Превозмогая себя, он еще попытался работать. Он схватился делать дверь, хоть она ничего и не значила, пока не были застеклены окна. С трудом натаскал толстого — тридцатка — горбыля, связал раму, соединив в шип, и рядом прибил неструганые доски. Оргалитом, подобранным на свалке, зашил дверь с двух сторон и стал уже петли лапчатые (так в деревне и звались — лапа!) привинчивать, но почувствовал невероятную слабость и лег. Пролежал до сумерек, уткнувшись лицом в подушку и чувствуя, как липнет к мокрому телу рубашка и как сам он весь наполняется тяжелым жаром изнутри. А ночью стало ему совсем плохо. Он уже и себя не чувствовал и тела не чувствовал, только все горело, будто уже не внутри горело, а снаружи, ему показалось даже в бессознательном положении, что дом его горит. Но страшно не было. И жалко тоже не было. Он стонал, обняв подушку, будто заклинал кого-то, а потом заплакал. «Господи, — просил, отчаиваясь, он. — Я устал, я не могу так жить дальше. Я строю, строю — и нет конца. Мне больно, помоги мне!»

Под утро он наконец заснул, и пасмурный рассвет обнаружил его лежащим посреди недостроенного дома, на самой что ни на есть серединочке, завернутым в шубу. Подушка в опилках и женино письмо валялись рядом.

Как он оказался на полу и в шубе, он не смог вспомнить. Но следующий день прошел и еще один, а он лежал, перейдя в постель, ничего ровно не чувствуя, ни жара, ни боли, ни мук. Полное безразличие к окружающему. Таким его и нашла Галина Андреевна, вернувшаяся из своей недалекой поездки к мужу.

За те два или три летних дня, которые Галина Андреевна не была в Вор-городке, улица, на которой она построилась, так называемая Сказочная, еще выросла. Появилось несколько времянок и еще больше разных колышков, обозначающих, что место застолбили.

В первый день Галина Андреевна занималась собственным домом и куда не пошла. Но к вечеру второго дня, возвращаясь с работы, решила заглянуть к Шохову и занести письмо мужа.

Галину Андреевну удивило, что никого не было видно во дворе шоховского участка, не было слышно постукивания топора. Уж все замолкнут к ночи, а Шохов все, как дятел, долбит: стук да стук. Неугомонный человек. А тут будто вымерло. Остороженько, найдя щеколдочку, отворила она калитку и заглянула на просторный двор. Прошла по нему, опасаясь зацепиться чулками за какую-нибудь доску, которых было навалено кругом стопочками и вразброс. Сунула голову в проем двери с некоторой опаской и тут увидела его. Поразились, как он лежал с открытыми глазами и смотрел в потолок.

— Григорий Афанасьевич, к вам можно? — спросила она, не решаясь войти. Так как он не отвечал, Галина Андреевна сделала несколько шагов и опять сказала: — Простите, я без приглашения.

Шохов только глазами в ее сторону повел, но опять ничего не ответил. Тут-то Галина Андреевна и сообразила, что ему плохо. Потрогала лоб, быстро намочила какую-то тряпочку и положила ему на голову. Нашла на стуле лекарства и приказала ему проглотить, он повиновался. Потом полезла в свою сумку, но, как назло, именно сегодня ничего съестного с собой не оказалось. Тогда она сказала, что сейчас придет, и почти бегом бросилась к своему домику. Взяла кусок вареной курицы, подогрела на керосинке чаю и залила в термос, на хлеб намазала масла и все это положила в сумку.

Шохов есть не стал, но чаю попил и поблагодарил.

— Вам нужна помощь? Может, врача вызвать? — спросила Галина Андреевна, оглядывая его жилище и соображая, как бы найти время, чтобы прийти и немного здесь прибраться.

Он помотал головой.

— Спасибо. Я завтра встану.

— Нет уж, завтра я сама приду, — сказала Галина Андреевна. — А вы полежите. У вас температура.

На следующий день прямо с работы она пришла опять. Достала из сумки термос и налила ему бульона и пирожок достала, совсем свежий пирожок. Спросила, принимал ли он лекарства, хочет ли чего еще, и когда он ответил, что нет, принялась за уборку. Впрочем, это было трудно сделать, потому что грудями были свалены стекло и доски, дерматин, и гвозди, и всяческий инструмент. Веничком из прутьев, обнаруженным во дворе, она вымела стружки, что было возможно сложила так, чтобы не валялось под ногами, а разбросанную одежду повесила на гвозди, которые торчали повсюду прямо из стен.

Потом присела на койку у него в ногах и улыбнулась:

— Жив, курилка? Я-то вчера перепугалась, когда в дверь увидела, что вы весь белый лежите. Думаю: а вдруг не дышит?

Шохов смотрел на ее красивое лицо, но не видел ничего, кроме чувственных нежных губ, не тронутых помадой. Эти губы ему улыбались, и ему стало легче.

— Да нет, я ничего. Я немного, — произнес он тусклым голосом, которого и сам не узнал.

Он опять устался на ее удивительные губы, подумав вдруг, что как было бы хорошо ему, если б Тамара Ивановна не уехала в свой лагерь. Теперь она сидела бы на месте Галины Андреевны и легкими руками (ах какие у нее руки!) гладила бы его по одеялу. Господи, ну за что же ему так не везет?

Галина Андреевна ушла, наказав не вставать и принимать лекарства, а он все думал о жене и заснул. И опять она ему приснилась невозможно веселой, с большим букетом цветов. Он еще подумал во сне, что слишком яркие у нее цветы, какие-то огненно-рыжие. А когда проснулся в сумерках, то услышал, что в доме кто-то есть. Прямо у ног его стоял человек и смотрел на него в упор. Шохов, не поднимая тяжелой головы, попытался, скосив глаз, рассмотреть человека, но не смог. Подумалось лениво: «Ну и черт с ним! Пусть стоит, если ему приятно! Рассопелся вишь!» И закрыл глаза. А когда снова открыл, то уже совсем рядом с собой увидел остренькое, как у мыши, асимметричное лицо и чуть скошенный набок взгляд. Нисколько не удивившись, подумал: «Сенька Хлыстов тут! Ишь, ворон, почуял запах падали, да? Прилетел и ждет!»

— Чего ждешь? — спросил Шохов, не глядя на него.

— Дык, Григорий Афанасьич, зашел. Иду мимо и думаю: как не зайти, если Григорий Афанасьич тут живет. И зашел. Будить-то побоялся, а ты как почувствовал...

Шохов слушал, молчал. Не хотелось говорить ему с Хлыстовым. В другое бы время прогнал, а сейчас-то как прогонишь. Да он ведь хам, он и не уйдет. Нет. Он своего добьется. Вот интересно, чего он хочет от Шохова? Ведь не зря же он пришел?

— Ну и что? — спросил Шохов с закрытыми глазами. Его начинало раздражать это сопение Хлыстова.

— Так ведь как же не встретиться, — торопливо заговорил тот. — Я теперь у вас, можно сказать, под боком живу, Григорий Афанасьич. Мимо на работу, мимо с работы. И опять же, вы тут как бы командант наш, и неудобно было бы не зайти...

— Когда же ты успел?.. — Хотелось добавить «сукин сын»... Но сдержался. Лишь вприщур посмотрел на Сеньку. В костюмчике,

видать с работы. Сумочка хозяйственная в руках. Ишь прыщ, приехала и под бочок, значит. Ловко!

— Так ведь я, Григорий Афанасьич, раньше вас сюда прибыл. Я прям из Челнов, значит. А осенью-то гляжу, в голубой куртке Григорий Афанасьич объявился. С чемоданчиком, модный такой. Я уж с тебя глаз не спускал, конечно. Все-таки земляки. А как усек, что ты домик наметил, так я у Васьки Самохина и выпросил. И сам деляночку застолбил... Уж ты, надеюсь, не против, Григорий Афанасьич, а?

Голос у Сеньки липкий, как паутина, клеится. Вьет, вьет эту паутину, а что в ней, какая мысль запуталась, никак не уловишь. Но ясно одно: что охота Сеньке наладить связь с Шоховым. На основе землячества воссоединиться, чтобы ничего прошлого не стояло между ними. Ах как, сукин сын, повернул! Как все сгладил!

— Значит, вспомнил? — спросил Шохов угрожающе.

— Так ведь как не помнить, Григорий Афанасьич! Как не помнить! И бедного Мурашку помню. Ах, какой мастер был. Вот уж человек необычный, особенный, можно сказать, а не повезло. Не повезло ему, говорю... Да ведь чему быть, того не миновать... Это судьба, как выражаются некоторые. Судьба.

— Не трожь Мурашку! — крикнул вдруг Шохов. Думал, что громко крикнул, а голос едва прозвучал. — Не трожь, ты, убийца!

Но вовсе не поразил Хлыстова. Даже не взволновал его. Трудно было в вечерних сумерках рассмотреть его лицо, но показалось, что оно без всякого выражения.

— Вот, Григорий Афанасьич, вот и ты туда же... Что Сенька-то — негодяй, что Сенька — убийца. Как все, так и ты, значит. А у меня полжизни съели эти предубеждения. На работе, куда ни приду, все за спиной шепчутся... И сюды от них, от всех слухов, уехал, так вот и ты туда же? Не годится это, Григорий Афанасьич, делать, не по совести человека безвинного со свету сживать. Была вина, была, так эта девочка, а вовсе не убийство, за него кого надо давно взяли. Григорий Афанасьич! Что было, того не возвернешь, а вспоминать не будем. Для того и пришел, чтобы положить угор, чтобы не вспоминать!

— Ага, боишься! — воскликнул Шохов и хотел засмеяться, но не смог. Да и трудно было над Сенькой смеяться. — А кто Мурашку-то убил? Кто? Тот, другой... Или... вместе?

Хлыстов почему-то молчал. Шохов скосил глаз и увидел, а скорее почувствовал, что Сенька придвинулся к нему вплотную и замышляет что-то сделать, молчит, как перед прыжком. А ведь удушит, если он такой зверь, что Мурашку не пожалел. Стукнет сейчас Шохова чем-нибудь, а то и одеялом рот заткнет и похоронит навсегда как свидетеля его, Сенькиного, преступления...

Но даже так подумав и поверив в это, Шохов не испугался. Только голову приподнял, чтобы взглянуть в лицо врагу. Но ничего уже не было видно, кроме близко сопящей фигуры, нависшей над ним. И тогда, ожесточась, он крикнул:

— Поди вон, шкура! Надоел ты мне!

Сенька будто отпрянул. Но ведь не видно ничего, может, все и показалось больному Шохову. Тем более что голос у Сеньки без всяких признаков волнения, этакое словесное ерничество, словоплетство.

— Чего же ты волнуешься-то, Григорий Афанасьич? Напрасно вовсе. Ты ведь болен и лежать должен спокойно. А мы об чем не наговоримся, когда ты встанешь. И об этом поговорим. Может, я и знаю, кто там виновный был, а может, и не знаю. Только ты спроси меня по-другому. Ты без предвзятости спроси. На равных — вот тогда и будет промеж нами разговор. А сейчас ты спи. Спи... А я еще приду. Ведь соседи мы. Как не прийти.

У Шохова ни сил, ни голоса не было, чтобы ответить Сеньке. Он отвернулся к стене, а уши одеялом прикрыл. Что, мол, хочешь, то и делай. Вот, кстати, удобный случай придушить меня. Так души давай, а слушать твои бредни я больше не стану.

Видно, понял, замолк Сенька. Ходил по дому, его голос ненавистный докатывался до Шохова будто издалека.

— А домик-то ты ладненький задумал. Оценил. Оценил тебя, Григорий Афанасьич, крепкий мужик. Только беда, что в одиночку. Вот и я тоже одинок. Но смотри, если кликнешь, так я не прочь, чтобы помощь оказать. Я навстречу доброму желанию всегда приду. У нас мораль такая, чтобы друг дружке помощь оказывать.

Шохов лежал, сцепив зубы и чувствуя, как колотит его большая дрожь. Со всех сторон обошел его проклятый Сенька. В ином положении и на порог бы не пустил, не то чтобы дом увидеть. Прикоснувшись взглядом, он как измарал его дом.

— Счастливенко вам, Григорий Афанасьевич. Приятно было встретиться и поговорить по-свойски. А я зайду, зайду еще. Мы еще подружимся, вы не думайте. А тут вам бутылочка на стульчике для выздоровления. Поправляйтесь. Спокойной вам ночи. А я ушел, ушел. Я совсем ушел. Калиточку я прикрою. А вообще вам бы собачку завести. Собачка слов не говорит, а дело знает. А?

Хлыстов помолчал, помедлил, желая услышать, не скажет ли ему что-нибудь Шохов. Так как Шохов молчал, он тихонько вышел.

Шохов подождал, прислушиваясь, подымая голову. Потом, превозмогая бессилие, поднялся и, протянув руку, нащупал на стуле рядом с лекарствами бутылку водки. Поднял ее за горлышко, чувствуя под рукой скользящее холодное стекло, и, несильно размахнувшись, швырнул в окно. Благо оно без рамы.

Думал, что сейчас зазвенит там, за окошком, брызнув стеклом во все стороны. Но ничего не зазвенело.

А уж потом он специально поискал, где упало, и не смог найти. Все обыскал, как в воду провалилась та проклятая бутылка, точно ее совсем не было. Может, она приснилась, как и сам Сенька? Может, все это одно большое наваждение было?

Утром Шохов проснулся поздно, чувствуя во всем теле полную разбитость. И хоть никаких следов от вчерашнего посещения Сеньки Хлыстова не оказалось, даже бутылки за окном, вовсе не памятью, а каким-то тридесатым чувством, вызывающим ноющую боль в животе, как в минуты большой опасности, осознал он, что все это было. Были Сенька Хлыстов, и бутылка водки, и странный разговор, и отвращение ко всему, что мог видеть и лапать Сенька, и ясное понимание непоправимости того, что произошло.

И в словах Сенькиных, неуловимо текущих сейчас по памяти, распознавалась затаенная озлобленность, даже угроза. Все так, но было что-то еще, чего Шохов, как ни напрягался, как ни пробовал размотать перекрученную во все стороны веревочку разговора, вспомнить не мог. И когда отчаялся, перестал думать, осенило: Сенька сам завел разговор об убийце! Да, да, он так и сказал, что, мол, если разговор станет между ними доверительным, то он готов кого-то там назвать, кого он знает или подозревает.

Ну конечно, Сенька наврет, напутает, накрутит и свалит вину на другого. Но Шохов пойдет на такой разговор, если существует хоть один шанс узнать истину. Лишь бы не тыкали, не обвиняли в том, что он уехал тогда, ничего не сделав, чтобы найти убийцу.

Но кто же обвинял Шохова как не он сам?

Каждое слово о Мурашке было ему как напоминание о его вине. И как знать, не собственная ли растревоженная совесть приходила к нему вчера, приняв обличье Семена Семеновича Хлыстова!

Несильный стук у входа в стенку показался ему как спасение от самого себя.

— Шохов Григорий Александрович здесь живет?

— Заходите! — крикнул, он, поднимая голову и глядя на дверной проем. Тут же узнал медсестричку из больницы, кажется Наташа. Черненькая, остроносенькая, похожая на галчонка. — Только не Александрович, — поправил великодушно. — Афанасьевич. Прошу запомнить.

— Простите. Видно, я неправильно записала. — Девушка помедлила на пороге, осматривая внутренность дома.

— Чего же вы! — поторопил он. — Не бойтесь. Это мой недостроенный дом. Я говорил, кажется?

— Да, я так и поняла, — сказала Наташа, сделав несколько шагов в его сторону. — Как вы себя чувствуете?

Шохов смотрел на нее, произнес обвиняющим тоном:

— Ничего. Сейчас ничего. А было скверно.

— Я так и подумала.

Наташа достала из хозяйственной сумочки прибор для измерения давления, градусник, какие-то лекарства. Градусник она велела сунуть под мышку, а сама присела на кончик кровати и попросила Григория Афанасьевича заголить правую руку. Шохов, пока ему мерили давление, рассматривал девушку в лицо. Потом взглянул на цифры, расположенные столбиком от десяти до двухсот пятидесяти. Выше было написано: «ПМР ГОСТ».

— А что такое ПМР? — спросил он.

— Не знаю, — сказала Наташа.

— А я знаю. ПМР — то есть ПоМеР. Сперва давление двести пятьдесят, а потом, значит, ПМР... И капнут.

— Какие у вас злые шутки, — произнесла, даже не улыбнувшись, девушка. — Кстати, у вас давление пониженное. И пульс почти нормальный. Но вставать вам еще нельзя.

Шохов кивнул в знак согласия. Но продолжал довольно-таки беззастенчиво рассматривать девушку, ее чистое, без единой морщинки лицо с выражением сосредоточенным, в то же время почти детским. И по-детски доверчивым. Неужели такие девушки еще водятся на белом свете? Или он уже так постарел, что забыл, какие они вообще бывают? Во всяком случае, он почувствовал неожиданную нежность к этой случайной медсестре, зашедшей в его заброшенный дом.

— Вы замужем? — спросил он.

Девушка тем же серьезным тоном, каким она говорила о давлении, произнесла:

— А вам зачем знать?

— Так просто. — Странно, но смутился сам Шохов.

— Я вам не отвечу, если так просто, — ответила девушка без всякой обиды. Очень по-деловому она сказала, что завтра у него заканчивается бюллетень, но он может не приходить в поликлинику, потому что дальше идут суббота и воскресенье. А в понедельник, если он будет чувствовать себя лучше...

— Да встану я! — прервал он сестру.

...если будет чувствовать лучше, то может прийти. А если нет, то она забежит после дежурства вечером.

— Почему вы? Почему не врач?

— Вам неприятно? — Наташа сложила свой прибор, собралась. Стоя посреди комнаты, ответила: — Я пришла к вам сама. Врач об этом не знает. Да ваш район и не числится нигде, как же она сюда придет? У вас есть чем питаться?

— Есть, — сказал Шохов. Почему-то заторопившись, попросил: — Подождите же! Как же вы додумались-то? Как нашли? Я ведь сразу, не сообразил...

— Ну, я подумала, что вы, наверное, один,— с паузами, но очень серьезно стала объяснять Наташа.— Я ведь тут недалеко живу. У нас квартира в башне, на двенадцатом этаже, это как раз около Вальчика.

— Ах вон что!

— А с моего балкона ваш дом видно. Я раньше думала, что это провабки для ведения работ ставят. А потом вы сказали, что у вас дом недостроенный...

— Сядьте, пожалуйста,— попросил тихо Шохов. Странно он чувствовал себя с Наташей и никак не хотел отпускать ее от себя.— Я ведь вправду один. Мне было плохо. И я боюсь. Честное слово!

Что он говорил и кому?! Впервые не себе, не жене, а чужому, случайному человеку, девчонке какой-то сознался в своей одинокости! До чего же он доболелся, если так вот сразу все свое главное и выложил. И вот что еще: не пожалел ни сейчас, ни потом, знал, что нужно и можно ей сказать... Она внушала полное доверие. Случись, если бы задержалась она подольше, он, может, и жизнь ей свою раскрыл. Но он видел, что Наташа торопилась, и сам торопился, и потому все прозвучало как-то испуганно, почти с надрывом.

Она поняла. Она догадалась.

— Сейчас все позади,— уверенно произнесла девушка и впервые улыбнулась.— Но вы не вставайте, я к вам завтра после дежурства загляну. Сейчас мне надо бежать. До свидания.

— До свидания! — крикнул вслед Шохов.— Приходите, я буду ждать! — Он смотрел вслед Наташе. А потом поднялся и стал глядеть в окошко, как она быстренько, почти как девочка, шла через его двор. И впервые, кажется, пожалел, что из-за своего высокого забора он не увидит ее дальше.

К вечеру того же дня его навестила Галина Андреевна. Но пришла она на этот раз не одна, а с дядей Федей, который вел тогда с Шоховым переговоры от имени ярославских переселенцев.

Пока Галина Андреевна наливала из термоса бульон, пока резала хлеб и мазала маслом, дядя Федя въедливо и дотошно весь дом рассмотрел и на чердак заглянул, где еще стоял шоховский балаган, и стену пальцем ковырнул, разве что не нюхал.

Шохов ревниво следил за ним, односложно отвечая Галине Андреевне на вопросы, как он себя чувствует, что принимал из лекарств и был ли кто-нибудь из врачей. Пока Шохов ел, Галина Андреевна занялась приборкой, а дядя Федя, стоя у кровати, выспрашивал, где оргалит доставал, где толь, где цемент и кирпич.

— Калёвочкой опанелку-то вырезал? — спросил он.

— Да, чтобы красивше...

— Обналичку, значит. А наличники?

— Наличники простые будут.

— А печка?

— Трехоборотка,— отвечал с набитым ртом Шохов.

— А чем облицовывать будешь?

— Нечем пока. Вот написал кой-кому, может, хоть в посылке пришлют плиточку...

— М-да,— произнес дядя Федя. Маленький, но коряжистый и ужасно все-таки въедливый. Но приятно было, что по-свойски поговорили, что дядя Федя вроде бы одобрил шоховский дом и замечаний никаких не сделал.

Теперь они расположились около Шохова. Галина Андреевна в ногах на койке, а дядя Федя присел на корточки прямо в головах. Он произнес, что пришли они к Шохову, конечно, чтобы его навестить, но у них и дело есть к нему. Дело весьма и весьма важное.

Шохов кивнул, пытаясь угадать, о каком деле может идти речь, уж не о новоселье ли, которое он тогда хитростью навязал им.

— Так вот, Афанасьич,— сказал дядя Федя и достал папироску.— Затеваем мы избную помочь. И тут твое участие необходимо. — Кому? — спросил Шохов.— Затеваете-то?

Галина Андреевна посмотрела на дядю Федю, а тот задумчиво крутил незажженную папироску, все не решаясь ее закурить около больного.

— Да Макару Иванычу, кому же еще,— сказала со вздохом Галина Андреевна.

Шохов ничего не ответил, лишь кивнул. Это не могло означать его согласия, а лишь знак, что он понял, о чем идет речь.

— Он же без денег,— продолжала Галина Андреевна.— А в избе им с Петрухой тесновато. Вот мы и решили...

— Кто это мы?

— Кто здесь живет, те и решили,— сказала Галина Андреевна, вовсе не замечая некоторой грубоватой прямолинейности вопроса.

— А почему, собственно, ко мне? — тем же тоном, нисколько не сдерживая своей неприязни к теме разговора, опять спросил Шохов.

Но тут вмешался дядя Федя. Очень простодушно воскликнул:

— Афанасьич, ну как же без тебя? Ты тут главный человек! Главный строитель!

— Какой я главный тут? Да и болен же.

— Афанасьич,— опять сказал дядя Федя,— ты и не работай, раз не можешь. Это все поймут как надо. Нам советы твои важны. Да кто-то и должен командовать? Да?

Шохов молчал, и гости молчали. Его не торопили. А он теперь и сам не понимал, чего он так взвинтился. Наверное, все происходило от разрыва с Петрухой, виной этого разрыва, пусть и косвенной, он считал деда Макара. Да и вообще дед раздражал его. И своей якобы беспомощностью, и гонором, и своей привлекательностью для Петрухи, и уж непонятно чем. Вот хоть и бессребреник, а домик-то норовит за общественный счет построить. Жаль его всем. А Шохова никто не жалел. Никто не сочувствовал, когда он тут в одиночку крутился, добывал материалы и на горбу доски таскал. А потом слег, загибался, можно сказать. Так не дед Макар, не Петруха, а другие пришли выручать...

Вот это, последнее, он и высказал в несколько обиженных тонах, прибавив, что никогда не думал, что они могут бросить больного человека. А если бы он вообще умер? Ведь ему было плохо. Очень плохо.

Галина Андреевна тут же ласково его перебила:

— Григорий Афанасьевич, как же вам не стыдно? Я вас не только от себя, я вас и от них навещала.

— Да бросьте! — отмахнулся он. Он не верил сейчас никому и Галине Андреевне тоже.

— Честное слово! Я вам правду говорю! Они постоянно спрашивали о вашем здоровье. Но ведь они тоже заняты. Петр Петрович у нас такое дело заварил...

Так как Шохов молчал, она добавила:

— Он электричество решил всем провести.

— Электричество? — недоверчиво буркнул Шохов.— Как это? Откуда?

Тут ему и поведали в два голоса Галина Андреевна и дядя Федя, что за те несколько дней, что он тут валялся, в мире произошли необыкновенные события. А именно: на Вальчике каким-то чудом поднялся столб, к которому шли провода от городской сети и далее к их городку. Столб этот заметили и снесли. Но следующей же ночью столб будто опять вырос, и снова его днем спилили. А вчера ночью столб опять появился на Вальчике, и эта молчаливая борьба могла бы продолжаться бесконечно...

— Ваша работа? — спросил, перебивая, заинтригованный Шохов дядю Федю.

Тот лишь пожал плечами.

— Нас теперь много, Григорий Афанасьевич. Может, наша, а может, ваша, кто теперь поймет...

— Так слушайте! Слушайте! — призывала Галина Андреевна. — Я ведь говорю, что это могло продолжаться до бесконечности, а они пришли...

— Кто они?

— От горэнерго... Пришли, посмотрели и говорят... Столб, мол, и линия — все поставлено правильно, а в домах, мол, требуются законные счетчики, тогда никто против электричества и его потребления не возражает.

— Это что же получается? — возбужденно заговорил Шохов, даже приподнялся на постели. — Получается, что они...

— Да-да! Они нас признали! Признали!

— Давайте подождем, — предостерег осторожный дядя Федя. — Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела.

— Но ведь люди-то слышали, что они сказали, что можно счетчики ставить! Не зря же это говорили? Мы уже и счетчики приобрели, — сказала горячо Галина Андреевна.

— А мне? — спросил почти капризно Шохов.

— И вам! А как же, Григорий Афанасьевич! Вам в первую очередь. Вы же у нас первый! Так что же мы решим насчет избной помочи? А?

Шохов ответил не сразу.

— Материалы есть?

И Галина Андреевна и дядя Федя поняли это почти как согласие. Дядя Федя поднялся и стал пояснять, что каждый должен хоть немного чего-нибудь принести...

— Как в прежнее-то время, — сказал он. — Полагалось сто бревен и столько же помочан. От каждого, значит, по бревну. У нас, конечно, народу меньше, но мы и не избу собираемся строить, а времянку. А на нее много ли надо?

— Много не много, а что-то надо, — возразил Шохов, чувствуя, как снова подкатывает волна недоброежелательства к деду Макару, его будущему дому, и стараясь как-то сдерживаться. — Не из воздуха же ее строить.

— Самохин обещал помочь в смысле опалубки.

— За денежки, — уточнила Галина Андреевна.

— Самохин, значит, помогает, но за деньги? — угрожающе переспросил Шохов.

— Ну чему вы удивляетесь, Григорий Афанасьевич? — произнесла снисходительно Галина Андреевна. — Это ведь Самохин. Он так и заявил, что ему принципы не позволяют задарма работать.

— Ай да Самохин! Ай да Вася! — смог лишь повторить Шохов. — Верен себе!

— А пусть, — решила весело Галина Андреевна. — А мы будем себе верны. Правда, Григорий Афанасьич? Кстати, вот вам письмецо от моего мужа. Он, оказывается, вас знает. Кучеренко, не помните такого на Ангаре?

Шохов мгновение смотрел на Галину Андреевну и только смог произнести:

— Это тот, который... которого...

— Да, да, — торопливо подтвердила Галина Андреевна. — По этому поводу мы успеем поговорить, Григорий Афанасьич. До свидания.

Гости ушли, но Шохов не торопился разрывать конверт. Наоборот, он убрал его под подушку и постарался о нем не думать. Новостей и так хватало для переживаний. И все-таки чувство неприязни, даже некоторой уязвленности не покидало Григория Афанасьевича.

И все опять сходилось не на деде Макаре, а на Петрухе, который сам не пришел, хоть был повод тот же счетчик поставить, а прислал для верности Галину Андреевну...

Но... до субботы еще дожить надо.

Так и решил про себя Шохов. Что он будет ломать голову заранее, когда неизвестно, как повернется его болезнь и что с ним к этому сроку станет. В конце концов, если все знают, что он болен, всегда можно отказаться от этой самой дурацкой помочи, кто ее только придумал! Мысли вернулись на свой круг, и стало опять досадно, что ему-то никто не помогал, а тут пожалуйста, да еще со своими материалами! К чувству досады примешивалась еще и тревога оттого, что под подушкой лежало письмо, переданное Галиной Андреевной. Шохов догадывался о содержании письма и злился, что и здесь опять кому-то нужен и снова будут просить о помощи. Это в то время, когда он сам в ней больше всего нуждается! К черту! Он не станет сейчас читать письмо. Он будет думать о маленькой медсестре, которая скоро к нему придет. Она одна внушала ему сейчас полное доверие и одна ничего от него не хотела. Остальные же все, и Петруха, и Галина Андреевна, и дед Макар, и жена Тамара Ивановна,— все, все чего-то от него ждали и требовали, и он устал от их требований и от своей собственной непрерывной гонки...

Наташа между тем свое слово сдержала и пришла на следующий же день к вечеру. Смерила давление, температуру и сказала, что дела у больного идут на поправку. Но лучше бы денька два-три повременить, не вставать, потому что болезнь может дать рецидив.

— Мне не нравится ваше настроение,— добавила Наташа очень серьезно.

Шохов рассматривал неотрывно ее лицо и снова поражался его чистоте и какой-то детскости выражения. А может, и беззащитности в нем. Хоть девочка явно напускала на себя, вернее, пыталась напускать какую-то строгость.

— С вами у меня настроение лучше,— отвечал ей довольно искренно.— Вы откуда приехали сюда?

Может, именно эта искренность подкупила девушку. Она ответила сразу:

— Я из Москвы приехала. А что?

— С папой, с мамой?

— Да. С мамой. Она у меня в таксопарке работает... Водителем.

— Значит, вы не замужем? — спросил Шохов, но вовсе не игриво, а очень серьезно.

Наташа задумчиво поглядела на него. Ничего не ответив, она в свою очередь спросила: а почему он здесь один? Или его бросили?

Шохову при этих словах стало невыносимо себя жалко, и он прикрыл лицо руками. Как-то сами собой вырвались слова:

— Я устал. Я знаю, что я заболел, потому что я один...

— Но так же не бывает! — Наташа смотрела на него с такой нежностью, что у него вдруг потекли слезы.

— Бывает! Еще как бывает! Видите, я же не могу при вас держаться. А мне стыдно! Я никогда вообще не плакал!

Он отвернулся к стене, но слышал ее ласковый голос:

— Ну и поплачьте. Это у вас накопилось. Это не страшно.

— Приходите ко мне, ладно? — попросил он, так же лежа лицом к стене.

Он действительно стеснялся своих слез, которые никак не кончались, как он ни пытался крепиться.

— Ладно,— сказала она.— У меня завтра свободный от дежурства день. Я сейчас не знаю когда, но приду. Если мама... Она на-долго меня не отпускает.

— Приходите с мамой.

Наташа не ответила, лишь помахала рукой. А на пороге, повернув голову, улыбнулась. И снова Шохов проводил ее глазами до калитки, а потом сидел у оконного проема, не желая ложиться в надоевшую до тошноты постель. И только слезы сами по себе, вовсе теперь беспричинные, наплывали, и никак их невозможно было остановить.

Болезнь проявила то, что Шохов от себя до поры тщательно скрывал: его глубокое одиночество.

Другое дело, что послужило причиной такому одиночеству. Шохов не хотел копаться в причинах и доискиваться до их корней. Он только понял, что одному плохо. Все же остальные события — избная помочь, приход Сеньки Хлыстова, письма — помогли открыть это главное, ощутить его еще острее и необратимее. Особенно же знакомство с медсестрой Наташей. Ее появление в жизни Шохова оказалось подобно звезде в ночи, он понял: ее ему не хватало.

И теперь, захваченный новым, до сего дня незнакомым чувством, он думал об этой девушке с нарастающим нетерпением и уже какой-то необычной для него нежностью, и ждал, и торопил приход следующего дня, когда она обещала прийти.

Когда же назначили день помочи деду Макару, от которого никто бы, даже Шохов в своем состоянии, не мог отказаться, он еще сильней проникся недоброжелательством к старику, втайне рассчитывая, что по какой-нибудь причине помочь сорвется или будет перенесена, и тогда никаких препятствий для встречи с Наташей не будет. Только вышло все иначе.

В раннюю светлину, когда истомленный долгими думами Шохов только-только по-настоящему заснул, у его калитки заиграла хулиганистая гармоника, а потом раздались крики, призывающие на помочь. Причем звали не просто кого-то, звали по имени-отчеству самого Шохова.

Чертыхаясь, он попытался закрыться одеялом. Но уже понял, что помочь не отменяется, а значит, надо ему идти. Тогда он скинул на пол одеяло, сел на кровати, обдумывая, что можно было бы сделать, чтобы все-таки не пойти. Назваться большим очень бы подходило, но... Но не сегодня, так завтра все равно придется выходить из дому. Тем более если кто-то заметит приход Наташи, а не заметить его в таком местечке практически невозможно.

Снова раздались голоса за окном, уже во дворе. Шохов, ругнув про себя никчемную затею, выглянул в окошко и поразился, сколько было тут народу. Вместе с дедом Макаром и Галиной Андреевной стояли Петруха и дядя Федя со своими ярославскими, Коля-Поля, вселившиеся на днях в купленный домик, и даже самохинская жена Нелька, которая, конечно, больше всех и стрекотала. Все пестро одетые, как нынче одеваются на воскресник, оживленные и даже по-своему праздничные.

— Сейчас! — крикнул, высовываясь из окна, Шохов и стал надевать рабочую одежду.

Пока искал инструмент, было еще время подумать, как сообщить Наташе, где он, если она захочет к нему подойти. Но потом он решил, что показываться с ней на людях ни к чему, а лучше он во время какой-нибудь паузы забежит домой.

Тут же огрызком карандаша, который служил ему для всяких отметок при строительстве, начертал на тетрадном листе крупно: «Я на строительстве дома! Подождите!» И положил лист на одеяло посреди кровати.

На дворе его ждали и встретили смехом и репликами:

— Григорий Афанасьич, как чувствуете себя?

— Вас тут прочат в начальники!

— Помочь — дело коллективное, а не начальственное!

— А все равно кому-то и вожжи в руки, чтобы погонять.

— Кому вожжи, а кому инструмент. У Григория Афанасьича инструмента много, а нам топоры нужны, пилы, фуганки, лопаты...

— У него и стройматериала про запас, есть чем поживиться!

— У меня все есть,— отвечал Шохов, улыбаясь и здороваясь со всеми разом,— и материал есть, только вы из-под фундамента не тащите...

Раздался смешок. Захватив кое-что из шоховского инструмента, все двинулись по Сказочной улице, продолжая громко разговаривать. Гармонист, один из ярославских, молоденький совсем, заиграл марш. Шохов сразу же по солдатской памяти оценил выдумку с гармонистом. Так в казармах у них в день выборов будили, когда надо было поднять ребят до побудки.

Из дверей, из окон высовывались люди, щурясь на необычное шествие — первое такое в Вор-городке,— и некоторые спрашивали, что случилось, а им кричали, объясняя, куда идут. И все время звучало одно-единственное, но такое действенное слово: *помочь!*

Около площадки, подготовленной для строительства, уже трещал трактор Васи Самохина, а рядом были свалены кучей привезенные опалубка и горбыль. Правда, опалубку свалили прямо в центр дома, и сразу пришлось соображать, стоит ли ее перебрасывать на новое место или же сделать проще: перепланировать времянку.

— Афанасьич! Ты у нас за главного! Решай!

Шохов раздумывал недолго и предложил для экономии времени строиться рядом. Тут же распределил работников. Дядю Федю с его людьми назначил на постройку дома. Галине Андреевне и Нельке Самохиной было поручено заниматься кухней, и в частности завтраком. Им в помощь был придан и сам дед Макар. Нескольких свободных человек Шохов послал на свалку подыскать кое-что из материалов. Васю Самохина попросил съездить за продуктами и за водкой, на что тот с превеликой охотой согласился. Петруха должен был обеспечить всю электрическую часть, и в том числе провод, чтобы подсоединиться, когда сруб будет готов. А пока изыскивать лампочки, выключатели, провода и все, что для этого требуется.

Колю-Полю Шохов после некоторого раздумья тоже направил в помощь Галине Андреевне, раз такие неразлучные, пусть носят воду из ручья. Воды для кухни и для работы потребуется много. Сам Шохов вместе с дядей Федей, мусолившим во рту папироску, стал производить разметку. Вбили колышки, потом позвали деда Макара.

— Макар Иваныч,— обратился Шохов к нему, стараясь быть максимально вежливым, и это ему, кажется, сегодня удавалось.— Смотрите и старайтесь нас понять. Дом ваш будет четыре метра на четыре, квадратный. Два окошка, но не очень больших, чтобы не выстужало зимой, врежем вот здесь, на восход. Между печкой и стенкой закуток для кухни. Тамбур и все остальное потом. Вы как, согласны?

Дед, разодетый по поводу помочи в чистую сорочку, при галстукке и, уж конечно, в своей неизменной шляпе с бантиком, кивал рассеянно. Он пробормотал сконфуженно:

— Да что вы, уважаемый Григорий Афанасьич, со мной чикаетесь-то? Я на все согласен. Я же не разборчивая невеста, и мне немного надо. Но если честно говорить, то все это излишняя трата вашего драгоценного времени и сил, честное слово! Я предупреждал милейшую Галину Андреевну, что все это зря... Ей-богу, зря...

Деда уже не слушали, надо было работать. Дядя Федя, бросив наземь изжеванный окурок, взялся за топор. Шохову же, который тоже примеривался к инструменту, тут же было сказано, чтобы не лез, поскольку болен, а следил за общим ходом работы и корректировал действия всех помочан.

— Афанасьич, ты известный мастер,— объявил дядя Федя в упор.— Но ты уж не лезь, народу и без тебя много. Вот, кстати, еще кто-то идет.

Он указал в сторону, и Шохов увидел, но скорей почувствовал и даже передернулся весь — к ним направлялся Сенька Хлыстов. Еще издали он улыбался, глядя на них странным, скользящим в сторону взглядом.

Шохов сразу сообразил, что и от этой встречи ему никак не уйти. Помочь — дело добровольное, тут каждый в жилу, и отвергнуть человека — все равно что опозорить его.

Шохов сделал вид, что занят. Но Сенька стоял за его спиной неотрывно, как тень, и Шохов не глядя это чувствовал и сильнее начинал нервничать, тем более что поначалу все без толку толкались и повода для нервов и так было немало.

— Григорий Афанасьевич,— наконец произнес Хлыстов на расстоянии и будто бы виновато,— вы уж простите, если отрываю, но мне бы тоже хотелось участие принять, тем более что, значит, все вышли, а я как бы в стороне мог оказаться... И я решил...

Шохов сообразил, как нужно ему разговаривать с Хлыстовым, если не выходило совсем не разговаривать. Быстро и почти не глядя на Хлыстова, он произнес:

— Хорошо, что пришли. Готовьте доски, будете стелить пол.

И сразу в сторону, в другие дела. Тем более что начали подходить женщины, успевшие покормить детишек и прибраться по хозяйству. Шохов и их распахал. Кого на подсобку к плотникам, кого на кухню к Галине Андреевне, а из самых слабых тут же организовал звено и велел почистить от кустиков участок, а если останется время, вскопать несколько грядочек.

Во время работы Шохов не переставал ловить странно косящие издалека взгляды Сеньки Хлыстова, который работал усердно. Шохов старался не подходить к его верстаку. Но и находясь в стороне, почти кожей чувствовал, где в это время может быть Хлыстов и чем он занят.

В один из перекуров заметил: Хлыстов вертится около самохинской Нельки. Весело подумалось: «Ай да Хлыстов!» И на этом вдруг успокоился.

Едва успели втянуться в работу, как срок завтрака подоспел. Галина Андреевна, раздумываясь у самодельного таганка и еще похорошевшая, даже помолодевшая, бойко зазвонила, стуча ножом о крышку кастрюли, прямо-таки как на полевом стане, сзывая помочан к импровизированному столу.

Тут же положили на чурбачки несколько досок, расселись рядом. Иные, подстелив одежду, предпочли расположиться прямо на земле. Но еще были в запале, ели торопливо, и разговоры шли о работе.

Нелька каждому клала в миску (их, как и ложки, принесли женщины из дому) макароны и колбасу. А Галина Андреевна успела сделать всем бутерброды с маслом, а теперь разливала чай. Сахар она выставила прямо на середину в глубокой миске:

— Сладите кто как любит.

Но, конечно, мужчины засекли центральное событие, когда Вася Самохин, вернувшись из магазина, вместе с другими продуктами выгружал ящик водки. Раздались реплики: «А чего же не выпить? Сухая ложка рот дерет! Табачник к табаку, а пьяница к кабаку...» И все остальное в том же духе.

Дед Макар, беспомощный перед такими просьбами, сразу же спасовал:

— Уважаемые, все для вас, как скажете! Есть чай, но и чего покрепче.

Многоопытный Шохов оценил опасность и пресек разговор.

— С утра пораньше пьют одни алкоголики,— будто смехом произнес он.— А у нас таких не бывает, правда?

Не слишком-то дружно, но поддержали, особенно женщины.

— Это кому же не терпится выпить, а? Еще и бревна не положили, а водку им подавай! Не заработали еще! Кривую избу постройте, если до начала станете пить!

Шохов смотрел на завтракающих и снова засек, что пронырливый Хлыстов сел поближе к Нельке, и та уже поводила глазами и была вовсе не против такого соседства. Но мыслями Григорий Афанасьевич был далеко. Он уже и на деда перестал злиться, только переживал, чтобы Наташа не обиделась, когда не застанет дома.

Улучив минутку, он все-таки сходил посмотрел. Дома у него было тихо, и палочка у входа, которой он для приметы перегораживал дверь, стояла на своем месте, и записка лежала на одеяле.

После завтрака дело пошло быстрее. Пока одни вкапывали стулья, другие подготовили обвязку. А двое парней, все, кстати, ярославские, на сколоченном верстаке затесывали и готовили горбылек для стен. Как только подняли стояки, с трех сторон одновременно начали набивать стены. А Самохин, прихватив для помощи двух женщин, съездил на «Золотое дно» и привез гору опилок. Каждый раз, высовываясь из кабины, он отыскивал глазами суетливого деда Макара и кричал ему, озорую:

— Дед! Принимай груз под расписку! С тебя пол-литра!

На что великодушно настроенный Макар Иванович чопорно приподнимал шляпу с бантиком и произносил:

— Мерси, Васенька! Вы сегодня летаете на тракторе, как космонавт в условиях невесомости!

Но при всей дедовской импозантности пользы от него, надо сказать, не было никакой. Он суетился, хватал носилки, пытался поддерживать стояк и, конечно же, всем мешал работать. Ему не выговаривали, но деликатно спрашивали к соседям или еще куда-нибудь.

К обеду, уже частью обшитые тесом, поднялись стены. Это придало энергии. Солнце горячило лица, и многие разделись до пояса. Только дядя Федя, маленький, сухонький, вроде бы всегда недовольный, давал короткие приказания и даже курил, не прекращая работы и вроде бы не чувствуя жары.

Наблюдая за ним, Шохов подумал, что не мешало бы выяснить, в каком подразделении он устроился, чтобы при случае попробовать перетащить на свой водозабор. Вот и в таком деле, как избная помочь, он смог кое-что взять для себя.

Обед прошел шумно, потому что Шохов, поговорив с дядей Федей и посоветовавшись с Гавочкой, разрешил налить желающим по сто граммов водки. Сам же он, не присев, выскочил на улицу и направился к своему дому. Конечно, он уже понимал, что никого и не будет, но все-таки надеялся. Да и человек он был по натуре обязательный: раз пригласил, то надо караулить гостью.

Обратно возвращался не торопясь, удрученно раздумывая, по какой причине не смогла прийти Наташа. Мама ли не отпустила, или не захотела сама? Молоденькая, кто их, нынешних, знает, какие они теперь...

Надо сказать, что Григорий Афанасьевич Шохов, кроме своей Тамары Ивановны, других женщин не знал, да и уж, честно говоря, забыл, как за ними нужно ухаживать. Возраст его, за тридцать, на стройке в Новом городе числился далеко не молодым. В таком воз-

расте человек вне семьи особого доверия не внушает. Об этом говорилось и прежде, когда он поступал на работу. Но теперь-то разговор шел о любви... Да, Григорий Афанасьевич, кажется, влюбился, и не на шутку, сам удивлялся невесть откуда взявшейся прыти, что гоняет каждую свободную минутку от новостройки к дому и обратно из-за какой-то маленькой медсестренки с детским чистым лицом и строгими глазами.

Как ни медлил, а вернулся Шохов рано, обед был в самом разгаре. Люди ели суп, приспособившись кто где мог, а появление Григория Афанасьевича встретили призывными криками. Каждая группа приглашала его к себе.

— Афанасьич, ходи к нам! — приглашали ярославские.

— Гришенька, с нами поешь, — ласково зазывали женщины.

Шохов подумал, что давненько его так никто уже не звал.

А Вася Самохин, развеселый уже (уж очень подозрительно был он весел всего от ста граммов водки!), кричал на всю площадку:

— Гражданин начальник, разреши еще по сто людям, а? Чего тебе, жалко?

Но тут вскинулся маленький цыпучий дядя Федя, обрезал Самохина:

— Тебе, Василий, если жаждешь, мы отдельно ото всех нальем. Ты у нас ведь самый выдающийся, да?

И Вася не нашелся с ответом. Да и Нелька, которая, судя по всему, побаивалась своего бойкого мужа, на этот раз подала голос:

— Вась, ну потерпи до вечера. Жарко сейчас пить!

— Всю жисть только и терпишь! — крикнул Самохин, сыграв в обиженного, и ушел от всех в сторону.

Остальные, отобедав, тут же, кто где был, прикорнули, подремывая на солнышке. Многие женщины, помыв посуду, воспользовались отдыхом, чтобы сбегать домой. Шохов прикинул, что рабочий день выходит длинный (а еще вечер придется прихватить!) и надо дать всем немного передохнуть. Он быстро поел супу и пошел искать дядю Федю, который, конечно же, суетился около сруба. Не вынимая потухшей папироски изо рта, что-то вымерял, прикидывал.

— Стекла нет, — сказал озабоченно, не глядя на Шохова. — И кирпича нет.

— Так их нигде нет, — ответил Шохов.

— Вот и говорю. Может, у кого завалылось? Не знаешь?

— Не знаю, — произнес Шохов, усмехнувшись.

Во дворе у самого Шохова лежал кирпич и стекло лежало. Он понимал, что цепкий на глазок дядя Федя не мог не видеть всего этого добра. И, конечно, не зря он завел с Шоховым подобный разговор. «Так пусть и говорит прямо, нечего тут намеки-то строить», — подумал Шохов и снова усмехнулся. Но дядя Федя никак не отреагировал на его усмешки и больше намекать не стал. Выбросил потухшую папироску и молча стал что-то высчитывать, чертя цифры карандашом на стене.

А Шохов стоял рядом и раздумывал. Было ему жалко, конечно, отдавать кирпич да и стекло, добытые с таким трудом. Но ведь нужно же. И потом у него, как всегда, этого кирпича с запасом. А люди — народ такой, не скажут, но при случае напомнят и носом ткнут в собственную жадность.

— Кирпича я смогу найти, — наконец выдавил он, глядя в спину дяде Феде. — А вот стекло у меня только бой...

— И бой сойдет, — согласился сразу дядя Федя, опять же не оборачиваясь, сосредоточенно занимаясь работой.

Шохов понял, что на такое решение тот и рассчитывал. И даже, наверное, не сомневался и не догадывался, как перемогал себя Шохов.

— Я рамы свои принесу, — говорил между тем дядя Федя. — Зим-

ние, они все равно не нужны сейчас. А когда время будет, два комплекта изготовлю. Себе, значит, и деду. И дверь мы найдем. И плиту чугунную двухконфорную. А тебе, Афанасьич, печку ложить придется.— Дядя Федя вприщур снизу вверх посмотрел на Шохова вопросительно. — Лучше тебя никто не сложит, ты знаешь. .

Шохов кивнул. Он и не предполагал иного разговора.

— А то смотри, может, завтра? Если самочувствие позволит...

— Да я и сегодня ничего.

— Не перегружайся,— предупредил дядя Федя и тут же решил, что, пожалуй, пора поднимать народ.— Время идет, а делов много.

После обеда стройка замедлилась. Разворачивались не спеша, кое-как, всех разморили отдых и жара. А тут еще молоденький гармонист полез по шаткой лесенке на стену, поскользнулся и грохнулся наземь. Все обошлось вроде бы без ушибов, но вдруг выяснилось, что парень прикусил себе язык. Да так сильно прикусил, что хлынула ртом кровь.

Пока женщины ахали, пока выясняли, как лечат пораненный язык и можно ли заливать его йодом, чтобы, не дай бог, еще и не отравить человека, пролетел час. Наконец дело сдвинулось, стены стали засыпать опилками, взялись за крышу и чердак.

К этому времени Самохин подвез от шоховского дома кирпич, из хулиганства и, может, за недолитые сто граммов набрав его много больше, чем требовалось деду. Шохов посмотрел, сжав губы, но промолчал.

Он попросил себе двух помощников из женщин (они аккуратнее), объяснил задачу: как подавать кирпич, какой нужен раствор и когда. И тут же немедля приступил к делу. Надо прямо сказать, что с неохотой приступил, потому что чувствовал в руках и особенно в ногах сильную слабость. Сперва даже подумалось, не перенести ли и вправду на завтрашний день. Но не хотелось выказывать на людях свою немочь. Да и была надежда, пусть малая, что завтра может прийти Наташа, и тогда снова у него все сорвется. Нет, лучше сейчас. Печка — венец работе.

Шохов не стал советоваться с дедом Макаром, потому что лучше его знал, какую ему печь нужно для обогрева и для варки. Одного он опасался — чтобы печь не вышла плохой. Тогда могут подумать, что схалтурил Шохов, а то еще и со зла такую нескладену сложил. А ведь настроение и отношение к хозяину влияют на успех или неуспех в таком деле. У них в деревне поверье было, что печь класть на новолуние — теплее будет!

Оттого печничал, старался Шохов, как для себя бы не старался. Выстроил опечье, то есть основание, стенки под плиточку и стал класть кирпич в три дымоходных канала в ширину кирпича. Это называлось у них трехобороткой. Стеночку, или щиток, сделал узенькой, ставя кирпич на ребро, чтобы лучше отдавалось тепло.

Так и творил, позабыв о немочи и все твердя из памяти поговорку: печь нам мать родная. А сам прикидывал: каналы просторные и щиток узенький, значит, тяга будет хорошая, но и обогрев тоже будет приличный.

Потолочную разделку тоже на совесть произвел: дерево да огонь — самые что ни на есть враги. Тут он кирпич с глиной клал. Глину при этом мешал с сухой травкой, которую женщины сгребли в кучу. Это тоже от пожара. Трубу он уже в сумерках клал и оттуда сверху посматривал на поселок, сложившийся одной улицей, которая вся сейчас была тут, на стройке.

С такой мыслью Шохов и положил последний кирпич (шестьдесят сантиметров от верха крыши), прикинув, что можно было бы еще украсить трубу железным узорочьем, но не сейчас уже.

Стоя на лесенке, перед тем как сойти вниз, еще раз посмотрел на Вор-городок, на сизоватые домики в вечернем голубом озаренье.

Потом дальше, на блестящую в отдалении реку и белые столбы зданий за Вальчиком, в каком-то из них на самом верхнем этаже была сейчас Наташа...

Так легко, приятно стало на душе у Шохова в эту минуту, что он чуть не запел. Ведь преодолел же себя, не только сейчас, а вообще, как и неприязнь к деду преодолел, и жадность (кирпичик-то небось в печке будет деда греть шоховский), и даже некоторую отчужденность к остальным, тем, кто разбудил его так рано.

Было предчувствие у Григория Афанасьевича, что печка ему отменно удалась. И пока мастера во главе с дядей Федей накрывали крышу толем, сваливая рулон от конька по обе стороны и закрепляя реечкой, Шохов все ходил вокруг печки, все щупал ее, прикидывая, как она станет греть.

Наконец дядя Федя подошел к Шохову, вытирая грязные руки о ветошь, и сказал задиристо:

— Ну зажигай! Печь-то без дров — гора!

А Шохов ему в тон ответил:

— Не хвались печью в нетопленной избе!

Тут бросили все остатки работы, решив, что завтра доделают. Принесли газетки, зажгли и сунули в топку. А сами столпились за спиной у Шохова, смотрели: потянет? И он смотрел, не успев даже испугаться, потому что потянуло. А потом стружек добавили, обрезков сухих, и загудело, заиграло огнем по лицам, по полу, по стенам. Стало радостно и тепло.

И все улыбались невесть отчего. Смотрели на Шохова, на огонь, плясавший в топочке, и смеялись, хотя смешного ничего и не было.

Кто-то нашелся, уже чайник поставил на конфорку.

— У нас в печурочке золотые чурочки! — закричал кто-то.

И все грохнули «ура», даже домик содрогнулся.

Уже тащили верстачок, накрыв его опалубочным щитом и приспособив под стол. Доски вместо скамеек, стаканы вместо рюмок, миски вместо тарелок. Но зато все быстро, без затруднений. Уже Галина Андреевна складывала готовые бутерброды, сало и колбасу, нарезанные кусочками.

Вася Самохин был шумней всех. Он закричал:

— Дед! Живи тут сто лет! Да нас вспоминай!

Дед Макар пытался что-то ответить, но не смог, до того расчувствовался. Тут все поняли, что дед Макар плачет, и стали говорить ему всяческие слова, а дядя Федя, хоть маленький, но никак не затерявшийся среди остальных, плеснул водку в потолок и выкрикнул резко:

— Будь счастлив, Макар Иваныч!

Галина Андреевна подхватила:

— Чтобы елось и пилось, чтоб хотелось и могло!

— Дед! Ты слышишь, дед? — орал Вася Самохин, перешибая общий гул. — Ты чтобы об нас помнил! Мы тут как родня у тебя!

Шохов, сразу ослабев, видать переработался да и перенервничал тоже, потихоньку вышел из дверей (тамбура еще не было) и, едва передвигая ногами, побрел к себе. Но отойдя метров на двадцать, остановился и стал смотреть, как на густом, с глубокой синевой небе поднимается вертикально вверх белая струйка дыма. Ее отчетливо было видно над темной крышей.

После длинной очереди, в которой розовощекий старичок, стоявший за ним, долго мучил рассказами о болезнях, приняла врач, та же пожилая женщина в золотых очках, которая неделю назад едва не отправила в больницу.

Она выслушала его и произнесла в заключение, что он здоров и завтра может выходить на работу.

— Постарайтесь в первое время не слишком переутомляться. Да и вообще поостерегитесь всяких перегрузок, как и сквозняков.

— А что у меня было? — спросил он, оглядываясь и пытаясь рассмотреть, есть ли кто в соседнем процедурном кабинете. Но никого не было видно.

— У вас переутомление, — сказала врач и стала что-то записывать.

— Вы думаете, переутомление? — Шохов снова посмотрел в сторону процедурного кабинета.

— А вы думаете что? — спросила врач, не отвлекаясь от бумаг.

Кончила писать и отдала ему бюллетень, напомнив, чтобы он в регистратуре поставил печать.

— Будьте здоровы. Следующий!

Шохов в последний раз взглянул в сторону соседней комнаты, распрощался и вышел.

Когда протягивал в окошко бюллетень, наклонился так, чтобы его не могли слышать посторонние, и спросил у девушки, в какую смену дежурит медсестра Наташа.

Регистраторша поставила печать и посмотрела на Шохова более внимательно.

— Наташа? Чистовская? (Шохов чутьем распознал, что речь идет о Наташе, хоть фамилию ее никогда не слышал.) Она будет после обеда.

Времени до обеда было много. Шохов решил сходить на почту, но по пути забежал в общежитие так, на всякий случай, чтобы убедиться, что его личная койка на месте.

Вчера, когда привезли деду Макару общежитскую железную кровать, мазанную синим, он, грешным делом, заподозрил, не его ли пустующую койку загнал предприимчивый комендант вместе с матрацем.

На почте написал жене письмо. Рассказал о странной болезни, о появлении Сеньки Хлыстова, о постройке дома деду Макару. А вот о своем одиночестве, о страхе, пережитом во время болезни, писать не захотел. Тамара Ивановна небось крутится сейчас среди детишек, у нее хлопот полон рот, и ничего она про мужа, про его неожиданную пустоту не поймет. Так он решил и не стал ничего писать.

Второе письмо он отправил в Красково, матери Тамары Ивановны. С самого начала извинился, что по приезде сюда ничего о себе не сообщал, все времени не было, потому что устраивался с жильем. И теперь еще устраивается. А в конце просил посмотреть в столичных магазинах облицовочную плитку, то есть кафель, по возможности чешский голубого или кремового цвета. Если такой кафель есть, пусть ему вышлют посылками, деньги он тут же пришлет телеграфом. А количество плитки он уточнит и напишет через несколько дней.

К обеду Шохов уже торчал около поликлиники. Присел в скверике так, чтобы видеть дорожку, и стал ждать.

Одно время ему стало казаться, что на него глазают из окон поликлиники, и он перебрался на другую скамью, поглубже в зелень.

Шохов уже стал сомневаться, действительно ли ее фамилия Чистовская, и тут она вынырнула из-за угла. В беленькой кофточке, серой юбке. И хоть была темноволоса, но даже издали казалась Шохову ослепительно белой, сверкающей, как жемчужинка.

В ней издали, на расстоянии угадывалось то же, что он сразу почувствовал еще в кабинете врача, а потом у себя дома: необычная сосредоточенность и цельность. Цельность во всем. В облике,

в походке, в выражении лица и в строгом взгляде прямо перед собой.

Испугавшись, что она сейчас пройдет и исчезнет, Шохов попытался произнести, но и голоса своего не узнал, настолько неестественно прозвучало:

— Наташа... Наташа...

Все замерло в нем от никогда не испытываемой прежде дурацкой робости. Она почти сразу же (профессиональная реакция?) повернулась к нему и так осталась ждать, не без удивления его рассматривая.

— Я прошу простить, я не смог вас дождаться в тот день...

Она тут же его перебила, пояснив, что она сама виновата, потому что она торопилась, у нее были дела.

— А вы к нам на прием?

Спросила так буднично, что стало очевидно: никакой догадки, никакого предчувствия в отношении Шохова не было в ней. Она посмотрела на часы и пояснила:

— Опаздываю, простите...

Тут мимо прошли люди и поздоровались с Наташей. Она не глядя кивнула.

— Понимаю,— отвечал Шохов упавшим голосом.— Это вы меня простите...

Она взглянула на него задумчиво и удивленно, словно сейчас только до нее дошло нечто важное, происшедшее во время их разговора.

— Я освобожусь в восемь. Вы можете сюда подойти?

— Конечно.

— Тогда в восемь.

И она скрылась в дверях.

Они не пошли в город, а, шагнув за длинное здание поликлиники, спустились к реке. Тут же на травке присели. Дорогой не произнесли и нескольких слов. Но Шохову и не нужны были слова, наоборот, он сейчас их не хотел, даже побаивался, считая, что со слов-то и начинается недопонимание и размолвка. Между ними была не ниточка, а паутинка, которую легко оборвать одним неосторожным движением. А тем более словом.

Молчание же, как ни странно, объединяло.

Скорей уж по привычке глянул Шохов выше по течению, туда, где вдоль берега торчали сваи и стрелы кранов и где был его водозабор. Наташа, следуя за его взглядом, тоже посмотрела в ту сторону.

— Это ваше? — спросила она, догадавшись.

— Водозабор. Я его строю.

— А зачем вы его тут строите? Вы же испортили весь берег! Ну посмотрите, что вы натворили,— сердито произнесла она.

— Берег все равно будет залит водохранилищем,— не очень-то твердо ответил Шохов, испугавшись, что они могут сейчас из-за этого проклятого водозабора рассориться, не успев толком познакомиться друг с другом.

— Как же так? — недоумевала она.— Ваш водозабор зальют водой? А зачем же его тогда строить?

— Он будет со дна подавать в город воду. Людям же нужна вода?

— Ах вот что... — протянула Наташа и вывела, помолчав: — Тогда он мне нравится. А ведь я здесь часто гуляла и все злилась: разворотили берег, напихали каких-то железок! А вы вон что... Как это выражаются: утоляете жажду.

— Но это правда, не смейтесь,— сказал Шохов.

— Я не смеюсь. Вы на самом деле выросли в моих глазах,

Ведь я индустрию не люблю. И книжек про это не люблю. Я люблю природу. А вы, по-моему, враги — ваши плотины и природа. Она беззащитна же против ваших ужасных машин, которые готовы все вокруг разрыть и разворотить! Нет, правда. А потом еще удивляетесь, почему люди стали чаще болеть. Как же им не болеть, вы насилуете природу и лишаете человека того первородного, естественного, что его всегда окружало. А кстати, откуда вы родом, Григорий Афанасьевич?

— Я-то... Из Тужинского района. Не слышали?

— Это где?

— Мы вятские... У меня там в деревне мать с отцом, братья. Хотите, я вас туда свожу, а? — вдруг предложил он. Сам удивился своей смелости. — У нас там — природа...

— Вы меня совсем не знаете, Григорий Афанасьевич, — произнесла она снова будто рассеянно. Поискала рукой камешек по траве, швырнула в круговертящуюся темную воду. — Я же не девочка, за которую вы меня принимаете. У меня сын в этом году в первый класс пойдет.

Шохов сразу не нашелся, что ответить. Он и вправду был смущен ее признанием.

Наташа резко повернулась к нему лицом и уже открыто, словно сняв с себя какой-то груз, пристально взглянула на Шохова.

— Я вас огорчила?

— Да нет, я и вправду не думал, — пробормотал он. — Вы же молодая...

— Сколько дадите? — с вызовом, но кокетливо спросила она.

И лишь в глазах, очень серьезных, застыл немой вопрос, мучивший ее. Она пристально вглядывалась в Шохова, пытаясь о чем-то догадаться.

— Ладно, не трудитесь, — другим тоном, даже резковато произнесла она и легко поднялась с травы. — Мне двадцать шесть, Григорий Афанасьич, и у меня был муж. А если уж точно, то два мужа. Вы остаетесь здесь или идете?

— Но куда же спешите? — спросил Шохов, не зная, как реагировать на эту вспышку, надо ли относить ее на свой счет. — Еще же светло. Посидим немного, а?

— Нет, Григорий Афанасьич, я человек занятой, у меня семья.

Все это было сказано торопливо, не глядя на него. Обратную часть дороги они промолчали. Около дома, двенадцатизатжной башни, когда Наташа попрощалась, Шохов попытался задержать ее руку:

— Но мы еще встретимся? Завтра?

Она согласилась, но как-то безразлично и устало.

— После смены?

— После смены. До свидания.

И она поспешила уйти.

Теперь каждый вечер, нарушив свой привычный распорядок и забросив дом, Шохов после работы приходил к двухэтажному зданию поликлиники, расположенному на окраине города, и там на одной и той же скамеечке среди зелени, повернувшись лицом к стеклянным дверям, караулил Наташу.

Они гуляли по городу, ходили в кино, раз или два посидели в кафе, иногда забредали в магазины. Но никогда не соглашалась она пойти к нему в его недостроенный дом. Она не придумывала предлога, она просто говорила «нет».

— Почему же нет? Тебе неприятно?

— Не знаю. — И словно отводила этот вопрос.

Но однажды созналась:

— Я тебя тогда очень долго ждала. Может, и не целый день, но мне-то показалось, что весь день и даже больше. Я села на твою постель и стала думать. А думала я вот о чем. Как это я сюда забрела,

зачем, собственно? Все тут чужое, не мое и почти мне враждебное. Да, да! Я чувствовала, что я чужая в твоём доме и он меня не любит. Тогда я расстроилась и ушла. Я тогда решила, что больше мы не встретимся...

Но и домой к себе в квартиру на двенадцатом этаже башни Наташа тоже не торопилась приглашать Григория Афанасьевича. И только однажды... Это произошло почти через месяц после их знакомства, она как бы мимоходом заметила, что скоро у нее день рождения.

— Двадцать шесть?

— Двадцать семь! — с вызовом произнесла она. — Я, грешным делом, загадала, что мы пойдем в ресторан. Сына я отправила в лагерь и впервые, надо сказать, так свободна. Это мне повезло. Но и тебе, учти. Так вот моя мама настаивает, чтобы мы непременно справляли рождение дома.

— Ну и правильно! — подхватил Шохов искренне. — Дома, конечно, лучше.

— Я в этом не уверена. Но, как говорится, нам не из чего выбирать. Только запомни, у мамы очень плохой характер. Она гонит от меня всех мужчин. Хочет, как выражаются люди, составить мне богатую партию. А значит, будь настороже.

— Да я не из пугливых, — сказал Шохов, но при этом несколько стушевался.

В этот день (а была суббота) к Шохову с утра зашел Петруха, чтобы установить счетчик и подтянуть провода для электричества. Вроде бы он заходил и раньше, но застать Григория Афанасьевича (он так и продолжал его звать) было невозможно.

Шохов сослался на работу, на конец квартала. Хотя никто не тянул его за язык. Мог бы и промолчать. Петруха на его вранье никак не реагировал. Торопливо прошел в дом и, располагаясь в углу, недоуменно осмотрелся.

— Ты что же, перестал строиться?

— Почему, я строюсь, — отвечал Шохов с вызовом. Он разозлился на себя, что приходится все время врать.

— Что же ты построил?

— Что, что... Дверь вот. Еще материал заготавливал, — пробормотал Шохов и отвернулся. Он не мог смотреть в открытые серые глаза Петрухи. — И потом, я же болел!

Петруха занялся делом. Поставил счетчик, подвел провода и стал молча сматывать. Уже собравшись, предупредил, что ток дадут через пару дней, когда он подключит остальных.

— А деньги? — спросил Шохов. — Я тебе разве ничего не должен?

— Должен. За счетчик. Но если сейчас нет, отдашь потом.

— Подожди, — попросил вдруг Шохов. — Посиди, отдохни. Ведь сегодня суббота?

— Кому суббота, а кому субботник, — с усмешкой произнес Петруха, но помедлил, присел на табурет.

— Расскажи, как живешь?

— Нормально. Я же всегда доволен жизнью, Григорий Афанасьевич.

Пропустив «Григория Афанасьевича» мимо ушей, Шохов спросил, и голос прозвучал виновато.

— Ну а как семья? Как дети? У тебя же дети?

— Ничего, спасибо, — отвечал Петруха неопределенно.

— А мои вот задерживаются... Устал я ждать...

— К тебе тут Галина Андреевна заходила, — будто невпопад произнес Петруха. — Интересовалась, есть ли ответ на ее письмо.

— Не успел! — воскликнул Шохов, только сейчас вспомнив об этом письме. — Я же говорю, что у меня квартал **кончается!**

— Она, кстати, тебя с какой-то молодой женщиной видела в городе. Хотела подойти, но ты даже не поздоровался,— сказал Петруха и, не прощаясь, направился к выходу.

Шохов прошел вслед за Петрухой через двор и только у калитки, попридержав за плечо, почти умоляющим голосом попросил:

— Переходи ко мне, а? Переходи! Будем вместе! Как планировали: дом пополам!

Петруха вздохнул и, глядя в землю, покачал головой.

— Ты что же, меня ненавидишь?

— Нет. Но ты мне... Как объяснить? Ну, безразличен, Григорий Афанасьич. Хотя... ты сейчас будто помягчел. Или мне кажется... Не знаю.

— Не кажется! Не кажется! — Шохов будто ухватился за это слово.

— В тебе появилось... Я пока не понял, что именно. Живое.

Петруха махнул рукой и пошел своей прыгающей походкой, с проводами, таким обручем на плече, и брезентовой сумкой на боку. Странный был у него вид.

В ту же субботу, прежде чем идти в дом Наташи и ее мамы, Григорий Афанасьевич Шохов побрился, надел чистую рубашку, которую сам в холодной воде и постирал, а в попутном магазине купил торт и бутылку коньяка.

Торты в Новом городе делали сплошь заказные, с поздравлениями: с новосельем, с Первомаем (который, кстати, давно прошел) или даже с серебряной свадьбой.

Буквы, выведенные цветным кремом, довольно-таки зримо влияли на цену торта. Из всех поздравлений Шохов выбрал наименее безопасное: «У нас праздник!»

С покупками в руках он впервые поднялся на лифте на двенадцатый этаж и позвонил в квартиру номер девяносто.

Наташа, наверное, ждала, открыла сразу. Была она в непривычном для Шохова бордовом длинном платье, поверх которого повязан фаргучек, тоже очень нарядный. Волосы уложены пучком, а лицо, как ему показалось, чуть бледновато. В сумерках небольшого коридорчика она показалась ему необыкновенно красивой. Он подал ей коньяк и торт, потом полез в карман и достал коробочку с янтарными бусами. Как-то, еще в первые дни их знакомства, Наташа обмолвилась, что любит янтарь, и он запомнил.

— Поздравляю! — произнес с чувством.

Она, отложив бутылку и торт на столик, открыла коробочку и счастливо ахнула. Тут же, не отходя, примерила бусы. В порыве нежности чмокнула его в щеку: «Спасибо!» — и убежала.

— Мама,— услышал он ее возбужденный голос,— смотри, какая прелесть! Настоящий янтарь!

Наташа вернулась, шепотом позвала:

— Пойдем. Я тебя с ней познакомлю. Только поправь воротничок.

Именно потому, что она упомянула про воротничок, Шохов понял, как она волнуется за него, а может, и за мать.

— Не бойсь,— подбодрил он ее.— Не съест же.

Но сам, хоть и хотел казаться чуть развязным, излишне напрягаясь, вошел в комнату.

Мама Наташи, Ксения Петровна, оказалась худенькой женщиной с очень смуглым усталым лицом. Она отложила сигарету и протянула Шохову руку. Голос у нее был низкий, немного хрипловатый от курения.

— Здравствуйте,— приветствовала она сидя.— Я давно хотела на вас посмотреть, но моя дочь вас упорно скрывала.

— И неправда,— сказала Наташа.— Просто не было повода.

— Можно и без повода,— отмахнулась мать и взялась за сигарету.— Курите?

— Нет,— ответил Шохов, стоя перед ней, будто школьник на уроке.

— Правильно. Это ужасное занятие. Но я уже не могу бросить. А вот эта пигалица,— она указала на дочь,— вздумала мне подражать.

— Мама, ну зачем это? — произнесла с укором дочь и тут же потащила гостя на кухню.— Пойдем, мне нужна помощь.

Помощи, конечно, никакой не потребовалось. Наташа занялась закуской, а Шохов подошел к окну и увидел, что выходит оно к Вальчику.

— Ты хочешь взглянуть на свой дом? — спросила Наташа, проследив за его взглядом.

Она провела его в свою маленькую комнату, а оттуда на балкон. Открыла дверь и оставила одного.

Шохов взглянул с высоты двенадцатого этажа в сторону Вальчика и поразился. Перед ним как на ладони распластался Вор-городок, различимый до мельчайших подробностей. Неровной линией вдоль Вальчика и невидимого отсюда ручья протянулась единственная улица, но как она разрослась, с тех пор как Шохов от начала и до конца ее проходил, когда занимался избиной помощью!

Солнце, несмотря на позднее время, было еще довольно высоко над горизонтом. Оно красило времянки в золотисто-розовый цвет.

Он взглянул на свой дом и будто впервые увидел его. Стоящий как бы сам по себе, окруженный забором, он выглядел отсюда еще лучше, чем на самом деле: не было видно, что он без окон и без крыльца. Дом был почти таким, каким представлялся Шохову этой зимой. Сердце екнуло от нахлынувшего чувства к своему жилищу. Шохов впервые понял, что оно существует, несмотря ни на что.

Григорий Афанасьевич даже глаза закрыл, чтобы не показаться самому себе слишком сентиментальным. Так его захватило.

Освобожденно подумалось: «Легко-то как, господи! А я все зажатый хожу, будто у меня кнут за спиной. А он вот какой, оказывается! Чего же я мучаюсь-то, будто виноватый, что его забросил? Я лишь отдохнул от него».

В этот миг неслышно подошла Наташа и обняла его со спины. От неожиданного ее прикосновения ему стало горячо под лопатками. Сердце застучало так громко, что он притаил дыхание. Лишь бы стояла и не уходила, он готов был и вовсе не дышать.

— Милый,— произнесла она шепотом на ухо, будто передавала что-то тайное.— Спасибо тебе, что ты такой. Ты на дом свой засмотрелся, да?

Он кивнул. Голова закружилась от несбыточного желания вот сейчас, здесь еще сильнее почувствовать ее. Резко повернувшись, он обнял ее за плечи, почти оторвав от пола. Она даже пискнула от боли, но вовсе не пыталась освободиться от его рук.

Вечер у них получился долгим и приятным.

Они пили коньяк, придумывая какие-то необыкновенные тосты и веселя смешливую Ксению Петровну. В хорошем расположении духа она вообще, как понял Шохов, была милейшим и компанейским человеком. Потом они танцевали под радиолу, и Григорий Афанасьевич поочередно приглашал дам и был, как говорят, в ударе. Перед чаем решили немного прогуляться. А потом, вернувшись, ели торт, рассказывали всяческие истории и когда очнулись, было далеко за полночь. Решили, что Шохов никуда не пойдет, а будет спать на раскладушке. Ксения Петровна ушла к себе, перед сном покурив на балконе, Пока Наташа убирала со стола и мыла на

кухне посуду, Шохов разделся и лег. Хоть он и ждал, караулил ее приход, но незаметно задремал и проснулся от ее голоса:

— Ты спишь?

— Нет,— сразу ответил он и открыл глаза:

В комнате стоял полумрак, а за окном разливалась молоком белая северная ночь, самая короткая в году.

— Я хочу тебе что-то рассказать,— произнесла Наташа от своей постели.— Но если хочешь спать, то спи. Это все успеется.

— Честное слово, я не сплю,— ответил он громко и повернулся к ней лицом. По ее дыханию он догадался, что и она теперь лежит к нему лицом.

— Ты заметил портрет юноши здесь, над моей кроватью? — спросила Наташа.

— Да. Очень славное лицо.

— Это Генка. Я его любила. Это было в пионерлагере. Я бежала и разбила коленку. А он дал платок. А потом, когда я уезжала, подарил барбариску. И все. Потом он был в армии, а мне и еще одной девушке писал письма, мы были, так сказать, душеприказчики. Выслушивали его излияния, похождения всякие. Там же, во время службы, сошелся он с одной местной, а она его бросила, сделав аборт. У него до армии была на ноге опухоль, доброкачественная. Ему предложили ее удалить. Сделали операцию, но неудачно, а потом ему пришлось на летних учениях в окопе сидеть, а там грязь и прочее. В общем, она переродилась у него. Когда комиссовался, явился в нашу поликлинику, машет мне издали бумажкой. Я думала, что он мне стихи принес (он писал стихи), а он — направление. А у него уже метастазы в легких. В общем, вливали в него растворы всякие-разные, а потом выпустили. Его мать ко мне приходит, говорит — он тебя зовет. Пошла я к нему домой, да там и осталась... Хотели ему ампутировать ногу, но один хирург, он тоже у меня есть на фотографии, ложки собирает деревянные, сказал, что спасет ногу. Сделал операцию, а потом еще две операции на легких... А я все рядом. Меня однажды спрашивают: «Вы кто будете-то ему?» «Не знаю», — говорю. «Ну тогда заявляйте, что жена». «Да я и есть жена, только нерасписанная...» А знаменитый хирург, — Наташа назвала его фамилию, — пришел на меня посмотреть: «Покажите мне эту сестру, о которой мне уши прожужжали». Посмотрел: «Эвон какая тщедушная, но бессменная». Я в это время институт бросила. «Я сильная», — говорю. «Да, слышал, слышал... что мужа на руках носите. Медаль бы вам за это. А мне бы побольше таких сестер!» Так и сказал. И правда было: я Генку мыла в ванной, а потом и говорю: давай, мол, я тебя понесу! И понесла. Принесла, положила, а он расплакался. «Это,— говорит,— вместо того чтобы я тебя носил!» А мне тоже плакать хочется, но я говорю: «А ты отъедай потолще шею, я потом кататься на тебе буду». Несколько раз сбегал он из больницы, мы ходили с ним в кино и гуляли. Была весна почти как сейчас. Мы были счастливы. Однажды прихожу. «Сбежал насовсем,— говорит нянечка.— Вот тапочки оставил». «Куда?» «А куда-куда!.. Ты кто ему, жена аль не жена? Значит, другая еще жена есть, если к тебе не прибежал». В общем, мы с ним расписались. Разменялись с моей мамой, чтобы отдельно жить. А после свадьбы прошло два дня — и снова клиника... Где я только не была! И разные лекарства дорогие, мы до сих пор за них не расплатились. Только ничего не помогло... Когда он сбегал в очередной раз, уехали мы на Волгу. Спали в стогу сена. В лес ходили. Пили парное молоко. Это было прекрасно. Потом опять клиника, оказалось, что у него метастазы в печень зашли. Спрашиваю врача: «Мне-то вы можете сказать правду?» А он мне: «Уходите!» — и отворачивается. Так и выписали его окончательно. Как говорят у нас, на руки сдали. Это зна-

чит осталось жить ему месяца два-три всего... Знаешь, что мы тогда сделали? Мы уехали в Крым. Меня все ругали, а я так рассудила: жить ему крошки остались, а он моря никогда не видел. Я тоже не видела. Может, я и увижу без него, но это уже не то. Втроем — он, я и Сергей, мой сынок от первого мужа, — уехали в Крым... Муж? О нем нечего сказать, — говорила ровно Наташа. — Да и жили мы недолго. А тут — Генка. Уехали мы в Евпаторию. Был сентябрь, удивительная осень. У меня тут висят фотографии: на одной мы с арбузом, а еще перед отъездом он стоит в море красивый такой, загорелый, а ему, представляешь, жить оставалось месяц... Умирал он в той же клинике, где я работала. Мы были вдвоем. Я тебе открою секрет: для того чтобы ему легче хоть чуть-чуть стало, притворилась беременной, потому что он мечтал о ребенке. Сильно мечтал. Говорил, что вот я не буду, а моя кровь в нем останется. Тогда я и притворилась, и здорово, надо сказать, это у меня выходило. Даже почему-то живот появился. На самом же деле он не мог быть отцом. Все эти препараты отражаются... Он-то не знал, а я знала... Умирал, откашливая куски легких, и, кажется, задохнулся... Был, понимаешь, он в сознании, но говорил голько эти звуки: «Уа, уа...» Я так и не поняла. Сперва думала, что он последний раз зовет ребенка, которого он ожидал... А может, это он говорил: умираю? Дыхания-то не хватало, и получилось у него: «у» и «а»? И все. А я не смогла там работать. Взяла да уехала... И маму утащила с собой.

Наташа замолчала. Он приподнялся на кровати и вдруг услышал умоляющий шепот:

— Нет! Нет! Только не сейчас!

Он даже не успел понять, в чем дело. Она встала и отворила дверь в комнату матери. Услышал, как она сказала:

— Мама, ты спишь? А я никак не усну. Душно что-то. Я оставляю дверь в твою комнату открытой, ладно?

Она снова легла и больше не произнесла ни слова. Он был уверен, что она не спит. И сам тоже не мог заснуть. Так и пролежал молча до самого рассвета...

Григорий Афанасьевич даже внешне сильно изменился и будто бы помолодел. И во всем, конечно же, была виновата Наташа.

Любовь наполнила душу Григория Афанасьевича. Оглянувшись однажды, он увидел, что мир прекрасен сам по себе, вне шоховских замыслов и планов.

Когда Шохов в одну из встреч признался ей, что он до поры, пока не построил свой дом, казался себе как голый на площади, Наташа тут же опровергла его напрочь:

— Ты богатый человек. Ты понимаешь красоту и умеешь ее создавать. Ведь не оставил же ты мечту о Тадж-Махале?

— Ах, Тадж-Махал! Я строю себе засыпуху! — отмахнулся он.

— Дом нужен каждому человеку. Важно, чтобы под его основание (Шохов рассказывал ей приметку) вместе с денежкой душу не заложить.

— Но разве дом не есть счастье?

— Конечно, нет. Счастье — внутреннее состояние. Потому ты был несчастен, что ты заблуждался. Ты принял стеклышко за алмаз... Знаешь, что такое дом? Это книги и друзья. Ну, может, еще горячий душ в придачу!

— А любовь?

— Любовь, — сказала она сразу и очень серьезно, — это душа дома.

Разговор этот происходил у Наташи. Случайно, а может, и не совсем Ксения Петровна уехала в отпуск в Москву к своей родне,

и Наташа предложила Шухову прийти и смыть свою «бездомную грязь», как она называла.

Она сама наполнила ему ванну, а когда он, раздевшись, погрузился впервые с каких-то давних пор в эту пенную благодать, вдруг пришла к нему, вовсе не стесняясь, и так просто, будто всегда это делала, начала оттирать его мочалкой, мылить, споласкивать, скрести ему голову. И все это почти как с маленьким ребенком.

Смущаясь, он поглядывал в ее раскрасневшееся лицо и находил в нем вместе с обычной строгой сосредоточенностью нечто материнское, ласковое и от этого еще больше расстраивался. А когда, сполоснувшись, он выходил из ванны, прикрываясь от ее взгляда собственной спиной, она набросила ему на плечи большое махровое полотенце и ушла кипятить чай.

Вот когда в Шохове что-то надломилось и он, растревоженный, заговорил о доме, где обязательно построит ванну. Хотя не о ванне он думал в этот момент, а о том, сколько же невыявленной нежности в этой маленькой женщине, если она нашла удовольствие и даже радость (он же видел! ощущал!), чтобы так помыть его.

В приступе откровения (никогда он не был настолько открыт и беззащитен и никогда потом не будет!) он с каким-то странным самоистязанием стал рассказывать Наташе про себя, отбирая для рассказа все, что казалось и могло казаться только плохим.

— Я тебя знаю,— говорила ему Наташа ласково.— Я тебя не просто знаю, а я тебя чувствую. Ты ожесточился, но ты хороший. Это тебя жизнь ожесточила.

— Ты меня не знаешь! Совсем не знаешь! — повторял он опять и опять, он изводил себя откровением, говоря, что расчетлив, холоден, жаден и по-своему жесток.

— Но если ты сам это понимаешь, ты уже не такой! — говорила она.— Я бы не полюбила, если бы ты был такой. Наоборот. Ты добрый, ты ласковый. Ты — чуткий. В тебе очень много хорошего, и тебя уважают люди. У тебя никого не было,— говорила она, и гладила его волосы, и целовала в мокрый нос.— Но теперь-то у тебя есть я. Если бы ты знал, как я хочу, чтобы ты был счастлив. Я готова на все. Даже потерять тебя, лишь бы с кем-то, если она будет лучше меня, тебе было хорошо.

— Мне хорошо с тобой. Лишь с тобой. Я никого больше не хочу.

В этих словах, как и в слезах своих и в откровениях, Шохов был до конца искренен. Только не рассказывал про свою семью. Однажды скрыв, он молчал. Во всем, что он рассказывал, существовал какой-то пропуск, как вырванные из книги страницы, ничем не заполненная часть его жизни, которую она не знала, но чутко улавливала. И все-таки она ни разу ни прямо, ни косвенно не пыталась узнать, выспросить.

Это произошло в начале июля, когда после очередной штурмовщины с полугодовым планом Шохов наконец мог отдохнуть и взял три дня отгула. То же сделала и Наташа. Она сдала у себя в клинику кровь, получила на три дня отпуск.

Они собирались недолго, сунули в саквояж плащ и куртку на случай плохой погоды и на попутке добрались до Новожилова. Если бы они могли тогда знать, как обернется эта поездка!

Начали они с монастыря еще и потому, что лесопилка была выходная и можно было походить по заваленному двору, никому не мешая и не испытывая неудобства. Они залезали по шатким лесам, сооруженным несколько лет назад для реставрационных работ, на монастырские стены, проникали по узким лазам в темную и прохладную глубь башен, забирались в заскладированные, заваленные досками церкви, замороженно смотря на фрески сквозь солнечную

пыль, поднятую голубями, живущими под самым куполом. На темном иконостасе белыми крапинками выделялся птичий помет.

Обедали в деревянном домике, который тут называется рестораном. А его жалко было так и называть, все тут было по-домашнему: чисто и уютно, почти празднично. Ресторан, как заметила Наташа, это золото, блеск, гремящая музыка и цыплята табака под коньяк. А тут все как у доброй тещи: белые скатерки, половички на полу и особенный какой-то свежий избухой дух, смешанный с запахами здоровой русской кухни. Опрятная женщина почти сразу принесла им целую тарелку груздей с колечками лука по кругу, потому что они от жадности заказали целых четыре порции, потом красный наваристый борщ и котлеты с жареной картошкой.

После обеда Шохов решил навестить знакомого продавца, с которым в недавнее время его так удачно свела судьба. Он тогда многое здесь приобрел, а шапку свою пыжиковую без особого сожаления подарил старику. Не продал, подарил! И даже немного гордился этим.

Старик оказался на месте. Он вышел из-за прилавка и поспешил гостю навстречу.

— Что теперь ищешь? — спрашивал, улыбаясь, показывая свои золотые зубы. — Белила нужны? У меня как раз появились прекрасные белила!

Шохов, поздоровавшись, отвечал чуть смущенно, что на этот раз ему ничего не нужно. Он заехал просто узнать, здоров ли хозяин.

— Здоров! Конечно, здоров! — вскричал старик. Золотые зубы его радостно блестели. — Сейчас все пекутся о своем здоровье, травы пьют, на диете сидят, ёгой-могой себя изводят. А я только живу. Да-да. Но я жизнерадостно живу, и в этом главный успех моего здоровья!

— А говорил — радикулит?

— О! Это разве болезнь? — отмахнулся старик. — Это производственная травма! Я на него жалуюсь, но всерьез, поверь, не принимаю.

Старик многозначительно поглядел на спутницу Шохова и не без пафоса произнес:

— Если вы приехали не по делам, значит, вы приехали в гости? Так надо понимать? Сегодня вы мои гости! И не отказывайтесь, пожалуйста, вы должны видеть мой дом.

Шохов посмотрел вопросительно на Наташу. Было очевидно, что ей понравился старик, как и его восточное красноречие. Но она засомневалась, удобно ли.

— Что значит удобно! — вскричал обиженно старик. — Когда Григорий Афанасьич строил свой дом, он тебя так ждал! Он так и сказал мне: приедет жена — и вы придете ко мне в гости...

— Он... это... обещал? — тихо спросила Наташа, меняясь в лице.

— Обещал! Обещал! — не унимался словоохотливый старик. — Вы посмотрите мой дом и сразу увидите, что он вовсе не хуже вашего. У меня трое детишек! Старший ушел в армию, а младшенький только вообще начал ходить... Как же вы сможете не увидеть моего сына-ка? Моей жены? А?

Старик оборвал речь и внимательно посмотрел на Наташу, почувствовав что-то неладное. Переводя свои прекрасные влажноватые глаза с Шохова на Наташу и не понимая, отчего его гости так неожиданно сникли, растерянно спросил:

— Я что-то не то говорю, да?

— Вы все очень хорошо говорите, — произнесла Наташа, благодарно взглянув на старика.

— Ну простите, простите старого дурака! Болтлив на старости,

но кто же мог знать! — в отчаянии возопил он, глядя на явно удрученного Шохова.

Тот ничего не произнес, лишь махнул рукой и пошел к двери.

— Не переживайте, — сказала Наташа, грустно улыбнувшись. — Но вы правда славный человек.

До самого Нового города между ними не было сказано ни одного слова. Лишь когда сошли (попутка их довезла до самого центра города), Наташа несколько торопливо достала из сумки куртку Шохова и протянула ему.

— Не провожай. Пожалуйста.

— Но... Может, поговорим? — попросил он.

Они прошли в ближайший скверик и присели на скамейку.

День клонился к закату. Играло радио. С криками носились детишки, ленивые голуби выпархивали у них из-под ног.

— Я знаю, я должен был тебе сам сказать, — начал Шохов и замолк.

— Что именно? — Наташа коротко взглянула на него.

— У меня жена... ребенок...

— Где они?

— В Челнах... Там, где я прежде работал.

Наташа не слушала объяснения, она остро вглядывалась в его лицо, в его глаза. Прежде он любил этот сосредоточенный на нем взгляд. Но сейчас будто испугался. Она ведь всегда все в нем понимала!

— Я догадывалась, милый, — произнесла она тихо. — Но ты напрасно мучился. Я ведь на самом деле желаю тебе счастья. Разве ты этого не понял?

— Что же мне делать?

— Как что? Срочно писать, принимать семью. Они ведь ждут, — ответила она очень ровно.

— Значит, ты не любишь? — крикнул он.

Голуби вспорхнули с дорожки от его крика.

— Может, и не люблю, — отвечала она спокойно и поднялась.

И он поднялся следом. Глядя на него снизу, добавила:

— Но вы, мужики, уж точно ничего в нас не понимаете. А я теперь уверена, что твоя жена любит тебя и так же, как я, желает тебе счастья.

— Решила? За меня? — Он стоял бледный, и руки у него тряслись. — Ну и спасибо! А то я бы сам не сумел развязать свои узлы! Но я так и сделаю! Счастливо!

— Прощай, — произнесла она негромко вслед.

Она вернулась на свое место и просидела так до темноты. До голубоватых синих сумерек, по-летнему мягких. Потемнела зелень на кустах. Похолодела трава. И голоса стали отчетливей.

Очнувшись, она услышала, как неестественно громко разговаривают присевшие на ее скамейку молоденькие ребята, бравируя сигаретами и с любопытством поглядывая на нее. Один из них обратился, принимая за ровесницу: «Девушка, а почему вы одна?»

Она поднялась и пошла не спеша к своему дому, глядя сосредоточенно перед собой. Не раздеваясь шагнула на балкон, откуда любил смотреть Шохов на свой дом, на свой поселок.

Оставшийся свободный день Шохов провел дома.

Утро провалялся в постели, даже не пытаясь загадывать себе дело. Но вставать было надо. В сапогах на босу ногу (кругом щепки, да гвозди, да стекла) вышел во двор, бродил как чужой, не находя себе места. Все кругом было не своим, потому что отвыкло от хозяина, от его рук, от его глаз, от его любви. Забрелось, забросилось, покрылось пылью.

И все-таки он увидел (как бы он мог не увидеть!) что тут без него похозяйничали: брали доски, толь, а может, и кое-что другое.

Значит, не все забылось!

Но докапываться до пропавшего не стал. Не хотелось. Как и соображать, угадывать жулика. Небось соседи, кто же еще сюда придет. Ему сейчас ничего не было жалко, он даже расстроиться толком не смог от своего открытия.

— До чего же я дожил, если все это не люблю? — произнес он смятенно и закрыл глаза, так ему стало нехорошо. — Меня тошнит уже от этих досок, от кирпичей, от этой невозможной свалки. И себя ненавижу среди них...

В это время стукнула калитка. В щель всунулась кудлатая голова Васи Самохина. Голова улыбалась, делала ужимки.

— Доброе утро, Григорий Афанасьич! — крикнул Вася.

Шохов ничего на это не ответил и не повернулся.

— А я, значит, шел мимо, решил посмотреть, не объявились ли вы. Все говорят, что вы за семейством своим, значит, уехали. Будто взяли отпуск, чтобы своих перевезти.

Шохов присел на чурбачок и задумался.

На Васю молчание хозяина никакого впечатления не произвело.

— А тут дельце подвернулось, — говорил он, оглядываясь и тоже придвигая себе чурбачок. — Я пару домиков воздвиг, может, видел? Халтурка выгодная, но я договорился так, что с печками им домики делаю. А ты сам понимаешь, что печки я класть не умею. Так вот, Афанасьич, если бы ты мне помог, как говорят, за наличные, а?

Шохов поднялся и, не отвечая Васе и даже не взглянув на него, направился к дому.

Вася, глядя вслед, крикнул:

— Ты, Афанасьич, подумай, что я сказал насчет печки! У меня дело стопорится! Настроение настроением, а калым дороже! — С тем и ушел разобиженный.

Дверь маячила перед глазами Шохова еще с тех давних пор, когда он Наташи не знал. А если дверью кончил, с нее и начинать надо. От дверей и дом начинается!

Впрочем, дверь-то была готова. Он осмотрел ее и понял, что ничего не надо добавлять, а надо ее вешать. Может быть, в другой раз тот, старый Шохов, который был до болезни, до встречи с Наташей, еще что-то доделал бы: укрепил косячок, подтесал с уголка, подровнял где или гвоздик лишний заколотил. Теперешний, новый Шохов ничего не стал ровнять и прибивать. Ему не нужна была дверь, как не нужен был дом, забор, вообще хозяйство. Ему надо было занять свои руки и всего себя без остатка.

С навеской двери, с ее подгонкой он провозился до обеда и остался, в общем-то, доволен. Не дверью доволен, а самим собой.

Несколько раз он с размаху хлопнул дверью, будто кому-то доказывал этим злым хлопаньем, что он еще тут, еще хозяин.

От этого хлопанья задрожал, будто проснулся весь дом. И Шохов злорадно уловил эту дрожь и сразу стал спокойнее. Выхлестнулся, что называется, отыгрался на двери...

И замок поставил. Что за дверь без замка?

На очереди стали окна. Отборник, то есть выемка четвертей на рамах, был проделан прежде. Теперь он лишь стамесочкой прошелся, подчистил стружку, подровнял кое-где и стал мерить и резать стекло. Работка шла быстро, будто шутя. А когда последний кусочек вставил и отодвинулся на середину дома, чтобы взглянуть со стороны, сам поразился: помещение стало восприниматься как живое.

То же и со двора: как глаза у дома открылись вместо пустых

глазниц. Засветились тем одушевленным блеском, без которого и окно не окно, и дом не дом, и город не город... Его дом стал походить на настоящий, на обжитой, а не надохлый срубик с черными провалами, который то ли бросили недостроив, то ли разрушили не до конца. Словом, не разбирай пойми, как и самого хозяина...

У Шохова под сердцем камень ледяной растаял от такого преобразования. А ведь и поработал всего ничего. Денек убил в чистом виде. Не вообще убил. А в себе — от Наташи убил.

На следующий день Шохов занялся наличниками.

Надо сказать, что, войдя в контакт с собственным домом, мысли Шохова, как и в прежние времена, уже начинали опережать руки.

На очереди-то была печка!

Уж что-что, а печку Шохов был готов класть всегда.

В самом конце недели начал он закладывать печку, опасаясь, правда, что в своем нервном состоянии сложит ее не такую радостную, не такую везучую, счастливую, какую хотелось бы. А ведь печка — душа дома! И уже кирпич был принесен и раствор готов, а он как сел перед этим кирпичом, так просидел до полудня не в силах двинуть рукой. Мысли о Наташе... Они съедали, они подтачивали его изнутри, как жучок точит дерево.

Вдруг припомнилось, как стояли они у подножья колокольни, швыряли камешки в самый тяжелый колокол и он отвечал им низким басом: гу-ум... гу-ум... Разговаривал с ними на забытом древнем языке предков.

На своем дворишке лью колоколишки!

А когда поздним вечером в белом сумраке северной ночи они взглянули со стороны на монастырь в целом, он вовсе не показался им ободраным, наполовину изничтоженным, растертым на кирпичную крошку. С необыкновенной выразительностью проявился замысел неведомого строителя, вознесшего среди дремучих лесов стрельчатые башни, луковки церквей и резные стены.

Наташа рассказала, что в какой-то книге путешествий еще в детстве увидела изображение Соловецкого монастыря, его крепостных бойниц, сложенных из гранитного камня, и все это так же цельно и реально было повторено в воде. А внизу подписано, что снимок сделан в час ночи. С тех пор, еще не видя, она полюбила Север. «А теперь,— добавила она как бы в шутку,— у меня есть родные тут местечки, которые связаны с тобой. Их так немного, но они тоже мои...»

Он понял, что не сможет есть, спать, вообще жить, если сегодня, сейчас, немедленно, в это самое мгновение не увидит Наташу. Только с ней приобретало все, что было вокруг, смысл и даже эта проклятая печка!

Он швырнул мастерок на пол и поднялся. Пока снимал робу и надевал чистую, голубенькую, отстиранную в холодной воде ручья рубаху, перебрал в уме дни с момента разлуки (семь дней! без нее!) и вычислил, что сегодня она дежурит с обеда.

Вспомнил, что не умылся, снова скинул рубаху, сунулся под ракушечник с головой, от одной мысли о скорой встрече чувствуя прилив необыкновенных сил и радости и теперь только понимая, как же не хватало ему Наташи все дни.

Для этой женщины он все бы смог создать — церковь, монастырь или просто домик, избу для них двоих. Какое счастье строить для кого-то, а не для себя... Он торопливо шагнул к их заветному месту. Прибежал раньше, сел на краешек скамьи, весь в нетерпении уставясь на дорожку, по которой должна прийти она.

И все-таки не он, а Наташа первая углядела Шохова.

Она появилась из-за угла с каким-то высоким мужчиной, оживленно беседуя, и, лишь привычно скользнув глазом в сторону зна-

комой скамейки, увидела его. Потом и он увидал. Но ни видом, ни жестом она не обозначила своего открытия, которое для нее, конечно же, как он понимал, что-то значило, а продолжала так идти и разговаривать, повернувшись лицом к спутнику.

А бедный Шохов, словно в первую их встречу, никак не мог произнести имя, ее позвать. Немо глядел на нее, пугаясь, что она исчезнет сейчас за стеклянными дверями и тогда ему придется жить без нее еще неведомо сколько. Хотя произнеси она только это, чтобы ждал как в тот первый раз, и он жил бы и ждал, сколько она прикажет. Но Наташа прошла и скрылась в дверях больницы.

Серединные дни июля стояли на редкость ясные, жаркие, благоприятствующие строительству. Как строительству водозабора, где приступали к монтажу оборудования, насосов, так и дома.

Шохов в несколько дней сложил себе печь, удачную, как он считал, трехоборотку с двухконфорочной плитой. «Счастье придет и на печи найдет»,—говаривали в старину. Шохову такая поговорка была сейчас как никогда кстати. Да еще совпало, что печь он сложил прямо в новолуние, а это всегда почиталось к удаче, к теплу, к радости в доме. Крошечная, но отдушинка в нынешнем настроении Шохова. Потому что думал он о Наташе то с ожесточением, то с тоской, и думы эти выматывали душу.

Когда поднял печь над крышей и стал класть трубу, долго крепился, стараясь не смотреть в сторону белой, видневшейся из-за Вальчика башни. Кончил, скорей спустился на землю, набрал по двору щепочек и пошел испытывать печь.

Разжег бумажку, щепок подложил, и слоистый синий дым заполнил помещение.

Шохов суеверно глядел на теплящийся едва огонек и со страхом подумал: «Не удалась! Вот смеху по городку будет, что у печного мастера печь не вышла! А все потому, что зло затаил во время кладки, а зло, известно, холодит, а не греет».

Но тут потянуло, разгорелось, и пошел огонек полахать во всю силу. Загудело в поддувале, стало нагреваться.

Обрадованный выскочил он на двор; отошел к забору, чтобы лучше видеть, как тянет дымок. Снова вбежал в дом, кинул чурочек посмолистей и опять бегом к забору, а потом за калитку: отовсюду было видно, как закручивается над трубой серый дымок и, чуть согнувшись под ветерком, рассеивается метелкой в просторном небе.

— Горит!— сказал себе Шохов возбужденно.— Горит! Черт!

Теперь с облегченной душой он смог из жести стальными ножницами решеточку вырезать, а на одну ее сторону флюгерок в виде петушка. Да не просто петушка, а вычурного—с хвостом, крыльями враспырку, с гребнем на макушке. Все это на самом верху закрепил, а к ноге петушка провод привязал. Другой конец провода он подсоединил к зарытой в землю трубе.

Тут тебе и украшение, и флюгерок для ветра, указывающий не только направление, но и силу его (крылья топорщатся посильней), но он же громоотвод, защита дома от молнии и грозы.

Что и говорить, не растерял Григорий Афанасьевич свою практичность, за эти недели работать не разучился. Сам отвык, так руки помнят, а они, как известно, всегда умней головы. В этом он не раз убеждался. А теперь лишь почувствовал, что выходит дело, и болезнь из него по капле тоже выходит.

В те же дни, возвращаясь однажды с работы, Шохов зашел на почту и забрал письмо, пролежавшее там больше двух недель.

Он ожидал всяческих вопросов в письме о переезде, к этому все шло, и такие вопросы были. Тамара Ивановна спрашивала, ког-

да будет готов дом и могут ли они приехать раньше срока, потому что вещи уложены, а ждать не имеет смысла. Да и с лагерем ей удалось быстро развязаться.

Но вовсе не этим поразило Шохова письмо. А своей, что ли, обнаженностью. Тамара Ивановна писала:

«Дорогой мой Шохов! Трудные мы с тобой прожили годы. А время идет, и кто как не женщина в моем возрасте больше всего чувствует, сколько потеряно, сколько недобрано ласки и всего хорошего, что может дать нормальная семья. Устала я жить в одиночку, поверь. А Володька, хоть маленький, от рук отбивается, и совладать с хозяйством не успеваю. За время нашей с тобой разлуки всему научилась от нужды: и стены сверлить, чтобы гвоздь забить, и бачок в туалете отремонтировать, и со стиральной машиной управляться. Правда, ее возит мне из коридора Вовка, как-никак, а единственный мужик в доме, маленький, но свой.

Это я не в упрек пишу, а для того, чтобы ты лучше все дальнейшее понял. Я всегда считала наши жертвы не напрасными и всегда любила тебя. Тебя, которого тут называли бабы беспутным (они даже пытались мне сосватать вдовца), не всегда мне понятного, но дорогого и единственного. Главное-то я в тебе поняла, что ты человек своей идеи.

Вот я сейчас, в лагере пионерском близ Елабуги, вечерами, которые оставались свободными (не в пример школе!), пыталась как-то анализировать и пришла к выводу, что я люблю тебя еще и за то, что ты смог все преодолеть, все перебороть и на пустом, как говорят, месте построить, совсем или часть, я пока не видела, не знаю, да и не в этом дело, свой дом. Значит, все, что я чувствовала в самые первые годы в тебе хорошего, никуда не ушло и я в тебе не ошиблась.

Так же честно могу сказать, что все эти годы жизни совместной, а больше розной никогда ни единым разом я тебе не изменила и не смогла бы, потому что знай, что я человек одной любви. А эта любовь принадлежит тебе. Плохо это или хорошо, но так оно и есть.

А все сказанное — зарок того, что будет у нас в нашем новом доме и нормальная жизнь и счастье, как бы ни сложились всякие другие дела. Как поется в хорошей песне из времен войны: «Все, что было загадано, в свой исполнится срок, не погаснет без времени золотой огонек...» Мы есть друг у друга, и этим все сказано...»

Тут же на почте он написал телеграмму: «Жду телеграфируйте выезд дом готов целую Шохов».

С этого дня в него будто бес вселился. Все, что он ни делал, выходило ловко, как по заказу и сразу же удавалось ему.

Два вечера и две ночи подряд (дни уходили на водозабор) он покупал и привинчивал ручки и шпингалеты к окнам и дверям. Потом еще обои покупал, и клей, и всяческие предметы быта.

Перегородочки поставил из горбыля в два ряда, отделив спальню от горницы и выгородив кухню. Все это обил сухой штукатуркой и заклеил обоями.

Обои легче клеить вдвоем. Но все же наловчился: разматывал весь рулон, поливал из ведерка клеем, а потом волок к стене за один конец и поднимал на высоту.

Во время работы его преследовала странная такая песенка, неведомо откуда пришедшая:

Дом мой, дом мой, домик на Лесной,
Весь в снегу зимой,
Весь в цвету весной,
Та-ра-ра-ра-ра, а летом
Озаренный ясным светом...

В день приезда семьи, а телеграмма пришла через три дня, он еще докрашивал масляной краской двери и окна, мурлыкая навязшую в зубах песню про дом.

На привокзальной площади Шохов увидел роскошный «Икарус». Этот самый «Икарус» вселил когда-то в него уверенность: если такие роскошные автобусы ходят до города, значит, все будет в порядке. А попадись развалюха, да конопатая, дырявая дорога, да бедный, обшарпанный вокзал. Кто знает, не поворотил ли бы он оглобли сразу же, в первый час приезда!

Поезд на полном ходу вынырнул из-за поворота, мимо Шохова понеслись зеленые вагоны, он никак не мог разобрать номеров. Наконец увидел, испугался, что не там встал. Но поезд, притормаживая, продолжал двигаться, а когда остановился, то вагон номер шесть оказался прямо против Шохова.

Он посмотрел на дверь, где неповоротливая проводница не спеша откидывала приступку, потом тряпочкой, тоже не спеша, стала вытирать поручни, а из-за ее спины виднелись лица пассажиров, но среди них не разглядел Шохов никого из своих. Перевел глаза чуть правее, на второе от края окно, и обомлел: они смотрели на него. Вовка, приплюснувшись к самому стеклу, и еще какой-то подросток чуть выше, а в самом верху Тамара Ивановна. Она делала какие-то знаки Шохову и смеялась. Вовка, указывая на отца, что-то ей сказал, задирая голову, и она кивнула, а потом указала пальцем на дверь, что могло означать: сейчас выйдем или, наоборот, заходи, мы тебя ждем.

Растерянно и, наверное, глупо улыбаясь, Шохов рванулся к двери, но тут попер народ, сдерживаемый дотоле ленивой проводницей, и пришлось всех переждать. Но, глядя вверх, Шохов теперь увидел Вовку с чемоданчиком и рюкзачком, принял его прямо на руки и так обнял вместе с чемоданчиком и рюкзачком.

— Папка! Папка! — кричал Вовка, отбиваясь. — Иди скорей, там мама тебя ждет. А это Валерка, он тоже с нами!

Шохов оглянулся на Валерку, но не смог сообразить, кто он и почему с ними, да и времени не было на раздумье.

Он оставил детей на перроне и стал пролезать в вагон, потому что кто-то запоздавший еще выходил, и они никак не могли разминуться. Наконец проскочил и увидел свою жену. Она тоже была с рюкзаком за спиной и с какой-то поклажей в руках. Она опять засмеялась, увидев Шохова, и первые ее слова были вовсе не о дороге, не о вещах, а о нем: «Какой же ты похуделый!» Так странно выразилась она и поцеловала его в щеку мягкими теплыми губами.

Он засуетился от смущения, схватил чемоданы:

— Эти?

— Да, это все, — произнесла она и пошла к выходу. Оборачиваясь, добавила, что остальное отослано контейнером. Они взяли только самое необходимое.

Шофер с «газика», расторопный малый, помог донести вещи. Пока укладывались, усаживались сами, Вовка весь извертелся и успел задать тысячу вопросов. Большая ли станция, сколько поездов через нее проходит и есть ли здесь аэродром и все в том же духе. Шохов коротко отвечал, но почему-то торопился, хотя теперь-то спешить было некуда. Но так уж вышло с самого начала, что они стали торопиться, а может, Тамара Ивановна, решив, что он торопится, сама взвинтила темп, и так пошло. Старший мальчик, Валера, Шохов теперь разглядел, что он и не мальчик, а юноша, молча им помогал и ни с какими разговорами не лез.

Приметив, что Шохов будто к нему приглядывается, Тамара Ивановна спросила:

— Узнал? Или нет? Ну догадайся, ты же его видел!

Шохов опять посмотрел и не смог догадаться. Да и мысли его и настрои были сейчас не из тех, чтобы отгадывать загадки.

— Да Мурашка же,— с укором произнесла Тамара Ивановна.

— Мурашка? — переспросил Шохов удивленно.— Но как я мог запомнить, он же маленький был...

— Так он же на отца своего похож!

— А верно.— И Шохов отвернулся.

Дорогой говорили мало. Даже Вовка перестал сыпать вопросами и прилип к окну. И Валера тоже смотрел, только Тамара Ивановна сидела откинувшись и задумчиво глядела на Шохова, а когда встречалась с ним глазами, улыбалась спокойно и устало.

Вот когда он понял и почувствовал, как она любит его и как ждала и стремилась к нему, беспутному Шохову, который мог уехать и шастать в поисках того, что, может, и не бывает на свете, и даже вовсе забыть о ней. Все это она пережила и передумала, хоть и не все могла знать. Но женщина же, она кое о чем и догадывалась.

Может, он и был виноват (да уж точно был), так в этот счастливый миг его жизни еще сильнее из-за своей именно вины любил Тамару Ивановну, уверенный наперед, что никогда ее не оставит.

Валера сидел молча и ни о чем не спрашивал. Характером, видно, он тоже был в отца.

— А сколько тысяч населения в Новом городе? — теребил отца неистощимый Вовка.— А в Челнах знаешь сколько? Триста тыщ! И памятник поставили, птицу такую...

— Не птицу,— поправила с улыбкой Тамара Ивановна.— Это «Мать-родина» называется.

— А у вас памятники есть? — допрашивал Вовка.— А что есть? Кинотеатр есть? А какой он?

Шохов еще раз объяснил водителю, как проехать к Вальчику, а наверху попросил остановиться.

Тысячу раз воображал он, как привезет сюда, на Вальчик, семью и, указав в сторону Вор-городка, покажет: вон самый большой дом — наш! В деталях представлял, но почему-то не верил. Боялся до самой последней минуты, до того момента, пока телеграмму получил, но и тогда тоже не перестал бояться: вдруг да осечка, грипп, карантин и черт знает что. Вот когда увидел детские мордочки в стекле и смеющуюся Тамару Ивановну, тогда и понял, что свершилась его долгожданная мечта! И с этого мгновения только начинается его жизнь. А все, что произошло прежде, было как предыстория, которую лучше теперь забыть.

(Окончание следует)



ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ

★

СЕРГЕЙ ОСТРОВОЙ

Из новой книги

Язык

Язык мой — враг мой. Это точно.
А точно ли? Да как когда.
Вдруг что-то скажешь неурочно,
Не к месту скажешь. И беда.

И сразу люди смотрят косо.
А ты, сорвав с души печать,
Уже захлеб, громкоголосо
Начнешь кого-то обличать.

И ну костить. До изумленья.
До черной черточки в судьбе.
А то ударишься в хваленя,
И негу удержу тебе.

И кто тут правый, кто неправый,
И кто тут мал и кто велик?
А все попутал бес лукавый —
Не к месту дернул за язык.

И вот стоишь, моргая глазом.
И ненавида. И любя.
То возгордишься как-то разом,
То вдруг унизишь сам себя.

Но милый друг мой, друг сердешный,
Одно сказать тебе могу:
Как ни суди — язык мой грешный
Не лгал ни другу, ни врагу.

Не льстил для выгод. Для обмана.
И уж умел, куда ни день,
Высокопарного тумана
Не наводит
на ясный
день...

Самовыражение

Из всех примеров самовыраженья
Предпочитаю искренность движенья.

Движенье сердца. И движенье мысли.
Все движется на свете. Вверх ли, вниз ли.

Все движется. От самого рожденья.
К добру. И к злу. И в этом суть движенья.

И суть поступков. Вольных и невольных.
И сто дорог прямых. И сто окольных.

Вот почему у самовыраженья.
Такие разноликие спряженья.

И если я взгрустну или заплачу,
Удачу поменяв на неудачу,

И если я устану от волнения —
Меня спасает чувство обновленья.

Судьба моя в движенье. И в пути.
Пусть это трудно — все идти. Идти.

Но из примеров самовыраженья
Предпочитаю

искренность

движенья...

Третий

Уже совсем темно.
И в комнате нас трое.
И тычется в окно
Дождя лицо сырое.

Приник к стеклу. Тук-тук.
И сеет в нас тревогу.
Способен этот стук
Свести с ума. Ей-богу.

Как бы плохой тапер,
Стучит одно и то же.

Он к стенке нас припер
И не уйдет, похоже.

Мы здесь сидим давно.
И в комнате нас трое.
И тычется в окно
Дождя лицо сырое.

А мы все ждем и ждем,
Как будто сто столетий,
Когда же нас вдвоем
Оставит этот. Третий.

Дым

Серую
рощу
дыма
Ветер прибрал к рукам.
Дымчатые деревья
Ходят по облакам.

Ходят, как ходят тени.
Жарко горят дрова.
Дымчатые деревья.
Дымчатая трава.

Дым постоит. Качнется.
Дерево догорит.
Это душа деревьев
Дымом
уйдет
в зенит.

Вот и поди дознайся,
Что на краю небес:
Серая роща дыма
Или вечерний лес?!

Пикассо

Пика́ссо или Пикассо́?
Да, собственно, не в этом дело.
А дело в том, что колесо
Вертеться вспять не захотело.

А дело в том, что красоте
Без этой мощи было б худо.
Клубятся краски на холсте,
А за спиной их встало чудо.

Поводырем, а не рабом
Всегда была его работа.

Он мог однажды в голубом
Увидеть розовое что-то.

Он мог однажды от тоски
Вообразить себе такое,
Что рвались гвозди из доски,
Не находя себе покоя.

Он мог услышать в красках крик.
И бедность разгадать в убранстве.
О боже, как он был велик
В своем

святom

непостоянстве...

Василий Блаженный

Ах, Блаженный! Ах, Блаженный!
Красоты семисаженной.
Упирается в зенит.
Каждым
куполом
звенит.

Каждым куполом. Как чашей,
Вознесенной на пиру.
Принимаю дар ярчайший —
Радуг
пеструю
игру.

Что ни радуга — то гений.
Самородство. И полет.
Будто это день весенний
Каждой
искоркой
поет.

Каждой искоркой. Особо.
Неповторно. Как ни зри.
Золотая
эта
проба
Откололась от зари.

Птицы лебеди летели.

Шли жары. И холода.
Как рубцы
на белом теле —
В камень врезались года.

То скорей, скорей, то тихо
Шли они — ребро к ребру.
И добро творя. И лихо.
Как положено в миру.

Красота зовет. Трепещет.
Бьет лазоревым крылом.
Каждый купол — витязь вещей,
В небо
вскинувший
шелом.

Други, братия честные,
Сотворители миров,
Сколько вас у всей России,
Ярких чудо-мастеров?!

Были босы. Были голы.
А дошли
до наших
дней
Высекать свои глаголы
Из бесчувственных камней.

Один

У каждого века
Своя дискотека.
Песни свои.
Ритмы свои.
У каждого века
Свои бои.
Свои Сократы.
Свои нероны.
Свои победы.
Свои уроны.
Свои святыни.

Своя хула.
Былин великих
Колокола.
Свои пророки.
И свой просчет.
Все изменяется.
Все течет.
Меняет время
Краски картин...

А Пушкин — один.
Пушкин — один.

КОРНЕЛИЯ ВОЙТКЕВИЧ

Окно

Мне нравится окно, чей низкий подоконник
 Вмещает много тем и радостей простых:
 Бумагу, карандаш, зачитанный двухтомник
 И произвольный сбор растений полевых.

Мне нравится окно, где горизонтом тучным
 Сбегают вкось дома по берегу реки.
 В стекле возник закат в слепящем полнозвучье
 И светоносный клад направил в тайники.

И против света вдруг повисла мира плоскость
 В подробностях своих, которым нет числа,
 Подворьем малых форм, правдоподобьем броским
 От неба до земли продольно залегла.

Хранимая вовек реально и окольно,
 Предстала старина в распаде кирпича
 Посадов крепостных. И поздней колокольной
 В развилке двух дорог затеплилась свеча.

Из моего окна видна как на ладони
 Предъявленная явь всех видимых сторон,
 Прошла через меня в тревожном перезвоне
 С перемещеньем лиц, строений и времен.

Деревья

Эта группа деревьев на фоне зимы
 У подледной воды водоема
 Обнимает плывущие мимо дымы
 И дыханье дороги и дома.

Это спутники мимо идущих людей
 В каждодневном пути на работу
 Посылают в пространство свободы своей
 Камертона объемную ноту.

Звук утонет в дыму и снегу, но когда
 Слабо оттепель тронет округу,
 Он обрушит в разреженном таянье льда
 Фортепьянный этюд или фугу.

Но как можно забыться у всех на виду,
 Где строений массивная груда,
 Бормотать или петь в этом белом бреду,
 Замерев у подобия пруда?

Собеседники света и снега, они —
 Неотступный маяк на равнине,
 Музыканты, что долго играют одни,
 Когда зрителя нет и в помине.



ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

МИХАИЛ КУЛЬЧИЦКИЙ



НЕУСПОКОЕННОСТЬ

Михаил Кульчицкий прожил короткую и яркую жизнь романтика и солдата. Он очень рано начал писать стихи, испытывая сложные и противоречивые влияния больших поэтов — Маяковского, Хлебникова, Есенина, Багрицкого... Он, как и его сверстники, написал немного: это поэтическое поколение уходило из жизни, «не долюбив, не докурив последней папиросы», как горько написал о своих товарищах тоже погибший на фронте Н. Майоров. Поэты этого поколения уходили на фронт добровольцами. Михаил Кульчицкий, как и многие его друзья, не вернулся с передовой, погиб смертью храбрых в Сталинградской битве. Почти не осталось его тетрадей военных лет. Не до нас дошли его пронзительные строки:

Война совсем не фейерверк,
а просто трудная работа,
когда,
 черна от пота,
 вверх
скользит по пахоте пехота.

Это из последних стихов поэта, написанных почти сорок лет назад во время беспощадных боев с врагом.

Мы предлагаем вниманию читателя подборку юношеских стихотворений Михаила Кульчицкого, которые ранее не печатались, а также известное стихотворение поэта «Самое страшное в мире — это быть успокоенным», так как оно дает представление не только о Михаиле Кульчицком, но и о думах его поколения.

* *
*

Самое страшное в мире —
Это быть успокоенным.
Славлю Котовского разум,
Который за час перед казнью
Тело свое граненое
Японской гимнастикой мучил.

Самое страшное в мире —
Это быть успокоенным.
Славлю мальчишек смелых,
Которые в чужом городе
Пишут поэмы под утро,

Запивая водой ломозубой,
Закусывая синим дымом.

Самое страшное в мире —
Это быть успокоенным.
Славлю солдат революции,
Мечтающих над строфою,
Распиливающих деревья,
Падающих на пулемет!

Октябрь 1939 г.

* *
*

Отшумела гроза.
Поднималась трава
Молодая
Перед новой грозой.
Не моя ли каштановая

Голова
Поднялась перед черной
Войной?

(1937 — начало 1938 г.?)

Зачин поэмы

О Разин, Разин, сколько раз
 Свивались сабли над тобою!
 В ковры Царьграда вмята грязь
 Твоей мужицкою ногою.
 И шелудилась степь в степях.
 Линяла степь, как время мути...
 Но ты в ветрах, в ночных когтях
 Глаза, как Волгу, взбаламутил.
 Петлею Волги захлестнул
 Уструг, что в песню выплывает.
 На парусах несла весну
 Твоя судьба разбоявая!

1937 г.

Окраина

Лишь грустить о том,
 Что мало
 Жил в степи я
 У родных,
 Там, где верба обнимала
 Золотой почти
 Родник.
 Там, где ковыли, как нити,
 Вышивали свой узор,
 Там, где птичий звон

В зените
 Над сугробом
 Павших зорь.
 (С этой песенкой беззлобной,
 Как осенний мир
 Простой,
 Шел домой
 Как черт голодный
 Я по улице пустой.)

1938 г.

* *
*

Придорожной вишне не колоться
 Атаманским взмахом батога.
 Больше им не засыпать колодцев,
 Не сжигать высокие стога...

Смыли грозы с придорожной вишни
 Пыль походов за крутой курган,
 В ярких лентах и монистах вышли
 Девушки и лунная пурга...

Белой пеной плещущего сока
 Журавлеют срубы топора,
 И колышется сквозь золото осоки
 Полноводье песен и Днепра.

Вижу я соцветья Украины
 В девушке, что в маках и цветах
 Любит видеть землю, донца кринок,
 Загорев на солнечных ветрах.

1937 г.

* *
*

Огни и снег. Метелью снов
 Деревья вечер тот качали...
 Но если нет печальных слов,
 То не должно быть и печали.

1936 г.

Публикация О. В. КУЛЬЧИЦКОЙ.

К 40-летию Сталинградской битвы

Г. В. ПОЛУЭКТОВ



ЗАПИСКИ ФРОНТОВОГО АРТИЛЛЕРИСТА

Герой Советского Союза, генерал-полковник артиллерии Георгий Васильевич Полуэктов — один из активных участников исторического сражения под Сталинградом. К сорокалетию победы Советской Армии в этой битве «Новый мир» печатает отрывок из воспоминаний Г. В. Полуэктова, над которыми он работал до последних дней жизни (умер в 1982 году). Публикацию подготовил П. С. Сиркес.

В начале сентября 1942 года я был назначен начальником артиллерии 66-й армии, которой командовал Р. Я. Малиновский. Когда я прибыл в расположение армии, мне сообщили, что командующий примет меня утром следующего дня.

На рассвете в сопровождении офицера я выехал к командарму. Как и вчера, к небу тянулись столбы дыма — горел Сталинград. По мере приближения к передовой открытая равнина пересекалась в разных направлениях глубокими балками. На подступах к городу шел воздушный бой. Под напором наших истребителей вражеские бомбардировщики, не дойдя до линии фронта, сбросили свой бомбовый груз и ушли низом на аэродромы. Стреляла зенитная артиллерия, небольшие облачка разрывов густо плавали в небе.

Мы въехали в балку и вскоре оказались у трех маленьких землянок. Мне показалось странным, что генерал Малиновский, ранее, кстати, бывший командующий фронтом, управляет войсками в столь непритязательных условиях. Позже убедился: Родион Яковлевич никогда не придавал удобствам особого значения.

У землянок меня встретил дежурный офицер.

— Командарм находится в двухстах метрах, наблюдает за полем боя, — доложил он.

Вдоль некрутого склона протянулась глубокая траншея. Указав на нее, дежурный добавил:

— По этой траншее можно пройти прямо к генералу.

Пробираясь по узкому укрытию, я еще издали увидел Малиновского, сидевшего прямо на бруствере с биноклем в руках. Заметив меня, он слегка повернул в мою сторону голову. Родион Яковлевич, коренастый, широкий в плечах, смуглолицый, казался мне, источал добродушие и спокойствие, так не вяжущиеся с обстановкой. Я представился. Малиновский внимательно на меня посмотрел, выдержал паузу и, сделав приглашающий жест, указал на место возле себя. Задав вопросы о том, где я воевал, в каких участвовал операциях, командарм ознакомил меня с обстановкой.

Введенная в бой с ходу, без должного усиления артиллерией и при недостатке танков, армия за короткий срок дважды предпринимала наступление, но поставленной задачи не выполняла.

— Вам как начальнику артиллерии следует иметь в виду,— подчеркнул Малиновский,— что армия временно переходит к активной обороне.

И все-таки соединения 66-й нанесли врагу большой урон как в живой силе, так и в технике. Это было видно и по панораме боя. На переднем крае скопились десятки сожженных или подбитых вражеских танков, штурмовых орудий и бронетранспортеров. Командарм показал мне на карте танкоопасное направление.

— Ему должно быть уделено особое внимание,— сказал он.— Здесь действовал Тысяча сто второй пушечный артиллерийский полк, действовал хорошо. Надо его и впредь держать на этом направлении.

Вечером того же дня я встретился с офицерами штаба артиллерии и у нас состоялся откровенный обмен мнениями. Я, в частности, высказал свои требования к разведчикам, операторам, артснабженцам, выслушал подчиненных. Настроение после этого у меня улучшилось. Стало ясно, что штаб укомплектован опытными, хорошо подготовленными командирами, на которых можно положиться в любой обстановке.

Рано утром я снова был на том же наблюдательном пункте, где накануне представлялся Малиновскому. Меня сопровождали два офицера штаба. В северо-восточном конце балки, где находились уже упомянутые три землянки, мне показали ту, что предназначалась для меня. Войдя, сразу убедился, что крышей моему пристанищу служили ветки кустарника, едва ли могущие защитить от холодного осеннего дождя, а не то что от осколков снаряда или мины. В пяти шагах от меня находилась землянка командарма. Я застал его за завтраком. Перед Родионом Яковлевичем на маленьком столике стоял солдатский котелок с жидковатой гречневой кашей. Он ел ее, запивая чаем из алюминиевой кружки.

— Ну что вам удалось сделать за вчерашний день? — спросил он

Я рассказал о своих встречах с артиллеристами и изложил соображения об относительно низкой плотности противотанковых средств на основном направлении южнее Ерзовки.

— Это верно,— согласился со мной командарм,— хотя в настоящее время противник на этом направлении большой активности не проявляет, ему не до этого. Все его усилия брошены на овладение городом. А мы должны всемерно помогать сталинградцам, действуя активно.

В этот день 1-я гвардейская армия — наш правый сосед — вела наступление на совхоз «Опытное поле» и станцию Гумрак. Мы пошли на наблюдательный пункт. В случае удачи гвардейцев следовало оказать им помощь для развития успеха дивизиями правого фланга нашей армии. В стереотрубу нам было хорошо видно, как по ровной открытой степи наши перебежками приближались к передней траншее противника. Казалось, они близки к цели — оставалось сделать один бросок, чтобы овладеть ею. Но тут немецкие батареи открыли мощный огонь. Рвущиеся в воздухе снаряды прижали наступающих к земле. Тяжко нам было наблюдать безнаказанные действия фашистов, стрелявших с полузакрытых позиций, однако помочь соседям огнем мы не могли: все три дивизиона нашего тяжелого артиллерийского полка находились далеко, на основном направлении.

Относительно спокойные дни середины сентября позволили проверить боевую готовность артиллерии наших дивизий и познакомиться с ее начальниками, а также с командирами артиллерийских и минометных частей резерва Верховного Главнокомандования. Нашел я и старых знакомых, среди которых оказался молодой полковник С. А. Мозуль, мой сослуживец по курсам усовершенствования. Там он был прекрасным преподавателем, но здесь, на фронте, как оказалось, этого было недостаточно, требовательности ему как начальнику артиллерии дивизии явно не хватало. Хорошо, что молодой и энергичный командир 299-й стрелковой подполковник Глеб Владимирович Бакланов восполнял этот недостаток. С Баклановым мы вскоре подружились, и наши добрые отношения продолжались до конца его жизни.

В дивизии Бакланова радовала хорошая организация артиллерийского наблюдения и взаимодействия артиллерийских и минометных подразделений. Хорошую боеготовность показал пушечный полк резерва Верховного Главнокомандования.

Изрядно беспокоила меня противотанковая оборона. Во-первых, крайне низкая плотность орудий. Их, безусловно, было мало против возможных массированных атак вражеских танков. Во-вторых, невелика оказалась и плотность массированного, подвиж-

ного и неподвижного заградительного огня на танкоопасном направлении. А главное — недостаточны были возможности нашей противотанковой артиллерии. Резервов мы не имели, не поступало и материальной части для восполнения каждодневных потерь. Оставалось лишь надеяться, что противнику, рвущемуся в город, не до массированных атак танков в нашем направлении. Примерно так я и доложил Малиновскому о результатах первой проверки.

В один из этих же сентябрьских дней на наш командно-наблюдательный пункт прибыли первый заместитель Верховного Главнокомандующего Г. К. Жуков и командующий Сталинградским фронтом А. И. Еременко. Перед Малиновским была поставлена задача: в короткие сроки подготовить и провести частную наступательную операцию. Мне с моим штабом на основе принятого решения предстояло в ограниченный отрезок времени спланировать ее артиллерийское обеспечение.

Наша операция, как и проведенная накануне 1-й гвардейской армией, многим до поры до времени казалась малоэффективной. У нас не хватало сил и средств, чтобы опрокинуть и погнать противника. Соединения нашей армии почти каждый день атаковали, вели ожесточенные и кровопролитные бои, но подкрепления не получали. Мы тогда еще не знали об оперативно-стратегическом замысле Ставки: окружить под Сталинградом 6-ю и 4-ю танковые армии врага. До определенного момента, кроме Верховного Главнокомандования, об этом не знал никто. Но своей активностью мы держали противника в постоянном напряжении, сковывали его значительные силы, облегчая положение наших войск, дравшихся в городе.

Для того чтобы представить условия, в которых приходилось действовать артиллерии нашей армии, следует заглянуть несколько вперед и рассмотреть характерные особенности планирования артиллерийского наступления во всех операциях под Сталинградом, включая период ликвидации окруженной группировки немецко-фашистских войск.

Во-первых, эта подготовка осуществлялась в ограниченные сроки и нередко артиллерийские соединения вводились в бой с ходу. Во-вторых, в то время для надежной подготовки атаки пехоты и танков артиллерии нам не хватало. Для быстрого уничтожения или подавления живой силы, огневых средств и боевой техники врага требовалась большая плотность орудий и минометов на километр фронта прорыва. В-третьих, непрерывные активные действия требовали большого расхода снарядов и мин — в напряженные периоды боя за считанные часы, а то и минуты их выпускалось тысячи. Например, только за сентябрь армия расстреляла более 200 тысяч снарядов и мин. Подвоз боеприпасов отставал. Накопление их перед операциями не превышало 0,7—0,9 боекомплекта.

В непрерывных ожесточенных боях стрелковые части несли большие потери. Поэтому некоторые командиры дивизий шли на меры, с которыми я не мог согласиться. Зная, что командующий армией резервов не имеет, они спрашивали у него разрешения пополнить пехоту людьми из артиллерии. Малиновский такой перевод санкционировал. Тогда я обратился к командующему и сказал, что в ближайшие дни мы должны получить новые орудия и минометы, обслуживание которых потребует подготовленных специалистов. К сожалению, командарм не отменил отданного распоряжения.

Прошло несколько дней, и на очередном совещании Родион Яковлевич снова подтвердил необходимость перевода части артиллеристов в пехоту. Я вторично и еще более настойчиво попросил командарма не делать этого. Тогда Малиновский повернулся ко мне и тактично, но твердо возразил:

— Армией командую я. Перевод разрешаю.

Я в ту минуту остро ощутил неполноправное положение начальника рода войск, который состоит в двойном подчинении.

Вернувшись к себе, послал шифровку начальнику артиллерии фронта Гусакову, надеясь через него добиться, чтобы командующий фронтом запретил Малиновскому выходить из положения за счет артиллеристов. Гусаков, однако, поддержки мне не оказал, а ограничился предупреждением, что, если ситуация не изменится, он поставит вопрос о моем служебном несоответствии. Мне ничего не оставалось как шифровкой же обратиться к начальнику артиллерии Красной Армии Н. Н. Воронову.

На одном из очередных совещаний, проходивших в той же землянке, вписанной в курган, теперь изрядно искромсанный взрывами вражеских снарядов и бомб, Мали-

новский, давая указания командирам дивизий, обвел присутствующих внимательным взглядом, сделал небольшую паузу и вдруг сказал:

— А артиллеристов не трогать. Больше того, всех ранее отправленных в пехоту и оставшихся в живых немедленно вернуть в свои части.

Командиры недоуменно смотрели на Родиона Яковлевича, он лукаво улыбался.

— А теперь признайтесь, кто писал об артиллеристах в Москву...

Я встал и доложил, что посылаю шифровку Воронову.

— А ведь вы являетесь еще и моим заместителем,— с упреком, но спокойно заметил Малиновский и закончил совещание.

Когда выходил из землянки, шифровальщик вручил мне телеграмму начальника артиллерии Красной Армии, посланную в адрес Малиновского. Безусловно, помощь Воронова была своевременной. Меня только беспокоил вопрос, как его вмешательство отразится на моих взаимоотношениях с командармом. Вскоре выяснилось, что Родион Яковлевич правильно все осмыслил и расценил, а я убедился в его объективности. Мы еще лучше стали понимать друг друга. За короткий срок совместной работы с Малиновским я многому у него научился. Он всегда поощрял инициативу, в общении с людьми был уважительным.

В часы затишья мы с Малиновским часто выходили из землянок на кургане, усаживались возле наблюдательного пункта, и командарм рассказывал о своей службе в экспедиционном корпусе, воевавшем во Франции в первую мировую, об участии в испанских событиях, о руководстве Южным фронтом...

В начале октября армию усилили несколькими стрелковыми дивизиями. Малиновский целыми днями находился на передовой, изучая местность, вражескую оборону на участке будущего наступления, состояние и боевые возможности наших соединений. Почти всегда я был рядом с ним. Мне нравилось, что мой командующий, порой пренебрегая опасностью, сам входил во все подробности, вникал в положение дел в войсках, лично знакомился с командирами и бойцами.

В первых числах октября мы с генералом Малиновским выехали к Рокоссовскому. Встреча должна была состояться на передовом командно-наблюдательном пункте Рокоссовского в полосе 1-й гвардейской армии, очень близко от переднего края. У единственного блиндажа КНП нас любезно приветствовал высокий, стройный, красивый генерал-лейтенант Рокоссовский, рядом с ним был генерал-майор артиллерии В. И. Казаков.

Константин Константинович пригласил в блиндаж. Для лучшего освещения дверь оставалась открытой. При входе справа стоял стол с развернутой на нем оперативной картой. За него сели хозяева. Нам указали место у стены. Последовала просьба доложить обстановку. Обладая завидной памятью, Малиновский говорил, не заглядывая в блокнот, подробно и исчерпывающе ясно. Так же полно ответил он и на вопросы командующего фронтом. Затем Казаков спросил меня о состоянии артиллерии и ее кадрах. Помню, его больше всего интересовали организация артиллерийской разведки и эффективность борьбы с артиллерией противника.

После моего доклада Константин Константинович продолжил беседу с одним Родионом Яковлевичем. Мы с Казаковым вышли из блиндажа и еще около часа вели разговор о боевых действиях армейской артиллерии, об ее офицерах. Василий Иванович, недавно сменивший полковника Гусакова, перед наступательной операцией прощупывал меня по всем пунктам.

Согласно разведанным координаты батарей и органов управления противника оставались стабильными. Это, естественно, было нам на руку. Хуже обстояло дело с выводом на исходный рубеж артиллерии поступавших в армию вновь сформированных дивизий. Они растянулись на десятки километров, им приходилось с ходу занимать боевые порядки. К тому же не хватало боеприпасов. А конная тяга на протяженных маршах в осеннюю распутицу задерживала выход артиллерийских частей в районы сосредоточения. С огромным трудом дивизионная артиллерия преодолевала последние километры на своих истощенных, выбивавшихся из сил лошадях. Боевые порядки заняли лишь в канун наступления.

С первых дней войны я придерживался правила — перед ответственными боевыми операциями обязательно побывать на НП и огневых позициях в направлении главного удара. Важно лично убедиться, все ли готово к выполнению поставленных задач, установлено ли взаимодействие с другими родами войск, особенно с пехотой и

танками. В тот дождливый промозглый день много пришлось походить пешком по мокрым полям, балкам и высотам. В итоге выяснилось, что к началу артиллерийского наступления батареи не будут иметь планового обеспечения боекомплектами. Появилась и другая проблема: значительной части командиров попросту не хватило светлого времени, чтобы уяснить огневые задачи своих подразделений, увязать их действия с пехотой и танками.

Уже темно, когда я вошел в землянку командарма с выводами об увиденном. Родион Яковлевич сидел в полумраке. На столе горел светильник, сделанный из снарядной гильзы, стоял телефонный аппарат ВЧ. Генерал посмотрел на меня усталым взглядом.

— Ну докладывайте о готовности артиллерии.

— Артиллерия,— отвечал я,— не готова. На второй день операции мы можем остаться без снарядов и мин. Это первое. Во-вторых, значительной части командиров дивизионов и батарей не хватило светлого времени для подготовки.

— Что же вы предлагаете? — спокойно спросил Малиновский.

— Единственный выход — попросить хотя бы сутки для подвоза боеприпасов и отработки взаимодействия.

Родион Яковлевич задумался.

— А пожалуй, вы правы. Будем просить.

Он поднял трубку ВЧ и связался с Рокоссовским.

— Докладываю о готовности. Пехота и танки к назначенному сроку успеют. А вот у Полуэктова не хватает дров — не успели подвезти. Он просит добавить сутки..

Слушая командарма, я испытывал сложные чувства: ведь ему сообщили, что взаимодействие пехоты и танков с артиллерией на местности не отработано. О какой же готовности можно вести речь? Пилюля для меня горькая, но ее следовало проглотить не морщась. Положив трубку, Малиновский сказал:

— Велел ждать у аппарата.

Ждать пришлось недолго, меньше получаса. После второго разговора с Рокоссовским Родион Яковлевич улыбался.

— Ну вот, мы с вами просили сутки, а Верховный предоставил двое. Надеюсь, этого достаточно, чтобы и боеприпасы подвезти, и хорошо отработать взаимодействие войск?

Улыбался и я, довольный таким исходом.

В те дни командующий фронтом уделял большое внимание нашей 66-й. Часто бывал у нас на наблюдательном пункте, выслушав генерала Малиновского, подробно интересовался деятельностью командиров дивизий, пополнивших армию. Затем Константин Константинович садился за мою стереотрубу и подолгу вел наблюдение за полем боя. Прощаясь, он требовал от Малиновского держать противника в напряжении, непрерывно вести активные действия.

В артиллерийском обеспечении наступательных действий в двадцатых числах октября участвовало около 880 орудий и минометов. Но плотность на направлении главного удара при артиллерийской подготовке была недостаточной — около 60 орудий, минометов и реактивных установок на километр фронта. При недостатке боеприпасов и с такой плотностью было трудно подавить огневые средства в оборонительных порядках противника. Требовалось не менее 200 стволов на километр и избыток снарядов и мин. По этой причине успехи наши оказались скромными, но и они сыграли немалую роль: враг вынужден был усиливать фронт перед 66-й армией за счет переброски части сил, дравшихся непосредственно в городе.

Вскоре боевые действия стали менее напряженными. Мы смогли произвести некоторую перегруппировку дивизий, артиллерии и подкопить боеприпасов. Армейский штаб артиллерии передал в штабы дивизий данные о координатах батарей противника, добытых войсковой и авиационной разведкой. Командование принимало все меры, чтобы до минимума свести наши потери. В связи с этим вспоминается, как через много лет после тех событий — в начале 1956 года — мы с Маршалом Советского Союза Р. Я. Малиновским застряли на Северном Сахалине из-за пурги, застряли на трое суток. И вот в одной из наших вечерних бесед Родион Яковлевич вдруг сказал: «Я и теперь доволен и даже горжусь тем, что в октябре под Сталинградом мне все же удалось не вводить в бой прибывшую к нам на усиление дивизию. В середине месяца уже стало ясно: наша 66-я близка к выполнению поставленной задачи. Отпала необ-

ходимость бросать в пекло необстрелянных людей, мы избежали неоправданных смертей...»

Уже в ходе наступательной операции к нам прибыл новый командарм — генерал-майор А. С. Жадов. Малиновский быстро ввел в курс дела своего преемника и отправился к месту нового назначения — заместителем командующего фронтом у Рокоссовского. Признаюсь, было жаль расставаться с волевым, мужественным и требовательным, храбрым и любящим некоторый риск командармом. Когда в 1955 году мне предложили поехать к нему на Дальний Восток командующим артиллерией округа, я с радостью согласился.

Учитывая сложившуюся обстановку, Алексею Семеновичу нелегко было входить в новую для него должность. Но мы все, заместители, сознавали это и всемерно стремились помочь ему.

После длительных, но безуспешных попыток овладеть Сталинградом в ноябре фашисты перешли к обороне. В этот период части нашей армии вели бои местного значения. Артиллерия наносила огневые удары по командным пунктам вражеских войск, подавляла наиболее активные артиллерийские и минометные батареи, через голову противника, вышедшего к Волге на участке Латошинка — Рынок, помогала своим огнем сталинградцам.

Тогда же у нас появилась возможность подвести некоторые итоги, проанализировать степень эффективности борьбы артиллерии с танками. Мне не раз приходилось управлять огнем противотанковой артиллерии. Несмотря на большое число выпущенных снарядов, прямых попаданий было крайне мало. Но и при попадании от танка нередко летели яркие искры, а сам он оставался непораженным. Если в целом по опыту борьбы артиллерии с танками за 1942 год соотношение потерь противотанковых орудий к числу уничтоженных танков было один к одному, то у нас на три орудия приходилось лишь два танка. Следовало понять причины этого явления. Нужно было безотлагательно искать пути повышения эффективности противотанковой артиллерии.

Мы потребовали от командиров артиллерийских частей, чтобы предназначенные для стрельбы по танкам снаряды содержались на огневых позициях отдельно от других видов боеприпасов. Провели совещание по обмену опытом командиров орудий, имевших на счету не менее двух уничтоженных танков. Совещание проходило непосредственно в боевых порядках артиллерии на танкоопасном направлении, в одной из глубоких балок. Открывая совещание, я объявил о его цели и попросил присутствующих ответить на следующие вопросы: кто, как и за какой срок готовит орудия к стрельбе по танкам? в каких укрытиях находятся орудия и снаряды, предназначенные для стрельбы, до появления вражеских танков? как часто выверяются прицельные линии орудий? с какой дальности начинается стрельба по танкам?

Обмен опытом оказался своевременным и полезным, особенно в том, что касалось изготовления орудий и подбора снарядов. Приведу ответ лишь одного из командиров орудий, назвавшегося, если мне не изменяет память, Егоровым. Он сказал:

— Из перекрытия орудийного окопа мы вытягиваем пушку при помощи самодельной лебедки. сразу же вешаем на щит два связанных ящика снарядов и выкатываемся на заранее устроенную площадку для ведения огня. Подготовка к стрельбе занимает меньше минуты. Ну а танк стремимся подпустить как можно ближе...

Вот о таком ценнейшем опыте говорили многие выступающие. Затраченные на совещание три часа оправдались. Нам удалось накануне общего наступления на сталинградском направлении значительно повысить эффективность артиллерии.

Три месяца непрерывных ожесточенных боев выявили и недостатки в руководстве артиллерией. Значительная часть начальников артиллерии дивизий лишь с большим трудом укладывались в жестко ограниченные сроки планирования боевых действий. Отсюда недостаточная гибкость в управлении массированным огнем, медленно и без должной точности готовились исходные данные для его сосредоточения. К тому же значительная часть общевойсковых командиров показала свою некомпетентность в делах артиллерии. Мне, например, довелось быть свидетелем такого случая. Поставив задачу артиллеристам, командир дивизии полковник Владимиров тут же обратился к своему начальнику артиллерии:

— Почему нет огня?

Как выяснилось, комдив имел слабое представление об основах артиллерийской стрельбы, не представляя, сколько нужно времени на подготовку исходных данных, для переноса огня с одной цели на другую, на пристрелку новой цели. Пришлось изы-

скивать возможности, чтобы приобщить таких общевойсковых начальников к артиллерийскому делу. Познание премудростей артиллерийской стрельбы, особенно переход от пристрелки целей к их поражению, поднимало уровень общевойсковых командиров, значительно повышало знания в области боевого применения артиллерии, учило правильному использованию ее огня.

Но вернемся в полосу действий нашей армии. Вот что позже писал о событиях тех дней маршал артиллерии В. И. Казаков: «Боясь прорыва войск 66-й армии к городу, немецкое командование ничего не подозревало о подготовке нами удара в совершенно противоположном направлении и начало перебрасывать в полосу этой армии свои наиболее боеспособные дивизии, состоявшие целиком из немцев. А перед участками, где намечался наш прорыв, остались менее стойкие румынские части. Больше того, немецкое командование сняло часть своих дивизий с участков перед фронтом 5-й танковой и 21-й армий Юго-Западного фронта и перебросило их в полосу 66-й армии».

Можно без преувеличения сказать, что вся тяжесть борьбы с вражескими танками и артиллерией приходилась в этот период на долю нашей артиллерии, так как стрелковые подразделения дивизий были крайне малочисленны. Вспоминаю те дни, генерал Г. В. Бакланов в своей книге «Ветер военных лет» пишет о своем докладе Жадову: «...дивизия абсолютно обескровлена: несмотря на то, что все что можно в тылах и управлении давно взято в боевые части, в ротах осталось по десять — двенадцать бойцов; материальная часть в плохом состоянии, боеприпасов не хватает».

Содержание планов боевых действий артиллерии в то время определялось главным образом необходимостью обеспечить наступление дивизий первого эшелона, в которых создавались дивизионные, а в ряде случаев и полковые артиллерийские группы. Для этого использовалась артиллерия дивизий второго эшелона армии. В этих планах отражались и огневые задачи армейской группы дальнего действия, состоявшей из пушечного артиллерийского полка и двух гвардейских полков реактивных установок. Дивизионная артиллерия лишь частично привлекалась для подавления вражеских батарей.

Итак, мы с нетерпением ждали начала операции. В памятный всем нам день 19 ноября, отныне ставший праздником нашего рода войск, Донской и Юго-Западный фронты после мощной, поистине исторической артиллерийской подготовки перешли в решительное наступление. К исходу 23 ноября было завершено полное окружение крупнейшей немецкой группировки под Сталинградом.

Теперь, казалось бы, можно ожидать ослабления сопротивления противника в полосе нашей армии. Однако обстановка складывалась по-иному. Нам пришлось буквально прогрызать оборону врага, чтобы соединиться с 62-й армией генерала В. И. Чуйкова. К вечеру 23 ноября для прикрытия и маскировки перегруппирования своих войск значительно активизировались немецкие артиллерийские и минометные батареи.

Наша разведка установила, что, закрывшись плотным артиллерийским огнем, противник заменял стоявшие перед фронтом армии танковую и моторизованную дивизии пехотными. Производилось это поспешно и неорганизованно, чем воспользовался наш командарм Жадов. Он приказал командирам дивизий первого эшелона перейти в решительное наступление при поддержке армейской артиллерийской группы.

24 ноября 226-й дивизии полковника Н. С. Никитченко удалось овладеть северными скатами высот, что оказало существенное влияние на продвижение и других соединений армии. Тогда же командирам 343-й генерал-майору М. А. Усенко и 299-й полковнику Бакланову было приказано немедленно перейти в наступление. Ближайшая задача: овладеть рубежом совхоз «Опытное поле» — железная дорога — Рынок, а в дальнейшем двигаться на Орловку. Армейская артиллерийская группа в это время всей своей мощью подавляла вражеские батареи в полосе действий Усенко и Бакланова. К исходу того же дня противник смог усилить плотность оборонительного огня и оказать здесь упорное сопротивление. Его удалось сломить лишь при поддержке артиллерии армии. Дивизии полностью овладели важными опорными пунктами на высотах с отметками 137,8 и 139,7.

24 ноября мне позвонил по ВЧ командующий артиллерией фронта Казаков. Прежде всего он поинтересовался действиями артиллерии нашей армии, а затем сообщил, что артиллерия 65-й и 24-й армий очень организованно осуществила артиллерийское наступление, облегчив ввод в прорыв танков. Рассказав о блестящих успехах других фронтов, сумевших окружить отборные немецкие войска в междуречье Дона и Волги, Василий Иванович подчеркнул, что вся тяжесть по взлому вражеской обороны легла

на артиллерию, что другого примера окружения столь крупной группировки при равном почти соотношении сил он не знает. Мне оставалось доложить Казакову о наших скромных успехах. Под конец я попросил помочь боеприпасами и материальной частью для восполнения потерь.

25 ноября я находился в дивизии Бакланова. С нами на наблюдательном пункте был и его начальник артиллерии полковник С. А. Мозуль. Бакланов и Мозуль не без риска всегда выбирали НП так, чтобы открывался прекрасный обзор поля боя. И на этот раз мы хорошо видели действия передовых подразделений и артиллерии, овладевавших насыпью железной дороги при упорном сопротивлении и контратаках противника. Я тут же приказал командиру пушечного артиллерийского полка подполковнику Борисенко установить прямую связь с начальником артиллерии 299-й и далее вести огонь по его заявкам.

Перед возвращением решил заехать на наблюдательный пункт начальника артиллерии 226-й дивизии полковника Н. Д. Себежко. Пронесясь по балке на «эмке», миновал два отремонтированных танка «Т-34» и тут случайно встретил штабных офицеров, посланных в армию генералом Казаковым. Они на своей машине двинулись за мной, держась примерно в полусотне метров. Из балки выскочили на ровную и открытую местность, обогнув небольшую высотку. Вдруг слева по корпусу застучали пули, полетели осколки разбитых стекол. Повернул голову в сторону, откуда стреляли, и увидел пулемет на высокой треноге и суетящихся около него фашистских солдат.

— Останови! — крикнул я шоферу, открыл дверцу, вывалился наземь, стараясь укрыться за машиной.

До безопасной зоны было не менее двухсот метров по обращенному к противнику склону. Должно быть, фашисты считали нас убитыми: стрельба прекратилась. Я пополз обратно к балке. Увидев это, немцы снова застрочили из пулемета, прижали меня к земле. Теперь пули ложились так близко, что комочки твердого грунта попадали в лицо. Выждав паузу, нырнул в воронку от снаряда. Шофера своего Ивана Шакура я потерял из виду. А тут стрельбу по машине начала батарея шестиствольных минометов. Как противник оказался в районе, уже отбитом нашими? Это можно было объяснить только тем, что при отступлении немцы оставили смертников.

Сгущались сумерки. Фашисты дали по машине еще одну короткую очередь. Вскоре от машины донесся негромкий немецкий говор. В полутьме можно было все же разглядеть, что враги взяты в кабине. Одним броском я достиг балки, где без труда нашел танкистов, мимо которых проезжал днем. Там же были и офицеры из штаба Казакова. Они торопили ремонт танков, чтобы с их помощью выручить меня из беды. Снарядили группу для спасения Ивана, но она вернулась ни с чем. Машина стояла с раскрытыми дверцами, шофера не нашли. «Уж не взяли ли его в плен?» — подумал я и поспешил к полковнику Бакланову. Он послал автоматчиков на розыски, а я направился на командно-наблюдательный пункт.

Прибыл туда поздно ночью. Генерал Жадов по телефону принимал доклады командиров дивизий, давал им указания, ставил задачи на предстоящий день. Он ознакомил меня со вчерашними итогами. Армия буквально прогрызла вражескую оборону и продвинулась на восемь — двенадцать километров, освободив населенные пункты Томилино, Латошинка, Акатовка, Винновка и Рынок. Части 99-й полковника Владимира соединились с группой полковника Горохова, которая на маленьком клочке земли у Волги более месяца вела кровопролитные бои, отбивая яростные атаки противника.

Это была, пожалуй, первый крупный наш успех за время командования Жадова. Он был доволен, настоятельно требовал от командиров соединений, чтобы вместе с пехотой выдвигали как можно больше орудий на прямую наводку для отражения возможных контратак.

Я хотел доложить, что 299-я вышла к железной дороге и выполнила задачу дня. Жадов, не дав мне закончить, сухо и, как показалось, недовольно сказал, что Бакланов ему уже сообщил и о своей удаче, и о том, что я напоролся на вражеский пулемет.

Иван Шакура объявился поздно ночью. С усталой улыбкой он доложил, что изрешеченную пулями и на спущенных скатах все-таки привел машину и поставил на место.

— Ну а ты-то как? — спросил я радостно.

— Сначала прятался под днищем, потом укрылся в какой-то промоине неподалеку. Когда стало темно, хотел вернуться к машине, но вовремя заметил фрицев, которые

шуровали в кабине. Дождь их ухода — слышу: танк мимо катится. Опять притаился. Скоро все стихло. Подполз. Ощупал скаты — на нулях. Проверил мотор — работает. Развернулся — и в балку. И дальше на малой скорости — сюда..

С выходом наших войск на рубеж железной дороги и занятием населенного пункта Рынок боевые порядки армейской артиллерийской группы переместились юго-западнее Ерзовки. Только тогда у нас появилась возможность оказывать — через голову противника — огневую поддержку войскам 62-й армии, дравшимся в северной части Сталинграда. Тогда же к командующему ее артиллерией генералу Н. М. Пожарскому я послал начальника штаба полковника Савицкого для увязки нашего взаимодействия. А несколькими днями позже в район тракторного завода направили командира дивизиона капитана Л. С. Гарбуза. Он корректировал стрельбу по Центральному аэродрому Сталинграда, не давал возможности транспортным самолетам противника снабжать продовольствием и боеприпасами оккупированные войска.

В конце ноября я получил первое за полтора года письмо от семьи. Война застала нас всех в Крыму, где я служил в должности начальника артиллерии 156-й отдельной стрелковой дивизии. На следующий день жена, четырнадцатилетний сын и годовалая дочь вместе с другими командирскими семьями эвакуировались на восток. О судьбе эшелона мы прослышали лишь в сентябре, во время ожесточенных боев за Перекоп. Поезд попал под бомбежку, многие погибли. Что случилось с моими, я не знал. Думать о худшем не хотелось, оставалось ждать.

И вот ординарец Николай Афанасьев привозит мне на наблюдательный пункт письмо от жены. Радость была безгранична, хотя узнал о бездомных скитаниях, материальных трудностях. Поезд с беженцами действительно попал близ Харькова под бомбежку. После долгих мытарств семья нашла пристанище в городе Троицкое Челябинской области.

На следующий день я воспользовался оказией — ехал в тыл старший лейтенант К. С. Чугров, ныне полковник запаса, — и отправил с ним ответ, деньги. Главное — он мог лично засвидетельствовать моим, что я жив. Возвратился Чугров в конце декабря и к тому же не один. С ним приехал мой сын Юрий, худой, в обносках, и чуть ли не с порога принялся меня убеждать, что он уже взрослый, давно стремится на фронт, что его место здесь. Встреча была недолгой — я торопился в войска. Сына поручил Афанасьеву. Через несколько дней снова увиделся с Юрием. Теперь он выглядел отдохнувшим и бодрым.

— Хочу служить в артиллерии, — твердил сын.

— Что ж, — ответил я, — коль скоро ты прибыл на фронт и горишь желанием воевать, надо оформиться добровольцем — и в часть.

На том и порешили. Ныне сын, полковник запаса (после тридцатилетней службы в Советской Армии), нередко вспоминает эти мои слова, определившие его жизненный путь.

Для начала тогда его зачислили разведчиком в отдельный дивизион артиллерийской инструментальной разведки. Вечером того же дня он находился в боевых порядках своей части. От Сталинграда до Эльбы и Праги мы с сыном дошли, сражаясь вместе. Надо отдать ему должное: ни на войне, ни после он никогда не искал помощи от отца. Такой уж у него характер..

Приволжские степи, изрезанные многочисленными балками, отличаются полным безлесьем и крайне редкими населенными пунктами. Зима здесь суровая, с сильными ветрами и обильными снегами. Несмотря на хорошую экипировку наших войск, это создавало большие трудности, особенно для артиллеристов, постоянно соприкасающихся с металлом. Единственным спасением от губительных буранов были степные ложбины. В них укрывались и солдаты и офицеры, включая штабистов. Например, как уже говорилось, командный пункт армии тоже размещался в одной из глубоких балок, а по крутым ее склонам в несколько рядов по вертикали располагалось множество блиндажей и землянок, походивших на сакли кавказского горного аула.

Известно, что 8 декабря 1942 года Ставка отложила проведение операции Донского и Сталинградского фронтов по ликвидации окруженной группировки, но потребовала не давать врагу передышки ни днем ни ночью, постепенно сжимая кольцо. По указанию Военного совета фронта 66-я армия снова пыталась пробиться на соединение с армией Чуйкова. Однако и на этот раз каких-либо значительных успехов мы не до-

стигли. Противник опирался на хорошо организованную систему огня, яростно сопротивлялся в опорных пунктах и отвечал контратаками.

Во время этих боев генерал Жадов и я постоянно находились на наблюдательном пункте. По мере того как кольцо окружения врага сжималось, мы подводили артиллерию ближе к переднему краю, огонь становился более эффективным, надежно подавлял живую силу противника, его волю к сопротивлению.

С конца ноября до начала декабря, когда враг пытался с помощью транспортной авиации интенсивно снабжать грузами окруженных, наша зенитная артиллерия и истребители почти полностью перекрыли подходы к городу с воздуха. После 10 декабря зенитчики сумели разгадать ракетный сигнал, подаваемый противником в темное время суток и обозначающий место приземления на аэродроме. В одну из непогожих ночей с помощью этого сигнала зенитчики посадили в глубокий снег недалеко от своей огневой позиции тяжелый транспортный самолет. Отобранные у экипажа таблицы сигналов посадки и мест сбрасывания грузов на парашютах незамедлительно передали в штаб артиллерии фронта для использования на всех направлениях. В ту пору по утрам часто можно было видеть, как бойцы спускались в заснеженные балки, прочесывали равнину, собирая продовольственные трофеи, сброшенные немцами за минувшую ночь.

В первых числах января 1943 года к нам на командно-наблюдательный пункт прибыли командующий Донским фронтом Рокоссовский и его командующий артиллерией Казаков. Константин Константинович сообщил, что ликвидация окруженного противника поручена нашему фронту, в состав которого вошли и армии бывшего Сталинградского. Очень коротко и ясно он обрисовал сложившуюся обстановку, после чего добавил, что направление 66-й в предстоящей операции по-прежнему будет не главным, но очень важным. Подробно остановившись на задачах армии, Рокоссовский затем предложил генералу Казакову проинформировать нас по артиллерийским вопросам.

— Что для вас лучше, — обратился Василий Иванович к Жадову и ко мне, — получить на усиление два артиллерийских полка за счет армий, действующих на направлениях главного удара фронта, или дополнительное количество боеприпасов?

Командир ждал, что скажу я — мое мнение в данном случае было решающим.

— На сколько боекомплектов мы можем рассчитывать? — ответил я вопросом на вопрос.

Василий Иванович уточнил:

— Для борьбы с артиллерией противника, а это главная ваша задача в предстоящей операции, можем выделить до девяти боекомплектов крупного калибра. Думаем, достаточно.

Не исключено, что этот наш разговор может кого-либо удивить. Но Рокоссовский и Казаков всегда советовались с подчиненными, внимательно прислушивались к их соображениям, не навязывали своей воли.

В тот же день командование и штабы армии приступили к расчетам отправных данных для составления плана предстоящей наступательной операции и ее артиллерийского обеспечения. На 10 января 1943 года мы имели перед собой следующие данные о противнике, полученные средствами артиллерийской разведки: артиллерийских и минометных батарей — 35, орудий в противотанковой обороне — 26, наблюдательных пунктов — 20, огневых точек — 63, а всего 144 цели, то есть по 6 на километр фронта.

Для ведения огня прямой наводкой нами выделялось до 190 орудий — по 7,3 орудия на километр фронта. Они выводились на заранее подготовленные позиции в ночь перед наступлением, а в ходе наступления должны были сопровождать пехоту и вести огонь чаще всего по инициативе своих командиров. Артиллерийские группы поддержки пехоты создавались в дивизиях, реже в полках. В последнем случае их состав не превышал одного-двух дивизионов. Но если такие группы создавались только в дивизиях, то с развитием боя они большей частью подчинялись стрелковым полкам.

Накануне операции, 9 января, ко мне на наблюдательный пункт прибыл генерал-лейтенант артиллерии А. К. Сивков, входивший в состав оперативной группы представителя Ставки Н. Н. Воронова. Он уже был у нас в конце декабря, проверял подготовку артиллерийских частей армии к ликвидации противника в кольце окружения. Тогда мы с Аркадием Кузьмичом выезжали к начальникам артиллерии дивизий и в артиллерийские части армейского подчинения.

В блиндаже, освещенном фиталями, торчащими из снарядных гильз, мы с генералом Сивковым встретили Новый год. В честь праздника артиллеристы произвели мощные огневые налеты на фашистские штабы и командные пункты.

Находясь рядом безотлучно три недели — мы жили и трудились с Сивковым в одном блиндаже, — Аркадий Кузьмич внимательно наблюдал, как я работаю, проявляя большой интерес к современным методам массирования огневых средств, руководству артиллерией и управлению огнем, но ни разу не вмешался в принимаемые мной решения. Каждый вечер он составлял шифрограмму о боевых действиях нашей артиллерии, давал мне на прочтение и только после этого отправлял Воронову.

Утром 10 января после довольно мощной артиллерийской подготовки соединения 66-й перешли в наступление, но, как и другие армии фронта, полного успеха не достигли. До взятия населенных пунктов Кузьмичи, совхоз «Опытное поле» и Орловка приходилось с большим трудом преодолевать вражескую оборону, плотность огня которой по мере сужения кольца возрастала.

Морозы при пронизывающих ветрах днем доходили до 30, а ночью и до 40 градусов. Артиллеристам приходилось одолевать балки, снежные заносы, ставить большинство батарей на совершенно открытой местности или отрывать в глубоко промерзшем грунте орудийные окопы, маскируясь и защищаясь валами снега. Лишь небольшая часть минометов и гаубиц размещалась в неглубоких оврагах.

Кольцо сжималось, и огневые позиции батарей теперь были гораздо ближе к переднему краю, чем раньше. Значительное число орудий выдвигалось в штурмовые подразделения пехоты на прямую наводку. Эта тактика повышала поражающие возможности артиллерии.

Здесь по-особому проявилась взаимовыручка царицы полей и бога войны. Пехотинцы нередко помогали малочисленным орудийным расчетам — вместе с ними перекатывали пушки от рубежа к рубежу, снимали колеса, отделяли стволы от лафетов и отдельно втаскивали их на крутые склоны балок. Так было в дивизиях Бакланова и Никитченко у Мокрой Мечетки.

В дивизионных планах артиллерийского наступления большое место занимали орудия и батареи, действовавшие с открытых огневых позиций. Для скорейшей ликвидации последних очагов сопротивления 30 января нашей армии дополнительно придали пушечный артиллерийский полк и тяжелый пушечный дивизион. Усиление это, на мой взгляд, не соответствовало моменту. Решающую роль тогда играла дивизионная и полковая артиллерия, которая в основном была на прямой наводке, поскольку пушки и минометы противника молчали из-за отсутствия боеприпасов. Его оборона держалась только высокой плотностью пулеметного огня в опорных пунктах.

Немецко-фашистские войска под натиском 65-й армии П. И. Батова и нашей, бросая технику, большими группами отходили к северной части Сталинграда, укрывались в подвалах сгоревших и полуразрушенных домов поселка тракторного завода.

Как известно, командующий 6-й немецкой армией Паулюс не принял наше предложение капитулировать от 8 января.

Паулюс был пленен и предстал перед командующим 64-й армией М. С. Шумиловым 31 января. Но и теперь фельдмаршал отказался отдать приказ о капитуляции. Не принял он и требования Воронова и Рокоссовского написать генерал-полковнику Штрекеру, командовавшему северной группой войск, чтобы тот прекратил безрассудное сопротивление. Ответом было решение командующего фронтом продолжить штурм заводов и прилегавших к ним поселков на севере, используя всю мощь тяжелой артиллерии.

Вечером мы с Жадовым и Сивковым выехали на передний край. На следующий день, 2 февраля, предстояло покончить со Штрекером. Плотность наших артиллерийских стволов на передовой была столь велика, что орудия не умещались в районе огневых позиций. Используя наклонный рельеф, командиры ставили батареи в два ряда: в первом на сокращенных интервалах — пушки и гаубицы, во втором — минометы и гаубицы. Нейтральной зоной служила балка шириной всего в 200—250 метров. Сам вид сосредоточенных на небольшой площади нескольких сотен стволов, готовых к последнему штурму, должен был заставить врага отказаться от безумного упорствования, сдаться в плен. В конечном счете так оно и получилось, только не в тот день, а на другие сутки утром.

Мы до поздней ночи ходили по огневым позициям, говорили с солдатами и офицерами. Все испытывали душевный подъем и воодушевление. Каждый понимал, что вот-вот длившиеся пять месяцев кровопролитные бои на Волге завершатся.

По возвращении на командно-наблюдательный пункт, находившийся в отбитых у немцев благоустроенных блиндажах севернее Орловки, пришлось почти всю ночь

заниматься только вопросами перераспределения снарядов и мин между частями, так как армейские полевые склады к концу операции (с двадцатых чисел января) фронтом не пополнялись.

Надо было хоть немного отдохнуть — до рассвета оставалось два часа, — но мне не спалось. То и дело всплывали разные подробности бесед с солдатами и командирами-артиллеристами. Так я и не уснул и решил пораньше выехать на передовой НП, куда к началу артиллерийской подготовки должен был прибыть генерал Жадов. Разбудил адъютанта, приказал вызвать машину.

Было уже совсем светло, когда наша выдавшая виды «эмка» безнадежно застряла в снегу. Пересели на какую-то полуторку. Она и доставила нас на наблюдательный пункт. Не успел выбраться из машины, как мне доложили, что над полем предстоящего боя царит непривычная мертвая тишина — ни выстрела, ни разрыва. Собственно, это и без доклада, на слух можно было установить. Подошел к стереотрубе, взглянул на руины поселка тракторного завода, по которому тяжелая артиллерия вела огонь на разрушение два последних дня. Едва навел окуляры, передо мной открылось зрелище, запомнившееся на всю жизнь: из подвалов, из разрушенных зданий, торопясь, один за другим, как тараканы из щелей, выползали отвоевавшиеся фашистские солдаты и офицеры и строились в колонны. Я тотчас позвонил командарму Жадову и попросил его поскорее прибыть, чтобы увидеть неповторимую, на мой взгляд, картину массовой сдачи в плен незадачливых завоевателей.

— Знаю, знаю о капитуляции противника из докладов командиров дивизий, — с нескрываемой радостью ответил Алексей Семенович. — Выезжайте сюда. Вот-вот привезут Штрекера с генералами его штаба...

Их привезли на открытой немецкой машине. Дорога проходила как раз мимо плотных боевых порядков нашей артиллерии, которая в этот день не сделала ни единого выстрела.

— Как вы оцениваете проведенную советскими войсками операцию? — спросил Жадов у Штрекера.

— На долю русских выпала большая удача, — хмурясь и не поднимая глаз, сказал плененный генерал. — Проезжая через ваш передний край, мы почти не видели пехоты. Там стоит одна артиллерия. Почему? — В голосе Штрекера сквозило недоумение.

— Это можно понять так, что огневая мощь нашей артиллерии наконец заставила вас внять благоразумию и капитулировать?

Штрекер молчал. Было задано еще несколько вопросов, и машину с пленными отправили в штаб фронта.

А вражеские войска все еще выползали из укрытий, поспешно строились, вливались в длинную колонну, которая змеей вилась по белоснежному правому берегу Волги...



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

«И мертвые, мы будем жить в частице вашего великого счастья; ведь мы вложили в него нашу жизнь».

Эти слова принадлежат Юлиусу Фучику — выдающемуся чешскому писателю-коммунисту, 80-летие которого отмечают в этом году прогрессивные люди всех стран мира.

Творческое наследие писателя многообразно: публицистические, политические, историко-литературные и литературно-критические статьи, очерки и репортажи о Советском Союзе, Чехословакии, Германии, Испании и, наконец, «Репортаж с петлей на шее» — крупный литературно-исторический документ чешского движения Сопротивления, отразивший борьбу чешских демократических сил против фашизма и международного империализма.

В Советском Союзе хорошо знают и любят Юлиуса Фучика. Его произведения, и прежде всего бессмертный «Репортаж с петлей на шее», выходят огромными тиражами, на языках всех народов нашей многонациональной страны

В Чехословакии бережно собирается все то, что было написано и опубликовано Ю. Фучиком в 20-е — 40-е годы.

Ниже публикуются страницы из воспоминаний о Юлиусе Фучике Йозефа Рыбака — старейшего чешского писателя, многие годы проработавшего вместе с Ю Фучиком в коммунистической печати, а также очерк Ю. Фучика, ранее не публиковавшийся на русском языке ¹.

Г Миронова.

ЙОЗЕФ РЫБАК



ОБ АВТОРЕ БЕССМЕРТНОГО РЕПОРТАЖА²

— **Р**асскажите нам еще что-нибудь интересное о Юлиусе Фучике, — просили часто слушатели после бесед о трудных и прекрасных днях, прожитых мною в 30-е годы в редакции «Руде право» на Краловской улице, 13.

Теперь эта улица называется Соколовской. Там была наша типография. Этажом выше, над редакцией газеты находился Секретариат ЦК коммунистической партии. Поэтому кому везло, тот мог порой видеть всех ведущих представителей нашего коммунистического движения: Клемента Готвальда, Яна Шверму, Йозефа Гакена, Богумира Шмерала, из писателей и редакторов «Руде право» — Ивана Ольбрахта, Йозефа Гору, Марию Майерову, Марию Малержову, Эдуарда Уркаса, Юлиуса Фучика, Лацо Новомеского, Курта Кочрада и многих других. Люди, чьи имена вошли в историю народа, интересны не частными житейскими делами, а тем, что совершили они великое и чем прославили свои имена.

О Ярославе Гашеке рассказывают сотни всевозможных историй, но Гашек интересен тем, что написал одну из самых популярных книг, вышедших в мире после первой мировой войны.

Фучик широко известен тем, что написал «Репортаж с петлей на шее», ставший одной из самых популярных книг в мире после второй мировой войны

— Каким был Юлиус Фучик?

— Веселым и грустным. Оптимистом в отношении будущего и человеком, страдающим из-за того, что на свете так много нищеты и горя, которые невозможно быстро устранить. Он был прямым и стройным, как рослое дерево с крепкими корнями, глубоко уходящими в родную землю, и кроной, поднимающейся к солнцу. Он был человеком убежденным, верящим, что счастье людей осуществимо, но за него надо бороться. В нем сочетались серьезность с легкомыслием, глубина мышления с безза-

¹ Публикации даются в моем переводе.

² Печатается с сокращением.

ботностью, он был полон огня и энергии, работоспособности и трудолюбия. Работал необыкновенно много, и это доставляло ему радость.

Мне кажется, что о Фучике надо постоянно писать и говорить. Его надо приблизить к новому поколению. Оно должно знать все о его жизни, творчестве и борьбе, читать его произведения, статьи о нем и задумываться над прочитанным.

Наиболее точный портрет Юлиуса Фучика нарисовала в шести предложениях, опубликованных в «Творбе» № 1 за 1945 год, Мария Пуйманова, когда уже была известна его судьба и его «Завещание», написанное в «Репортаже с петлей на шее»:

«Я вижу его как сейчас — смелый поворот головы, беспокойные, с оттенком фиалки глаза. Живой, как ртуть, умный, как дьявол, опасный, как искра. Склонность к риску, пристрастие к приключениям, презрение к опасности и благородная юношеская готовность броситься в огонь во имя идеи. Так и случилось. Это был пламенный человек. Этот взрослый мужчина, сохранивший в себе, в своих мгновенных реакциях очарование молодого «Разбойника» К. Чапека, был поистине настоящим человеком, когда речь шла об основном — об идее».

Юлиус Фучик родился в Праге в рабочем районе Смихов 23 февраля 1903 года. Когда у нас в «Руде право» заходила речь о его дне рождения, он никогда не забывал с гордостью заметить: «Я и Красная Армия родились в один и тот же день».

Уже в 20-е годы мы стали горячими приверженцами советской России. Нас очаровали первые ласточки советской литературы — произведения Серафимовича, Фадеева, Леонова, Есенина, Маяковского, Блока, Федина и других. Мы узнавали о легендарных героях Красной Армии — Чапаеве, Фрунзе, Ворошилове, Буденном и о многих многих других.

Я близко познакомился с Юлиусом Фучиком после его возвращения из Страны Советов. Я завидовал тому, что он своими глазами видел советскую действительность, лицом к лицу встретился с первой пятилеткой, ощутил бурное преобразование отсталой России, побывал в цехах заводов и фабрик, на шахтах — там, где рождался новый мир, которым мы восторгались и который позднее нашел свое отражение в первой книге Фучика о Советском Союзе — «В стране, где наше завтра стало уже вчерашним днем».

Свою вторую поездку в СССР Юлиус Фучик совершил в 1934 году по решению руководства Коммунистической партии Чехословакии. Там он прожил два года. «Москва сегодня — подлинный центр мира, — пишет он домой. — Здесь рождаются первые главы всей будущей истории человечества».

Фучик видит, как изменился Советский Союз за прошедшие четыре года после его первой поездки. И эти изменения он замечает повсюду.

Репортажи Ю. Фучика, написанные за два года жизни в СССР, проникнуты пафосом эпохи, их правдивость предельно убедительна. В них Фучик достиг высокого журналистского мастерства. Мне прежде всего хотелось бы отметить его репортажи о Средней Азии: «На Пяндже, когда стемнеет», «Рассказ полковника Бобунова о затмении Луны», «Астрономы в степи», «Розияхон Мирзагатов», «Ходжа-Бакирган» и многие другие.

Писал ли Ю. Фучик репортажи, статьи, передовицы или вел острые полемические споры, он неизменно стремился к тому, чтобы каждое слово звучало убедительно, правдиво, действенно, захватывало читателя, выводило его из состояния безразличия, вдохновляло и привлекало своей идеей. Он думал не только о содержании, но и о форме, о том, как выразить ту или иную мысль. Писатель в нем всегда боролся с журналистом. Если он говорил о полурепортажах и полубеллетристике, то всегда ясно и конкретно представлял, о чем идет речь. Он хотел и в журналистике прокладывать новые пути.

Ю. Фучик как журналист мог работать всюду: в кафе, в поезде, на вокзале и даже в застенках гестапо — в известной «четырёхсотке», в камере предварительного заключения. Он обладал удивительной способностью сосредоточиться и потом быстро писать своим мелким красивым почерком строчку за строчкой, почти никогда не перечеркивая того, что уже написано.

Только человек, обладавший такими способностями, мог создать «Репортаж с петлей на шее». Другой в условиях, в которых находился Ю. Фучик, не смог бы вытиснуть из себя даже строчки. А он писал. Писал в такие мгновения, когда палач, по выражению Карела Конрада, на минуту отворачивался.

Некоторым людям Юлиус Фучик кажется настолько великим, что они боятся говорить о нем как о человеке, о его человеческой сущности, о его простых человеческих чертах. На вопрос, каким был Фучик в жизни, мне всегда хочется ответить словами В. Маяковского из его поэмы «Владимир Ильич Ленин»:

Он, как вы
и я,
совсем такой же...

Фучик необыкновенно любил книги, театр и кино. Но больше всего любил газету — делать ее, работать в ней.

До войны мы сотрудничали с ним в одной редакции, наши столы стояли рядом. Любили мы его за веселый характер, за оперативность, бесстрашие, непоседливость, за неумную журналистскую страсть.

Он был вездесущим, умел ухватить суть любой сенсации, не боялся развернуть в газете кампанию, бьющую по врагу.

Деньги интересовали его лишь постольку, поскольку были нужны для еды, книги и передвижение с места на место.

Случилось так, что меня пригласили работать в редакцию, а платить зарплату первое время было не из чего.

— Ничего, выйдем из положения, — сказал тогда Юлиус Фучик. — Нас тут восемь человек. Если все мы сложимся, если каждый из нас даст для тебя сотню крон, то тебе и не надо будет ходить в кассу за зарплатой.

Так товарищи и сделали.

Фучик мечтал стать писателем-прозаиком и, несомненно, мог бы написать произведения, которые поставили бы его в ряд с такими классиками чешской литературы, как И. Ольбрахт, М. Майерова, В. Ванчура. Он мог бы стать выдающимся литературным критиком, развить и обогатить то, что внесли в литературоведение Ф. Шальда и Б. Вацлавек. Он мог бы, как и Зденек Неedly, стать выдающимся историком и университетским профессором.

Но, как определил себя сам Ю. Фучик в «Репортаже...», он остался «агитпропщиком, журналистом, надеющимся на свое чутье, немного фантазером с долей критцизма для равновесия». Он не сумел покинуть тех, вместе с которыми боролся за общее дело, — Яна Шверму, Эдуарда Уркаса и многих других. Он был в одном ряду с рабочими, шахтерами, металлургами, стеклодувами, металлистами, сельскими пролетариями, со всеми представителями левой прогрессивной интеллигенции, с тысячами и тысячами безымянных участников подпольного антифашистского движения. Он был одним из них, и они были в нем. Его голос был и их голосом. Его завещание стало и их завещанием. В этом суть его «Репортажа с петлей на шее». Показав в нем свою борьбу и свою судьбу, он отразил в нем борьбу и судьбу сотен тысяч неизвестных героев. Когда мы читаем «Репортаж...», мы думаем и о них.

В одной своей статье Юлиус Фучик дает интересную характеристику героизма и человеческого мужества: «Герой — это человек, который в решительный момент делает то, что нужно сделать в интересах человеческого общества».

Жизненный оптимизм, любовь к шутке, дружба с людьми — это Фучик. С детских лет жил он среди рабочих, отец его был токарем по металлу. Юношеские годы его прошли в промышленном городе Пльзень.

Для поколения Фучика, которое было и моим поколением, второй школой стала улица. Мы росли в годы первой мировой войны, познавали бедность и богатство, искали ответы на вопрос, почему люди живут неодинаково. На собственной шкуре узнавали, что такое нищета, научились ненавидеть бесправие. В мечтах своих мы уносились в иной, прекрасный мир. Взрослея, мы постепенно учились понимать, какие пути ведут к этому прекрасному миру. Поэтому мы поняли Октябрьскую революцию в России. И вместе с тем нам стало ясно, что за новый мир надо бороться, в том числе и с оружием в руках.

Сражаться, быть участником борьбы за конкретную цель, за идею — это был смысл жизни Фучика, солдата нового мира, солдата партии, солдата коммунизма.

Тяжело переживал он мюнхенское предательство. И, обращаясь к истории чешского народа, писал: «Не впервые пытаются похоронить нас. Не впервые ждут нашей нравственной катастрофы, которая означала бы для нас бесповоротный конец. Но ни

один враг не дождался нашего конца, а те, кто хоронил нас, сами уже не только похоронены, но и давно забыты».

А как тверды и прекрасны слова Ю. Фучика — коммуниста, написанные в тяжелые годы оккупации: «...мы действительно связаны глубокими и нерушимыми узами с народом своей страны. Но не потому, что мы внушаем народу свои взгляды, а потому, что мы выражаем взгляды своего народа».

И далее невозможно не привести строки из статьи, опубликованной в особом подпольном выпуске «Руде право» в январе 1942 года:

«Мы, коммунисты, любим людей. Ничто человеческое нам не чуждо, мы ценим самые маленькие человеческие радости, умеем им радоваться. Именно поэтому мы не колеблемся в любой момент поступиться своими личными интересами для того, чтобы добыть место под солнцем для настоящего, свободного, здорового, радостного человека, не отданного на произвол анархического «люфядка» эксплуататоров с его ужасами войн и безработицы...

Мы, коммунисты, любим мир. Поэтому мы сражаемся. Сражаемся со всем, что порождает войну, сражаемся за такое устройство общества, где уже никогда не смог бы появиться преступник, который ради выгода кучки людей посылает сотни миллионов на смерть, в бешеное неистовство войны, на уничтожение ценностей, нужных живым людям...

Мы любим свой народ, как верные его сыновья. Поэтому мы гордимся всем тем, что он дал и дает для расцвета и славы человечества, а тем самым и для собственного расцвета и славы. Поэтому мы выступаем против всего, что позорит наш народ, что паразитирует на нем и ослабляет его».

Так писал Юлиус Фучик, который в своей домюнхенской республике был изгнанником, постоянно скрывавшимся от полиции, чтобы она снова и снова не бросала его за решетку за его революционные взгляды. В любых условиях он продолжал писать и выступать, потому что знал цену и необходимость своей журналистской деятельности. Еще до начала второй мировой войны он учил своих соратников работать в трудных условиях, в подполье, в заключении, и все это пригодилось ему самому в годы фашистской оккупации.

Его личность сливается в единое гармоничное целое с судьбой города и страны. Это нашло свое яркое воплощение в «Репортаже с петлей на шее» — книги, подобной ей, нет в мировой литературе. Она стала вершиной творчества Ю. Фучика как писателя, журналиста, публициста, и это глубоко волнующее произведение явилось последним в его жизни.

На пороге смерти, к которой он был готов, Ю. Фучик посылает этой книгой свое завещание миру. Посылает его из мрачных застенков, из кошмарных гестаповских камер смерти, в которых каждое мгновение погибали десятки таких же борцов, как и он. В этой книге-завещании и любовь Фучика к светлой и радостной жизни, ради которой он шел на смертный бой. С плахи посылал он миру свои слова прощания и призыва к бдительности.

А как мужественна его печаль над судьбами тех, кто страдает так же, как и он, его размышления о товарищах и единомышленниках, которые шли на смерть с гордо поднятой головой. Сколько глубокого чувства заложено в нескольких строчках, описывающих последнюю встречу Фучика с его другом, соратником по перу и борьбе Владиславом Ванчурой, казненным фашистами.

И Фучика ждет та же судьба.

Но Юлиус Фучик вынесет свой приговор нацизму.

«Сегодня мне прочтут приговор. Я знаю, он означает: смерть человеку!»

Мой приговор над вами уже давно вынесен. В нем кровью всех честных людей мира написано: смерть фашизму! смерть капиталистическому рабству! жизнь человеку! Будущее — коммунизму!»

8 сентября 1943 года, когда Юлиуса Фучика вели на казнь, он пел «Интернационал»

«Товарищам, которые переживут эту последнюю битву, и тем, кто придет после нас, крепко жму руку... — писал в «Репортаже...» Ю. Фучик. — И снова повторяю: жили мы для радости, за радость шли в бой, за нее умираем. Пусть поэтому печаль никогда не будет связана с нашим именем».

ЮЛИУС ФУЧИК



КОГДА СПЯЩИЙ ПРОСНЕТСЯ

Москва, август 1935 года. Вагон стремительно летящего поезда метро слегка покачивается. Развернутая газета в моих руках колеблется вместе с ним. Незнакомый гражданин, заглядывающий через мое плечо в газету, что-то тихо бормочет и потом вдруг обращается ко мне с вопросом:

— Вам не хотелось бы здесь вот так уснуть?

Его предложение несколько удивляет меня. Я заверяю его, что спать мне не хочется.

— А, значит, вы еще не прочитали! — восклицает он и показывает мне маленькое сообщение в газете «Известия».

Я читаю: «Редкий случай летаргии. Патриция Магуайр 23 лет 19 января 1932 года заснула в поезде метро. С тех пор она не просыпалась, несмотря на все усилия врачей разбудить ее... В настоящее время Магуайр близка к пробуждению...»

— Более трех лет,— говорит незнакомый гражданин, заметив, что я дочитал сообщение до конца.— Вот это сон! А что, собственно, могло измениться в Нью-Йорке за эти три года? Ее отец, если у него была работа, когда она уснула, теперь, когда она проснется, уже являясь безработным. Мука, вероятно, опять подорожала... Да, собственно, и все так, верно? Но здесь сейчас вот так уснуть и проснуться только через три года... Невозможно себе даже представить, от удивления рот разинешь...

Это была фантастическая идея! Сегодня в Москве уснуть и проснуться только через три года! Сколько всего нового появится, когда такой уснувший пробудится!

На станции метро «Кировская» я покинул своего спутника. Длинный эскалатор вынес меня из подземелья на дневной свет. Передо мной лежала улица Кирова. Еще недавно — десять дней назад — я ехал по ней на трамвае. Трамвай трогался, но часто останавливался, потому что ему постоянно мешали машины, повозки и тысячи пешеходов. Трамвай двигался по улице, как пробка в бутылке, и, верный этому образу, как правило, застревал в горлышке.

А теперь я смотрю и вижу: вытащили пробку из горлышка бутылки! Сняли трамвай. И не осталось даже никаких следов от рельсов. От этого улица совершенно изменилась: стала более широкой, свободной. Автобусы уже ездят по свежему асфальту, натягивают провода для новой линии троллейбуса, который способен маневрировать, как крейсер, поднимающийся над волнами пешеходов и машин.

Я вспоминаю незнакомца, с которым разговаривался в метро. Если бы я заснул десять дней назад и сегодня бы пробудился, если бы я не видел, как при свете ламп ночью отвозили рельсы и как двадцать катков разглаживали асфальт, то сегодня я сконфуженно и безуспешно искал бы улицу Кирова. Я не узнал бы ее. А прошло всего лишь десять дней

Я останавливаюсь перед красивым светлым зданием, которое на этом бульваре ни разу не видел. Помню только одно: четыре месяца назад здесь стояли покосившиеся, старые домишки, которые чудом не сгорели в той торжественной Героновской «алюминации», которой Москва «приветствовала» Наполеона.

Потом здесь появилось много людей, выросли строительные леса. Говорили, что строят школу. И теперь она уже стоит. За четыре месяца! И таких зданий выросло в Москве за четыре месяца семьдесят два. Если бы я уснул четыре месяца назад...

А тут рядом — снова строительные леса. Над ними развевается красный флаг, и на транспаранте написано, что план будет выполнен полностью и в срок. План строительства новых жилых домов. В течение полугода в Москве будет построено сто сорок жилых домов, каждый приблизительно в четыре тысячи квадратных метров жилой площади. За полгода! Если бы я на полгода уснул...

Дворец. Прекрасный, величественный современный дворец на улице Воровского. Его я раньше тоже никогда не видел. Но строительство его я видел. Вероятно, это было восемь-девять месяцев назад. Здесь братья Веснины строили новый театр. И через неделю состоится его открытие. Если бы я...

Всюду идет строительство, создаются строительные площадки, закладываются фундаменты. Москва — это название самой великой стройки мира. Иностранец, который этого не понимает, испытывает растерянность, смущение. У него огромные впечатления, но он не может с ними совладать, когда попадает на кривую улочку с низкими домишками, смотрящими на него маленькими окнами. Но когда он привыкнет, то перескакивает лужи на раскопанных улицах с легкостью инженера-строителя, радуясь, что именно эти лужи он вытеснит с улиц своим асфальтом. Мне кажется, что здесь все мы чувствуем себя строителями, имеющими право гордиться своей стройкой, благодаря которой Москва из большой деревни превращается в прекрасный город. Бедная Патриция Магуайр, которая могла бы проспать в московском метро такую стройку! Она проснулась бы совсем в новом городе. Заблудилась бы в нем...

Но почему она должна была бы заблудиться?

Москва строится по плану. И это не фантастика. Уже можно создавать путеводитель по Москве, чтобы не заблудился тот, кто уснет и проснется через три года.

Пройдемте по улице Горького. Это центральная улица. На ней тесно, она слишком узка. Восемнадцать — двадцать метров. Через три года она станет в два раза шире. Посмотрите сегодня на старые, обшарпанные домики с правой стороны между Охотным рядом и проездом Художественного театра. Вы видите их в последний раз. Они будут снесены, и за их бывшими дворами поднимутся новые жилые дома. А потом попрощайтесь и с такими же домиками на левой стороне улицы.

И с историческим зданием Московского Совета?

Нет, его вы увидите и через три года. Только отодвинутым на двадцать метров дальше. Этот исторический колосс будет просто перенесен, как в сказках «Тысячи и одной ночи» делали добрые джинны. А здесь это сделают советские инженеры и рабочие.

Далее вы проедете мимо Триумфальной площади и мимо просторной площади Белорусского вокзала по широкому, двадцатиметровому Ленинградскому шоссе, между новыми домами к новым великолепным водным стадионам в Покровском-Стрешневе и Серебряном бору...

Вы поедете троллейбусом. Нет, его не надо долго ждать. Сегодня в Москве только пятьдесят троллейбусов. Через три года, когда вы проснетесь, их станет уже тысяча. Можно ехать и трамваем. За время, пока вы будете спать, уложат сто километров новых трамвайных путей.

Изменится, конечно, не только улица Горького. Вся Москва меняется вот так. И Москва-река изменится. Вы еще увидите ее старые заболоченные берега, на которых валялись всякие отбросы и мусор. Сегодня монументальная гранитная набережная тянется на восемнадцать километров. А через три года гранит уже покроет восемьдесят шесть километров берегов Москвы-реки.

Вы увидите сотни и сотни новых домов. За последние шестнадцать лет, после того как Москва стала столицей государства, в ней было построено три миллиона квадратных метров жилой площади. Столько же будет построено в Москве теперь, за ближайшие три года.

А если бы вы вдруг проснулись через десять лет... Сегодня Москва насчитывает пятнадцать миллионов квадратных метров жилой площади. За ближайшие десять лет будет построено... также пятнадцать миллионов. В течение ближайших десяти лет вырастет еще одна Москва. Появится много общественных зданий. В первую очередь школ. В Москве за все долгие годы ее существования было построено 358 школ. За три ближайших года будет построено еще... 390 новых школ.

За три года, пока уснувший пробудится.

Ну, люди, скажите, кому хотелось бы здесь проспать такие три волшебных года созидания? Мне всегда казались бесконечно грустными те сказки, в которых рассказывалось, как человек думал, что проспал один день, а на самом деле пролетела целая человеческая жизнь. Какое отчаяние должен был испытывать человек, который проспал бы целую великую эпоху!

Нет, благодарю вас, незнакомый гражданин в метро! Я не принимаю ваше фантастическое предложение.

«Руде право», 1935 год.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

100 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого

СЕРГЕЙ ГЕРАСИМОВ,
народный артист СССР



ВДОХНОВАЮЩИЕ СТРАНИЦЫ

СЯ знал Алексея Николаевича Толстого еще по ленинградской поре. Тогда, в начале 20-х годов, вернувшись на родину, он вызвал среди ленинградской интеллигенции необыкновенный интерес к себе — художнику и человеку, в чьей судьбе отразились столь многие черты эпохи... В то время мне не привелось близко с ним познакомиться, хотя были короткие встречи, мимолетные разговоры, в которых обычно человек не может сколько-то раскрыться. Позже, в Москве, мы встречались с ним значительно чаще, чем в Ленинграде. Но по-настоящему я узнал, а узнав, полюбил его, когда прочитал «Детство Никиты» и дальше все, что он написал за свою жизнь.

Что привлекло в Алексее Толстом (да и ныне привлекает и будет привлекать, вероятно, еще многие и многие поколения)? Способность увлекаться самому предметом создаваемого произведения, заражая увлеченностью этой и своих читателей.

Увлеченность предметом завещана литературе, видимо, самой ее природой. Конечно, есть книги, в которых преобладают холодный анализ, отвлеченные сентенции по тому или иному поводу, но едва ли такие книги представляют действительный актив мировой литературы. Сама жизнь литературы, как видно, ведет свою постоянную селекцию.

Книгам Алексея Николаевича Толстого суждено долго жить. Толстой был в высшей степени одарен чувством реального и пониманием жизненных связей в их са-

мых сокровенных, тайных, нелегко распознаваемых чертах. Он очень точно и живо воспринимал реальный мир, окружавший его. По своей природе Алексей Толстой был, если так можно сказать, инстинктивным диалектиком, и это проявлялось с его первых шагов в литературе, задолго до того, как он стал уже сознательным, убежденным диалектиком — автором «Хождения по мукам», романа, в котором писатель ведет речь о том самом времени, где диалектическое мирозерцание становится, по сути говоря, основой всего нашего — и читательского и писательского — подхода к миру вещей. Такой подход является нашим главным богатством и резко выделяет нас на фоне современной мировой литературы.

Нас за это могут сколько угодно ругать идеологические оппоненты, а уж прямые враги тем более, но от этого ничего не изменится.

Понимать жизнь в ее реальных противоречиях и не только удивляться этому, но и наслаждаться этим — жизнью, движением, развитием — учит нас вся наша великая русская литература, вошедшая в духовную мировую сокровищницу навечно как пример глубокой и искренней связи писателя с миром. Отзывчивостью своей русская литература не имеет себе равных. Может быть, здесь я, как патриот, заблуждаюсь, но хотел бы при этом заблуждении и остаться.

Отсюда берет свои истоки и творчество Алексея Толстого, и уже в «Хождении

по мукам», в его романе «Петр Первый» это общее для всей классической русской литературы диалектическое мироощущение звучит с необыкновенной силой. Алексей Толстой еще раз подтвердил для меня уже теперь совершенно бесспорную закономерность связи макро- и микромира в литературном творчестве, показав свое умение работать инструментом самого общего масштаба и тончайшим инструментом отделки, которым и создавалась каждая его литературная строка.

В «Хождении по мукам» через конкретные судьбы людей писатель сумел ощутить масштаб русской революции; через тончайшие движения их души передать на лучших страницах романа огромность потрясения, какое принес в мир Октябрь; через живое дыхание связанных между собой тесными семейными узами людей обнаружить гигантские просторы революционных событий.

Всей своей очень жадной, очень влюбленной в жизнь душой Алексей Толстой прекрасно чувствовал пульс времени своего и дальнего, отнесенного на триста лет назад. Вот это-то и позволило ему наполнить свой замечательный роман «Петр Первый» живой плотью и теплой кровью.

Алексей Толстой раскрывает Петра в существе самого петровского характера. Из всего прочитанного мною о Петре (а пришлось прочитать многое, на подступах к своей картине «Юность Петра» я шел по пути Алексея Толстого в изучении исторических материалов) осталось впечатление огромности характера Петра, грандиозности его личности. И, конечно, главным материалом, главным источником были при этом тексты Пушкина. Для Алексея Толстого влюбленность Пушкина в Петра оказалась в значительной степени руководящим началом в работе, а вслед за ним и для нас, пытавшихся создать кинематографическую версию романа.

Вокруг имени Петра бушевали и, очевидно, будут долго бушевать страсти — я имею в виду историографическую сущность вопроса. Для наших русских историков — Устрялова, Соловьева, еще от Карамзина начиная — главным в Петре было то, что он государь, царь, значит, о нем и надо писать так как полагается писать о царе, — царь есть царь.

Мне привелось прочитать одну интереснейшую книгу ин-странные гости, купцы, послы ученые, призвавшие к Петру, пишут о Петре и его эпохе. Чего там только нет! Описывают Петра восьмым чудом света: гигант двухметровой высоты, долговязый, странный, с неожиданным ритмом. не

укладывающимся в понятие царь, король. Что-то совершенно сказочное! Или взять, например, книгу Валишевского. В своем толстом томе, посвященном Петру, ничего, кроме грязных анекдотов о кровожадном деспоте-императоре, он не рассказал. В таком-то аспекте он силился показать историю Петра! Она, вероятно, такой и представлялась иным иностранцам, для которых история России — дело чужое, а царь Петр — фигура непознаваемая.

Конечно, работая над фильмом о Петре, можно было бы попутно использовать и сочинения, в которых Петр показан кровожадным деспотом, но ничего, кроме худых последствий, от этого не было бы. Пристрастие ко всякого рода экстремальным ситуациям, где льется кровь, где люди безумствуют, теряют облик человеческий, ныне распространилось широко, стало ходовой разменной монетой буржуазной эстетики. Там, на Западе, всяческого рода ужасы показываются с большой охотой в литературе, а более всего в кинематографе, где все это приобретает страшную конкретность видимого.

Как я сам отношусь к Петру — предмету моей любви и литературной и кинематографической? Да, стрелецкая казнь была. Способен ли я забыть ее, вычеркнуть, обойти молчанием? Нет. Но наслаждаться вот этой кровожадностью Петра... Нет, не понимаю. Алексею Толстому иной раз ставят в вину, что он как бы не то что идеализировал, но поотчистил, поотмыл Петра от крови, в которой царь, естественно, во многом был повинен. Но писатель сознательно не хотел показывать Петра таким. И мы в работе над фильмом в раскрытии характера Петра тоже вполне сознательно выбрали путь Алексея Толстого.

Сделать фильм о Петре было давнишней моей мечтой. Родилась она еще в то время, когда Владимир Петров работал над первой версией экранизации романа «Петр Первый» с автором, с Алексеем Николаевичем. Своим фильмом я ни в коей мере не собирался опровергать работу Петрова. Она очень хороша. А как у него играет Симонов! Есть что вспомнить. Но и тогда я не мог понять, почему в картине совершенно опущена тема борьбы Петра за трон, за власть, за утверждение самого себя как личности, тема которая занимает в романе Толстого главенствующее место. И я попытался эту тему выявить в фильмах «Юность Петра» и «В начале славных дел».

Юность Петра. Период, когда формировался его характер. Как это написано на

удивительных страницах неоконченного романа Алексея Толстого! И все-таки читатели привыкли считать роман окончанным, потому что все, что Толстому удалось написать о Петре, что попало в его поле зрения, уже достаточно полно, я бы сказал, исчерпывающе раскрывает петровскую натуру. Ведь не в том же дело, чтобы написать судьбу человека от рождения до смерти, а в том, чтобы распознать в судьбе самые главные ее вехи и выразить все это с такой художественной силой, на какую оказался способен Алексей Толстой. А любовь Толстого к Петру видна во всем — и в том, как он описывает его поступок, движение, интонацию.

Интонация романа... Можно ли ее уловить, передать в фильме — вот над чем я раздумывал и что было для меня дороже всего. Интонация самого автора была, конечно же, влюбленная... Влюбленная... И это касается всего: и описания жизни ребенка, и первой, юношеской любви, и первых сражений Петра со старым расейским укладом, и первых битв с врагами иноземными. Это касается и труда. Любого вида труда, ибо труд и только труд, основа жизни человеческой, помог Петру перестроить, переродить Россию.

А как он описывает всю историю отношений двух парней — царя и холопа, который потом вырастает в полудержавного властелина (я имею в виду Меньшикова): там же каждое слово, каждый эпизод — сама правда, сама жизнь!

Во всех исторических сочинениях о Петре, что довелось мне прочитать, рядом с царем фигура Меньшикова. Так что нельзя сказать, что в своем романе Толстой превысил роль Меньшикова, по сути говоря, сделав его с ранних лет второй фигурой в государстве. Он, видимо, таким и был. Даже из посторонних взглядов на русскую историю все-таки получается, что первое чудо, конечно, Петр, но Меньшиков — чудо второе. И по своей судьбе и по своей натуре — хитрости, ловкости, по тому блеску, каким он сумел окружить себя с самого начала, испытывая к себе самому восторг, который, сопутствуя ему в течение всей жизни, и привел, как известно, к катастрофе, когда разом все рухнуло. Меньшиков Алексей Толстой написал таким, каким он и был в жизни, со всеми его противоречиями, но это — личность. Личность

Как воплотить все это в кинематографе? Естественно, что для режиссера такая задача может стать мечтой всей его жизни. И только прожизненная жизнь в

кино, я позволил себе попытаться наконец подойти к ней. И тут главным было для меня передать средствами кино не столько саму историю, сколько суть книги Алексея Толстого — донести ее до зрителя.

Трудно обвинить современную молодежь, когда она тянется к телевизору, предпочитая книге фильмы. Само время предложило им такую облегченную форму познания. Так просто! Включил, сел поудобнее — и вдруг с тобой заговорили умные люди, и книги открылись тебе в таком легком, удобном варианте. Как часто приходилось слышать: «Я книгу не читал, зато фильм смотрел». И уже уверен, что все знает. Но книга — это совершенно неповторимое дело! Ведь она требует от человека игры ума, фантазии, душевной отдачи. Она обогащает личность. А экранизация? Минуй книгу, человек смотрит фильм, только поглощая, разжеванное проглатывая... А где усилия мысли, труда души?!

Приступая к экранизации романа, я всегда думаю: как привлечь человека к книге, как зрителя сделать читателем? Когда я поставил «Красное и черное», появилось четыре переиздания этого романа, произведение узнал самый широкий зритель и потянулся к нему.

Вытесняют большую литературу и всякого рода бестселлеры, потому что это и завлекательно и читается быстро. А на чтение большой литературы времени не остается. Но когда удается заинтересовать зрителя фильмом по книге, тут он уже сам хочет узнать: ну-ка, а как это было написано? И читают, а потом письма пишут: «Знаете, очень похоже на то, что вы сделали в фильме. А вот иные режиссеры названия книги оставляют, а придумают нечто другое. Читаешь и удивляешься: откуда они это все взяли, ничего в книге подобного нет». Я могу понять суровую критику подобных кинематографических усилий. Она совершенно справедлива. Такое отношение к литературе — позор кино! «У него написано так, а у меня будет иначе, какая разница...» Ну и пиши сам, не прикасайся тогда к великому имени! Писатель, если ты уж берешься экранизировать его произведение, заслуживает того, чтобы быть понятым кинематографистом, чтобы режиссер видел, как писатель раскрывает картину мира, по каким признакам, по каким законам он это делал.

Для меня кинематограф — ожившая книга. И когда я делаю экранизацию, главным ключом в художественных поисках всегда является мироощущение писателя. Я хочу

увидеть произведение так, как оно было увидено писателем. Хочу передать на основе зрительных впечатлений конкретную среду, в которой действуют его герои.

Я спрашивал друзей-писателей, видят ли они сначала то, что описывают. И все за исключением одного ответили: «Да, видим». И я по себе это знаю: когда сам пишу что-то, я прежде всего вижу то, что описываю, чаще всего это какие-то родные, ведомые только мне картины жизни, которые прожили вместе со мной в моем сознании начиная от детства до сегодняшнего дня. Все — вплоть до запахов, до ощущения температуры. И в этой полноте образного мира великое преимущество литературы перед всеми другими видами искусства.

Экранизация — часто результат подспудных желаний, даже неосознанных, спрятанных до поры до времени, желания высказаться по вопросу, который родила та или иная книга, используя эту книгу. Но только не надо ее переосмысливать. Надо дать ей какую-то другую, вторую жизнь, воплотить ее в кинематографе и не забыть при этом, что до конца исчерпать большую литературу нам все равно не дано: она безгранична в своих возможностях, ибо человеческое воображение может представить и воспринять все, что имел в виду писатель, а кинематографу в литературе принадлежит лишь часть, а не целое. Но если мы своей работой приводим зрителя к книге, это благородная, большая цель сама по себе — дать книге вторую жизнь.

Об этом обо всем мы думали, когда приступали к работе над «Петром Первым». И тут прежде всего надо было найти главного исполнителя. Мы нашли его после длительных розысков — я имею в виду Дмитрия Золотухина, выпускника школы Художественного театра. Митя Золотухин, оказалось, тоже был влюблен в Петра, а это очень важно, без этого ничего нельзя сделать, ибо совершенно бесплодная затея — просто «вычислить», как надо сыграть Петра, это невозможно! Тут надо, как говорил Лев Толстой, быть зараженным самому и уметь заразить людей своим отношением к тому, что ты делаешь. И все это в Золотухине как раз обнаружилось. Он понимал неуклюжие, часто ранящие, пугающие людей проявления характера Петра: проявления удивительной страсти, которая была заложена в этом характере, часто гневливом, неизменно влюбленном во что-либо, что поражало его пытливым ум; жгучая потребность все узнать; жадность невероятная ко всему,

что являлось предметом его интересов. А интересы у Петра были предельно широки. За всем этим стояла конкретика самого романа. Поэтому мы говорили всем, работающим с нами: «Читайте роман! Читайте роман!»

На мое счастье, у меня были прекрасные соратники, в этом смысле оказавшиеся людьми творческими. Все они были увлечены историей Петра, самим Алексеем Толстым. Я имею в виду не только актеров и операторов, но и гримеров, и костюмеров, и художника по костюмам, которые бесконечно много сделали для этой картины, и художников, выполнявших декорации: легко сказать — восстановить облик России XVII века!

Многое мы снимали в настоящем Кремле. Нам с щедростью открыли петровские теремные покои, где мы и сняли все основные сцены в Золотой палате, в трапезных и опочивальнях. То обстоятельство, что мы снимали в настоящем Кремле, поставило всех как бы на правильный регистр — мы входили в святая святых русской истории. А уважение к предмету своего творчества, с моей точки зрения, — всему начало. Учились мы этому, конечно же, прежде всего у Алексея Толстого — уважению, трепетному отношению к истории России, ее событиям, ее героям.

Алексей Толстой завещал нам значительно больше, чем просто описание фактов, историческую оценку или чисто литературное описание. Он сумел создать петровскую среду с необыкновенной тщательностью и точностью: я видел все, чувствовал запахи, ощущал температуру быта и событий, то есть тепла, не только рождаемого солнцем, а и тепла от угарного жара натопленных печей; чувствовал, как среди сундуков, тяжелых одежд боярской патриархальщины возникает дух петровского протеста, которому эти шубы тесны, ему жарко, душно, он жаждет выйти, вырваться из этой одежды, духоты, паутины. Открытый ворот его рубах — совсем не стремление опроститься и пойти вместе с народом, что Петру было совершенно несвойственно — он был царем до мозга костей. Но царем, тесно связанным с окружающим его миром, который он столько же ненавидел, сколько и любил, и столько же любил, сколько и ненавидел, — вот в этом как раз вся диалектика петровского характера и заложена.

Петр для Алексея Толстого был средоточием русской истории. Великий Октябрь с его гигантской ломкой, с полным опровержением старого мира, всего, что меша-

ло движению, росту, потребовал от Алексея Толстого точного определения — что должно быть отброшено, сметено и что остается с нами в истории прошлого. И тут Петр сыграл роль катализатора истории, проходя через который история становилась гуще, острее, ибо борьба Петра, его реформы тоже были революцией. Петр менял облик России. И через триста лет у Толстого этот гигантский исторический процесс обретает живую плоть.

Исследуя в течение долгой своей работы над фильмом роман Алексея Толстого, я думал: в чем же секрет этой удивительной книги? Да как раз в том, что там нет безликих процессов! С огромным трудом и вдохновением — Алексей Толстой был очень вдохновенный писатель — он описал множество личностей, вдавнув их в мас-

штабы гигантского исторического процесса. Здесь нужен был талант Алексея Толстого, чтобы словами, посредством языка, удивительного языка, выразить сложное, спрятанное, скрытое, тайное. Он этим владел вполне. Я говорю несколько полемически, потому что существует среди некоторых писателей, выражаясь канцелярским словом, недооценка вклада Алексея Толстого в огромное богатство отечественной литературы. А ему оказался соразмерен масштаб Петра! Ему Петр пришелся по руке, в высшей степени пришелся по руке — вот такое ощущение тебя не покидает, когда читаешь роман. У Толстого все живет. Все движется. Его вклад в отечественную классику велик. Естественно, не только «Петром Первым». Но «Петр Первый», с моей точки зрения, — вершина.

Л. ФИНК,
доктор филологических наук



ЭПИЧЕСКИЙ МАСШТАБ

В памяти читателей А. Н. Толстой продолжает жить прежде всего как эпический писатель, автор трилогии «Хождение по мукам». Здесь его уроки наиболее наглядны. А. Н. Толстой — художник, чьи произведения давно и заслуженно признаны классикой социалистического реализма. А. Н. Толстой — теоретик, глубоко обобщающий новаторский художественный опыт социалистического искусства.

«Вместе с Октябрем ворвался в литературу образ народа», — писал он. Эпос нового времени потребовал исследования взаимоотношений объективного мира и активно действующей личности. В центре эпического изображения оказалось не растворение личности в массовом и коллективном, а ее творческие поиски, продиктованные жаждой познания мира и воздействия на него. Это и определило основные особенности советского эпоса. Он объективен и диалектичен, ибо выявляет как историческую обусловленность, так и историческую активность личности.

Но эпос непременно захватывает и сферу сокровенной душевной жизни персонажей. «Меня могут упрекать в чрезмерной эпичности», — пишет А. Н. Толстой, — но происходит она не от безразличия, а от любви к жизни, к людям, к бытию». «Чрезмерная эпичность», строгая объективность повествования рождается доверием к жизни и становится формой выявления авторской активности, авторской оценки действительности. Недаром А. Н. Толстому принадлежит и такое признание: «Хождение по мукам» — это хождение совести автора по страданиям, надеждам, восторгам, падениям, унынию, взлетам — ощущение целой огромной эпохи...» Все это скрытое присутствие автора (его позиции, точки зрения, пафоса) —

характерная черта советской эпопеи, сливающей верность исторической правде с партийной убежденностью, истинной страстностью утверждения ленинских принципов.

Вдумываясь в причины успеха А. Н. Толстого как эпического писателя, необходимо сказать, что его собственный путь был сложным и трудным. Россию в годы решающих переломных событий изображал художник, в судьбе которого социальные катаклизмы века отразились самым непосредственным образом. А. Н. Толстой писал не только о единстве судьбы народной и судьбы человеческой — в эту пушкинскую формулу третьим неотделимым звеном входила личная авторская судьба. Наверное, и поэтому изображение пути, движения, перемен стало самой сутью толстовского творчества.

В. И. Ленин, конспектируя книгу Гегеля «Наука логики», сделал следующий вывод: «Обычное представление схватывает различие и противоречие, но не **переход** от одного к другому, а это самое важное». Именно с этих позиций можно выявить истинное значение эпопеи «Хождение по мукам», ибо социальные, политические, психологические переходы там прослежены основательно, глубоко и многосторонне. Движение истории в романе не схематизировано, не упрощено, и в то же время отдельные эпизоды не обособлены, не отъединены от исторической магистрали. Их внутреннее сцепление основано на неприменном жанровом принципе: эпопея объединяется в одно художественное целое наличием центральной мысли, имеющей общенародное значение, выражающей существенные проблемы времени.

«Хождение по мукам» — летопись революции и гражданской войны, летопись, вдохновленная и сцементированная мыслью

удивительных страницах неоконченного романа Алексея Толстого! И все-таки читатели привыкли считать роман оконченным, потому что все, что Толстому удалось написать о Петре, что попало в его поле зрения, уже достаточно полно, я бы сказал, исчерпывающе раскрывает петровскую натуру. Ведь не в том же дело, чтобы написать судьбу человека от рождения до смерти, а в том, чтобы распознать в судьбе самые главные ее вехи и выразить все это с такой художественной силой, на какую оказался способен Алексей Толстой. А любовь Толстого к Петру видна во всем — и в том, как он описывает его поступок, движение, интонацию.

Интонация романа... Можно ли ее уловить, передать в фильме — вот над чем я раздумывал и что было для меня дороже всего. Интонация самого автора была, конечно же, влюбленная... Влюбленная... И это касается всего: и описания жизни ребенка, и первой, юношеской любви, и первых сражений Петра со старым расейским укладом, и первых битв с врагами иноземными. Это касается и труда. Любого вида труда, ибо труд и только труд, основа жизни человеческой, помог Петру перестроить, переродить Россию.

А как он описывает всю историю отношений двух парней — царя и холопа, который потом вырастает в полудержавного властелина (я имею в виду Меньшикова): там же каждое слово, каждый эпизод — сама правда, сама жизнь!

Во всех исторических сочинениях о Петре, что довелось мне прочитать, рядом с царем фигура Меньшикова. Так что нельзя сказать, что в своем романе Толстой преувеличил роль Меньшикова, по сути говоря, сделав его с ранних лет второй фигурой в государстве. Он, видимо, таким и был. Даже из посторонних взглядов на русскую историю все-таки получается, что первое чудо, конечно, Петр, но Меньшиков — чудо второе. И по своей судьбе и по своей натуре — хитрости, ловкости, по тому блеску, каким он сумел окружить себя с самого начала, испытывая к себе самому восторг, который, сопутствуя ему в течение всей жизни, и привел, как известно, к катастрофе, когда разом все рухнуло. Меньшиков Алексей Толстой написал таким, каким он и был в жизни, со всеми его противоречиями, но это — личность. Личность

Как воплотить все это в кинематографе? Естественно, что для режиссера такая задача может стать мечтой всей его жизни. И только прожив немалую жизнь в

кино, я позволил себе попытаться наконец подойти к ней. И тут главным было для меня передать средствами кино не столько саму историю, сколько суть книги Алексея Толстого — донести ее до зрителя.

Трудно обвинить современную молодежь, когда она тянется к телевизору, предпочитая книге фильмы. Само время предложило им такую облегченную форму познания. Так просто! Включил, сел поудобнее — и вдруг с тобой заговорили умные люди, и книги открылись тебе в таком легком, удобном варианте. Как часто приходилось слышать: «Я книгу не читал, зато фильм смотрел». И уже уверен, что все знает. Но книга — это совершенно неповторимое дело! Ведь она требует от человека игры ума, фантазии, душевной отдачи. Она обогащает личность. А экранизация? Минуй книгу, человек смотрит фильм, только поглощая, разжеванное проглатывая... А где усилия мысли, труд души?!

Приступая к экранизации романа, я всегда думаю: как привлечь человека к книге, как зрителя сделать читателем? Когда я поставил «Красное и черное», появилось четыре переиздания этого романа, произведение узнал самый широкий зритель и потянулся к нему.

Вытесняют большую литературу и всякого рода бестселлеры, потому что это и завлекательно и читается быстро. А на чтение большой литературы времени не остается. Но когда удастся заинтересовать зрителя фильмом по книге, тут он уже сам хочет узнать: ну-ка, а как это было написано? И читают, а потом письма пишут: «Знаете, очень похоже на то, что вы сделали в фильме. А вот иные режиссеры названия книги оставляют, а придумают нечто другое. Читаешь и удивляешься: откуда они это все взяли, ничего в книге подобного нет». Я могу понять суровую критику подобных кинематографических усилий. Она совершенно справедлива. Такое отношение к литературе — позор кино! «У него написано так, а у меня будет иначе, какая разница...» Ну и пиши сам, не прикасайся тогда к великому имени! Писатель, если ты уж берешься экранизировать его произведение, заслуживает того, чтобы быть понятым кинематографистом, чтобы режиссер видел, как писатель раскрывает картину мира, по каким признакам, по каким законам он это делал.

Для меня кинематограф — ожившая книга. И когда я делаю экранизацию, главным ключом в художественных поисках всегда является мироощущение писателя. Я хочу

увидеть произведение так, как оно было увидено писателем. Хочу передать на основе зрительных впечатлений конкретную среду, в которой действуют его герои.

Я спрашивал друзей-писателей, видят ли они сначала то, что описывают. И все за исключением одного ответили: «Да, видим». И я по себе это знаю: когда сам пишу что-то, я прежде всего вижу то, что описываю, чаще всего это какие-то родные, ведомые только мне картины жизни, которые прожили вместе со мной в моем сознании начиная от детства до сегодняшнего дня. Все — вплоть до запахов, до ощущения температуры. И в этой полноте образного мира великое преимущество литературы перед всеми другими видами искусства.

Экранизация — часто результат подспудных желаний, даже неосознанных, спрятанных до поры до времени, желания высказаться по вопросу, который родила та или иная книга, используя эту книгу. Но только не надо ее переосмысливать. Надо дать ей какую-то другую, вторую жизнь, воплотить ее в кинематографе и не забыть при этом, что до конца исчерпать большую литературу нам все равно не дано: она безгранична в своих возможностях, ибо человеческое воображение может представить и воспринять все, что имел в виду писатель, а кинематографу в литературе принадлежит лишь часть, а не целое. Но если мы своей работой приводим зрителя к книге, это благородная, большая цель сама по себе — дать книге вторую жизнь.

Об этом обо всем мы думали, когда приступали к работе над «Петром Первым». И тут прежде всего надо было найти главного исполнителя. Мы нашли его после длительных розысков — я имею в виду Дмитрия Золотухина, выпускника школы Художественного театра. Митя Золотухин, оказалось, тоже был влюблен в Петра, а это очень важно, без этого ничего нельзя сделать, ибо совершенно бесплодная затея — просто «вычислить», как надо сыграть Петра, это невозможно! Тут надо, как говорил Лев Толстой, быть зараженным самому и уметь заразить людей своим отношением к тому, что ты делаешь. И все это в Золотухине как раз обнаружилось. Он понимал неуклюжие, часто ранившие, пугающие людей проявления характера Петра: проявления удивительной страсти, которая была заложена в этом характере, часто гневливом, неизменно влюбленном во что-либо, что поражало его пытливым ум; жгучая потребность все узнать; жадность невероятная ко всему,

что являлось предметом его интересов. А интересы у Петра были предельно широки. За всем этим стояла конкретика самого романа. Поэтому мы говорили всем, работающим с нами: «Читайте роман! Читайте роман!»

На мое счастье, у меня были прекрасные соратники, в этом смысле оказавшиеся людьми творческими. Все они были увлечены историей Петра, самим Алексеем Толстым. Я имею в виду не только актеров и операторов, но и гримеров, и костюмеров, и художника по костюмам, которые бесконечно много сделали для этой картины, и художников, выполнявших декорации: легко сказать — восстановить облик России XVII века!

Многое мы снимали в настоящем Кремле. Нам с щедростью открыли петровские теремные покои, где мы и сняли все основные сцены в Золотой палате, в трапезных и опочивальнях. То обстоятельство, что мы снимали в настоящем Кремле, поставило всех как бы на правильный регистр — мы входили в святая святых русской истории. А уважение к предмету своего творчества, с моей точки зрения, — всему начало. Учились мы этому, конечно же, прежде всего у Алексея Толстого — уважению, трепетному отношению к истории России, ее событиям, ее героям.

Алексей Толстой завещал нам значительно больше, чем просто описание фактов, историческую оценку или чисто литературное описание. Он сумел создать петровскую среду с необыкновенной тщательностью и точностью: я видел все, чувствовал запахи, ощущал температуру быта и событий, то есть тепла, не только рождаемого солнцем, а и тепла от угарного жара нагретых печей; чувствовал, как среди сундуков, тяжелых одежд боярской патриархальщины возникает дух петровского протеста, которому эти шубы тесны, ему жарко, душно, он желает выйти, вырваться из этой одежды, духоты, паутины. Открытый ворот его рубах — совсем не стремление опроститься и пойти вместе с народом, что Петру было совершенно несвойственно — он был царем до мозга костей. Но царем, тесно связанным с окружающим его миром, который он столько же ненавидел, сколько и любил, и столько же любил, сколько и ненавидел, — вот в этом как раз вся диалектика петровского характера и заложена.

Петр для Алексея Толстого был средоточием русской истории. Великий Октябрь с его гигантской ломкой, с полным опровержением старого мира, всего, что меша-

о том, что «мир будет нами перестраиваться для добра». А. Фадеев говорил уже на первом обсуждении трилогии, что главное в «Хождении по мукам» — «мощная картина народной борьбы». И эта картина становится особенно полной, убедительной и волнующей оттого, что в центре ее оказались судьбы «интеллигентных людей, не понимавших того исторического движения, в котором они — по воле или против воли — участвуют, вовлеченные в него, как песчинки». Контраст между мощью народа и очевидной слабостью этих «песчинок», изображение взаимоотталкивания и позднейшего притяжения, намагничивания «песчинок» силой исторического движения составляет особый, свойственный именно А. Н. Толстому подход к теме гражданской войны и определяет особенности его эпического мышления. Основные герои А. Н. Толстого сближаются с революционным народом в той мере, в какой постигают истину истории, и в то же время не могут не постигнуть ее в силу таких черт своего нравственного облика, как преданная любовь к родине и подлинная высокая интеллигентность, вызывающая у них ощущение кровной связи с народной судьбой.

Изображение грандиозных событий народной жизни, напряженного драматизма социальных битв органично сочетается у А. Н. Толстого с пристальным вниманием к психологии отдельного человека. Постигание самой сути эпохи, условно говоря, поиски души мира происходят одновременно с тщательным исследованием личности, мира ее души. И при этом жизнь героев эпопеи растворена в жизни народа, и А. Н. Толстой настойчиво говорит о них как о представителях массы.

В этой связи интересно отметить особую функцию многократного повторения эпитета «обыкновенные». Даша еще в дооктябрьские времена решительно говорит: «Я не собираюсь быть необыкновенной», а затем в степи у костра, в разгар гражданской войны, вполне определенно формулирует свои желания: «...я должна делать обыкновенное, благородное и нужное». Матросов, сражающихся в их отряде, Телегин определяет как «самых обыкновенных людей»... Количество таких примеров легко увеличит любой внимательный читатель, и эта авторская настойчивость несомненно подскажет необходимость основательного обдумывания мысли о человеческой «обыкновенности». Можно заметить, что тот же Телегин уверенно заявляет: «Революция... поднимает человека над обыденщиной». И другой спутник Даши, поп-расстрига Кузьма Кузьмич, раз-

мышляет о том, что «сильные люди всегда просты», и призывает «граждан командиров» «не отрывать революции от человека», ибо «в каждом человеке, если подойти к нему с любопытством», можно обнаружить «увлекательную и поэтическую повесть». По сути, движение сюжета многочисленными примерами подтверждает этот важнейший тезис А. Н. Толстого — мысль о том, что в обыкновенном человеке революционная эпоха раскрывает и душевное величие, и благородство, и красоту, и способность решать по справедливости важнейшие социальные проблемы.

Если пользоваться терминологией самого писателя, в центре его эпопеи — Бóльшой Обыкновенный человек. Масштабы его личности выявляются и сюжетно-событийным планом, и таким тонким инструментом, как психологический анализ, которым Толстой владеет в совершенстве. И здесь налицо взаимодействие разных способов строительства образа: сюжет выявляет место и роль личности в классовой борьбе, анализ позволяет судить о емкости и человеческой глубине самой личности. Согласно логике эпопеи верность и прогрессивность классовой позиции ведет к обогащению личности, к нравственному ее возвышению. И наоборот — реакционность, отстаивание антинародной политики, любой шаг в сторону политического ренегатства является одновременно и ступенькой деградации личности, угасанием ума и сердца.

Совокупность этих мыслей утверждается всем развертыванием эпического сюжета, сопоставлением судеб людей, близких к сестрам Булавиным. Сегодня, перечитывая эпопею, мы видим, как это исследование человека прошлого обращено в нашу современность, как жив и плодотворен гуманистический пафос утверждения цельности человеческой личности, силы любви, активности гражданской позиции.

Даша, Катя, Рошин, Телегин в разной степени противостоят старому бесчеловечному укладу и способствуют его уничтожению. Основные герои эпопеи, соединив свои судьбы с судьбой революционного народа, обретают наряду с гражданской и нравственную активность. Они уходят от прошлого навстречу таким людям, как Иван Гора и Агриппина Чебрец.

Значение эволюции образа Даши, одного из центральных в эпопее, станет особенно наглядным, если мы вспомним о ее предшественницах. В своем предреволюционном творчестве А. Н. Толстой противопоставлял дикому барству отнюдь не его социальных антагонистов, а поэтическое представление об истинной любви, вопло-

щенное в образах женщин чистых, честных, слабых и прекрасных. Был в этом демократический протест против архаичности, против модернистского смакования эротики. Был и своеобразный утопизм поисков высоких нравственных ценностей. Звали этих героинь по-разному — Верой Ходанской в «Мишуре Нальмове», Катей Волковой в «Хромом барине», Сонечкой Смольковой в «Чудаках». Но суть их была едина. Они ищут духовности и красоты, они способны беззаветно, нерасчетливо любить. Это натуры в иные моменты сильные, но и жертвенные, пассивные, созерцательные. Они противопоставляют чуждому миру не действие, направленное вовне, не поступок, способный что-то изменить, даже не осознанный протест, а собственное душевное состояние, чувство, настроение. Именно такой начинается свою жизнь Даша, которой суждено пройти воистину грандиозный путь и решительно измениться. В самом конце романа Телегин думает о Даше: «Какая сила духа у нее. Вечная борьба за обновление, за чистоту, совершенство...»

Катя и Роцин по-своему проделывают тот же путь, что и Даша, — от фальшивых и ложных ценностей к подлинному идеалу, от замкнутости и одиночества к народу. Особенно сложен путь Роцина. На первых порах ему кажется, что успокоение, красоту, счастье можно найти в чистой, беззаветной любви: «...пройдут года, утихнут войны, отшумят революции, и нетленным останется одно только — кроткое, нежное, любимое сердце ваше...» Так говорит он Кате, еще как бы не понимая, что только революция может расчистить дорогу к человеческой чистоте. Но вот он прошел через многие испытания. Сначала октябрьские бои в Москве, когда Роцин еще верит, что большевики открывают дорогу немцам и предадут Россию со всей ее великой историей. Потом Дон, куда Роцин принес иступленную ненависть к большевикам и вдруг обнаружил, что белогвардейские офицеры, которые «кровью купили право распоряжаться Российской империей», даже не скрывают, что жаждут в награду за пролитую кровь «барышень и пива». Страшный, потрясающий контраст между неограниченной палаческой жестокостью и животной ограниченностью притязаний...

В жизни Роцина начинается новая глава — уход от своего прошлого, поиски Кати, попытки «пронести через жизнь самого себя, свою независимость, свою гордость, свою печаль». Ему еще придется узнать абсолютную свободу анархистских

бандитов и наконец встретиться с большевистским комиссаром Чугаевым, с героической натурой — рабочей девушкой Марусей. Именно к Чугаеву Роцин обращает свои исповедальные слова: «Потерял в себе большого человека, а маленьким быть не хочу». Здесь же прозвучит его мечта о большом, гордом человеке. Тогда и начинается осуществление его мечты. Сражаясь в составе рабочего отряда, он вновь испытал чувство солидарности, любви к людям, оказался способен на сознательный героизм.

В Красной Армии Роцин обретает и родину и себя. Однажды Телегин даже любит в свете заката гордым лицом Вадима. Вовсе не случайно из уст Роцина мы услышим важнейшие итоговые слова: «Вся наша прошлая жизнь — преступление и ложь! Россией рожден человек... Человек потребовал права людям стать людьми. Это — не мечта, это — идея, она на конце наших штыков, она осуществима...» И не случайно эпопея завершается его же словами: «...какой смысл приобретают все наши усилия, пролитая кровь, все безвестные и молчаливые муки... Мир будет нами перестраиваться для добра...»

Монологи Роцина позволяют понять и еще одну очень важную особенность эпопеи А. Толстого — то, как определяется в этом объективном повествовании позиция автора. Ведь очевидно, что Роцину доверено высказать очень дорогие мысли А. Н. Толстого, мысли, к которым сам писатель пришел в результате собственной идейно-политической эволюции. Биография писателя не оставляет сомнений в близости героя и автора. Однако Роцин живет в романе вовсе не как рупор авторских идей, не как его alter ego. Это не лирический, а эпический герой. И все же он один выражает взгляды, идеалы и оценки автора. Еще К. Чуковский убедительно показал, что «у Ивана Телегина и у Алексея Толстого один и тот же фундамент характера: несокрушимое душевное здоровье и свежая, щедрая, «черноземная» сила». Однако самое примечательное, пожалуй, заключается в том, что толстовское отношение к жизни передают и многие другие персонажи, в личном плане достаточно отдаленные от автора, — Даша, Катя, Кузьма Кузьмич, Агриппина, Анисья. При этом между автором и героями нет промежуточной фигуры повествователя, они связаны между собой напрямую, непосредственно, и это увеличивает как меру объективности толстовского эпоса, так и степень сближения писателя и созданных им положительных об-

разов. Эту особенность важно подчеркнуть. У Достоевского, например, какие-то грани истины могли высказывать и персонажи, враждебные писателю. В «Хождении по мукам» к истине приходят именно сестры Булавины, именно те герои, которые помогают сестрам на их трудном пути.

Позиция автора выкристаллизовывается в процессе развития сюжета, высветляется ходом событий, движением самой истории и становится очевидной в результате сопоставлений судеб, характеров, мировосприятия и мировоззрения всех положительных героев. В одном из выступлений о киноленте «Петр Первый» А. Н. Толстой так определял свою манеру: «Мы хотим воздействовать на зрителя только при помощи художественных образов, не прибегая ни к каким разъяснениям, не допуская никаких натяжек. Поток пластических образов должен через эмоцию направить зрителя к правильному пониманию истории».

Позицию автора в «Хождении по мукам» отличает строгая ее выверенность, и эта сторона опыта А. Н. Толстого имеет принципиальное значение. Ход истории, события Октябрьской революции и гражданской войны подсказали писателю новаторское содержание эпопеи — изображение интеллигенции как социального слоя, внешне отдаленного от народа и в то же время неотделимого от него. Разрыв этих связей как причина «хождения по мукам» и их восстановление как путь к счастью — таков конечный смысл одиссеи четырех русских интеллигентов. При этом следует подчеркнуть: единая судьба четырех очень разных индивидуальностей, представляющих сходные социально-нравственные жизненные принципы, выступает как особый способ типизации. В «Хождении по мукам» события гражданской войны определяют судьбы сестер, но конкретные судьбы персонажей отбрасывают свет на целостный образ события. Гуманизм революционной борьбы доказывается не декларациями, а тем движением человеческих судеб, которое составляет суть эпоса, ибо передает реальный ход русской истории. Мысли о жизни доказываются или опровергаются самой жизнью, которая прежде всего выступает в логике сюжета. Субъективные оценки А. Н. Толстого присутствуют в конкрети-

ке, в плоти объективного отражения действительности, не теряя от этого ни истинности, ни страстности. «Мое „я“, — заметил писатель однажды, — должно быть „до конца растворено в образах и идеях“».

К творческому овладению таким принципом, составляющим самую суть эпического изображения жизни, А. Н. Толстой шел долгие годы. В фондах Куйбышевского литературного музея сохранилось об этом любопытное свидетельство. В июне 1901 года восемнадцатилетний юноша, видимо уже задумавшийся о будущей литературной деятельности, писал своему отчиму А. А. Бострому: «Отучаюсь думать и говорить только о самом себе... Помнишь, папа, давно, еще в Сосновке, ты отучал меня говорить «я» и начинал с этого местоимения фразы. Главное значение исправления этого недостатка заключается в том, что я, отвыкнув от постоянного самосозерцания, трезво могу взглянуть на окружающий мир, а ведь это необходимо хотя бы для того, чтобы писать»...

Впоследствии А. Н. Толстой и отучился говорить только о себе, и овладел способностью растворить свое «я» в образах, а главное — теоретически обосновал постижение чужой психологии как части окружающего мира. «...реализм изнутри (разрядка моя.— Л. Ф.) раскрывает внутренний мир человека, связанного с окружающей средой, как дерево корнями с питающей почвой». Это раскрытие изнутри Толстой прямо связывает с умением художника перевоплощаться, смотреть на мир с точки зрения персонажа и сочетать различные точки зрения, что он и называет мастерством композиции.

Автор непосредственно стоит за нравственными и политическими исканиями сестер Булавиных, Телегина и Рощина, не скрывая своего сочувствия к ним, своей веры в значительность их пути. Именно эта вера, составляющая неизменный подтекст трилогии, позволяет А. Н. Толстому выстраивать объективно-эпическое повествование. Уже в своей ранней декларации (1924 год!) А. Н. Толстой заявил, что задача литературы — «в страсти, в грандиозном напряжении создавать тип большого человека». Этому завету он остался верен до конца своих дней.

Л. АННИНСКИЙ



ПОЧВА. ВОЗДУХ. СУДЬБА

...один только есть цемент, одна связь, одна почва, на которой все сойдется и примирится...

Ф. Достоевский.

Все, что висит в воздухе и держится на ветру, должно в конце концов рухнуть...

Шолом-Алейхем.

...и дышат почва и судьба.

Б. Пастернак.

Читатель, знающий историю этих трех высказываний, может, конечно, принять соединение их за игру: слишком разными людьми произнесено, в слишком разных условиях, со слишком разными целями.

Однако читатель, знающий современное состояние нашей литературы, поймет смысл такого сопоставления. Слова, обозначившие в свой час творческую задачу того или иного художника, могут отделиться от своего часа и от своей ситуации. Они могут зажечь новую жизнь, символизируя процессы и ценности иной эпохи и иной реальности. Я вспоминаю их не затем, чтобы уйти в толщу времени, их породившего, а затем, чтобы понять происходящее сейчас — с нами, в нашей духовной реальности, в нашей литературе.

Это тем более интересно, что слова обладают огромной автономностью: огромной свободой и огромной инерцией. Говоря «почва», я имею в виду отнюдь не то, что сто двадцать лет назад вынашивалось в редакции одного недолгого санкт-петербургского журнала, и говоря «воздух» — отнюдь не то, что было сказано семьдесят лет назад о гешефтмахере из Касриловки. Я имею в виду то духовное содержание, которое накопили в этих словах прошедшие с тех пор времена, и прежде всего наше время. Хотя, конечно, след старых судеб в эти слова впечатан. Так ведь и **новые слова, сегодняш-**

ние, не вполне точно выявляют содержание вынашиваемых сегодня ценностей и отнюдь не исчерпывают их нынешнего объема.

Мы обозначаем те или иные реалии современного литературного процесса, имея в виду и фундаментальные ценности, за ними сокрытые и их определяющие. Только вот сами эти ценности не так просто определить. Может быть, потому, что фундаментальное в глубину беспредельно. Говоря «почва» или «воздух», я не определяю предмет. Скорее я обозначаю неопределимость его в терминах литературного обихода, в образах литературной сцены. Поэт всегда скажет об этом лучше теоретика: «Когда строку диктует чувство, оно на сцену шлет раба, и тут кончается искусство...»

Может быть, поэтому мне не хочется далее углубляться в общие рассуждения о том, что такое почва — опора для современного человека и какой ценой эта опора ему дается. Я попытаюсь показать это на конкретном примере. На примере писателя, который никогда не являлся певцом деревни, поэтом земли и почвы и много лет работал на материале, лишенном яркой национальной окраски. Что же до производственных романов, которые выходили у этого автора, то они как бы отделялись от прочих (и лучших) его повестей некими цеховыми перегородками: это про шоферов, а это про речников... — пока не наступил в его судьбе **момент, когда все эти жанрово-тематические**

перегородки пали. Они вообще построены на песке, эти литературные стенки. Впрочем, до песка тоже еще надо дострадаться.

Читатель понял, о ком пойдет речь — об Анатолии Рыбакове. Сочинения его, собранные в «четыре тома и выпущенные сейчас издательством «Советская Россия», позволяют кое-что связать в его творчестве. А главное — связать и соединить его судьбу с кардинальными процессами нашей литературы. С почвой, на которой растем, с воздухом, которым дышим.

Конечно, странно сейчас перечитывать ранние рыбаковские повести. Даже и «Кортик» знаменитый, в детскую классику вписанный, несколькими поколениями школьников хрестоматийно усвоенный. Не то чтобы устарело, нет, в прозе Рыбакова есть какой-то прочный, жесткий каркас, который не поддается ржавчине времени. Но это именно каркас, скелет. Ткань-то, конечно, стареет, и в том же «Кортике» на теперешний читательский взгляд предостаточно прописей своего времени. Видно, как в декорации 1923 года вписан положительный герой 1948-го — Тимур среди монстров нэпа; да еще сквозь крепкие линии детективного сюжета — попутные уроки пионерской морали; да еще популярные лекции на интересные темы из «кортиковедения», из истории российского флота, из истории литейного дела. Как чтение для подростка не стареет. И теперь читается легко, спорно. Я про другое: странно читать все это после «Тяжелого песка». После кровавой каши, где накрывает людей какая-то слепая, «статистическая», безглазая гибель. После хаоса гетто. После гекатомб, когда безмянно ложатся в яму тысячи. После всего этого ясная, четкая, прозрачно разгадываемая каллиграфия «Кортика» — штрих по розовому фону, все сходится, все следует одно из другого, все объясняется... Логика!

Рыбаков, кстати, потому и покорила читателей при счастливом своем дебюте в 1948 году, что вернул подростковой литературе, несколько разрыхлившей от благостной нравочувственности конца 40-х годов, жестковатую энергию структурно-осмысленного мира. Веру в осмысленность его. Это был в известном смысле поиск опоры. Опоры в логике. Действительно: в заштатном Ревске случайно нащупать под собачьей конурой кортик с шифрованной надписью и потом в Москве наткнуться на следы этой же истории, найти концы, связать, пройти по следу, угадать, попасть в точку — и не сбиться! Спрятаться в афишной будке в московском дворе и, наблюдая в дырку, разглядеть, что

делают в комнате злоумышленники, по их случайным разговорам около будки все расслышать, все распутать — это ж какими кристально логичными должны быть злоумышленники в своих разговорах и действиях и почему-то именно около будки и выбалтывать самое существенное! И чтобы ножны от кортика нашлись, и чтобы шифр совпал, и чтобы старуха вовремя проговорила — до чего же загадочно-разгадочен, до чего законосообразен художественный мир раннего Рыбакова, если возможны такие цепочки, такие далеко рассчитанные многоходовые комбинации!

Апофеоз этого фантастического разгадывания — ключевой эпизод из «Бронзовой птицы», когда вдумчивые пионеры находят тайник по эмблеме, нарисованной владельцем клада, собственно, по тому, как нарисована птица. Попутно урок орнитологии. Орлы бывают — беркуты, они же халзаны, могильники, курганники, они же степные. Ба, да это же намеки! Идем по речке Халзан, видим посреди степи курган — и выходим точнехонько на клад. Словесные знаки прямо совпадают с предметами совершенно другой реальности, орел «изображает» название речки, его голова намекает на скалу, а лапы — на могилу, то есть на склеп, то есть на клад, — слово клеится со словом, и по мостику таких умозаключений идут к цели отряды. Пионерская логика.

Положим, в «Бронзовой птице» все это уже на грани фокуса. Повесть, написанная в развитие «Кортика», отдает литературной инерцией. Для рыбаковских трилогий вообще характерна слабость в второго звена. Первая повесть — открытие; вторая шьется по образу первой — жанр опробован, материал лоснится от употребления, белые нитки торчат. Третья часть — преодоление мертвой точки. В Рыбакове есть какая-то литературная двужильность: вторую часть загоняет в схему; кажется, все исчерпал, а в третьей — неожиданно резко — выходит из схемы в совершенно новое измерение. Так, после «Бронзовой птицы» «Выстрел» переводит в принципиально новую плоскость трилогию о Мише Полякове: сквозь детективную историю со сцеплением причин-следствий проступает свинцово-тяжкая, «статистическая», неуправляемая жизненная закономерность. На первом плане хлост-нэпман; Миша его выслеживает, выводит на чистую воду; но оказывается, что главное дело не в этом. Мелкий бес будит крупного: хотят урвать чуть-чуть — срываются по-настоящему; перед глазами вертится какой-нибудь пижон Навроцкий; с ним, позером и фанфароном, сражается маленький желез-

ный Миша Поляков. Но все это фанфаронство вдруг куда-то проваливается, летит в небо, и из небытия встает зло, несоизмеримое с самим понятием принципа, какая-то инфернальная уголовщина. И перед нами уже не рационально-романтический, черно-розовый, светло-графичный Рыбаков 40-х и 50-х годов. Это 70-е Тяжесть. Неуловимая текучесть зла. Взорванная структура... песок.

Любопытно проследить по этой первой рыбаковской трилогии, так сказать, внешние метаморфозы зла. Сначала (в «Кортике», в «Бронзовой птице») это типологически прочные и плотные фигуры, взятые из учебника истории: белый офицер, нэпман, старуха помещица... В финале, в «Выстреле», за ясными и вынятыми фигурами — пустота. Пустое место. Дырка, серость, неразличимое пятно. Серый, Серенький — так зовут этого тихого убийцу, человека без лица, без имени, вообще без признаков, которого невольно вызвал из небытия кривляющийся на авансцене нэпман Навроцкий. Разваливается сцена, на месте четких кулис возникает безвидная мгла, «задняя комната», где сидят какие-то упыри — зло необъяснимое, фатальное, безлико-серое. Пролом в бездну... Рыбаков 40-х годов этого не видел — Рыбаков 70-х видит.

Возьмите трилогию о Кроше, цикл повестей, сделавший Рыбакова писателем 60-х годов, и вы найдете те же ступени поиска. И опять по той же модели. Первая повесть, «Приключения Кроша», — открытие типа, открытие жанра, открытие интонации. Мальчишка — скептик, остряк, иронист... Я не говорю, что Рыбаков вообще первый нашел этот человеческий тип, — его тогда открыли многие. Как и во времена «Кортика», Рыбаков откликнулся на зов времени. Но на новый зов. В конце 40-х годов он выдвинул фигуру Миши Полякова — вариацию гайдаровского Тимура. В начале 60-х — фигуру Сережи Крашенинникова, Кроша, крошки, «бебешки», который строит из себя наивного ребенка, в сущности издеваясь над дураками и жуликами. Конечно, это и продолжение излюбленной Рыбаковым темы — темы маленького борца, железного праведника, упрямого идеалиста, верящего в несокрушимую закономерность добра; но это вариант, глубоко отвечающий стилю и строю именно 60-х годов; юный герой задает взрослым каверзные вопросы, он прикрывает своєю романтическую веру шуточками и венчает повествование иронической фразой: «Где логика?»

Вторая часть — по той же фигуре треугольника — возникает как слабое отражение первой. «Каникулы Кроша» написаны по

инерции: герой продолжает острить; уголовный сюжет кое-как держит действие, но уже слабоват, вяловат; какие-то эстетствующие хлюсты спекулируют по мелочи; попутно нам читаются лекции о японской скульптуре; из-под этих игр смутно и невнятно проступает что-то недоброе, какие-то полузабытые предательства, совершенные в научном мире, но Рыбаков в эти бездны не углубляется, отделяясь кратким замечанием о времени, которое сильнее людей.

Но о том, что сильнее людей, ниже. И о третьей повести цикла, о «Неизвестном солдате», переломившем трилогию о Кроше к новому качеству, ниже. А пока о старом качестве. О логике, по которой действует Крош. В общем, это та же логика, по которой действовал Миша Поляков. Но нюансы знаменательны. Миша Поляков действовал в мире, законосообразность и объяснимость которого не вызывали и тени сомнений; Миша потому и действовал с такой уверенностью, на свой страх и риск пускаясь в поиски и расследования, что заранее знал: параллельно ему ту же работу делает сама логика, то есть ведут поиск те, кому следует его вести. Он знал: в решающий момент непременно появится откуда следует спокойный и пронизательный человек — товарищ Свиридов — и задержит преступников, выслеженных юным героем.

А Крош? Веселый озорник, любимец класса, мастер задавать каверзные вопросы — дитя 60-х годов! — он тоже уверен в конечной доброй логичности мира. И все же... помните ту ключевую сцену в первой повести, когда Крош (дело происходит в авторемонтных мастерских) убеждается, что слесарь Лагутин — вор. И Крош дает понять ему своей догадке, тонко намекает ему, мягко подсказывает в надежде, что Лагутин, опомнившись, вернет украденное и даже, знаете, в порыве чувств пожмет Крошу руку. Помните, какой мгновенный необъяснимый ужас испытывает Крош, когда Лагутин, спокойно и нагло глядя ему в глаза, говорит: а может, это вы крадете, а на других валите. Крош немеет, он привык распутывать головоломки и различать моральные нюансы, но он впервые сталкивается с прямым, тупым, холодным и наглым злом. Он теряется: перед ним что-то инфернальное, что-то по ту сторону логики, что-то такое, от чего кровь останавливается в жилах и почва уходит из-под ног.

Миша Поляков в таких ситуациях не терялся — он знал, что делать. Крош не знает. И это интересно объяснить. Суть в том, что в художественном мире второй рыбаковской

трилогии перестал ощущаться... товарищ Свиридов. Из-под логики, незримыми нитями прошившей мир, выдернулась основа, и Крош со своими вопросами несколько завис в воздухе. Конечно, справедливость восторжествовала, и история Сережи Крашениникова вышла к доброму финалу. Но тот мгновенный ужас, тенью прошедший по душе героя, когда он оказался наедине с силой, вообще не понимающей вопросов, когда на какой-то миг он, привыкший ощущать под ногами твердое основание, почувствовал, что там, под ногами, бездонность, вакуум, песок...

Теперь от подростковых трилогий Рыбакова я хочу перейти к его первым взрослым романам. Может быть, у этих книг и разные адресаты. По наблюдению Е. Стариковой критики, рецензировавшие «Водителей», не все даже и читали «Кортик», а читавшие никак не связывали эти вещи. Но они связаны, хотя каждая из них и несет печать своей литературной ситуации. Автор у тех и этих книг один. Внутренний путь один. Духовный смысл один.

«Водители» написаны следом за «Кортиком». Книга вышла в 1950 году, стяжала немедленные лавры и прочно встала в ряд произведений, как раз составлявших в ту пору канон производственного романа. По этой причине, не скрою, я побаивался перечитывать ее сегодня. Хотя уже простое сопоставление объема романа в публикациях 1950 года и в нынешнем четырехтомнике показывало, что Рыбаков отнюдь не механически составлял собрание сочинений, он почти вдвое сократил текст. Столь колоссальный процент — свидетельство настоящей беспощадности Рыбакова к себе: почти так же сильно сокращен в собрании сочинений и следующий роман, «Екатерина Воронина». Так вот: этот жесткий самопересмотр наводил меня — опять-таки априори — и на некоторые подозрения: скажу вам по секрету, что бывают писатели, которые «по истечении эпохи» вынуждены вымарывать в своих книгах целые главы. Рыбаков вроде бы не из таких... И все же я не поленился, полез сличать варианты. И успокоился: автору «Водителей» и «Екатерины Ворониной» не пришлось делать конъюнктурные вымарки. Что же он сокращал? Ткань. «Усушивал» текст, снимал мелкие подробности, убирал дополнительные штрихи и краски. И поскольку экономная точность лежит в самой основе рыбаковского письма, почерк его лишь обострился в нынешнем переиздании, сохранив суть и качество; ткань стала чуть резче, жестче, хотя кое-где, может быть, и за счет

внешней плавности, облегчающей читателю жизнь.

Одним словом, могу засвидетельствовать, что старые романы Анатолия Рыбакова и сегодня, десятилетия спустя после их написания, читаются легко. В них по-прежнему подкупает скрупулезная, несколько даже акцентированная осведомленность в предмете, подчеркнутое знание тонкостей дела: тонкостей автодела в «Водителях» (и в трилогии о Кроше); тонкостей судовождения и портовой работы в «Екатерине Ворониной», а потом тонкостей химического производства в романе «Лето в Сосняках», тонкостей сапожного дела в летописании семей Рахленко и Ивановских...

Не только это, конечно, держит сегодняшнее внимание в «Водителях». И даже не столько это. Не фактура дела, а скорее стиль делания. Всплывает сюжет, ранее малоощутимый. В 1950 году могло казаться, что деловито написанная книга ратует за повышение производительности труда, — сегодня ясно, что она содержит и еще кое-что выбивающееся из тогдашнего ряда. Суховатая точность рыбаковской прозы, ее конспективная жесткость, структурность — это скрытый вызов той живописно-масляной, жирной, рыхлой, психологичной манере, которая начинала усиливаться в нашей прозе как раз в самом начале 50-х годов. Главный герой «Водителей», начальник автобазы, по психологической фактуре отчетливо противостоит брезжившему в ту пору эталону душевности: суховатый, четкий работник среди «своих парней», железный специалист среди «отцов родных», законник среди добряков и плутов.

Зовут героя «Водителей», между прочим, Михаил Поляков. Рыбаков говорил, что это чистая случайность, совпадение, но я не верю. Я думаю, что столь быстрая возрастная трансформация маленького героя «Кортика» есть не что иное, как проверка по конечному результату. Рыбаков торопит события, он хочет скорее долепить характер. Именно характер, объемный, плотный, естественно вырастающий из социальных и иных условий.

Но именно характер так и не дался ему ни в «Водителях», ни в «Кортике», ни вообще в повестях о Мише Полякове. Рыбаков создал не столько психологический организм, естественно вырастающий из среды, сколько систему психологических реакций, последовательную и жесткую. Здесь нет нутра, нет той тайны целого, которая сообщила бы герою эффект художественного самодвижения. Кое-где в четкой графике «Водителей» ощущается как бы вакуум поч-

вы, то есть Рыбаков ее ищет, он к ней взывает, он пристально всматривается в жизнь: за ведомостями, инструкциями, директивами, схемами и чертежами, окружающими Полякову, он стремится разглядеть реальность низовую, фундаментальную. Он вчитывается в письмо безвестного рационализатора, придумавшего новую конструкцию сварочной горелки. «Кто ты такой, Березкин? Сварщик, механик, токарь, шофер?.. Сам ты начертил свою горелку, или это сделал по твоему корявому эскизу какой-нибудь районный техник?..»

Читатель без труда разыщет источник этого стилистического всплеска: достаточно открыть «Мертвые души». Рыбаков и не скрывает своей любви к Гоголю, да и смешно скрывать: в 1950 году об этом писали чуть ли не все рецензенты «Водителей». Дело не в истоках приема, это-то более или менее на поверхности. Дело в другом: почему чужой прием здесь оказался нужен, хотя на фоне рыбаковского письма он выглядит произвольным пятном краски (и это в сокращенном варианте, раньше таких пятен было куда больше). Так почему здесь Гоголь? А вот почему. Прописаны действующие структуры. Но не чувствуется опоры, земной основы, вековой толщи характеров. Рыбаков ее ищет — и «проваливается», старается написать — и попадает в готовый гоголевский прием... Это истинная драма романа «Водители».

Именно эта драма с еще большей отчетливостью выявляется в следующем романе Рыбакова — в «Екатерине Ворониной».

Окунувшись в волжскую старину, Рыбаков цепко освоил реалии и ее быта. Он изучил лоцманскую и капитанскую работу, проник и «в межень и в половодье», он вызнал, как борлаки в плесе и на берегу и как горыч гонит «валы с белком». Сквозь чалки, кнехты, яры и прораны впервые прорисовалось в прозе Рыбакова то, чего ранее в ней не было, — кондовая старина, хлябь и твердь традиционного народного быта. Затиснутые в лямку, в несвободу косматые старики, тяжкие нравом, прибитые работой, бунтующие с нерасчетливой силой, — какой контраст с прежней прозой Рыбакова, с суховатым, экономным его письмом!

И все же по мере того как из легендарной хмари начинала вырисовываться в романе конкретная человеческая судьба, рыбаковское перо возвращалось к привычной манере. Екатерина Воронина, потомственная волжанка, прошедшая через новые времена — через непримиримость пионерского детства, через войну в юности и через мучительное одиночество, доставшееся этому

поколению молодых вдов, — она, волевая натура, не удержалась на «волжском размахе», и Рыбаков дописал ее в своей обычной стилистике. Но что получилось? Бурлящая, бунтарская кровь, пламенная, неуправляемая, чуть не в дурь выбивающаяся, — кипящая эта лава твердеет и как бы ограничивается, обретая меру и форму в облике уверенной женщины, ведущей за собой неуверенного мужчину. Именно эта волевая граница силы ощущается в «Екатерине Ворониной» сегодня как истинный сюжет. Возможно, что субъективно Рыбаков ставил перед собой не совсем такую задачу. Хотел написать сочувственный портрет современницы, труженицы послевоенных лет. Хотел проследить истоки ее душевной силы: проследить корни Беспредельности корней.

Вышло нечто другое. Беспредельность все же как-то ускользнула из романа. Есть точность, есть художественный расчет, есть мера. Маловато ткани, не хватает психологической плоти.

Один мотив, впервые ощутившийся у Рыбакова в «Екатерине Ворониной», кажется мне особенно знаменательным. Мотив терпения. Раньше его интересовало другое: выдержка, воля, сдержанность. Через вдовью долю, через одинокую женскую судьбу Рыбаков прочувствовал нечто для себя новое. Много лет спустя вышла у него вновь на поверхность эта тема — уже после того как Рыбаков, вернувшись от взрослых читателей к подросткам, продолжил трилогию о маленьком Мише Полякове, а потом, в 60-е годы, начал и продолжил трилогию о Кроше. В финале этой вот второй трилогии, в повести «Неизвестный солдат», на пороге 70-х годов, неожиданно оттеночировал у него мотив терпения.

Я говорю — неожиданно, потому что в структуре этой повести он возникает вроде бы как нюанс. Отыскивая вместе с Крошем свидетелей гибели двух солдат, чьи останки найдены много лет спустя при постройке дороги, мы вместе с героем воспринимаем и переживаем широкий, монументальный план темы. На рубеже 70-х годов наша военная проза как бы почувствовала это новое дыхание, и Рыбаков, чуткий к ситуации, сумел откликнуться на новый зов памяти. Глубоко существенно, что Крош, типичный молодой герой 60-х годов, на исходе десятилетия перестал задавать отцам иронические вопросы и принялся слушать дедов. Так на фоне той скорбной картины, когда две женщины, согнувшись, медленно идут к могиле безвестного солдата, в пронзительном звучании такой повести кажется несколько неожиданной и немасштабной дотошность

Кроша, разгадывающего, кто же именно там похоронен: Бокарев или Краюшкин? Быстрый, умелый старшина Бокарев или пожилой солдат Краюшкин, прикрывавший прибавками свою усталость? Кто из них? Кто именно в 1942 году забросал гранатами немецкий штаб?

Действие повести тормозится этой дотошностью. А все докапывается Крош, все доискивается... Или это обычная для Рыбакова детективная интрига, помогающая читателю? Нет — мешает. Шерлок Холмс неуместен в реквиеме.

И вдруг осознаешь, что в попутной дилемме, неожиданно оказавшейся в центре внимания, заключен для Рыбакова важный самостоятельный смысл. Бокарев или Краюшкин? Оба тогда, в 1942 году, попали в ловушку, оба затаились на чердаке, наблюдая, как немцы входят в город. Но они были разные и действовали по-разному. Бокарев — быстрый, крепкий, умелый. И Краюшкин — притихший, затосковавший, почти бессильный. К тому же раненый в ногу. Читатели, помнящие повесть Василя Быкова «Сотников», согласятся с тем, что автор «Неизвестного солдата» решает здесь психологическую проблему, весьма важную для нашей прозы.

Так кто забросал гранатами немецкий штаб? По всем признакам это должен был сделать Бокарев. Но выясняется, что сделал это — Краюшкин, и в таком повороте таится для Рыбакова важный смысл. Как вел себя Бокарев? Ночами спускался с чердака, бегал по улицам, искал выход, рассчитывал, прикидывал, соображал. А Краюшкин лежал и ждал. Как погиб Бокарев? Нарвался на немцев и был убит в мгновенной перестрелке. А Краюшкин, выждав, сошел вниз среди бела дня, когда по улице вели колонну наших пленных; сошел и захромал следом, пристроился, обросший, помятый, сам уже неотличимый от пленного, и прежде чем конвоиры сообразили, что происходит, бросил гранату в группу штабных офицеров. Вот в чем контраст: Бокарев хотел выбраться отсюда, уйти в лес, Краюшкин, подобно быковскому Сотникову, понял, что обречен. Он выбраться не надеялся и приготовился к гибели. В безнадежной ситуации ему оставалось одно: вытерпеть.

Для Анатолия Рыбакова это кардинальный поворот духовной доминанты. Раньше он решал вопрос однозначно: встань и иди! Во всех его подростковых повестях один сюжет: герой сам, на свой страх и риск ведет расследование преступления. Встань и иди! — это импульс человека не просто активного, но безгранично верящего в смысл активности, в законосообразность, вмеща-

мость, разумность мира. Только в таком мире ранний рыбаковский герой мог рассчитывать на успех: он входил в лабиринт, зная, что выход есть. В какой же момент в сознании Рыбакова возникла мысль о герое, которому приходится действовать в ситуации изначально безвыходной?

Мне кажется, я знаю это. Знаю точку поворота, точку равновесия. Есть у Рыбакова роман, сравнительно малая известность которого остается для меня загадкой. «Лето в Сосняках» — прекрасно выстроенная, филигранно выточенная, пронизанная тревогой, острая по проблематике вещь, напечатанная в 1964 году в «Новом мире». Почему этот роман остался в некоторой тени, почему не встал в центр литературных дискуссий? Или так прочно приросла тогда к Рыбакову слава писателя для подростков? В середине 60-х годов он был в зените популярности как автор «Кроша», не говоря уж о том, что «Кортик» оставался для него неотменяемой визитной карточкой. Что же до романов 50-х годов, то они, пожалуй, казались устаревшими. «Лето в Сосняках», повествование о строительстве химкомбината в 30-е годы, показанном сквозь жизнь 60-х, выглядело продолжением тех романов, а ждали — продолжения «Кортика», продолжения «Кроша». Этим ожиданиям «Лето в Сосняках» не отвечало. Между тем в третьем рыбаковском романе не просто сокрыта огромной важности драма — эта драма для Рыбакова поворотная.

Химкомбинат строят люди 30-х годов: беззаветные романтики, герои великой эпохи, самоотверженные до жертвенности. На острие дела — Кузнецов, фигура яркая, мощная, прямо из горнила гражданской войны. Кто ему противостоит? Некто Ангелюк, тихий канцелярист, молчаливый подлец, скрипучий формалист. Помните, я говорил, что зло в сознании А Рыбакова постепенно принимает облик серой inferнальности? Вот здесь то самое человек без лица, без примет. Между Кузнецовым и Ангелюком — инженер Колчин, и в нем предмет моего интереса. Именно на Колчина падает тяжесть морального решения, именно Колчина раскалывает Ангелюк, собирая материал на Кузнецова. И Колчин, средний, обыкновенный человек, никому не делавший дурного, попавший под колесо, не выдерживает.

Ломается средний человек. Много лет спустя, не выдержав мук совести, кончает с собой. Хотел ли он предавать Кузнецова? Нет. Он хотел одного: переждать. Пересидеть, пока Ангелюк уймется. Спрятаться. Пошел к Кузнецову, решился даже намеком

нужно тому на опасность: «Умоляю вас, переведите меня в Челябинск... Это очень важно. И не только для меня...» Понял Кузнецов намек? Понял. Но он не хотел пачкаться этим Колчиным. «Из-за одного человека, пусть даже невинного (!— Л. А.), он не мог ставить под удар громадный коллектив... Ему ничего не стоило направить Колчина в Челябинск. Но это означало пойти на тайный сговор. И с кем?»

Вот оно: Кузнецов человек, а Колчин не человек. Кузнецов встает и идет, а Колчин хочет остаться в стороне. Кузнецов не жалеет ни себя, ни других (пусть даже и невинных — вы слышали?), а Колчин жалеет. Кого? Семью, дочь! Слабый человек...

Я думаю: не потому ли не был этот рыбаковский роман подхвачен читателями и критикой, что проступившая в нем безжалостность решения расходилась с эмоциональным состоянием читателей? Возможно, здесь лежит разгадка неуспеха от лично написанной книги, но сейчас я хочу понять другое — логику пути автора. Рыбаков всегда любил людей открытых и решительных. В центре его третьего романа стоят именно такие люди: Миронов, Чернин... Но какая-то тень авторского сомнения уже проходит над ними. Есть что-то сильнее человека. «Силы времени» — как раз в эту пору формулирует Рыбаков. Силы времени сокрушают отдельного человека. Рыбаков это приемлет, он с этим согласен. Он говорит Колчину: иди и гини! Все промежуточное, все среднепорядочное не выдержит борьбы. Так не здесь ли впервые входит в прозу Рыбакова ощущение ситуации, для отдельного человека изначально безвыходной? То самое, о чем пять лет спустя скажет погрузневший солдат Краюшкин: «Верти не верти, а придется померти»...

В 1964 году человек у Рыбакова не готов к этому. Инженер Колчин не хочет «померти». Он не хочет ни защищать героического Кузнецова, ни сражаться с тихим Ангелюком. Он хочет домой, к жене и дочери. Отношение Рыбакова к этому человеку я назвал бы безгливой жалостью. Я не разделяю такого отношения. Во всяком случае, мне трудно принять первую его краску. Я не согласен вставать невинного в смертный перечень и презирать его за слабость. Но я говорю это не затем, чтобы двадцать лет спустя спорить с романом Рыбакова, — я опять-таки хочу понять его путь. Путь к книге, которая потрясла меня и действительно, как я убежден, встала в самый центр литературного процесса в конце 70-х годов. «Верти не верти, а придется померти» — ведь не будет же никаких других ва-

риантов у жителей гетто, когда господин Штальбе погонит их к общей яме. И никаких выходов из преисподней, никаких иных финалов, только гибель. И при сопротивлении гибель, и без сопротивления гибель.

И кто окажется в этой гибельной ситуации? Тихий складской работник Яков Ивановский. Его жена, домохозяйка Рахиль. Отец семейства, мать семейства. Да, не бойцы, признает Рыбаков. Все-то их мужество — ради «их любви», «их семьи». Единственное, чего хотели, — «вместе подойти к яме». Да, истина по-прежнему страшна: все среднее, все нормально-порядочное будет выжжено в борьбе. Но пишет эту истину уже не тот Рыбаков, под пером которого бесславно ушел в небитие тихий инженер Колчин. Трудно идти по песку...

Каждый раз, начиная говорить об этом романе Анатолия Рыбакова, я останавливаюсь как перед невидимой чертой. Тот, кто читал «Тяжелый песок», поймет мое отчаяние. Есть вещи, к которым страшно прикасаться. Можно догадываться, чего стоило самому Рыбакову собраться с духом и написать историю гетто, жители которого перед уничтожением, на краю могилы, вопреки всем здравым расчетам все-таки оказали карателям последнее сопротивление. Как был найден тон для этого повествования? Каким интуитивным скачком Рыбаков нашел для этой истории образ рассказчика?

Удивительное, рискованное, непредсказуемое творческое решение. Дело даже не в том, что Рыбаков, все свои подростковые вещи написавший от имени действующего героя (то есть стилистически характерно, окрашено), впервые ввел такого героя-рассказчика в роман. Дело в том, что фигура рассказчика, найденная в «Тяжелом песке», при первом приближении не соответствует той тональности, которую, казалось бы, диктовал автору страшный материал. История семьи, растущей, укрепляющейся, ветвящейся навстречу заведомой гибели, ждет повествователя, окаменевшего душой, а Рыбаков ставит перед нами контактного, быстрого, живого говоруна, провинциального обувщика Борю Ивановского, сохраняющего почти детскую веру в людей и убежденного в бесконечной доброжелательности слушателей. Некоторые сцены он охотно комментирует (смягчая происходящее, объясняя его себе, готовя читателя к самому драматичному), иные, обозначив двумя-тремя точными штрихами, оставляет без комментариев, третья пропускает вовсе: а, что тут говорить, вы сами все понимаете. Не всегда умея объяснить себе реальность, рассказчик спешит

сквозь нее, на каждом шагу нарушая школьную пропись художества, согласно которой пересказ всегда слабей показан. И лишь постепенно, по ходу того как вы его пересказ читаете, вам становится внятн истинный художественный смысл этого сомнамбулического пробега сквозь семь кругов ада, этого странного контрапункта тона и материала.

Он ведь пробегает по эпизодам, рассказчик, словно по мосточкам над бездной. Иногда отворачивается. Иногда говорит иносказательно, причем аллегории его детски прозрачны. Он рассказывает, например, что его брат Лева попал под поезд, а потом с убежденностью домашнего мудреца объясняет, что это вполне закономерно: знаете, брат Лева был направлен на работу в систему железнодорожного транспорта, а железнодорожники, работающие, как известно, на рельсах, гибнут под колесами чаще прочих случайных прохожих. Однако при этом железный характер брата Левы начинает восприниматься через слово рассказчика чуть ли не как аллегорическое объяснение смерти под железными колесами, и вы примете эту нехитрую аллегорию, потому что она художественно подкреплена простодушием повествователя. Вы примете — в самые страшные моменты рассказа — срывающиеся с его уст словесные формулы военного времени: «Вечная память жертвам немецко-фашистских захватчиков!» — и художественное потрясение от этих словесных блоков сильнее, чем если бы Борис Ивановский попытался живописать нам, как оккупанты пытали его отца перед тем как повесить. Мостки над бездной лишь подчеркивают бездну, и жутко чувствовать, как пробегает по ним рассказчик, обжигаемый искрами. Есть колеблющийся просвет между ними и реальностью; в этом просвете заключена для него спасительная психологическая возможность не касаться открытых ран. Он как бы парит в воздухе...

Конечно, есть и чисто литературные опоры для этого взгляда издали, для этого телескопического прицела, когда история нескольких поколений сжимается в цепочку коротких эпизодов, словно отдаляясь в художественный космос, — в этом типе рассказа откликается мощная литературная традиция, идущая чуть ли не от самой Библии. Библейские ассоциации в романе «Тяжелый песок» выведены на поверхность, вынесены в эпиграф, прямо символизированы именами героев: Яков в Ивановского и Рахил и Рахленко, двух евреев, соединивших судьбы в маленьком южном российском городке, чтобы положить начало огромной семье.

Впрочем, столько же здесь и от традиции семейно-родословного романа нового времени, от горьковского «Дела Артамоновых», от Томаса Манна — не «библейского», а автора «Будденброков». И все же главный художественный нерв «Тяжелого песка» не в этих внешних родословных контурах (хотя к глубинам рода Рыбаков тянулся еще с «Екатерины Ворониной»). Не к библейским и не к новоевропейским литературным предтечам точнее всего адресована стилистика рыбаковского повествователя с его манерой угадывать читательскую реакцию, и переспрашивать собеседника, и отвечать ироническим вопросом на вопрос. Этот горький юмор местечек подключает всю мелодику тона в «Тяжелом песке» к тому, что называется еврейской темой в литературе нового времени, а точнее к той ее вариации, которую на русской почве реализовал Шолом-Алейхем. Именно это точка упора в стилистике «Тяжелого песка». Или, лучше сказать, точка прицела.

Тут необходимо маленькое объяснение по поводу предпринимаемых мной параллелей. Прямые переключки с Шолом-Алейхемом в «Тяжелом песке» нет. Как нет и прямых пересечений с Достоевским. Эти пересечения экстраполируются исходя из позиций сторон. В конце концов я могу вообразить, что не о Кнуте Гамсуне, а о Достоевском ведут свой спор две героини романа, фронтовые связистки, недавние студентки, но дело не в этом — дело в сопоставлении атмосфер. Так же и с Шолом-Алейхемом: точек пересечения нет, а атмосфера взывает к сравнению. Если оставаться на почве литературной типологии, говорить не о чем: Менахем-Мендл жалкий комбинатор, мечтающий сорвать куш и удрать, — что общего с крепкими, прочно стоящими на ногах работягами Рыбакова? Если и есть среди его героев дальний отпрыск касриловского Ротшильда (ну, скажем, дядя Иосиф, делающий, говоря словами Мендла, комбинации из «бумажек»), то, во-первых, он один и, во-вторых, написан без тени шолом-алеихемовского добродушия. Почти с ненавистью.

Ненависть эта закономерна, и объект ее выбран не случайно. Психологическое открытие Шолом-Алейхема шире и долговечнее того конкретного характера, с помощью которого он его сделал. Такие открытия начинают жить по законам легенды. Само слово, брошенное великим писателем (это вот трепещущее в невесомости «люди воздуха»), летит из эпохи в эпоху. Порождено жизнью народа, при царизме замкнутого чертой оседлости при невозможности осесть

при этом на землю, но вобрало в себя множество новых обертонов и оттенков, порожаемых психологией души, висящей в невесомости «Какие-то «птички» профессии,— улыбаются Шолом-Алейхем.— Маклеры, агенты, сваты, менялы, журналисты... Вы слышите? Менахем-Мендл — «писатель»! Разговаривать, уговаривать, переговаривать, заговаривать...» Касриловскому гешефтмахеру даже и в Одессе не грезилась те масштабы, которые обрела преображенная пером классика его душа. Может быть, это вообще судьба «летучих слов» такого уровня? Мы замороженно следим, как летит птица-тройка, забывая, что в ней едет Павел Иванович Чичиков плутовать с душами. Так и тут: перед нами уже не столько характер, не столько тип, сколько некий принцип бытия. Какая-то более широкая духовная драма возникает в нашем сознании, когда мы сегодня произносим сами эти слова, брошенные Шолом-Алейхемом: «люди воздуха»...

Так с ними и взаимодействует автор «Тяжелого песка». Не с образом Ротшильда из Касриловки. А с образом воздуха, включенного в цепь мифологем современного сознания. Вот с этой мифологемой — с психологией людей воздуха, парящих над реальностью, лишенных крепкого корня,— Рыбаков и вступает во взаимодействие. Вернее, в бой. Эту психологию Рыбаков и оспаривает, пытается преодолеть, ненавидит. Сквозь воздух он и пишет реальность, не желающую знать ничего об этой легенде. Его герои, трудяги, выросшие где-нибудь в Городне, или в Репках, или в Сновске, в естественном многолетнем контакте с украинцами, русскими и белорусами, вовсе и не знают про себя, что они люди воздуха. Это люди ремесла, люди дела, реалисты и практики: ломовые извозчики, кожевники, грузчики, сапожники, шорники. Они отрицают психологию воздуха всем своим трудом, всем бытом и бытием. Однако им приходится с нею столкнуться. Столкновение психологии воздуха с ощущением твердой земли — вот внутренний сюжет, делающий тон рыбаковского родословия.

Чтобы это почувствовать, достаточно припомнить сцепление его колен — колен Авраамовых, а затем колен Иаковлевых, то есть детей дочери Авраама Рахили, вышедшей замуж за Якова Ивановского, будущего складского работника. Я напомню... но прошу вас держать в уме и тот аллегоризм, который, как мы видели, не чужд рассказчику,— постарайтесь уловить, во круг чего бьется здесь авторская мысль. То есть я прошу вас представить себе реаль-

ные судьбы как бы через словесный пересказ рыбаковского героя, когда на вас помимо описываемой реальности воздействует словесный лейтмотив — ключевое слово, которое играет, мерцает или чудится в тексте. Когда я говорю, что Дина Ивановская, прибитая фашистами к кресту, умерла поднятая над землей, я не ищу в этом эпизоде школьной аллегоричности. Я хочу, чтобы вы почувствовали именно лейтмотив, духовную тему, ключевое слово, которое сцепляет эпизоды в единую мелодическую линию. Это слово — «воздух».

Итак, первый сын Авраама и Рахили, Иосиф,— торгош, делец, гешефтмахер (деньги — подмена реальных отношений — воздух...). Второй сын, Лазарь,— лентяй, болтун и мечтатель, всю жизнь витавший в облаках (в гетто повесился, умер в воздухе). Третий сын, Гриша,— рывок к земле: первый ударник на фабрике, реально мыслящий, рукастый (в гетто организатор сопротивления). Четвертый сын, Миша,— красная конница, шинель с «разговорами», вихревая скачка, рубка влет (погиб в гражданскую). Следующее поколение: Лев, человек в кожанке,— беспощадность принципов, с высоты трибуны обрушиваемых на головы людей (погиб под колесами); Ефим — каменщик, строитель, в войну директор оборонного завода, создавший этот завод в голой степи (врастание корнями в землю); Генрих — военный летчик (тема воздуха преображается, светлеет); Дина — певунья, артистка, «птица»... Но о ней я уже говорил.

Тема укоренения сталкивается в «Тяжелом песке» с темой искоренения. И если укоренение естественно, то искоренение алогично, страшно, бессмысленно и непонятно. Борис Ивановский, рассказывающий нам о гибели гетто, вполне подкован по части политграмоты, он знает, что говорил Розенберг о низших расах и как объяснялся на эти темы Гитлер (в Растенбурге, в «волчьем логове», в 1941 году — у нас опубликовано в двухтомнике В. И. Дашичева «Банкротство стратегии германского фашизма»). Борис Ивановский все это читал, знает. И все-таки это какой-то бред для него. Как это вышло, что школьный учитель Штальбе согласился приравнять людей к насекомым? И стал комендантом гетто? Нормальный человек этого понять не может... Анатолий Рыбаков, писатель четкого, ясного, рационального мышления, должен справиться со злом, которому не может найти человеческих объяснений. Зло вичеловечно, инфернально. В художественной структуре ро-

мана фашистское нашествие возникает как гром среди ясного неба.

Помните сцену серебряной свадьбы Якова и Рахили летом 1940 года, когда во дворе Ивановских собирается вся огромная семья плюс все интернациональное население соседних домов и улиц? При первом чтении эта картина отдает изрядным глянцем, тем самым, который в свое время входил в состав понятия «бесконфликтность». И только вдумываясь, понимаешь смысл той предгрозовой сцены в рамках целого. Ветвятся корни, множатся ветки, уходят в почву, уходят в небо, переплетаясь с соседними ветками и корнями, — вот симфония укоренения, доведенная до апофеоза за мгновение до того, как вихрь ударит с ясного неба необъяснимо и страшно и будет рвать корни, сметать ветки в небытие, в смерть до конца, до самой последней страницы, до той последней черты, когда отчаявшиеся жители гетто бросятся на своих палачей. И тело Якова Ивановского, закопанное на пустыре, исчезнет в сыпучем тяжелом песке бесследно. И жена его Рахиль, вырвавшись из смертного круга, дойдя до спасительной опушки вместе с немногимицелевшими обитателями гетто, там, на лесной поляне, исчезнет необъяснимо. Растворится в воздухе.

Борис Ивановский, их сын, бывалый солдат, весьма подкованный в диалектическом материализме, смущаясь, спросит об этом у Ивана Антоновича Сидорова, своего друга, бывшего шахтера и партизанского командира, коммуниста, чуждого всяких суеверий, и тот, тоже смущаясь, подтвердит: действительно, люди говорили, растворилась в воздухе.

Все это пишет писатель, всеми силами души отрицающий психологию людей воздуха. Писатель, которому Авраам Рахленко, дерущийся ломом с извозчиками из-за невесты, ближе и понятнее, чем сын Авраама Лазарь, беспредметно болтающий с заказчиками в лавочке, и даже чем внук Авраама Лев, с трибуны обрушивающийся на жалких обывателей. Уникальный образный строй рыбаковского романа создан ситуацией, когда абсурд искоренения пишет человек, всецело укорененный в земной реальности. Когда кроваво-иррациональное явление фашизма осмысляет писатель по природе таланта светлый, ясный, здраво и рационально мыслящий. Трагедия людей воздуха противоречит основам его мироощущения. Она рвет ему душу.

Что говорить, жуткими новостями подтверждается в наше время актуальность

этой книги. Думал ли Рыбаков, когда писал конец гетто, что пять лет спустя через мировую печать кровотокающими аншлагами пройдет параллель Бабий Яр — Бейрут? И что начнут выяснять нюансы: кто там, в Сабре, лично стрелял и резал, а кто «стоял на стреме» и «держал лампу» — вешал в воздухе ракеты, чтобы светлее было? Не так ли и после Бабьего Яра перепихивали ответственность, и какой-нибудь полицейский объяснял, что это не он стрелял, это немец стрелял, а он только дежурил на Брест-Литовском шоссе, чтоб не разбежались. Убийцы есть убийцы и фашизм есть фашизм, какими бы системами фраз он ни морочил людям головы. В Бабьем Яре убивали безоружных ради «нового порядка в Европе». А в Бейруте ради чего? Ради нового порядка в Азии? Страшная реальность, в которой народ в двадцать четыре часа переходит в разряд беженцев. Не надо обманываться словами, которые при этом произносятся. Сонгми стерли с земли во имя идеалов «западной демократии», а Пол Пот набивал ямы головами во имя чего? Во имя «мировой революции»? Слово-то они с три короба насыплют и про «светлые дали» и про «почву». Да вот только когда начинается резня, все эти слова надо разом забыть, а посмотреть, как в затылки стреляют. И не дать себя заморочить, ибо есть ценности абсолютные, дороже всяких слов. «Все прощается, пролившим невинную кровь не простится никогда»... Финальная фраза рыбаковской книги. Не о том эта книга, что было в 1942 году в украинском местечке, а о том, что есть в людях, есть сейчас, есть везде...

Прости, читатель, отнесло меня от литературного разбора. Не хотелось, да пришлось. Как заниматься литературой под такой аккомпанемент? Это уж не литература, это из литературы прорыв в такую реальность, гнездящуюся на дне человеческой души, что и впрямь не найдешь, какими словами с ней справиться.

А Рыбаков нашел слова. И потому создал вещь совершенно уникальную. Уникальную по той предельной, рвущей душу силе духовного переживания, на которую почти не хватает слов.

Одним мастерством, одной чистотой письма такого не достигнешь — здесь нужно упереться в реальность на краю бездны, дойти до грани разрыва. Вот текст и разверст, как сама жизнь. Помните финал? Когда Борис Ивановский и Иван Антонович Сидоров читают на кладбище надгробные надписи. Привычная надпись — как спасительный

мостик над бездной. «Вечная память жертвам...» Успокоение и умиротворение. Не тот ли самый цемент, на котором, по мечте Достоевского, все «сойдется и примирится»? И, сходясь, примирясь, держится Борис Яковлевич за перила мостика, за эту цементную плиту, а потом... нет, вы помните, как мысленно кричит он Сидорову, словно срываясь: умница! ты же все понимаешь! Должен же ты понять, что врижато этим камнем! какой ценой плачено за этот кусочек тверди, за этот клочок кладбища, за эту точку опоры...

Я хочу вспомнить еще раз нашу лирическую прозу последних десятилетий — ту самую лирику, с которой прочно ассоциируется у нас тема земли, опоры и почвы. Не говорю о лучших вещах, го из иных произведений второго ряда, трактующих эти проблемы (и создающих литературный фон, поток, обиход), встает ощущение опоры, данной человеку как бы изначально, празднично и естественно. Вот с этим-то ощущением и полемизирует Рыбаков. Земля не дар, упавший нам с неба. Почва дорого сто-

ит. Земля оплачивается жизнью, кровью, страданием. И относится это не только к истории гетто — это закон бытия. «Все прощается, пролившим невинную кровь не простится никогда...»

Об этом кричит рассказчик. И, конечно, не Ивану Антоновичу Сидорову адресован этот молчаливый вопль, это мне, мне, читателю, кричит автор о своем мгновенном отчаянии; это моей помощи ждет сильный человек, почти надламывающийся под тяжестью своей ноши.

Что могу я, сорок лет спустя после событий читающий о них книгу? Я, читатель? Я не могу воскресить ни сестру Дину, фашистами распятую, ни дедушку Авраама, застреленного в лесу полицаями, ни маленького Игорька, по команде коменданта Штальбе зарубленного на глазах у Рахили, крикнувшего за несколько мгновений до удара: «Бабушка, я боюсь!»

Я читатель, я могу одно — разделить боль. Запомнить. И жить дальше с этой болью.

«...и тут кончается искусство, и дышат почва и судьба».



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Б. Рунин. Магия откровенности. — **Ал. Михайлов.** «Опять война, опять блокада...». — **А. Пинач.** Взыскательное участие. — **Вс. Сахаров.** Предание и история. — **Наталья Старосельская.** «...в решающий момент». — **Алла Марченко.** Поэзия требует всего человека.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Г. Ермаш. О пользе эстетики. — **А. Бейлис.** Утопический социализм и современность. — **Юрий Мочалов.** На пути к человековедению.

Литература и искусство

МАГИЯ ОТКРОВЕННОСТИ

Григорий Козинцев. Время и совесть. Из рабочих тетрадей. М. Бюро пропаганды советского киноискусства. 1981. 304 стр.

Он присаживался к столу, доставал заветную тетрадь и торопливо заносил на бумагу мысль, которая в тот день, или в тот час, или просто в тот момент владела его сознанием. Несколько абзацев, а то и всего лишь три-четыре складывающиеся сами собой, на ходу, точные в смысловой динамике фразы. Слово выхваченные случаем из контекста жизни, нам они кажутся печально одиночными в таком отрывочно зафиксированном бытии. Впрочем, записи Г. Козинцева таят в себе драматизм не только в силу их внезапности и оборванности (так уж устроено наше восприятие), но и потому, что порождены и проникнуты неизбывной, порой доходящей до отчаяния неудовлетворенностью собой.

«Единственное, что я еще не утратил: способность ненавидеть свои постановки. И способность терзать себя глубоко, с истинной страстью. Каким я кажусь себе счастливым во время работы над книгой, задумывая постановки. И какой ужас снимать: чувствовать и понимать, что ничего из замыслов не получается, что ничего не в силах добиться... «Безвыигрышная лотерея» — вот что такое работа в кино».

И это не минутное наваждение, не страх перед новой картиной и не кокетничанье перед публикой, а одна из многих попыток подвести итог прожитому и сделанному. Странно, не правда ли? Ведь это пишет

постановщик «Дон Кихота», «Гамлета», «Короля Лира», не говоря уж о многочисленных фильмах, прославивших его имя еще в 20-е и 30-е годы. И пишет не для печати, а для себя.

«Замысел фильма — вода, уходящая из-под пальцев».

Режиссер не ставит, он выкручивается.

Я бездарный, неопытный профессионал. Единственное утешение: таким я чувствовал себя всегда».

Какую горькую усадлу находил он в подобных терзаниях? Ведь зачем-то он это делал. Быть может, для того и доверял он бумаге свои самые тяжкие сомнения, самые черные мысли, чтобы таким способом одолеть их? Возобладать над ними? Растворить их среди откровений иного толка? Ведь рядом размышления, исполненные надежды и веры в будущее. Или хотя бы трезвого понимания достигнутых возможностей.

«Лучшим в режиссуре мне теперь кажется способность мгновенной импровизации. Эту легкость дает многолетняя подготовка: выстраданное мироощущение. Искусство, вероятно, и есть непрерывный поиск правды, и ты продолжаешь своей комариной силой тысячелетний поиск, и, если удалось хоть что-то крохотное сделать, — передаешь свое усилие следующим...

Вот история моей постановки „Гамлета“».

Но это уже из записей менее укромных и более пространных, носящих характер размышлений о логике и психологии творческого процесса. Феномен импровизации, в частности, привлечет к себе его внимание еще не раз, особенно в связи с постановкой шекспировских трагедий:

«Эти записи — следы ударов киркой по земле. Труд часто оказывался напрасным: вместо шекспировского золота шел шлак собственных домыслов. Я бросал разработку, переходил на новый участок: опять пустые усилия... И все же я не вычеркиваю мысли, которые негодились, гипотезы, зашедшие в тупики.

К образной системе приходишь обычно бессистемно. Сцены, которые пробуешь поставить так, как они были задуманы, редко удаются. Только неожиданность, мысль, возникшая от новых, непредвиденных обстоятельств, помогают снять что-нибудь стоящее.

Импровизация — самое ценное в нашем искусстве — не возникает в пустоте. Много из того, что казалось напрасным трудом, подготавливает возникновение образа.

Нельзя заранее определить форму. Нужно самому — быть в форме».

Рабочие тетради были для Г. Козинцева такой ничем не заменимой творческой лабораторией, где постоянно шло накопление предварительного опыта на материале самых разнородных впечатлений. Источником их могли быть выставки, спектакли, просмотры, книги, поездки, встречи... Даже внезапные ассоциации или случайно ожившие воспоминания. И, судя по всему, он обращался к своим тетрадям от случая к случаю, но всегда в такую минуту, когда испытывал острую необходимость в чем-то разобраться — то ли отчетливо осознать промелькнувшую мысль, то ли утвердиться в собственном мнении, то ли уточнить идею трудной сцены. Как иные любят думать вслух, так он любил думать на бумаге. Тетради его полны размышлений о назначении художника, о своем призвании, о пройденном пути, о своих эстетических влечениях и отталкиваниях, о товарищах по искусству.

Именно таким способом, ставя здесь, на страницах тетради, свои «мысленные эксперименты», он примерялся к зреющим замыслам, нащупывал их контуры, давая волю памяти и воображению. Здесь он опробовал свои силы и как режиссер, и как педагог, и как мемуарист, и как историк культуры. И, конечно, как кинема-

тографист и литератор. «Некоторые заметки написаны бегло, как бы на ходу, сиюминутно, — свидетельствует составительница сборника Валентина Георгиевна Козинцева, — другие носят следы неоднократной правки — отшлифованные до афористичной точности, они должны были целиком войти в новые, задуманные работы». Собственно, так создавались и прежние книги Г. Козинцева, которые он писал параллельно с работой над шекспировскими постановками.

В рецензируемом сборнике второй и третий разделы как раз и посвящены таким параллельным режиссерским наброскам. Второй — к «Королю Лиру», третий — к так и не реализованному замыслу «Гоголиады», картины (а значит, и книги), посвященной гоголевскому Петербургу. Этот последний раздел будет, наверно, воспринят многими как полная неожиданность. Если этюды к «Королю Лиру», насыщенные интересными соображениями и тонкими наблюдениями, все же лишь дополняют уже поставленный фильм и основные положения, развитые в известных книгах Г. Козинцева («Наш современник Вильям Шекспир» и «Пространство трагедии»), то заготовки к «Гоголиаде» открывают читателю совершенно новый пласт его художественных исканий.

Рассматривая наследие Гоголя на широком фоне российской истории и русской культуры (от Петра Первого до наших дней), Г. Козинцев интерпретирует «Петербургские повести» как единую «вихревую симфонию», в которой фантазмагория и совершенная натуральность, комедийное и трагическое образуют причудливый контрапункт, выражающий современное понимание той эпохи. Г. Козинцева увлекала возможность передать в экранных образах пророческий размах гоголевской «грозной вьюги вдохновения», неповторимое гоголевское ощущение «громаднонесущейся жизни». Героем здесь мыслился не столько какой-нибудь персонаж, сколько город «и за ним, призраком, меняющий обличия автор». Как и свои предыдущие два фильма, Г. Козинцев предполагал ставить эту картину в тесном сотрудничестве с Шостаковичем.

Эти эскизы и заготовки говорят о Г. Козинцеве как о талантливом эссеисте, мастерски владевшем словесной пластикой, умевшем создать двумя-тремя фразами впечатляющий зрительный образ. И вместе с тем как о темпераментном исследователе, предлагающем читателю свой оригинальный взгляд на Гоголя, Достоевского, Блока и вообще на русскую классику. Кроме того,

эти наброски являются необычайно интересным материалом, наглядно свидетельствующим о мучительной сложности и крайней противоречивости подобных исканий — как литературных, так и кинематографических — на пути к подлинному синтезу традиций и новаторства.

Литератор неотделим от кинематографиста и в первом, самом обширном разделе сборника, где сгруппированы записи разных лет, сделанные Г. Козинцевым по самым различным поводам (приведенные в начале цитаты взяты именно отсюда). Тематически они ближе всего примыкают к его книге «Глубокий экран» и тоже продиктованы в большинстве случаев авторской рефлексией, осмыслением собственной многолетней практики применительно к становлению советского киноискусства.

Здесь вообще преобладает личный, автобиографический элемент, спонтанная, а потому часто парадоксальная субъективность. Перед нами не дневник, не мемуары, не записные книжки и не изложение своего художественного кредо, но все это, вместе взятое. Перекликающееся, взаимодействующее, спорящее.. Самые широкие суждения в масштабах мирового развития перемежаются тут бытовыми частностями искусства, эпизодические воспоминания далекого прошлого — попытками заглянуть в завтрашний день кинематографа; коротенькое размышление о выставке детского рисунка соседствует с взволнованным монологом, вызванным «Герникой» Пикассо, а беглые заметки о сексе на экране — с истолкованием совести как главной темы века.

Так или иначе, в рабочих тетрадях Г. Козинцева находилось место для любой душевно важной автору мысли. И, как правило, он отталкивался при этом не столько от календарно зафиксированных фактов, сколько от событий в жизни собственного сознания. А уж недостатка в таких «присшествиях» он никогда не испытывал. Подвергает ли Г. Козинцев анализу свое творческое поведение, досаждает ли по поводу неудач, радуется ли своим находкам и чужим озарениям, полемизирует ли с коллегами и с самой собой — за всеми этими доводами, оценками и суждениями чувствуется не только огромный опыт и мудрая пронизательность, но и жажда полного самораскрытия, сильнейший импульс открытости. Ведь эти записи для него не что иное, как возможность посоветоваться со своей совестью гражданина и художника. Посоветоваться неотложно и нелицеприятно.

но, вопреки любым привходящим обстоятельствам, исходя лишь из соображения верности искусству.

Очевидно, записи эти, помимо всего прочего, были для Г. Козинцева и формой творческого уединения, столь необходимого всякому художнику, а кинорежиссеру, вынужденному проводить целые дни на людях, тем более. Склонившись над тетрадкой, он обретал хоть на какое-то время драгоценное состояние отключенности от повседневных забот, независимости от посторонних мнений, ту автономию самосознания и вкуса, без какой не обойтись человеку искусства. Отсюда особая, глубоко личная, сокровенно интимная интонация этих записей, их этическая и эстетическая исповедальность. Отсюда же их столь ответственная эмоционально поэтика сжатых итоговых признаний самому себе.

Творческая лаборатория большого художника всегда поучительна для понимания секретов мастерства и в этом качестве может стать неотъемлемой частью оставленного им наследия. Все это так. Но в данном случае стоит задуматься и над тем, что подобные записи воздействуют на нас и своей чисто литературной выразительностью. Ибо эта словесная форма, продиктованная минутным состоянием ума, внезапностью откровения, в чем-то как нельзя лучше соответствует импрессионистичности самого нашего мышления.

В самом деле, как объяснить эффект эмоционального резонанса, который испытываешь, читая такую, к примеру, ничем не подготовленную запись:

«Экранизация — в ее нашем обычном понимании — так же бессмысленна, как лепка статуи по «Возвращению блудного сына» Рембрандта.

«Правильно» — как у нас пишут — это сделать нельзя.

Разве дело в том, что я прочитал («верно» или «ошибочно») Шекспира? Он уже давно стал частью моего духовного мира. Иначе говоря, просю в меня».

Или еще запись, тоже как бы родившаяся вдруг и сама по себе.

«Что такое маска и в чем секрет ее воздействия на таких несхожих художников, как Мейерхольд и Куросава?

Маска — это одна из основных человеческих структур; концентрация типа, состоящие чувства, мысли. Модель человека.

Маска — отказ от мимики, от случайности изменения мелких линий. Античная трагическая маска — ясность судьбы, от-

крывающаяся, когда «стерты случайные черты». Не маска надевается на лицо, напротив, за чередой внешних изменений скрыт лик. Он становился виден в помертвевшей маске.

Или — совсем в другом духе:

«Во время войны на объединенной киностудии в Алма-Ате шли съемки «Ивана Грозного». Помещение слабо отапливалось, уборные были вконец испорчены...

Эйзенштейн снимал ночами (днем не было электричества). Он порос густой щетиной, был давно не стрижен. На нем был грязный ватник.

Так снималась «самая красивая картина из всех когда-либо снимавшихся исторических картин» (Чарли Чаплин).

Есть какая-то неизъяснимая лирическая грусть в самой одиночности, разрозненности, затерянности таких «горестных замет», в полной обособленности их от породивших обстоятельств. А ведь они же были, эти обстоятельства. И были связи, протянувшиеся от этих замет к другим, смежным с ними, образующим вкуче «ход мыслей». Однако сюда они не попали, их наличие в тот момент для автора подразумевалось само собой. Мы же невольно пытаемся воссоздать и эти обстоятельства и эти

связи с помощью нашего собственного воображения.

Тут-то, видимо, и таится феномен «выразительной дискретности» подобных записей, внезапных, непредсказуемых и в то же время «замкнутых на самое себя», локализованных в форме самой непосредственной стенографии чувств. Если хотите, даже стихотворений в прозе. Видимо, столкнувшись с этим калейдоскопом мыслей и состояний, наше читательское сознание проявляет непроизвольную активность. Оно старается преодолеть их разобщенность, их голизну, мысленно заполнить промежутки между ними. Иначе говоря, вписать их в емкий контекст единого человеческого характера, единой человеческой судьбы. Судьбы художника.

Ведь, если вдуматься, на этой врожденной готовности нашего сознания мысленно заполнять промежутки между впечатлениями, превращать все отдельное, удобное, эпизодичное в нечто непрерывно-целостное, протяженно-упорядоченное как раз и основано чудо кинематографа и чудо поэзии. Не потому ли так интересно читать эту необычную книгу, столь целостную в своей заведомой фрагментарности и столь требовательную в своей беспощадной откровенности.

Б. РУНИН.



«ОПЯТЬ ВОЙНА, ОПЯТЬ БЛОКАДА...»

Юрий Воронов. Блокада. Книга стихов. «Молодая гвардия». 1982. 94 стр.

У людей немолодых и кое-что повидавших на свете в читательском запасе иногда собирается несколько книг, которые, возможно, не входят в обязательные реестры, не поминаются в учебниках, а между тем перечитываются время от времени и живут в сознании как явления высокого духа, укрепляя веру в человека и человечность. Одной из таких книг для меня была и остается «Блокада» Юрия Воронова. Небольшая книга стихов, выстраданная в большом сердце поэта (нынешнее издание дополнено новыми стихотворениями).

Юрий Воронов, кроме «Блокады», написал и, конечно, еще напишет замечательные стихи. Возможно, для кого-то (не исключено, что и для меня тоже) они окажутся

поэтическим открытием. Но стихи о блокаде Ленинграда останутся жить как художественное свидетельство юного современника и участника событий в истории великого города трагических и героических.

Люди старшего поколения помнят, как вся страна переживала судьбу заблокированного Ленинграда. Тогда еще трудно было представить истинную глубину трагедии и величие подвига ленинградцев — защитников города. Лишь после прорыва блокады стали накапливаться свидетельства блокадников, ленинградцев, которые глава за главою возводили многотомную летопись борьбы, самоотверженности, мужества и героизма в защите города **Ленина** от фашистских захватчиков. Последняя

(по времени появления) яркая глава этой летописи — «Блокадная книга» А. Адамовича и Д. Гранина.

...Я лежал тогда в госпитале после тяжелого ранения в районном городке Архангельской области Няндоме и хорошо помню, как в январе — феврале 1943 года к нам стало прибывать пополнение — раненые с Ленинградского фронта. Все подробности о прорыве блокады, любые сведения о Ленинграде, о том, как сохранился город, что разрушено, как выстояло, выдержало блокаду его население, были для нас, раненых солдат и офицеров, безгранично важны, и мы выспрашивали, спрашивали без конца новоприбывших, иногда не считаясь с их состоянием после ранения. Впрочем, там все были примерно в равном положении, с той лишь разницей, что кто-то залег надолго, кто-то накоротко, а кто-то — уже отвоёвавшись, с перспективой вернуться не на фронт, а домой то ли без руки, то ли без ноги или еще с каким увечьем...

Не знал я тогда (и не мог знать, конечно), что среди сотен тысяч ленинградцев принял на себя и пережил всю тяжесть блокады мальчик, подросток Юра Воронов. Он был активным участником обороны Ленинграда, этот ленинградский школьник. Вот откуда знаменитые, часто цитируемые строки:

Нам в сорок третьем
Выдали медали
И только в сорок пятом —
Паспорта.

Их невозможно не процитировать, они, как и вся книга, эмблема судьбы, образ поколения этих мальчиков, которых война вместе со взрослыми поставила перед лицом смерти и дала минимальный шанс выжить.

Читая страницу за страницей или просто на выбор стихотворения «Блокады», невозможно не включиться в эту горестную, поистине трагическую атмосферу, в которой протекала ежедневная жизнь совсем юного человека (а их были тысячи — ленинградских школьников, не успевших эвакуироваться и разделивших судьбу Юры Воронова), не спережить заново изнуряющие бомбежки, голодные очереди, потерю родных и близких...

Из стихотворения «Бомбежка»:

Холодный чердак,
Где находится пост,
Как старый скворешник, колышет...

Осколки
Зенитных снарядов и звезд
Колотят
По стенам и крышам.

А вслед затем: «Отбой. За вынешний вечер — девятый...» Обратите внимание, какая эмоциональная сдержанность, ведь строки стихотворения почти информативны, а за ними страшная по напряжению картина. Сравнение чердака, где находится пост, со скворешником (а Юрий наряду со взрослыми дежурил на чердаках и сбрасывал с крыш зажигательные бомбы, которыми враг пытался спалить, сжечь город) носит, я бы сказал, более зрительный или, по крайней мере, достаточно мирный, не драматичный характер.

В другом стихотворении Воронов передает собственные ощущения во время бомбежки, запечатлевает момент, когда «земля под домом и тобою встревоженно ворочаться начнет», когда при повторном разрыве бомбы «крыша из-под ног пойдет скользая». И точное воспроизведение психологии мальчишки: «...что не страшно — можно притвориться...» — и точное суждение зрелого человека: «А вот привыкнуть — все-таки нельзя...»

Я хотел бы продолжить разговор об эмоциональной сдержанности, информативности тех стихотворений, где сюжет составляют какие-то драматические и даже трагические события и факты. Понимаю, что непосредственные переживания подростков в момент событий корректирует поэт Юрий Воронов, человек, достигший возраста зрелости, но можно не сомневаться — они отложились в его памяти и оказались в стихах близкими к тем, какими и была в действительности. Притвориться к войне и потерям, верно, нельзя, это означало бы утрату человечности, человеческого в человеке. Но выковать в себе характер можно, если даже для этого приходится притворяться, что не страшно. Мужская, взрослая сдержанность, говорящая о силе характера подростка, — вот что скрывается в этой стилизованной особенностью стихов Воронова.

Стихотворение о гибели младшего брата, может быть, одно из самых характерных в этом ряду. Оно кончается так:

Эту бомбу метнули с неба
Из-за туч
Среди бела дня...
Я спешил из булочной
С хлебом.
Не успел,
Ты прости меня.

ский дух ее героя, сохранявшийся в нем в крошечном аду блокадных дней. О чем он мечтает? «Если б крылья иметь!» Детская мечта, мечта подростка. Улететь от этого кошмара, от зимы «в дали дальние, к жаркому югу, где опасности нет от черного лунного неба, где встречают расцвет караваями теплого хлеба». Мечта — от сказки, хотя, конечно же, она продиктована жестокой реальностью, и поэтому рано повзрослевший подросток пресекает свою мечту жестким «не смей!».

А как по-мальчишески радуется он весне, ледоходу на Неве:

— Эй, я тоже живу! —
Крикну чайкам и льдинам,
И на льдину, в Неву.
Ватник сброшенный кину.

Гроза над Балтикой, майский гром вызывают мальчишеский восторг даже несмотря на то, что рядом разорвался фугас, напомнив о смерти. Приход весны (хотя это еще только весна 1942 года и до прорыва блокады долгие дни и месяцы), ее неотвратимость внутренне воспринимается как некий символ грядущей победы, победы жизни над смертью. В стихах слышится даже нотка торжества над бессилием врага помешать приходу весны и вместе с нею прибытку сил защитникам Ленинграда.

Композиционно «Блокада» делится на две части: первая — события осадных дней изнутри, из того времени (есть и несколько стихотворений, датированных 1942—1944 годами); вторая — взгляд извне, отделенный дистанцией времени, тут отдается привилегия памяти. Причем памяти

как нравственной категории. на этом настаивает поэт:

Когда приходит памяти конец,
Ты — дом,
Где окна досками забиты.
Что может быть опаснее сердец
В которых
Пережитое убито?

Поэт предупреждающе пишет о том, что память памятью, но она не должна превратиться в некий бездейственный «запас для годовщин, для тостов в дни рождения». Без этой энергично утверждаемой идеи нравственный кодекс лирического героя книги не был бы завершенным. Для него чрезвычайно важно продолжение прошлого, продолжение нравственное, патристическое, память как нравственный стимул гражданственности, активного действия. Этот мотив проходит через всю книгу, а завершается она стихотворением «Опять война, опять блокада...». В нем память, завещание потомкам, эстафета, пожелание, чтоб «снова на земной планете не повторилось той зимы, нам нужно, чтобы наши дети об этом помнили, как мы!».

Я закрываю книгу стихов Юрия Воронова, книгу, созданную «из простейших, казалось бы, поэтических нитей» (Н. Тихонов), но такую непростую, такую проникающую в сознание и душу, с чувством вновь пережитой трагедии и с чувством великой гордости за людей, советских людей, отстоявших Ленинград, отечество наше от фашистской напасти.

А. МИХАЙЛОВ.



ВЗЫСКАТЕЛЬНОЕ УЧАСТИЕ

И. Меттер. Свидание. Повести и рассказы. Л. «Советский писатель». 1982. 271 стр.

Иные авторы могут молиться на своего героя или возвышаться над ним судией, идти рядом с персонажем или таиться за его спиной. У Меттера другая точка обзора. Какая именно? О том можно судить и по названиям его прежних книг: «Пути житейские», «По совести», «Среди людей».

Непосредственный контакт автора с героями — характерная черта меттеровской прозы.

Между честной житейской наблюдательностью и художественным домислом возникают гибкие отношения. Поди дознайся, был ли такой герой на самом деле, — автору

важно, чтобы читателю мерещилась близость персонажа к реальному прототипу. Невыдуманность рассказанной истории. Участие в ней самого писателя.

Но ведь Зошенко и Герман, их портреты в книге впрямь не выдуманы. А свидетельства о них не выглядят мемуаристикой, отслоившейся от повестей и рассказов, напротив — естественно продолжают их. Вот Юрий Герман. Воспроизведены щедрость его природы, неумность максималиста и в жизни и в творчестве, способность безоглядно влюбиться в человека, досочинить его — и столь же порывисто в нем разочароваться,

Это сказалось в яркой эмоциональности его произведений, являющейся порой и недостатком как продолжением достоинств. Друзья не раз без обидя корили его за «излишнюю сладость написанного», некоторую идеализацию героев. Эту живую противоречивость личности и запечатлевает Меттер, рисуя портрет друга-писателя.

Но не то же ли самое с персонажами, реальная подлинность которых, возможно, лишь имитируется? И здесь раздумья автора прославляют непосредственное повествование о герое. Будет ли это рассказ о душевной крепости егеря **Антон**, которого судьба ломала, но не сломила. Или рассказ, похожий на журналистское дознание, о **Геннадии Ковалеве**, рошдем в трудной семье, попавшем в колонию, о его душевных потрясениях и надеждах...

Мы сейчас много спорим о писателях «новой волны». Особенно задерживаемся на соотношении автор — герой. Спорим о тяге прозаиков к условности — притче, фантастике, гротеску. Или о засилье бытописательства, прозы быта. Как будто все это явилось впервые!

Между тем вот и прозаик старшего поколения, не попадающий в поле зрения полемистов, соприкасается с теми же проблемами. Броской и четкой условности у Меттера нет. Это сугубо житейская проза, однако и не бытописание. Все как будто узнаваемо, но есть некая странноватость в глубине, некий внутренний сдвиг к гротеску. Вроде бы списан с натуры начальник поселкового почтового отделения (рассказ «Хворь»). Не пьет и не курит, предельно вежлив с подчиненными (вот только вдумчиво и грустно говорит казенными фразами), а вечерами, закрывшись дома, играет на баяне грустные мелодии. Но отчего-то людям с ним не по себе. А ведь поначалу кое-кто из непристроенных женщин имел виды на чудаковатого холостяка:

«Он отложил баян и сказал:

— Суть в том, товарищ дорогой, что исчезает из жизни сердцевина.

Тася подождала немного, думая, что он разъяснит свою мысль.

Он разъяснил:

— Музыка имеет такое воздействие на человека, что он от нее становится одинокий

— Зачем же вы тогда играете?

— Постичь хочу взаимопонимание.

Тася была отчаянная, она сказала:

— **Нормальный мужик** не может существ-

вовать без женщины. Это закон природы, а вы его нарушаете.

— Законы природы внутри нас, — сказал **Петр Васильевич**. — Их много, а человек один, до всего руки не доходят.

— Может, у вас горе какое было? — спросила Тася.

Он ответил загадочно:

— Человек без горя — как птица без крыльев.

И снова стал играть на баяне, низко наклонив над ним лицо».

Задолго до литературы абсурда русская литература умела изобразить абсурдность будничного и якобы нормального. Был «Человек в футляре». Были рассказы **Зоценко**. У Меттера иные герои произносят вполне правильные фразы, но замороженные каким-то деревянным глубокомыслием. В «Хвори» герой впал в оцепенение, в пустозвонную задумчивость. Грустная музыка придает всей картине какую-то странноватую загадочность, эмоциональную глубину. И хотя эти минорные звуки извлекает из инструмента персонаж, я, читатель, угадываю в них авторскую печаль, как то случилось в «Сентиментальных повестях» **Зоценко**.

Та же традиция прослушивается в рассказе Меттера «Вдова». Счастливая пожилая пара. Обычный ужин накануне... внезапной смерти **Ильи Ивановича**. Блюда были приготовлены по рецепту журнала «Здоровье», за ужином читали вслух газеты, затем следовала вечерняя прогулка по известному наизусть маршруту. Произносилась глубокомысленная сентенция при взгляде на матросика и его подругу. «Видишь ли, Маша, — пояснил **Косоголов**, — матрос человек бездомный, не может же он свою девушку привести к себе на подводную лодку». И даже резюме по этому вопросу: «Целоваться под фонарями нашу молодежь обучили зарубежные фильмы».

Нагнетание подобных штампов бросает фантазмагорический отсвет на всю картину. Но интонация грустно-меланхолическая, авторская... А гут еще внезапная смерть! Рамки житейского случая раздвигаются, вмещающая пределы человеческой судьбы. И трудности у вдовы не только житейские: оглядываясь на прожитую жизнь, ей придется не просто горевать по утраченному счастью, но и усомниться — а было ли оно, раз прошлое так скудно духовными событиями!

Меттер, я бы сказал, с жестоким состраданием исследует пассивность человеческого

духа, несобранность воли. В том, что пожилая женщина, вдова, забрела почти нечаянно в ресторан на чужую свадьбу — посмотреть на чужое счастье, — нет ничего невероятного. А вот в том, что она становится постоянной приживалкой чужих свадеб, иждивенкой чьей-то радости (ее уже хорошо знают официанты), опять же есть тот неназойливый поворот, сдвиг к важнейшей для Меттера теме — ответственности человека перед самим собой.

Большинство героев Меттера оглядываются на прожитое с рубежа старости. «Монолог» или «Катя» — две повести, две истории любви, но и шире — истории долгой жизни, написанные в форме исповеди героев.

Сосед рассказчика по больничной палате Юрий Сергеевич Киселев (повесть «Монолог») не был, мягко выражаясь, любезен и разговорчив, но его клеенчатая тетрадь разговорчива и откровенна. Предчувствуя близящийся конец, он не играет с собой в прятки и не наводит на душу косметики: «Я отлично понимаю — это производит неприятное впечатление. Но ведь в самой природе всякой исповеди, если она совершенно искренна, всегда таится нечто постыдное. «И с отвращением читаю жизнь мою» — это ведь не зря сказано».

Герой не задит себя. Способный студент в юности, филолог, он всю жизнь уходил от малейших трудностей, зауживал свои цели, сам себя оттирал на обочину жизни, чтобы не потревожить своей «пассивной порядочности», душевного покоя.

Впрочем, желанному покою постоянно мешал «проклятый талант влюбляться». Так

и провалилась жизнь героя в эту щель, в это противоречие в характере. Он не разverteвывает задним числом донжуанский список, он размышляет над собственным даром упоения и обожания, фантазирования, когда действительный облик «предмета» доносится воображением, что сродни художественному дару (и у Юрия Германа эта черта подмечена), и лишь не получает запечатления в слове и на полотне.

Все то же самое в истории последней любви героя, последней вспышки, вслед за которой он разом сник и сделался стариком. Есть в ней и вечная загадка человеческих отношений, которую нельзя убивать окончательными ответами, загадка поэтическая. Но здесь и намек на беспомощность героя, для которого дар любви не был все-таки даром понимания другого человека. Здесь и позднейшая трезвая аналитичность.

Эффект западни вообще в природе дарования Меттера. Он ставит своих героев перед возможностью падения или взлета. В человеке более всего ему интересен момент перелома и прозрения, момент обретения ответственности за собственную судьбу.

Он разглядывает героя в этой ситуации с жесткой пристальностью наблюдателя, но и с сочувствием, не унижая его, однако, снисхождением. Вы слышите и голоса героев и голос самого автора, лирические интонации в раздумьях о столь разных человеческих судьбах.

А. ПИКАЧ.

Ленинград.



ПРЕДАНИЕ И ИСТОРИЯ

Арсений Ларионов. Лидина гарь. Роман. М. «Современник». 1981. 446 стр.

Русский Север чаще всего видится нам как великий заповедник, уникальное хранилище всяческих богатств. Речь, понятно, не только о дикой и прекрасной природе или же всемирно знаменитых памятниках древнего зодчества. Здесь издавна сохранилась Русь изначальная, вольная и мужественная, не знавшая ига завоевателей и помещиков-крепостников. Север — край русской земли, здесь начиналось немало жизненно важных дел, рождались кражевые, крепко стоящие на земле люди. Северная земля стала хранилищем устойчивых, веками складывавшихся ду-

ховных ценностей народа. И это не музей мертвых вещей, не красивый антиквариат в модном стиле ретро, а живое, постоянно воздействующее на наше бытие начало.

Наверно, поэтому русский Север так плотно и основательно обжит нашими писателями. Василий Белов, Федор Абрамов, Владимир Личутин и другие, писавшие о Севере и его людях, обжили этот небольшой угол русской земли с такой по-крестьянски неторопливой обстоятельностью, что в их тесный ряд довольно трудно протиснуться новичку, не желающему повторять своих именитых предшественников. Нелегко впи-

сать новую главу в эту коллективную художественную историю северной деревни.

Прозаик Арсений Ларионов тоже родом оттуда, из архангельского села. Но именно это обстоятельство и осложнило писательскую судьбу. Первый его роман «Лидина гарь» появился поздно, и книги других северных писателей далеко его опередили. Но, думается, не стоит об этом жалеть. Все приходит вовремя. И если бы А. Ларионов попробовал повторить «Привычное дело» или «Прыслиных», вряд ли мы стали о нем сегодня говорить. Эти вещи Белова и Абрамова очень популярны, но ныне авторы этих книг пишут иначе — достаточно вспомнить последние рассказы Белова и «Дом» и «Бабушки» Федора Абрамова. Иными стали и их читатели. Нельзя да и ни к чему дважды вступать в одну реку.

Арсений Ларионов потратил время писательского учения не на повторение пройденного, а на поиски своего взгляда на привычную тему и нащупывание самобытного тона в разговоре о ней. Тема русского Севера, далекой архангельской деревни многомерна, существенно сложна. Есть незримые нити, которые эту тему пронизывают насквозь и ее объясняют. Одна из этих нитей — история, и потому писатель заглядывает в своем романе «Лидина гарь» в бездонный колодезь прошлого. Но рядом с этой нитью вьется другая — предание. И это-то северное предание стало открытием А. Ларионова, той основой, из которой вырастают три части его романа о трех эпохах жизни далекого архангельского села Лышегорье. Писатель нащупывает новую связь времен, черпает в предании объяснение эпичности и поэзии народной жизни.

В последнее время мы много говорим о мифе в литературе и в особенности в романе. Но само понятие миф расплывается в некой дымке неясности, далеко от точного определения. Часто говорят о том, что миф должен обогатить роман и даже раздвинуть границы реализма. Может быть, может быть. Хотя сама идея «обогащения» литературы любой модной новинкой весьма сомнительна и требует критического рассмотрения. Ибо мифы бывают разные. И сразу надо со всей ясностью сказать, что модернистское мифотворчество ничем нас и нашу литературу обогатить не может.

Конечно, и здесь есть свои сложности. Когда писатель, позаимствовав очередной модный прием, щеголяет в пестром платье

современного мифотворца, мы не всегда можем сказать ему, что его псевдоноваторство откровенно вторично и глубоко провинциально, отдает литературщиной и потребительским отношением к творчеству. И происходит это потому, что модернистский миф пока не отделен четко от народного предания, на котором паразитирует и которое сознательно искажает.

Мысль «Лидиной гари» вырастает из предания, в котором за многие столетия отложились народная вера и мечта, поверья, обычаи, фольклор — словом, весь духовный опыт многих поколений крестьян Лышегорья. В этом наследии народ стремился сохранить и передать потомкам свои думы, открытия, даже печальный опыт трагедий и ошибок. В предании наша вышла и обрела бессмертие поэзия народной души. Символ этой души народа в романе А. Ларионова — крестьянка Лидя, мечтательница, натура чистая, пожертвовавшая собой во имя спасения родной деревни. Образ Лиды появляется в книге всюду, где человек любит, думает о прошлом и мечтает о будущем, осмысливая свой путь. С этим образом связано и таинственное, непонятное, унаследованное лышегорскими мужиками от покоренной ими чуди белогазой, племени загадочного, давшего древней Руси кудесников и волхов, волновавших простой люд. Лиду, пожалуй, можно сравнить с купринской Олесей, но в отличие от белорусской колдуньи северная крестьянка хранит не тайное знание касты волхов, а преданья народной старины.

Конечно, автор книги знает, что и в предании сохранилось темное начало, нуждающееся в разъяснении и новой оценке. Ведь еще Пушкин говорил: «Что касается до преданий, то если оные, с одной стороны, драгоценны и незаменимы, то, с другой, я по опыту знаю, сколь много требуют они строгой проверки и осмотрительности». Темное и злое начало воплощено в романе в деревенском колдуне Луке Кычине и его дочери Марфе-пыке, хотя и в них темное знание причудливо перемешано со старой мудростью. О многом говорят слова колдуна в споре со ссыльным интеллигентом-книжником Шенберевым: «Ваше дело — мысль, она умом владеет, а ум дан не всем, он у избранных, а сердце, душа — у каждого... Во всем ты разумом живешь, оттого и страдаешь... Ни во что такое не веришь, что бы не от ума нашего шло». Но тем не менее сундук книг, оставшийся в деревне от ссыльного, помогает лышегорским мужикам задуматься о мире, человеке и

своем месте в этом мире; древний мудрец Сократ воспринимается ими как брат по человечеству, у них появляется новая высота взгляда на прошедшее, настоящее и будущее.

В романе «Лидина гарь» древнее народное предание поверяется историей, величайшими событиями революции, гражданской войной и коллективизацией, а затем и Великой Отечественной войной и послевоенной героической и трудной эпохой восстановления. История овладевает маленькой северной деревней и далеко по свету разбрасывает лышегорских мужиков, заставляя их пройти суровую школу. В огне истории брода нет, и потому старое предание часто оказывается бессильным, ему на смену приходит подлинно историческое мышление. Это долгое и трудное познание истины показано автором через судьбу мужа Лиды, лышегорского крестьянина Селиверста Кузьмина, героя гражданской войны, коммунара, труженика и деревенского мудреца. Этот персонаж как бы скрепляет воедино три части романа, исторические эпохи, в них обозначенные.

От своей жены Лиды Селиверст унаследовал поэзию и мудрость народной жизни, от ссыльного Шенберева — умение мыслить исторически, видеть смысл истории и культуры, судьбы деревни, города, страны, народа. Его путь, полный героизма и трагедии, показывает, как трудно давалась правда, как долго пришлось к ней идти. На этом пути легко было сломаться, озлобиться, пометнуться в чужой стан, и в романе рассказывается о таких утративших веру — от кулацкого сына Кости Пузана, прислуживавшего интервентам, до ожесточившейся Староповой, ненавидевшей людей, которыми она руководила.

Однако Селиверст прошел через трагедию, обиды и ошибки, не потеряв веру, надежду и любовь. И это дало ему особую зоркость, умение понять самые трудные, болезненные узлы деревенских проблем, об одном из которых старый мельник говорит: «Возьми коллективизацию — тяжелейшее дело, по себе знаю, нелегко в одну упряжку разных людей поставить... А ведь надо было объединять, сегодня-то уж и жизнь доказала — надо. Пусты мы дело по другому пути, пропахала бы нас Германия...» Эти верные, выношенные слова говорит новый житель новой деревни, познавший уроки новейшей истории мира, солдат страны, отстоявшей свою самобытность и независимость в боях с могучими врагами. Он научился мыслить государствен-

но. За ним стоит не просто исторический опыт нескольких поколений северных селян. За ним родное Лышегорье, с детства знакомые, родные люди, знавшие смерть, голод, войны. Беды не раскололи это единство, не разорвали связей, объединяющих людей в народ. В книге много говорится о трудностях первых послевоенных лет, и здесь, конечно, много автобиографического, много собственных замет автора. Но видно здесь и другое: люди умели преодолевать трудности своей судьбы, их истовым, титаническим, самозабвенным трудом руководила вера, вера зрячая, далекая от фанатизма и отчаяния. Собрать все силы, выстоять, победить и шагнуть дальше — на том стояли Лышегорье, Север, вся Россия. За этим опыт многовековой истории, заново осмысленный в новую эпоху народной жизни. Здесь поднимается идея корней, незримых нитей, связывающих нас воедино.

Книга А. Ларионова движима мыслью о связи времен и при этом отнюдь не ограничивается преданием и историей. Жизнь сложнее, и ее саморазвитие охватывает все стороны человеческого бытия. Здесь много проникновенных, лирических страниц о детстве, любви, жизнь поворачивается к нам и поэтической своей стороной, в ней много цельных чувств, простых радостей, непосредственности и веселья. Что бы в ней ни происходило — она продолжается, меняя гнев на милость, от непостижимой отдельным человеком жестокости переходит к полноте счастья. Такой видят и постигают жизнь старик Селиверст и мальчик Юрья, которому передается от старика пульсирующая мысль, обогащенная слитностью предания и истории. И это придает повествованию о Лышегорье глубину.

Автор смотрит в сегодняшний день, думает о нем. И думы эти порой тревожны, ибо проблемы, о которых взволнованно говорят персонажи А. Ларионова, отнюдь не стали историей. Зло тоже обладает определенной исторической прозорливостью и умеет приспособливаться к обстановке. Недаром в романе сказано: «Невежество — зло, долго от него надо еще освободиться. Но коварная изощренность образованного ума может быть еще более тяжким злом...» Поэтому художественная ткань «Лидиной гари» далека от эпически патриархального спокойствия. Автор говорит о том, что порой теряется главное: «Отчего каждый стремится отыскать покой, душевное равновесие не среди людей, на миру, как это прежде случилось в деревне, а больше внутри себя,

своего запертого на сверхсекретные замки дома, строго подчиняя разуму свои сердечные порывы, нередко доводя их почти до автоматизма в самых чувственных, казалось бы, неподвластных настойчивой воле проявлениях». И эти авторские раздумья приводят нас в сегодняшний день.

Роман Арсения Ларионова — книга с характерным открытым финалом. Она не дает ответов на все проблемы и знамена-

тельно кончается вопросом: «...как сохранить духовное наследие родной земли и направить его в людской океан, обогатив отечество...» Вопрос, понятно, непростой, и автор обращается с ним к себе и своим героям, ищет ответ в их судьбах, в народной судьбе. Но этот вопрос обращен и ко всем нам, к нашему многосложному времени, растущему из истории и предания.

Вс. САХАРОВ



«...В РЕШАЮЩИЙ МОМЕНТ»

Кэндзабуро Оэ. Записки пинчраннера. Роман. Перевод с японского В. Гривина. «Иностранная литература», 1981, №№ 11—12.

Предваряя издание на русском языке романа «Объяли меня воды до души моей», Кэндзабуро Оэ в «Письме японца, учившегося у русской литературы», писал: «Мои произведения — это произведения, написанные японцем, и, следовательно, моя задача заключается в том, чтобы создать портрет Японии. Создать портрет Японии и японцев в свете человеческих взаимоотношений в их универсальности — вот к чему я стремлюсь, вот моя главная задача как писателя». Эти слова сказаны в 1977 году, спустя год после выхода в свет следующего романа Оэ, о котором пойдет речь в этой рецензии. В значительной степени слова писателя можно отнести именно к «Запискам пинчраннера», которые концентрированно фиксируют портретные черты Японии и вместе с тем современного капиталистического мира, японцев и в то же время современного человечества...

Послевоенному поколению писателей (Кобо Абэ, Такэси Кайко, Хироси Нома, Дзюнитиро Танидаки, Сюсаку Эндо, Кэндзабуро Оэ) удалось поднять в своем творчестве целый пласт проблем, носящих характер не локальный, не этнографический — общечеловеческий. Вывести на новый уровень тот синкретический реализм, который отличает творчество классика новой японской литературы — Акутагавы Рюноске, слившего в своих новеллах черты национальные и универсальные. В этом и следует искать одну из причин возрастающего во всем мире интереса к современной японской литературе.

Однако вряд ли было бы справедливо объяснять этот интерес только лишь плодотворным развитием культурной традиции. Вторая половина XX века поставила страну перед целым рядом сложнейших коллизий,

требующих глубокого осмысления уроков недавнего прошлого. Здесь все сплелось в узел: трагическое разочарование в идее беззаветного служения императору и могущественной, непобедимой родине; атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки; неисчислимые жертвы взрыва, умирающие в Японии и сегодня; жестокие противоречия высокоразвитого капиталистического общества; отчуждение; милитаризация страны; попытки — часто весьма успешные — пробуждения и укрепления в молодежи самурайского духа, «духа Ямато»...

Это противоречивое, а зачастую и трагическое разнообразие запечатлено в истории послевоенной японской литературы, многие образцы которой хорошо известны и любимы в нашей стране. Своеобразная хроника поколения наиболее отчетливо прослеживается в романах Оэ «Опоздавшая молодежь», «Футбол 1860 года», «Объяли меня воды до души моей», «Записки пинчраннера».

Последний (из переведенных в настоящее время на русский язык) роман Кэндзабуро Оэ чрезвычайно сложен и многозначен, он рожден и буквально пропитан мыслью о спасении мира от грядущей катастрофы. По своему построению «Записки пинчраннера» напоминают соты: множество обособленных метафор, символов, масок, причудливо перемещаясь в пространстве повествования, пересекаются, сливаются в единое целое, спаянное с грандиозным контекстом, как социальным, общественным, так и культурным. Метафора и в самом заглавии романа. Пинчраннер — это игрок в бейсболе, назначение которого состоит в том, чтобы в критический для команды момент вывести ее вперед. Это спасатель, тот самый единственный, избранный, кто призван вывести

из беды не одного-двух человек, а коллектив. В романе Оэ перед читателем предстают сразу трое пинчраннеров, двоим из которых суждено, спасая человечество от катастрофы, вступить в действие, третий — писатель-невидимка — лишь облакает в слова дело, которому служат превратившиеся в пинчраннеров человечества мальчик Мори и его отец — бывший инженер-физик, облучившийся во время работы на атомной электростанции.

Что же такое это превращение и что представляют собой герои?

Отец Мори (так именуют его на всем протяжении романа) и сам Мори, неполноценный ребенок, во многом напоминают героев предыдущего романа Оэ — мальчика Дзина, обладающего поразительным даром различать голоса множества птиц, и его отца, странного на первый взгляд человека, изменившего свое имя на Ооки Исана (могучее дерево, отважная рыба) и уединившегося с сыном в атомном убежище, чтобы беспрепятственно общаться с душами деревьев и китов, считая себя их поверенным... С героями «Записок...» случилось так: однажды в момент сильнейшего душевного перенапряжения произошло превращение, сделавшее Мори и его отца почти ровесниками (Мори стал даже старше своего отца). И именно тогда ощутили они в полной мере свою ответственность за судьбу человечества. И то, что Мори в своем новом качестве так и остался неполноценным (но никто уже не видит этого), получает, на наш взгляд, как бы двойную расшифровку в романе.

В «Письме японца, учившегося у русской литературы», о котором мы упомянули вначале, есть такое признание: «Каким огромным открытием для меня, прошедшего детство в глухой провинции времен войны, в горной деревушке, отрезанной от всего мира, был Достоевский!.. С тех пор Достоевский стал одним из самых необходимых писателей». Кэндзабуро Оэ всегда считал и считает Достоевского учителем в высшем смысле слова, подготовившим его встречу с творчеством Томаса Манна, Сартра, Фолкнера... О влиянии Достоевского на Оэ много написано и им самим и критиками, но важно, однако, подчеркнуть то, что японский писатель воспринял и творчески пересмыслил понятие и традицию писателя русского. И в первую очередь речь идет здесь об обширном смысловом пласте, который был раскрыт Оэ в образах Дзина и Мори — слабоумных детей — в том же всечеловеческом общении, что и князь Мышкин у Достоевского.

В «Записках пинчраннера» Оэ сознательно подчеркивает сходство Мори с князем Мышкиным, сближая их и по возрасту пусть даже путем полуфантастического превращения, сделавшего в одну ночь восьмилетнего мальчика двадцативосьмилетним мужчиной. (Напомним, что князю Льву Николаевичу Мышкину было, как пишет Достоевский, лет двадцать шесть или двадцать семь. Заметим также, что слова «превращение» и «эпилепсия» по-японски звучат одинаково, хотя пишутся разными иероглифами.)

В романе «Объяли меня воды до души моей» маленький Дзин выступил символом человечности, соединения Исаны и подростков, бунтующих против бездуховного существования. Незащищенность Дзина, его слитность с такой же незащищенной живой природой заставили Исану — а через него и подростков — задуматься о том, что именно эта сопричастность всему и рождает ответственность, которая и является естественным состоянием человека, залогом цельности сознания. В этом видится Оэ начало той гуманности (или, по Достоевскому, красоты), которая призвана «мир спасти». Тот самый смысл, который нашел для себя в словах «Автобиографии» Карла Густава Юнга писатель-невидимка из «Записок...»: «Смысла моего существования заключается в том, что жизнь поставила передо мной вопрос. Или же это я сам как раз и есть вопрос, обращенный к миру. И я должен дать на него ответ». Ответ вскоре становится ясен для отца Мори — он и его сын призваны некой космической волей в ряды пинчраннеров человечества.

Писатель исследует чрезвычайно важную во всем его творчестве проблему способности одного человека коснуться души другого, находя в этой способности подлинную основу перестройки мира, своеобразную гарантию уничтожения «Антихриста в зародыше». Хотя речь идет уже не о зародыше — Оэ постоянно подчеркивает, что ситуация предельна. Мир может погибнуть в результате неспособности людей услышать голоса породившей их природы, от неумения сострадать друг другу.

Постепенно — и это легко прослеживается в романах Оэ от «Опоздавшей молодежи» до «Записок пинчраннера» — понятия экологической катастрофы и угрозы атомного взрыва взаимодополняются, сливаются, создавая единый образ нового библейского потопа, готового вот-вот поглотить мир. И еще один, не менее яркий образ — Антихриста, явившегося на землю и укрепляющего свою власть над людьми.

Образ Антихриста возникает на страни-

цах романа дважды. В первый раз — когда отец Мори пытается осмыслить факт их с сыном превращения:

«...вполне можно предположить, что происшедшее со мной и Мори превращение и не случается с бесчисленным множеством людей — только данных об этом пока нет. Следовательно, если превращение происходит на всем земном шаре, не означает ли это кризиса человечества?.. Если да, то в современном мире на свет вот-вот появится Антихрист. Как нужно бороться, чтобы не допустить этого?»

Второй раз — в самом конце романа, когда один из пинчраннеров, отец Мори, готов уже соблазниться той властью, которую подарят ему «Антихристовы пятьсот миллионов иен» — коварный, искустельный дар умирающего могущественного Патрона, символизирующего в романе все мировое зло.

Человечество, по мысли Оэ, просмотрело не только рождение, но и укрепление на земле власти этого зла. Оно не только вокруг, ему удалось проникнуть в души людей, отъединенных друг от друга непреодолимыми барьерами. Момент торжества зла мы уже пропустили, но нельзя позволить ему царствовать в мире! — как бы говорит автор «Записок...».

Страх отца Мори потерять сына, потерять ту глубокую связь, которая изначально существует между ними, рожден импульсами не только биологическими. Отец и сын Мори связаны ответственностью за судьбу человечества «в решающий момент его жизни», и Кэндзабуро Оэ постоянно акцентирует этот мотив. Уже не только герои его ощущают себя так, но и мы воспринимаем их стоящими «у бездны на краю...».

Кэндзабуро Оэ избрал для своего сложного философского романа сложную, насыщенную иллюзиями и метафорами форму. Некоторые элементы выглядят на первый взгляд фантастическими. Однако фантастики в романе ничуть не больше, чем в «Мастере и Маргарите» М. Булгакова (Оэ сам указал на влияние этого произведения), или в «Человеке-ящике» Кобо Абэ, или в «Истории одного города» М. Салтыкова-Щедрина...

Не случайно упомянуто в романе имя Курта Воннегута. Творчество этого писателя, в частности его «Бойня № 5, или Крестовый поход детей» явно оказало влияние на Оэ. Одна из основных сюжетных линий этого романа — воспоминания Билли Пилигрима о бомбардировке Дрездена — уже самим предостережением, столь явно звучащим в по-

вестовании, не может не найти отклика в мировосприятии японского писателя, помнящего трагедию Хиросимы и Нагасаки. Но не многочисленные литературные параллели важны для нас, а тот грандиозный контекст, в который Кэндзабуро Оэ вписывает трагедию современной Японии.

В этот же контекст как бы вмонтирован еще один чрезвычайно важный мотив романа. В самом начале «Записок...» отец Мори рассказывает писателю-невидимке о профессоре Малькольме Мориа, одержимом идеей «убедить человечество, стоящее на краю пропасти, создавать подобные символы (новые, космические.— Н. С.), чтобы покрыть ими весь земной шар». И далее на протяжении всего повествования Оэ вскрывает двойственность новой символики: с одной стороны, это превращение, то есть восстановление человеческой сути, с другой — навязчивая идея собственной, кустарно изготовленной бомбы. Идет своеобразный диалог символов. Так, среди прибывших в Токио ряженых отец Мори видит мужчину и женщину, «у которых было забинтовано все тело. Из просветов между бинтами торчали обрывки шерстяных ниток. И тут я вспомнил. Один парень из нашей деревни, отбывавший трудовую повинность на верфях в Курэ, пострадал во время бомбежки и вернулся домой — все тело в ожогах было забинтовано с ног до головы. Мать размотала бинты, и посыпались жирные черви... Может быть, подобно тому парню из нашей деревни, эти мужчина и женщина в День поминовения усопших олицетворяли души всех погибших от атомной бомбардировки — новый лик бога чумы и золоторных микробов. Среди окружающих меня ряженых я узнал солдат, погибших в странах Южных морей, солдат отрядов смертников с повязками вокруг головы, моряков, нашедших смерть на дне океана...».

Жестокий маскарад! Но ведь бесчеловечна и породившая его действительность. И гибель Мори (его прыжок в огонь в финале романа с теми самыми деньгами, которыми соблазнял могущественный Патрон его отца, деньгами на изготовление бомбы), — единственное, на что способен подлинный пинчраннер человечества в той действительности, которую рисует Кэндзабуро Оэ. Но Мори не спас мир. Кто и чем спасет его, кто и как сможет призвать человечество к тому, чтобы остановить зло? В романе Кэндзабуро Оэ нет ответа на этот вопрос, однако книги его, горькие и необходимые, пронизаны стремлением пинчраннера вовремя прийти на помощь...

Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ



ПОЭЗИЯ ТРЕБУЕТ ВСЕГО ЧЕЛОВЕКА

Светлана Кузнецова. Гадание Светланы. Новая книга стихов. М. «Советский писатель». 1982. 151 стр.

Когда сейчас, после «Гадания Светланы», перечитываешь ранние сборники С. Кузнецовой, отчетливой различаешь общие всем ее книгам свойства. «Беззаконный» (с точки зрения расхожей нормы) «эгоцентризм». Культ «позы» (в ахматовском понимании этого слова), сглаживающей бытовую характерность лирического переживания. Особый, словно бы фольклорной выучки способ извлечения звука. Все это не просто повторено, сварьировано «Гаданием...», но еще и очищено от посторонних примесей: никакого чужого, полужужого и не совсем своего. Лишнее отброшено, необходимое же возведено в степень...

Светлана Кузнецова и прежде не чуралась ни «захватанных слов», ни «стертых образов» (Ю. Тынянов). Опыт Блока, «канонизировавшего романс», был учтен ею задолго до возникновения моды на эмоциональность мелодраматического и романсового типа. Ныне же родство с «жестоким романсом», «с роскошной и раскованной» его «простотой» столь органично и явно, что всю книгу читаешь, подчинясь определенному мелодическому строю («исключительно романсно», если еще раз вспомнить статью Тынянова о Блоке):

Черный ворон в окно мое глянул
Через четкую правду стекла
И в тоске, и в испуге отпрянул,
Тяжело поднимая крыла.

Или в другом месте «Гадания Светланы»:

В чем вина? Никак не разгадаю,
Не пойму, хоть правды не боюсь.
Посреди веселья зарыдаю.
Посреди печали засмеюсь.

Интерьер и прежних ее стихов отличался подчеркнутой продуманностью — ничего избыточного и случайного. В новой книжке, несмотря на принципиальную раскованность, эта упорядоченность доведена до предела. Раскованность (интонации, синтаксиса, ломкость его) сознательно уравновешена и согласованностью всех элементов стиха, и лаконизмом внешнего жеста, и выверенностью метафорического узора, «вышиваемого» как отдельной строчкой, так и книгой в целом. Все это, вместе взятое, и отряпает — почти демонстративно, с

вызовом — бесстильную пестроту и неряшество, ставшие в последние годы чуть ли не образчиком современного стиля. Словно хипповатые модницы, которых ничуть не смущает соседство болтающихся на одном шнурке распятия и дикарского — из мошонки буйвола — амулета, нынешний стих напяливает на себя весь сразу дефицитный ассортимент. Иной книжке всего важнее внимание на себя обратить, выделиться любой ценой, пусть и количеством побрякушек, — до стиля ли тут?

Светлане Кузнецовой присущи такой такт и чувство меры, что возникает впечатление строгого, почти бескрайнего ансамбля. Настолько строгого, что Ларисе Васильевой, рецензировавшей в «Литературной газете» «Гадание Светланы», оно показалось аскетически-графичным: «Светлана Кузнецова пишет.., черно-белым письмом. Как она этого достигает — особый и долгий разговор, но для того, кто умеет читать стихи, факт налицо: поэтесса определенно и точно рисует черным карандашом на поле белого листа, иногда на черном листе белым карандашом».

Мне же кажется, что в «Гадании Светланы» стихов красочных, писанных отнюдь не карандашом, а уверенной кистью, куда больше, чем черно-белых. И все-таки Л. Васильева по-своему права. Впечатление многоцветья достигается сложением стихов в книгу, а для отдельно взятого стихотворения действительно характерно двуцветие:

Зажигаю я на Святки
Сине-черную свечу...

А то и одноцветие (последнее даже чаще):

Желтая церковь на желтом стоит носогоре...

В манере черно-белого выполнены программные, ключевые для сборника стихи:

Что я призову у последнего крова,
На самом последнем из смертных кругов?
Лишь черную магию русского слова.
Лишь белую магию русских снегов.

Черно-белые стихи как бы одевают в плоть идею эстетического порядка, что имеет для автора отнюдь не узкоэстетический смысл: порядок окрест души помогает осилить маету, злое ее многоцветье. Привык-

нужно все извинять человеческому горю, мы почему-то решили, что пренебрежение к внешнему, к форме, является главным показателем его истинности. Безобразие отчаяния убеждает нас, увы, больше, чем умение и в горе сохранить лицо и достоинство...

Светлана Кузнецова оспаривает этот ходячий предрассудок. Ее печаль мужественна:

Вот уже падают листья...
Господи, где мое лето?
В шкуры песцовы да лисьи
Горе богато одето.

Горе мое за горами
Шубу себе добывало.
Горе мое вечерами
Ярко унты расшивало.

Там, где безлюдны распадки,
Горе мое не скучало,
Вольные волчьи повадки
Молча оно изучало.

И на забытом погосте,
Помня конец и начало,
Черным на белой бересте
Время утрат отмечало.

Стоицизм, усугубленный беспощадно-резвым отношением к себе, «любимой» (усиливающийся, кстати, от сборника к сборнику: «...себя открываю вторично гораздо больше и злее»), резко отмежевывает эту книгу от вяло-безвольного-плаксивого «тоскования», ставшего чем-то вроде видового признака современной женской поэзии. Нагляднее всего это видно на примере «стихов об одиночестве». Читая в изобилии поступающие на книжный рынок поэтические, точнее стихотворные, опусы «на данную тематику», лично я не могу отделаться от мысли, что натужные попытки поэтесс, и юных и давно уже не юных, сладить с «напастями ремесла» — не более чем сублимированное «токование», если воспользоваться словом автора «Гадания Светланы» («тоскование», «токование»)...

В случае с С. Кузнецовой подобного предположения не возникает. Другое на ум приходит: и одиночество «до срока», и «порука во друзьях», и мучительное чувство «неведомого убытка» («...какой неведомый убыток мешает счастью моему?») — законная, без обманной надбавки за «кабальный дар» плата за причастность «магии русского слова». Но это видишь со стороны. С. Кузне-

цова судит строже и проще: «Сама себя лепила и слепила не нужной и не милой никому». Ей все еще кажется («блзнится!»), что можно, сделав нечеловеческое усилие, вырваться из «песенного плена». Поверить в то, что простое счастье окончательно и бесповоротно отдано за песню, что выбранная тропка требует поэта целиком, «гадающая Светлана» при всем ее бесстрашии все-таки до конца не может. Но то, чего не хочет видеть «неявственность яви», давным-давно знает отчетливость вещей ее снов:

Мой черный
Огромный платок
На снегу —
Как внезапный,
Контрастный цветок.
Как оживший цветок,
Бьется черный платок,
Он кричит на ветру,
Что один на миру.
В беспощадности
Белого бьющего света
Он пока еще жив,
Но заплатит за это!

Думается, не случайно в процитированном «Сне» в слегка искаженном варианте повторен черно-белый рисунок «заклинания судьбы», сложенного из двух контрастных элементов — «черной магии русского слова», «белой магии русских снегов»...

Когда-то, на заре XIX века, Константин Батюшков в знаменитом эссе «Нечто о поэте и поэзии» писал: «...дар выражать и чувства и мысли свои давно подчинен строгой науке. Он подлежит постоянным правилам, проистекшим от опытности и наблюдения. Но самое изучение правил, беспрепятственное и упорное наблюдение изящных образцов — недостаточны. Надобно, чтобы вся жизнь, все тайные помышления, все пристрастия клонились к одному предмету, и сей предмет должен быть искусство. Поэзия, осмелюсь сказать, требует всего человека. Я желаю... чтобы поэту предписали особенный образ жизни, пиитическую диету: одним словом, чтобы сделали науку из жизни стихотворца... Первое правило сей науки должно быть: живи, как пишешь, и пиши, как живешь».

«Гадание Светланы» — одна из тех книг, применительно к которым можно без натяжки сказать: «Речь людей была такова, как их жизнь...»

Алла МАРЧЕНКО.

Политика и наука

О ПОЛЬЗЕ ЭСТЕТИКИ

Александр Лилов. Природа художественного творчества. Перевод с болгарского. М. «Искусство». 1981. 479 стр.

Сегодня при анализе природы искусства чаще чем когда-нибудь многими теоретиками утверждается приоритет информативного знания, отдается преимущество конкретному знанию перед философским. Немало, однако, ученых, которые следуют Аристотелю правилу: знание общего лучше знания отдельного, поскольку общее применимо и к отдельному, а отдельное неприменимо к общему.

Книга Александра Лилова «Природа художественного творчества» позволяет убедиться в том, что философская эстетика существует и сегодня. Более того, развиваясь на основе марксистско-ленинского мировоззрения, на основе диалектического, исторического материализма и научного коммунизма, не оставаясь в пределах категорий и дефиниций, а будучи связана с жизнью, с реальным историческим, культурным и художественным процессом нашего времени, она сама становится необходимой практике.

Александр Лилов, видный партийный и общественный деятель Болгарии, является одновременно крупным ученым — социологом, литературоведом, философом. В нашей стране хорошо известны его труды, посвященные анализу природы искусства. Новая книга Александра Лилова — это попытка позитивного исследования процесса художественного творчества с марксистских позиций.

Надо сказать, что современное искусство становится все более активным в идеологическом отношении. Книга утверждает справедливость и силу социалистического идеала в искусстве. «Если смотреть глобально, — пишет А. Лилов, — то искусство нашего времени — это искусство эпохи всемирно-исторического перехода человечества от капитализма к социализму. Такова его глубинная социальная сущность». И в этом смысле книга ученого, в которой анализируется обширный материал болгарского, советского и западного искусства, сама есть оружие в борьбе с современными реакционными теориями и идеями буржуазной эстетики.

Автор выдвигает в центр — проблемы художественного творчества, явление единства и взаимодействия интеллектуального и эмоционального начал как специфического фактора идеологической и воспитательной направленности искусства.

В связи с этим А. Лилов выступает против «панацеизации» частных методологий в исследовании искусства, которые ныне, в условиях НТР, активно разрабатываются, — структурный, функциональный, семиотический и другие подходы. Они, разумеется, необходимы, но недостаточны для исследования специфического феномена художественного творчества. Частные методологии дают лишь промежуточные понятия для философских выводов, то есть выводов более высокого порядка обобщения.

Одной из фундаментальных философских проблем художественного творчества, рассмотренных А. Лиловым, является диалектика субъективного и объективного. Реальность всегда была и всегда будет первоосновой художественного образа, который никогда не имел и не может иметь иного творца кроме человека. Это положение подчеркивается автором как бесспорное, научно доказанное. Но поскольку художественное творчество оперирует только тем материалом, который порожден в человеческом сознании объективно существующей действительностью, автор решительно утверждает, что самовыражение творческой индивидуальности — великое преимущество, а не опасность для искусства. Так было во все эпохи, тем более в условиях социализма, ведь художник при социализме — это выразитель наиболее прогрессивных духовных устремлений.

Однако талант увеличивает ответственность художника. Проблеме идеологической, нравственной, эстетической ответственности художника и его искусства, формирующего ныне идеи и чувства миллионов масс людей, в книге придается большое значение. Активность художника выражается в социальной целенаправленности его творчества. Это явление противоположно анархическому субъективизму, характерному для западного искусства.

Опираясь на труды Маркса, Энгельса, Ленина, особенно на ленинскую теорию отражения, используя большое количество философских, психологических, искусствоведческих исследований болгарских и советских ученых, Александр Лилов развертывает многогранную концепцию произведения искусства как единства объективно и субъективного, эмоционального и

интеллектуального, единства художественной правды и художественного мышления, отражения и творчества. Для марксиста, показывает он, нет и не может быть колебаний относительно того, является искусство отражением или нет. Перед марксистом стоит задача: исходя из теории отражения, показать, как искусство превращается в художественно-эстетический фактор. Критикуя изоморфизм, иллюстративизм и тому подобные явления, приуменьшающие роль идейного и творческого начала в искусстве, автор подробно останавливается на проблеме внутреннего мира художественного произведения — средоточия активного интеллектуального и эмоционального отношения художника к действительности, содержащего отражение истины в искусстве.

Интересны страницы книги А. Лилова, где автор развивает ленинскую мысль о том, что человеческое сознание и отражает, и познает, и преобразует, то есть творит мир. Анализ сущности творчества логически приводит автора к рассмотрению целого ряда аспектов творчества в коммунистическом обществе: коммунизм возвращает труду его творческую сущность; творчество — это не элитарная, а всечеловеческая способность. Автор подчеркивает, что вполне научное содержание категория «художественное мышление» получила лишь в марксистской эстетике. В то же время в эстетике еще немало проблем. Например, недостаточно исследованным является то, что называется опережающим отражением, то есть предвидение, предсказание, предугадывание, предположение, предварительное моделирование человеческого действия в искусстве.

Интеллектуализм и аналитизм современного искусства — закономерный процесс углубления художественного мышления, который сам по себе не снижает эмоциональную насыщенность искусства.

По небу пролетит комета —
большой появится поэт.

И мы узнаем с изумленьем,
что мир, знакомый нам с рождения,
на удивление богат:
что и у разума есть звуки...

Так пишет болгарский поэт П. Матев, которого цитирует А. Лилов. Автор вообще подкрепляет многие положения своей книги материалом искусства, особенно болгарской литературы и поэзии. Отдельные штрихи в характеристике художественного мышления А. Лилов берет из сочинений В. Г. Белинского, анализируя и дополняя некоторые его идеи.

Исследуя любую проблему, автор опирается на всеобщую закономерность функциональных процессов — их обусловленность свойствами самих явлений, в данном случае свойствами искусства. Социальные функции искусства рассматриваются как самоосуществление им его собственной природы. Ошибочно считать, например, что классовость, партийность, народность проявляются только в идейной позиции автора произведения, героя и тем более что они исчерпываются ими. Народность и партийность искусства — не чисто идеологические, а художественно-эстетические явления.

В связи с такой исходной позицией в книге рассматриваются и другие свойства искусства: отражение и познание, способность устанавливать контакты и быть эффективным средством общения людей, поколений, народов, осмысленно оценивать действительность с позиций своего времени, общества, класса, эстетическое воздействие на чувственно-эмоциональную природу человека — все эти свойства искусства действуют как бы комплексно, оказывая всестороннее влияние на формирование личности, активно участвуя в становлении мировоззрения, морали, вкусов человека.

А. Лилов придает большое социальное значение красоте, благородству и духовному богатству искусства. «Искусство вообще, — пишет он, — и в особенности искусство социализма должно не только и не просто носить в себе идеал, обещание, образ человеческого духовного совершенства — оно должно воевать каждый день, во всем и всеми силами воевать за это совершенство...»

Большой интерес имеет тот факт, что в книге рассматриваются различные уровни и механизмы художественного творчества, приоткрываются стыковые проблемы эстетики: психологические, семиотические, кибернетические, нейрокибернетические и другие. Это дает возможность объемнее и глубже описать динамику художественно-творческого процесса. Автор говорит в заключении: «...творчество, духовное и практическое творчество человека и общества — грандиозная стратегическая проблема современности...»

Эстетика сегодня — это не только академическая наука, но и специфический инструмент социалистического и коммунистического строительства.

Г. ЕРМАШ,
доктор философских наук.

УТОПИЧЕСКИЙ СОЦИАЛИЗМ И СОВРЕМЕННОСТЬ

В. А. Дунаевский, Г. С. Кучеренко. Западноевропейский утопический социализм в работах советских историков. М. «Наука». 1981. 328 стр.

Почти у самого входа в Александровский сад близ кремлевской стены возвышается скромный обелиск, сооруженный по указанию Ленина, на котором высечены имена борцов за освобождение человечества. Среди них имена великих социалистов-утопистов.

Пожелание Ленина о необходимости воздать должное выдающимся представителям домарксовской социалистической мысли нашло свое воплощение и в издании трудов социалистов-утопистов, в многочисленных работах советских историков и философов, посвященных различным сторонам мировоззрения и практической деятельности предшественников научного социализма. Многие из этих работ получили международное признание. Анализируя их в своей историографической книге, В. Дунаевский и Г. Кучеренко вводят нас в научную лабораторию таких выдающихся ученых, как В. П. Волгин, Е. В. Тарле, Е. А. Косминский и другие. Авторы «Западноевропейского утопического социализма...» подводят итоги развития целого научного направления в советской исторической науке, ставят проблемы, имеющие важное политическое и научное значение для современности.

Еще Энгельс подчеркивал, что «немецкий теоретический социализм никогда не забудет, что он стоит на плечах Сен-Симона, Фурье и Оуэна — трех мыслителей, которые, несмотря на всю фантастичность и весь утопизм их учений, принадлежат к величайшим умам всех времен и которые гениально предвосхитили бесчисленное множество таких истин, правильность которых мы доказываем теперь научно». Это было сказано более ста лет назад. Однако чем объяснить, что сегодня, когда существует и развивается мировая социалистическая система, в различных странах, и особенно в странах Азии, Африки и Латинской Америки, продолжают возникать все новые и новые утопии социалистического типа?

В последние пятнадцать — двадцать лет немало правительств и партий развивающихся государств объявили, что основной их целью является строительство социализма. Однако в понятие «социализм» различными партиями и группами вкладывается далеко не одинаковый смысл.

Известно, что в свое время Маркс и Энгельс резко критиковали так называемый

буржуазный социализм (об этом, в частности, говорится и на страницах книги В. Дунаевского и Г. Кучеренко). Одной из его разновидностей на современном этапе стала проповедуемая буржуазными националистами теория «национального социализма», которая в зависимости от страны, уровня ее развития, размаха национально-освободительного движения и других факторов имеет различное содержание. Так, в некоторых азиатских странах выдвигаются названные социалистическими программы развития, предусматривающие создание «государства всеобщего благоденствия», где наряду с государственным сектором предполагается также существование неограниченной частной собственности. Примерно той же позиции придерживаются идеологи «арабского социализма». Один из государственных деятелей Египта говорил в свое время, что сущность «арабского социализма» в свободном праве каждого египетского гражданина владеть собственностью, охраняемой законом. Разумеется, имелась в виду прежде всего крупная капиталистическая собственность.

Особенно широкое распространение получили концепции национального социализма в Тропической Африке. Видные идеологи «африканского социализма» Л. Сенгор и другие осуждают Маркса и марксистов за то, что они говорят о классовой борьбе, о необходимости познания законов исторического развития и на этой основе предлагают реальные преобразования действительности. В программных документах «Национального союза африканцев Кении» неоднократно указывалось, что для этой страны не применим ни марксистский социализм, ни классический капитализм, что будто бы существует третий путь — средний между капитализмом и социализмом. В сущности, подобные псевдосоциалистические программы направлены не на уничтожение буржуазных производственных отношений, а скорее наоборот — содействуют их быстрейшему развитию путем широкого привлечения иностранного монополистического капитала.

Нетрудно заметить, что «национальный социализм» — это лишь разновидность буржуазно-социалистической утопии, о которой В. И. Ленин говорил, что «она развращает демократическое сознание масс. Массы, верящие в эту утопию, никогда не добьются свободы...».

Африка дает и другие примеры утопического социализма — его народно-революционного направления. Руководители этого направления подвергли беспощадной критике капитализм за его бездушие и пренебрежение к человеку, противопоставив ему, однако, опять-таки лишь идеализированное африканское общество, цель которого — благополучие, достоинство и счастье индивида — должна быть достигнута без классовой борьбы, ибо в африканских странах якобы нет классов.

Книга В. Дунаевского и Г. Кучеренко помогает понять идейные истоки учения этих социалистов-утопистов, их близость к Фурье и Оуэну, которые, как пишут авторы, дали яркую и глубокую для своего времени критику капитализма, но не смогли понять роли и значения пролетариата и классовой борьбы.

Жизнь, внося свои коррективы, заставляет многих приверженцев непролетарского социализма отказываться от их утопических представлений. Весьма показательно, к примеру, что именно в Дар-эс-Саламе, столице Танзании, еще в 1973 году был создан Институт проблем развития, в задачи которого входит изучение проблем политэкономии, планирования, мирового революционного процесса и строительства социализма, а также специфических проблем развития Африки. Директор этого института Харуб Отман считает, что некоторые государственные деятели африканских стран совершили фатальную ошибку, широко открыв двери иностранному капиталу и создав ему благоприятные условия для получения высоких прибылей, и что только научный социализм способен решить проблемы, стоящие перед Африкой.

Небезынтересен и другой факт. В майские дни 1982 года, накануне Дня освобождения Африки, в книжных магазинах Дар-эс-Салама появилась книга с интригующим названием «Африканский социализм или социалистическая Африка?». Ее автор — Абдул Рахман Мохамед Бабу, бывший министр экономического развития Танзании, а ныне преподаватель экономических наук в США. Для Бабу понятие «африканский социализм» — лишь дымовая завеса, скрывающая стремление капитализма увековечить свое экономическое господство в Африке. Он категорически утверждает, что единственно возможный выбор для Африки — социализм, основанный на принципах марксизма-ленинизма. А один из видных деятелей Танзании еще ранее заявил, что ни одна слабо развитая

страна не может позволить себе ничего кроме как стать социалистической, беря при этом за образец страны социалистического содружества. Так постепенно осуществляется переход некоторых политических деятелей Африки с позиций «африканского социализма» на платформу революционно-демократических концепций и в перспективе к научному социализму.

Все большее распространение в последнее время получает и идеология революционной демократии, в которой совмещаются некоторые положения научного коммунизма с элементами утопизма. Ярким представителем этого направления, чья популярность в развивающихся странах день ото дня растет, был Франц Фанон, один из крупнейших идеологов современного национально-освободительного движения. Наибольшую известность получила его книга «Проклятым заклеянные», в которой он подверг критике идеологию национальной буржуазии. Исследователь его творчества А. Гордон пишет, что «Фанон совершенно недвусмысленно высказывается в пользу социализма против капитализма. В обосновании этого выбора очевидно, что он имел в виду социализм в его научном, марксистском понимании».

Ф. Энгельс подчеркивал, что «незрелому состоянию капиталистического производства, незрелым классовым отношениям соответствовали и незрелые теории». Мысль одного из основоположников марксизма, как это вытекает из книги В. Дунаевского и Г. Кучеренко, получила свое дальнейшее развитие в трудах советских историков. В них указывается, что распространение утопического социализма в разных его видах — одна из закономерностей развития идеологической борьбы в освободившихся государствах, для многих из которых он был первой формой социалистической мысли. Следовательно, возникновение теорий утопического социализма в этих странах на определенном этапе исторического развития обусловлено незавершенностью процесса формирования в них современных классов, отсутствием или слабостью пролетарских движений.

Было бы, однако, ошибкой полагать, что в высокоразвитых странах уже не появляются новые социальные утопии. Показательно в этом отношении персоналистское движение, развернувшееся во Франции и некоторых других государствах Западной Европы. Его сторонники считают себя последователями созданного Э. Мунье идеала революции, личности и общества. Источником социальных перемен для них — это

воспитание человеческой души. Основные ценности персоналистской утопии — любовь и труд. В 1966 году один из идеологов персонализма, Ж. Домена, заявил, что персоналисты — сторонники экономической и политической перестройки Европы, противники зависимости от Америки, что они стоят за мир, враждебны господству денег, стремятся к демократии и социализму. Однако неудача массового студенческого движения в Западной Европе в конце 60-х годов отбросила персоналистов вправо. И хотя определенная гуманистическая направленность их движения еще сохраняется (как и идея весьма туманно очерченного социализма), но само преобразование действительности персоналисты стремятся осуществить при помощи лишь двух эле-

ментов — социальной утопии и пророка, который якобы призван указать человечеству путь в будущее.

В капиталистическом мире и сегодня еще время от времени появляются, как некогда образно сказал Энгельс, «всевозможные социальные знахари, обещавшие, без всякого вреда для капитала и прибыли, устранить все социальные бедствия с помощью всякого рода заплат». Обреченность подобного рода идей — как в прошлом, так и в настоящем — на примерах истории классического утопического социализма доказывает и книга В. Дунаевского и Г. Кучеренко.

А. БЕЙЛИС,

доктор исторических наук.



НА ПУТИ К ЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИЮ

Карл Леонгард. *Акцентуированные личности. Перевод с немецкого. Киев. «Вища школа». 1981. 390 стр.*

Как часто мы требуем друг от друга невозможного: «Хороший работник, но излишне внимателен к мелочам», «Одарен, но какое самолюбие!», «Сатанинская энергия, но утомителен», «К его бы способностям еще и уживчивость!».

Порой мы устаем от общения. В постоянных взаимоотношениях сослуживцев, однокурсников, соседей есть известная монотонность. А характеры у людей различны, не всегда легко совместимы. От времени механизмы общения изнашиваются, стираются амортизаторы взаимной терпимости. То же происходит и между учителями и учениками, начальниками и подчиненными (только в этом случае первые и вторые оказываются в неравном положении). Мы начинаем друг друга раздражать и подчас, заметив в поведении ближнего что-то несимпатичное, на этом сосредоточиваемся. Мы не прощаем ему слабостей, не умеем увидеть характер человека как целое, разглядеть взаимосвязь качеств личности. Забываем старую поговорку, что недостатки часто есть продолжение наших достоинств.

Не имея желания или времени оценить личность во всей совокупности ее качеств, мы прибегаем к поверхностным оценкам. И — к штампам. Между тем человек сложнее, чем кажется на первый взгляд, в чем нередко каждому из нас приходится убеждаться. «Характер точь-в-точь как у Петухова», — спешим определить мы, а на поверку оказывается, что сходство было видимостью.

Поверхностностью оценок и штампами характеристик грешат и педагогика, и практика руководящей работы, и воспитание детей в семье. Грешит этим и искусство. Почему в литературе, кино, театре так много бесцветных положительных героев, лишь формально оттененных какими-то мелкими недостатками, и отрицательных персонажей, лишенных чего-либо истинно человеческого? Как избавиться от этих трафаретов, проникнуть в глубь человеческого характера?

Передо мной книга по медицине. Она написана известным психиатром, профессором из ГДР Карлом Леонгардом. В аннотации сказано, что его монография адресована не только медикам, но и психологам, педагогам. Убежден, что книга эта представляет большой интерес и для деятелей искусства. Во всяком случае, будучи по профессии литератором и режиссером, я начал читать ее и не смог оторваться.

Основной предмет книги — исследование акцентуированных личностей, людей со своеобразным заострением свойств характера. Автор подчеркивает, что в его определении это не только выдающиеся таланты. Это такие же люди, как и все, отличающиеся лишь своеобразным психическим складом, каких в большом городе, по наблюдению Леонгарда, может насчитываться до 50 процентов. Правда, при неблагоприятных условиях этим характерам свойственно развиваться в отрицательном направлении, то есть в сторону асоциального или

нездорового поведения; при благоприятных же общественно полезных результат их деятельности оказывается значительно выше среднего.

Одна из серьезных трудностей такого рода обобщающих исследований (к ним относится и работа К. Леонгарда) — неповторимость человеческой индивидуальности. Жизнь бесконечно многообразна в своих проявлениях. И практически нет двух одинаковых ландшафтов, отпечатков пальцев, почерков, характеров... Отсюда распространённое мнение: индивидуальные качества личности не поддаются классификации и могут быть описаны лишь в общем виде. Автор придерживается иной точки зрения — он убежден в том, что основные черты человеческой индивидуальности существуют объективно и, следовательно, наука должна стремиться к их выделению и описанию. При этом автор отчетливо сознает опасность и другой крайности — подогнать классификацию характера под схему и тем опять же впасть в грех упрощенчества. Пусть не бытового, а научного, что, может быть, еще хуже.

Каков же путь, предлагаемый Леонгардом?

Выделяются основные типы личности, так сказать, в чистом виде. Даются характеристики обследуемых, представляющих собой эти абсолютные или близкие к абсолюту случаи. Так создается своего рода гамма основных тонов. Затем исследуются полутона, всевозможные созвучия и модуляции. Ведь большинство индивидуальностей есть сплавы двух-трех, а иногда и более основных типов характеров, причем в разных пропорциях. Таким образом, мы уже имеем ряд моделей. Помимо характеров ученый предлагает исследовать и разновидности темперамента. Емкость классификации, соответственно, возрастает. Но и это не все. Даже такая тонко разработанная дифференциация личности и ее индивидуальных проявлений была бы формальной без творческого подхода специалиста к своему делу. Здесь нельзя не заметить аналогии между методиками психиатра К. Леонгарда и психолога-практика А. С. Макаренко.

Макаренко разоблачал педологию — претендующее на научность направление в педагогике. В основе его лежало то самое упрощенчество в исследовании живого человека, против которого предостерегает Карл Леонгард. Например, Макаренко высмеивал тестоманию. Он наглядно показывал, как формальная классификация дает иногда прямо обратный здравому смыслу

результат. Скажем, мальчик-фантазер по тестам оказывается лишенным какого бы то ни было воображения.

Настороженно относится к тестам и Леонгард. Тесты, как бы они ни были разнообразны, — это морфологическое исследование живого человека, которое не может предусмотреть неожиданно парадоксальных проявлений его психики, ее ежесекундной диалектики, всех поправок на скрытность, на настроение момента, возникающих под воздействием множества внутренних и внешних факторов. Это во-первых.

Во-вторых, более или менее исчерпывающее обследование личности, утверждает Леонгард, невозможно провести в лаборатории. Человек раскрывается лишь в естественных социально-бытовых условиях. Изучающему личность необходима картина ее повседневной жизни, социально означенной деятельности, ее роста или деградации не только со слов обследуемого, но и по объективным фактам прошлого и впечатлениям окружающих.

Но легко сказать — изучить личность в привычной для нее обстановке, в типичных обстоятельствах! Как это сделать? Карл Леонгард находит выход, неожиданный для науки. Продолжением его практического опыта становится изучение акцентуированных личностей в образах мировой художественной литературы.

Книга делится пополам. Первая ее часть посвящена типологии личности на примерах исследования конкретных наблюдаемых. Вторая называется «Личность в художественной литературе». В ней содержится интересный анализ психологии героев Гёте, Бальзака, Флобера, Достоевского, Толстого, Тургенева, Мопассана и многих других выдающихся писателей. Автор также рассматривает характеры и ситуации из произведений мировой, в том числе русской драматургии. Возможно, литературоведам некоторые утверждения ученого-психиатра покажутся спорными. Но исследование литературы для него не самоцель, а лишь средство. Сама же попытка проследить логику поведения героев большой литературы методами психиатрии несомненно заслуживает внимания и проливает свет на многое.

Вспомним двух Сонь — Толстого и Достоевского. Соня из «Войны и мира» — добрая, искренняя девушка, не более. Соня же из «Преступления и наказания» обладает пронзительной чуткостью и жертвенностью подлинно альтруистического характера. Именно такое противопоставление приводит Карл Леонгард, определяя тип

эмотивной личности. И вместе с автором мы прослеживаем в литературе и в жизни этот тип человека, крайне ценный во всякой работе, где необходима особая любовь к людям, большое сердце, даже нравственный подвиг. Ученый обращает наше внимание и на то, что люди этого типа требуют очень бережного с собой обращения. Например, эмотивным детям могут повредить эмоциональные перегрузки, положим страшные сказки.

Яркие жизненные и литературные примеры помогают нам усвоить термины, определяющие, по Леонгарду, личности других типов, в том числе демонстративные (Тартюф), возбудимые (Дмитрий Карамазов), педантические (герой рассказа Чехова «Смерть чиновника»), застревающие (Карл Моор из «Разбойников» Шиллера).

Следует подробнее сказать о ценности книги для людей творческого труда. Да, не все писатели проходили курс психологии как науки. Многим помогли стать психологами их природный ум, талант, особая писательская память, интуиция. Однако всегда настоящий писатель стремится быть предельно компетентным во всем, о чем он рассуждает. Книга «Акцентированные личности», разумеется, не научит литератора создавать правдивые, психологически точные характеры, но может предостеречь его от ошибок.

Из монографии Леонгарда писатель, режиссер, актер узнают, к примеру, что качества возбудимой, то есть движимой прежде всего инстинктами, личности не могут сочетаться с чертами личности педантической. Зато сплав педантических качеств с чертами личности застревающей (способной надолго заклиниваться на той или иной идее) возможен и создает характеры социально положительные. «Работа должна быть на высоте — вот их принцип. Этого требует и целеустремленность застревающей личности, но еще больше — солидность и доб-

росовестность педантичной», — утверждает автор.

Книга профессора Леонгарда — хороший повод поговорить также о форме, стиле, языке научных публикаций. Этот фундаментальный труд написан без оглядки на то, что кому-то он может показаться недостаточно занимательным. И в то же время, как я уже говорил, книга не для узкого круга коллег. Термины, не всем знакомые, автор объясняет, снабжает синонимами, выделяет курсивом. Помимо научных обозначений он широко пользуется понятиями, заимствованными из практического обихода. Скажем, «мятниковое воспитание» ребенка, определяющее постоянные колебания между вседозволенностью и повышенной строгостью (такое воспитание, как правило, ведет к печальным результатам). Когда же читатель встречает выражения вроде «бегство в болезнь» или «пенсионный комплекс», он не только сразу усваивает мысль автора, но в его воображении возникает образная картина. Так автор сохраняет устойчивую связь между наукой и житейским здравым смыслом. В проницательном взгляде Леонгарда присутствует и юмор, разумеется в соответствующей для научного труда мере. Это еще одна гарантия душевного здоровья, которое обнаруживает автор, описывая сложные картины человеческой психики.

Книга немецкого ученого — основание для серьезных размышлений о свойствах личности. Думается, подобные исследования нельзя считать чисто психиатрическими, психологическими или педагогическими. Это нечто иное, новое, что можно назвать человековедением. Не станет ли оно одной из комплексных наук будущего о предпосылках и формировании характера и темперамента индивида, о коммуникабельном и деятельном потенциале личности? Если так — надо ждать ее развития на стыке генетики, психологии, педагогики, психиатрии, литературоведения, искусствознания...

Юрий МОЧАЛОВ.

КОРОТКО О КНИГАХ



РОЛЛАН СЕЙСЕНБАЕВ. Всего одна ночь. Малецкий роман. Повесть и рассказы. Перевел с казахского автор. М. «Советский писатель». 1980. 304 стр.

«Всего одна ночь» — вторая книга автора, вышедшая на русском языке. У нее есть посвящение: «Отцу, живым и мертвым солдатам Великой Отечественной войны с сыновней любовью и благодарностью...» Почти все произведения, включенные в сборник, отвечают смыслу и интонации посвящения. Сорокалетний автор пишет в основном об отцах, ощущая свое поколение связующим звеном между ними и их внуками в бескрайней цепи жизни.

Это зрелое чувство кровной связи, истории — самое привлекательное качество прозы Р. Сейсенбаева. Старики и дети — любимые его герои. Он не боится даже некоторой идеализации своих положительных персонажей; и, наоборот, у отрицательных порой буквально на лице написаны их пороки. Такая манера может вызвать протест, ибо упрощает и схематизирует действительность. Но учтем, что Роллан Сейсенбаев близок в своей поэтике казахской песенно-сказовой стихии, где борьба между добром и злом, как правило, принимает форму резко подчеркнутых, доведенных до предела контрастов.

Отсюда и постоянные, устойчивые темы-символы, традиционные для всей литературы Казахстана. Домбра. Скачущий по степи конь. Батыр, вступающий в бой за правду. Какие бы современные городские костюмы ни носили герои, в их эмоциональном мире остаются жить эти народные символы чести, свободы и достоинства. Когда люди им изменяют, то и себя теряют, теряют смысл жизни. Сами атрибуты традиций, может быть, не так уж и важны. Гораздо значительней и непреложней содержание национальной действительности, постоянно меняющейся, но имеющей и свои незыблемые социальные и нравственные основы. Особенное лишь на поверхности, в форме; выступая здесь как чисто самобытное, оно в сущности своей несет общее начало для всех советских, социалистических народов.

Драма отторжения, духовной гибели раскрыта писателем в судьбах Кудайбергана и Бексултана из маленького романа «Бегство». Став в 20-е годы басмачами — один по трагической случайности, другой по убеждению, — они потеряли все: имя, близких, отечество. Это крайняя историческая ситуация — разлом личности в огне революции и войны. Но и в мирные дни,

пусть не так наглядно и трагически, возможны свои отторжения человека от народной жизни, его уход в неправду потребительства, эгоизма, мещанской морали. Каждое такое отступление автор поверяет и судит идеалом нравственных отношений между людьми, судьбой дедов и отцов, с оружием в руках отстоявших наше право жить сегодня под чистым небом.

Говоря о достоинствах творчества Роллана Сейсенбаева, нельзя не обратить внимания и на его слабости: склонность к мелодраматизму, ко всякого рода сюжетным преувеличениям и совпадениям. Вроде того, как пожилая соседка, отправляющая в милицию героя, который нетрезво до полуночи распевает в коммунальной квартире песни военных лет, оказывается, была когда-то спасена им на фронте («Фронтовые песни»). Есть сюжетные нажимы и в повести «Так я ждал это лето» — о славном мальчишке Сеиле, объявившем неравным, но победный бой фашистским диверсантам, сброшенным в глухой казахский тыл.

Жизнь в прозе Р. Сейсенбаева воспринимается как постоянное сражение, и побеждают в нем все-таки хорошие люди, даже если им трудно, горько, невесело. Автор как бы говорит нам словами одного из своих персонажей: «И если в момент этого сражения ты выстоишь, если тобой не овладеет страх, не задрожат колени — считай, что это — твоя победа!»

Евгений Сидоров.



АНАТОЛИЙ МАКАРОВ. Мы и наши возлюбленные. Повесть. М. «Советский писатель». 1981. 319 стр.

АНАТОЛИЙ МАКАРОВ. Футбол в старые времена. Повести. М. «Молодая гвардия». 1981. 350 стр.

На счету городской прозы, в которую столь естественно вписывается творчество А. Макарова, много славных побед и поверженных антигероев: мещан, хулиганов, спекулянтов, кляузников, карьеристов... Для литературы они уже лишены дразнящей нетронутости мишени. Однако в своем неустанном движении время порождает не только новые формы добродетели, но и порока — «прогрессивные» завихрения греха.

В сравнительно благополучной городской среде как побочный продукт материально-

го Достатка, а точнее, еще не совсем достаточного достатка, стало быть, как следствие дефицита и прочих подобных вещей возникло пронирыливое племия любителей «сладкой жизни». А. Макарову оно знакомо по его московскому послевоенному детству — «когда толклись они в нашем переулке возле самых известных в городе комиссионных магазинов...». И действительно есть общие черты — скажем, тот же мощный напор, что выделяет их из массы. И все же нынче у таких иные манеры, иные жизненные намерения.

Среди них автор книги «Мы и наши возлюбленные» выбирает далеко не карикатурный характер. В художественном анализе писателя нет предвзятости и неконтролируемой неприязни. Да и чем, собственно, может раздражать макаровский Миша с соответствующей (хотя, на мой взгляд, чересчур говорящей и вперед забегающей) фамилией Фаворов? Безотказное обаяние, чувство юмора, внешняя привлекательность, начитанность, тактичность, собственный автомобиль, элегантность в одежде — не одна девушка замрет при перечислении этих достоинств. Немудрено, что таким, как Миша, везет в любви, у них красивые длинноногие жены, с хорошим вкусом, разбирающиеся в живописи и старинной мебели... По сравнению со своими генеалогическими «предками» Миша явно поумнел. Больше, чем успехом у женщин, он дорожит служебным успехом. При этом он вовсе не подхалим старой закваски, от которого начальство нередко поташнивает, он вот уж действительно «предан без лести» и держится с достоинством...

Постигая морфологию Мишиной удачи, А. Макаров ведет повествование от имени Мишиного коллеги и бывшего одноклассника, который как две капли воды похож на прочих лирических героев прозы А. Макарова. Становление этого лирического героя подробно прослежено в повести А. Макарова «Футбол в старые времена» — в литературном отношении лучшей повести из тех, что включены в эти книги. Воспоминания о футбольных играх, дворовых и профессиональных, позволяют автору воссоздать суровый, бедный и тем не менее милый его сердцу был послевоенной Москвы, рассказать о нем в добрых традициях физиологического очерка, к которому очевидно тяготеет А. Макаров. Жаль, что в других вещах А. Макарова навязчивая форма нравственного самоутверждения этого героя (он то признает в себе «комплекс плембей», уходящий корнями в детство, то как бы в поисках психологической компенсации начинает подчеркивать свои положительные стороны) подрывает к нему доверие, ослабляет моральную значимость повествования.

Сила автора — в цепкости его памяти, умении через бытовую деталь показать течение времени, стиль эпохи (в этом лишний раз убеждаешься, читая многие сцены в «Родительской субботе»). Но для того чтобы беллетризованный физиологический очерк достигал всякий раз своей жанровой завершенности, думается, автору следовало бы как можно взыскательнее относиться к своему лирическому герою. Ему как повествователю необходимо познавать себя, видеть собственную сущность по крайней

мере не хуже, чем он познает своего антагониста (Мишу Фаворова и ему подобных). В противном случае из всех «наших возлюбленных» самым «возлюбленным» ненадолго может оказаться... «я» лирического героя. Едва ли автор в своих повестях стремился к такому исходу.

Вик. Ерофеев.



ВЛАДИМИР ПАВЛИНОВ. Говорю начистоту. Стихи и поэма. М. «Современник». 1981. 96 стр.

Более двадцати лет назад в молодежном издательстве вышла книга стихов «Общезитие». Под ее обложкой поместились первые книжки ныне известных Олега Дмитриева, Владимира Кострова, Дмитрия Сухарева — и автора сборника, о котором пойдет речь в рецензии, Владимир Павлинов, как и его три товарища по поколению, не был тогда профессиональным поэтом, и мне помнятся его задиристые (заслужившие, однако, одобрение Б. Слуцкого) строчки о его, геолога, сочувствии к профессионалам. Выпустив за два десятилетия целый ряд ярких и самобытных книг, Павлинов сам стал профессионалом. И все же, глядя сегодня на мир людской взглядом зрелым и сосредоточенным, он в лучших своих стихах возвращается памятью к временам рабочей молодости, проведенной в песках азиатских пустынь, на буровых вышках, на аральских берегах: в этом пласте жизни он находит самый заветный источник вдохновения, мерит нынешнее свое дело по шкале трудовых ценностей Отсюда свежесть и улыбка его новых строк, говорящих о самых серьезных вещах:

Не зря же, в холщовую куртку одет,
я шел по дымящимся глинам?
Не зря же помбуры признали: «Поэт!»,
прозвали «акыном Павлином»?
Не зря же калился я в лютом огне,
мотался по резкому свету?
Как жить, чтобы жизнь не сломала во мне
рабочую косточку эту?

И если меня уличишь ты во лжи,
в боязни — хана мне, поэту:
в Москву прилети и при всех покажи
мне куртку холщовую эту!

Стихотворение «Куртка» стало стержневым в цикле, где строки, пронизанные жестким ритмом труда на степных и пустынных ветрах, смыкаются со строками, посвященными «духу Азии», древности и нови народов, среди которых были и предки автора, ставшего русским поэтом. Историзм и интернационализм звучания отличают такие стихи, как «Черная работа», «Главный бог», «Аральские рыбаки», «Дух Азии»...

Как по общему содержанию, так и по художественной палитре новая книга В. Павлинова показывает значительно возросшую широту авторского мышления. Речь идет не только о том, что его лирико-публицистические вещи стали гораздо менее любовными, чем раньше, обретая и натурфилософские ноты и метафоричность. Стали конкретней, отражая расставание со многими иллюзиями и романтическим флером эмоций, и вместе с тем возвышенней, ибо выстрадан-

нее. Появились стихи о любви. Их личностная основа как бы вбирает в себя многоплановость духовной жизни поколения, к которому принадлежит поэт; лирическое «я» обретает зримые черты образа современника. Как ни странно, строки, говорящие о тяготах и горестях разлуки с любимой, о не легком труде души человеческой, ее тернистых путях, содержат в себе больше зерен светлой надежды, чем стихи о надеждах вообще. Да странного тут нет, ибо «разговор начистоту» в таких вещах, как «Тени любимых», «Моют кости», «Черная вода», резких и темпераментных, обеспечен богатством запаса опыта. Опыта чувств и нравственных поисков в особенности. Весомостью этого опыта во многом определяется и общий гражданственный настрой книги, где ясно прорисовывается духовный мир социально-активной личности, требовательной к себе и к людям, выражающей свои подлинные убеждения, равно отвергающей в слове и пустую риторику и импрессионистичную зыбкость.

Особое место в сборнике занимает поэма «Зимние птицы». На первый взгляд это незатейливый дневник горожанина, выехавшего на прогулку в лес с ребенком. Но постепенно описания природы (сами по себе живые и свежие) перерастают вначале в размышления о единстве человека и природы, о ее важности для нашего духовного здоровья, а затем в страстный монолог о высокой ответственности за будущее жизни на земле... Если поэма говорит о новых жанровых возможностях автора, то вся книга в целом убеждает в том, что художественный потенциал В. Павлинова с годами растет, обещая движение поэта вперед, к открытию новых художественных горизонтов.

Ст. Золотцев.



ЕЛЕНА ДЖИЧОЕВА. Преодоление. Очерк жизни и творчества Виталия Семина. Ростов-на-Дону. Ростовское книжное издательство. 1982. 149 стр.

В книге Е. Джичоевой информационное и эмоционально-лирическое начала явно преобладают над аналитическим. Наверное, это даже естественно «Преодоление» — одна из первых монографических работ о Виталии Семине. И написана она вскоре после смерти писателя, когда острая боль требует своего неотлагательного выражения. Но такой уж писатель Виталий Семин, таков масштаб его личности и судьбы, что сам материал вводит нас в ситуацию напряженного проблемного осмысления жизни и искусства.

Е. Джичоева показывает, переходя от одного произведения к другому, сколь серьезные, неподъемные вопросы ставил писатель перед читателем и самим собой. «Мысли мне представлялись лестницей, ведущей к смыслу жизни», — записывает В. Семин в дневник. «Жизнь надо наполнить смыслом, тогда ею легко пожертвовать», — утверждает один из его героев. И мы знаем — и то и другое сказано не ради красного словца,

Что человек может (а значит, за что он в ответе) перед лицом неимоверно трудных обстоятельств? Виноваты ли люди, если они не доросли до осознания своей вины?.. Вопросы эти для писателя и его героев не были абстрактно-философскими. Ответы на них требовались в повседневной жизни. Каждому в отдельности и всем вместе.

А разве «основной принцип творчества» Семина (по определению Е. Джичоевой) — его «способ совести» — не представляет собой попытку найти средства заставить работать художественный талант в предельном режиме? Но для освоения этого способа надо предварительно решить целый ряд нелегких вопросов. Как этот самый способ, предполагающий личностное неповторимое мировосприятие, сочетать с объективностью оценок, непредвзятостью суждений? Семин в связи с этим не раз заводит речь о необходимости (и не только для писателя) уметь «думать против себя», не бояться рассказать такое, что может быть использовано против самого рассказчика.

Или такой вот вопрос: есть ли предел правдивости, за который писатель не должен переступить? Встречается ведь правда настолько страшная (об этом писал и А. Адамович в связи с «Блокадной книгой»), что способна убить искусство. В каких-то случаях переступить границу дозволенного побуждает долг гражданский.

Сама писательская судьба В. Семина — ступок еще не осмысленных по-настоящему проблем и загадок творчества. «Я фаталит и привык думать, что к писателю судьба относится по-хозяйски. Показывает ему то, что он должен знать» — эта шутивная фраза из письма адресовалась Семину самому себе. А ведь за ней видны серьезные обобщения.

О «Нагрудном знаке „OST“» Семин высказался так: «Я написал книгу, о которой точно могу сказать, что я обязан был ее написать». Как это понять конкретно? Из фашистской неволи будущий писатель вернулся с ощущением, что «знает о жизни все». За этим стояло: он знает о жизни такое, что еще не высказано вслух никем. Такое, о чем молчать нельзя. Может быть, только ощущение уникальности своего жизненного опыта, всечеловеческой значимости своего знания и помогло подростку выжить в арбайтслангере. И каждая новая смерть среди тех, кто жил рядом и тоже знал, усиливала ответственность, обязывала выжить и рассказать: «Это не должно было погибнуть. Мое знание было в десятки, в сотни раз важнее меня самого»... Но просто выжить — еще полдела, надо суметь рассказать! Семин стал писателем. Такого рода повороты судьбы дают основание утверждать: бывает, что особая уникальность жизненного материала, обладателем которого по воле случая стал человек, способна сделать его писателем! Но в связи с этим возникает еще один вопрос. Выйдя из лагеря, В. Семин «знал о жизни все», обладал знанием, которое жгло память. Почему же он как бы похоронил это знание на долгие годы и писал о том, что окружающие художественно уже знали? И ведь не в чьих-то заботах тут дело. «Долгий инкубационный период», видимо, в какой-то мере неизбежен, когда художник собирается делать

действительно принципиальный шаг вперед в понимании и самой жизни, и той меры жестокой правды, которая остается еще продуктивной, не переходя в разрушительную.

Мы перечислили ничтожную долю вопросов и проблем, к осмыслению которых побуждают и само творчество В. Семина и книжка Е. Джичевой. Не все главы этой книги равноценны. Не все оценки конкретных произведений писателя убедительны. Особенно это относится к ранним, в том числе журналистским, работам Семина. Иной раз биография писателя чрезмерно отождествляется с биографией его героев (Семина сам в одном из предисловий предостерегал от этого). Однако частные недостатки эти окупаются щедрой информативностью очерка, тем, что, написанный неравнодушной рукой, он будит наши мысли и чувства, заставляя еще и еще раз перечитывать книги Виталия Семина.

А. Нуйкин.



БАРБАРА ПИМ. Осенний квартет. Роман. Перевод с английского Н. Волжиной. М. «Прогресс». 1981. 287 стр.

Барбара Пим вошла в английскую литературу в 50-х годах, когда в ней задавали тон «сердитые молодые люди», и негромкий голос писательницы был совершенно заглушен их яростными воплями. Она не «оглядывалась во гневе», не требовала всеобщего внимания, а просто и спокойно рассказывала о незаметных драмах незаметных людей. И ее не замечали. Но постепенно рассерженные старилки, их запал стихал, а Пим оставалась верна своей прежней грустной, трезво-ироничной манере. Препрежними оставались и ее герои — тихие, одинокие «маленькие люди». Отношение к ним автора свободно от свойственной классическому английскому роману сентиментальности: человеческие слабости предстают у нее в суровом, подчас беспощадном свете, смягченном, однако, авторским состраданием.

«Осенний квартет» — один из последних романов Б. Пим (и первый переведенный на русский язык). Изданный в 1977 году, он принес писательнице заслуженный успех и славу. В нем рассказывается о четырех пожилых людях, которые вместе служат в какой-то тихой лондонской конторе, занимаются бумажной работой. Писательница намеренно не уточняет, в чем именно эта работа состоит: «...что-то связанное с отчетностью, с составлением картотек», да это и не важно, ведь даже в самом учреждении «наверняка об этом никто ничего не знал», а после ухода сотрудников на пенсию отдел собираются ликвидировать. И как в конторе незаметно присутствие героев, так и за ее пределами их присутствие неприметно. Их одиночество — в сущности, естественное состояние людей, ко всему на свете равнодушных, одиночество благополучное, удобно обставленное, привычное и, главное, устраивающее самих героев.

Одному из них, пастору, не о чем говорить с прихожанами, и он предпочитает по-

сещать умирающих: тут ему ясен круг его обязанностей. Другой, церковный распорядитель, при пении молитвенного гимна, «стараясь спеть правильно... отвлекаясь от смысла слов». И все так в странном мире, где живут герои: вера — без веры, участие — без участия, добрые дела — без доброты. Просто все знают, что так принято: присматривать за стариками, навещать в больнице. Герои Пим не задумываются над тем, что доброе дело, не согретое живым чувством, превращается в пустую формальность. Не понимают они и того, что пустой формальностью стала вся их жизнь, этот привычный обряд, лишенный смысла: надо жить, так принято.

В критике произведения писательницы отстоят обычно к камерной, малой прозе. Действительно, в ее вещах нет ни сильных страстей, ни острых социальных конфликтов. Но из незначительных событий, из мелочей быта вырисовывается унылая картина бездуховного существования общества одиноких. Кажется, вся Англия насквозь проникнута той же безнадежной скукой, что и жизнь героев «Осеннего квартета». С горькой иронией звучит последняя фраза романа: «И тем не менее начинаешь понимать, что у жизни бесконечный запас возможностей...»

Л. Злобина.



Н. Я. ЭЙДЕЛЬМАН. Грань веков. М. «Мысль». 1982. 368 стр.

XVIII век — «столетье безумно и мудро», как сказал Радищев. Оно загадочно и парадоксально, вплотную приближено к новому, XIX веку, хотя между ними невидимая, но ясно ощутимая грань. Каким же встает этот век со страниц книги Н. Эйдемана? Негривычная, незнакомая нам тягучесть времени: не придают значения минуте, секунде, в домах большей частью нет часов — встают и ложатся с восходом и заходом солнца. Там же, где часы есть, они идут как бы автономно, без проверки. Поэтому и понятие одновременности существенно отличается от нашего: в 1799 году «Московские ведомости» сообщают о событиях в столице по прошествии недели, вести из Италии доходят до Москвы через месяц, а из Америки — через два.

Другим представляется и пространство: медленно текущее время как бы влечет за собой нескончаемость расстояний. Больше месяца обыватели Иркутска продолжали жить под властью умершей Екатерины II, пока правительственный курьер не сообщил им о новом императоре — Павле I. Шесть тысяч верст курьер преодолел всего за тридцать четыре дня — необычайная для того времени скорость.

Иные времена, иные нравы: примером величайшего благородства считал Д. И. Фонвизин поступок Н. И. Панина — из 9 тысяч душ крепостных, пожалованных ему Екатериной II, он 4 тысячи подарил троим своим секретарям.

Как отмечает и сам автор «Грани веков», все это случается не первостепенной важнос-

ти, почти анекдоты. Но они дают нам возможность вдохнуть воздух той эпохи, проникнуться сознанием человека XVIII столетия, взглянуть на те давние события его глазами. Без этого невозможна работа историка, без этого нет чувства «высокого историзма». И важная особенность книги, как, впрочем, и всего творчества Н. Эйдельмана, «не осудить, приговорить, оправдать, но — понять, объяснить „романтического императора“» (то есть Павла I). И прошлое вообще, добавим мы. Именно поэтому изложению основных событий 1796—1801 годов и предшествует эта своеобразная экскурсия по России XVIII века.

Другая неотъемлемая черта творчества Н. Эйдельмана — остроконечность его исторических работ. Автор умеет с первых же страниц увлечь, заинтриговать читателя, поставив перед ним интересные, требующие разгадки вопросы. Наивность и сентиментальность девятнадцатилетнего великого князя и деспотизм его же, ставшего императором, послабления крестьянам, улучшение условий службы для солдат и репрессии в отношении дворянства, итальянские походы русских войск во главе с Суворовым и невероятный замысел вторжения в Индию... Что это — своеобразная, странная, но все-таки система? И автор шаг за шагом разматывает этот клубок противоречий, постепенно раскрывая природу и истинный характер времени и личности Павла I. Не любовь матери, Екатерины II, влияние воспитателя Н. И. Панина, просвещеннейшего деятеля своего времени, затем удаление Панина, скрытая борьба за престол императрицы с собственным сыном — в этих условиях и происходит зарождение, вызревание

той политики, которую будет проводить Павел-император, политики «консервативного романтизма», явившейся ответом, реакцией на сильно скомпрометировавшую себя политику «просвещенного абсолютизма». Автор приходит к выводу о закономерности, неслучайности политических идей Павла I и в то же время ограниченности, нежизнеспособности его методов правления.

В книге много места уделено исследованию психологического портрета Павла I. Вот юный Павел записывает в дневник свои переживания, свою «радость, смешанную с беспокойством и неловкостью», при ожидании невесты, вот он, «царь-рыцарь», выносит жестокие приговоры по делам чести... Такой интерес к личности царя объясняется не только желанием воссоздать живой образ Павла. При системе самодержавия, сильнейшей централизации, существовавшей в то время в России, личные качества императора как главы государства с удесятенной силой отражались на жизни всей страны.

О XVIII веке вообще и о царствовании Павла в особенности было написано немного. Отчасти это объясняется тем, что правление Павла кратковременно (всего четыре года), как бы не развернуто исторически. Кроме того, его время было отмечено относительным затишьем в общественном движении — и дворянском и народном. Но именно в эту глухую, темную эпоху, стоящую на грани веков, и рождался тот тип нового, свободного, мыслящего человека, который станет героем 1812 и 1825 годов.

О. Новохатко.

ПАМЯТИ ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА БУБНОВА

Умер Игорь Николаевич Бубнов. Умер неожиданно, рано — на сорок девятом году жизни.

Это был человек широких интересов, неумной энергии, редкой доброты. Он любил жизнь. Литература, искусство, спорт — все волновало его, все находило отражение в его публицистике. Однако особенный, пристальный его интерес привлекала наука, ее история. Выпускник Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского, он работал в течение ряда лет в различных научных учреждениях, последним из которых был Институт истории естествознания и техники Академии наук СССР. Игорь Николаевич опубликовал большое число работ по истории науки, защитил кандидатскую диссертацию, работал над докторской.

Тому, кто следил за его творчеством, хорошо было видно: рамки научных публикаций становятся все более тесны этому человеку, ему хочется говорить с более широким кругом читателей, с широкой аудиторией. Начиная с середины 60-х годов появляется все больше статей, очерков за его подписью в центральных газетах и журналах, выходят научно-популярные книги «Обитаемые космические станции», «Роберт Годдард», «Научно-технический прогресс в СССР за 60 лет» и другие. Бубнов появляется на экранах телевизора в качестве автора и ведущего передач, посвященных истории науки и техники.

В начале прошлого года Игорь Николаевич Бубнов был утвержден членом редколлегии, редактором по отделу публицистики и науки «Нового мира». Придя в наш коллектив, он сразу же включился в малознакомый для него процесс редакционной работы. Не жаловался на трудности, хотя трудностей, естественно, было немало. Его присутствие скоро стало заметно в журнале. Для самого И. Н. Бубнова переход в профессиональную журналистику знаменовал начало совершенно нового этапа его жизни, с которым он связывал большие надежды.

Он не жалел себя. Научные изыскания, книга в издательстве «Молодая гвардия», статьи для газет и журналов, сценарии для телевидения... Он умел работать едва ли не по двадцать четыре часа в сутки.

Последняя его публикация в «Новом мире» — статья «Пред будущим мы только дети» в № 10 за этот год, посвященная Константину Эдуардовичу Циолковскому. По отзывам многих, это, пожалуй, одна из лучших работ публициста. Глубина серьезного исследования сочетается в ней с безошибочным чувством слова, присущим зрелому литератору, с точностью художественной формы. Когда читаешь статью, образ великого ученого, о котором написано немало, предстает в новом свете. В чем-то новому увидели мы и автора. Таков удел истинно творческой личности — как бы преобразаться от работы к работе, обретая все новые, прежде неведомые черты.

Этот заново увиденный облик Игоря Николаевича Бубнова — ученого и публициста, соединенный с живой памятью о нем как о добром, скромном, талантливом и трудолюбивом человеке, мы сохраним навсегда.

Редакция журнала «Новый мир».

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Детская болезнь «левизны» в коммунизме. 199 стр. Цена 15 к.

Учиться коммунизму. В 2-х кн. Кн. 2. Л. И. Брежнев. Молодым строить коммунизм. 400 стр. Цена 75 к.

В. Гришин. Избранные речи и статьи. 736 стр. Цена 1 р. 40 к.

М. Мчедлов. Религия и современность. 272 стр. Цена 90 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Я. Авижиус. Хамелеоны цвета. Роман. Перевод с литовского. 383 стр. Цена 1 р. 70 к.

День поэзии 1982. Ленинград. 367 стр. Цена 1 р. 70 к.

Н. Наджим. Стихи и поэма. Перевод с башкирского. 120 стр. Цена 55 к.

Тверской бульвар, 25. Голоса молодых. Сборник стихов студентов Литературного института им. А. М. Горького. 166 стр. Цена 75 к.

И. Черноуцан. Живая сила ленинских идей. Статьи. 248 стр. Цена 1 р. 20 к.

«СОВРЕМЕННОСТЬ»

И. Кашафутдинов. Черная тропа. Повести и рассказы. 384 стр. Цена 1 р. 70 к.

В. Колыхалов. Сверчок. Повести. 256 стр. Цена 1 р. 30 к.

С. Марнов. Вечные следы. Книга о землепроходцах и мореходах. 575 стр. Цена 2 р. 30 к.

Рассказ-81. Составление и вступительная статья Ю. Галкина. 302 стр. Цена 1 р. 50 к.

ВОЕНИЗДАТ

А. Кривицкий. Тень друга, или Ночные чтения сорок первого года. Повесть. Машины времени. 368 стр. Цена 1 р. 60 к.

А. Марков. Речь бойца. Стихи и поэмы. 224 стр. Цена 1 р. 30 к.

О. Михайлов. Суворов. Исторический роман. 496 стр. Цена 2 р.

В. Тюрин. Слушать в отсеках. Повесть, рассказы. 173 стр. Цена 75 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Б. Алмазов. Госудавство — это мы. Очерки о Конституции СССР. 191 стр. Цена 90 к.

Л. Богачук. Крейсер «Баряг». Рассказы о подвиге. 94 стр. Цена 95 к.

В. Голявин. Тетрадки под дождем. Рассказы. 31 стр. Цена 10 к.

Детская литература, 1982. Сборник статей. 206 стр. Цена 55 к.

Д. Ткач. Шторм и штиль. Роман. 240 стр. Цена 60 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

В. Бонов. Стихотворения. 204 стр. Цена 1 р.

К. Ваншенкин. Рассказ о потерянном фотоальбоме. («Писатель и время») 96 стр. Цена 15 к.

Б. Рубен. Тяжело в учении... («Писатель и время») 95 стр. Цена 15 к.

Советский характер. Сборник рассказов советских писателей. Составитель В. М. Курганов. 414 стр. Цена 2 р.

Л. Топорков. Деревня на Жиздре. («Писатель и время») 83 стр. Цена 10 к.

«ПРОГРЕСС»

Итальянская повесть. 70-е годы. Перевод с итальянского. 367 стр. Цена 2 р. 30 к.

М. Наг. Верность. Стихотворения. Статьи. Перевод с норвежского. 205 стр. Цена 85 к.

А. Симмон. Зерно, брошенное в землю. Роман. Перевод с румынского. 224 стр. Цена 1 р. 30 к.

«РАДУГА»

Х. Лампо. Принц Магонский. Роман, повесть, рассказы. Перевод с нидерландского. 352 стр. Цена 2 р. 20 к.

К. Холт. Трizona по женщине. Морской герой. Романы. Перевод с норвежского. 333 стр. Цена 2 р. 40 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

И. Дадашидзе. Ревность по дому. Поэты Грузии в избранных переводах. Предисловие Б. Ахмадулиной. Тбилиси. «Мерани». 95 стр. Цена 40 к.

В. Климушин. Чай с малиновым вареньем. Повести и рассказы. Свердловск, Средне-Уральское книжное издательство. 222 стр. Цена 95 к.

Ладейная кукла. Морские рассказы латышских писателей Рига. «Лиезма». 256 стр. Цена 65 к.

Б. Можаев. Запах мяты и хлеб насыщенный. Эссе, полемические заметки. «Московский рабочий». 463 стр. Цена 1 р. 80 к.

К. Паустовский. Во глубине России. Повести и рассказы. «Московский рабочий». 286 стр. Цена 1 р. 40 к.

З. Фаткудинов. Тайна стоит жизни. Повесть Казань Таткнигоиздат. 256 стр. Цена 75 к.

А. Шортанов. Горцы. Роман. Перевод с кабардинского Нальчик. «Эльбрус». 499 стр. Цена 2 р. 40 к.

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Вирашку (зам. главного редактора), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **Д. Мулдагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян**

Адрес редакции: 103806 ГСП. Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 04.11.82 г. Подписано к печати 20.12.82 г. А 08931.
Формат бумаги 70x108^{1/16}. Высокая печать. Объем 18 п. л. (25,2 усл.-печ. л.)
28,7 уч.-изд. л. 9 бум. л. Тираж 363 000 экз. (Отпечатано в г. Москве 100 000 экз.). Зак. 4275.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 1 р. 20 к.

70636

Новый мир, 1983, № 1, 1—288.